

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

АНТИ-ДЮРИНГ

*Переворот в науке,
произведенный господином
Евгением Дюрингом*

В исправленном переводе



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1938

ОТ ИНСТИТУТА МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА

В основу настоящего издания «Анти-Дюринга» положен перевод, выпущенный в 1923 г. издательством «Московский Рабочий». Несмотря на ряд существенных недостатков, этот перевод все же лучше других передавал текст подлинника. В ИМЭЛ была произведена проверка этого перевода и в него внесены необходимые исправления. Прежде всего, все те места из «Анти-Дюринга», которые цитирует Ленин в своих работах, включены в настоящее издание в той редакции, в какой их приводит Ленин. В остальном тексте всюду проведена терминология, которая дана у Ленина.

В приложении даны: избранные отрывки из подготовительных работ и примечаний Энгельса к «Анти-Дюрингу»; несколько писем Маркса и Энгельса, в которых идет речь о Дюринге и о работе Энгельса над «Анти-Дюрингом»; предисловия к немецкому, английскому и французскому изданиям брошюры «Развитие социализма от утопии к науке», как известно, составленной Энгельсом из трех глав «Анти-Дюринга». Предисловия к немецкому и английскому изданиям были написаны самим Энгельсом. Предисловие же к французскому изданию написал Лафарг под руководством Маркса.

Готовя отдельное издание трех глав «Анти-Дюринга» в виде брошюры «Развитие социализма», Энгельс внес в текст этих глав некоторые добавления. В настоящем издании все эти добавления даны в квадратных скобках.

Примечания в сносках принадлежат Энгельсу. В тех немногих случаях, когда редакции настоящего издания приходилось давать пояснения, это отмечено в конце каждого пояснения; *Ред.*

ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРЕМ ИЗДАНИЯМ

I

Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо «настоятельного внутреннего побуждения». Как раз напротив.

Когда три года тому назад г. Дюринг внезапно бросил вызов своему веку в качестве адепта и одновременно реформатора социализма, мои друзья в Германии неоднократно обращались ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я подверг эту новую социалистическую теорию критике в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии «Volksstaat». Они считали это крайне необходимым, дабы пресечь в корне всякий новый повод к сектантскому расколу и замешательству в столь молодой еще и только что окончательно объединившейся партии. Так как они имели больше меня возможность правильно судить об условиях в Германии, то я был обязан верить им. При этом оказалось, что новый адепт социализма был принят одной частью социалистической печати с сердечностью, которая, хотя собственно и относилась только к «доброй воле» г. Дюринга, но в то же время давала основания думать, что эта часть партийной прессы не прочь, именно ввиду доброй воли г. Дюринга, принять также на веру и дюринговскую доктрину. Нашлись также люди, которые уже готовились распространить эту доктрину в популярной форме среди рабочих. И, наконец, г. Дюринг и его маленькая секта пустили в ход все ухищрения, рекламы и интриги, чтобы принудить «Volksstaat» занять решительную позицию по отношению к выступившему с такими громадными претензиями новому учению.

Несмотря на все это, прошел целый год, пока я мог решиться пренебречь другими работами и заняться мало привлекательной работой по разбору сочинений г. Дюринга. Работа была такого рода, что, раз начав ее, надо было довести ее до конца. И она была не только неприятная, но и большая. Новая социалистическая теория выступила как конечный практический результат новой философской системы. Приходилось, таким образом, исследовать ее в связи с этой системой, а вместе с тем подвергнуть разбору и самую эту систему. Прихо-

дилось следовать за г. Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, печатавшихся сначала в 1877 г. в лейпцигском «Vorwärts», преемнике «Volksstaat». Эти статьи и предлагаются здесь в связанном виде.

Таким образом, характер объекта критики принудил ее к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научному содержанию самих сочинений г. Дюринга. Впрочем, еще два соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность развить в положительном направлении мое понимание спорных вопросов, затрагиваемых здесь в разнообразных областях, — вопросов, имеющих в настоящее время общий теоретический или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе, и как бы мало это сочинение ни преследовало цель противопоставить «системе» г. Дюринга другую систему, все же, надо надеяться, от читателя не укроется внутренняя связь между выдвинутыми мною воззрениями. Что мой труд в этом отношении не был совершенно бесплодным, я уже и теперь имею достаточно доказательств.

2) С другой стороны, «системотворящий» г. Дюринг не представляет собой единичного явления в современной Германии. С некоторых пор системы космогонии и вообще философии природы, политики, политической экономии и т. д. растут в Германии, как грибы после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже студент, вырабатывает целую «систему». Подобно тому, как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, о которых ему приходится подавать голос; подобно тому, как в политической экономии исходят из допущения, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, — точно так же, повидимому, обстоит дело с наукой. Свобода науки понимается как право человека писать обо всем, чего он не изучил, и выдавать это за единственный строго научный метод. Г-н Дюринг представляет один из характернейших типов этой развязной псевдо-науки, которая в наши дни повсюду в Германии лезет вперед и все заглушает гром своего высокопарного пустозвонства. Пустозвонство в поэзии, в философии, политике, экономии, исторической науке, пустозвонство с кафедры и трибуны, пустозвонство везде, пустозвонство с претензией на превосходство и глубину мысли, в отличие от безхитростного, плоско-вульгарного пустозвонства других наций, — пустозвонство, как характернейший и массовый продукт германской интеллектуальной индустрии, с девизом: «дешево, но скверно», — совсем, как другие германские фабрикаты, рядом с которыми он, к сожалению, не был представлен на Филадельфийской выставке. Даже немецкий социализм, особенно после доброго примера, поданного г. Дюрингом, довольно успешно занимается в наши дни производством высокопарного пустозвонства и выпускает на сцену субъектов, кичащихся «наукой», в области которой они «действительно ничему не научились». Мы имеем здесь дело

с детской болезнью, которая свидетельствует о начинающемся присоединении немецких студентов к принципам социал-демократии и неотделима от этого процесса, но которая при замечательно здоровой натуре наших рабочих, мы надеемся, будет благополучно перенесена.

Не по моей вине я был вынужден следовать за г. Дюрингом в такие области, в которых я могу выступать, в лучшем случае, в качестве дилетанта. В таких случаях я, по большей части, ограничивался тем, что противопоставлял ложным или сомнительным утверждениям своего противника верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях из области теоретического естествознания, следовательно, области, где и специалисту-естествоиспытателю приходится выйти из рамок своей специальности и касаться вопросов, в которых он, по признанию г. Вирхова, является таким же «полузнайкой», как и мы профаны. Надеюсь, что и мне будет оказано снисхождение за маленькие неточности и неловкости в выражениях, которое принято в таких случаях между представителями различных специальностей.

Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза объявление г. Дюринга о выходе в свет нового «руководящего» сочинения г. Дюринга: «Новые основные законы рациональной физики и химии». Вполне сознавая недостаточность своих познаний в физике и химии, я все же думаю, что знаю достаточно г. Дюринга, и потому, даже не видев названного сочинения, могу предсказать, что и установленные в нем «законы» физики и химии по своему неправильному пониманию или тривиальности достойны того, чтобы занять место рядом с прежними законами политической экономии, мировой схематики и т. д., открытыми г. Дюрингом и разобранными в моем сочинении, и что изобретенный г. Дюрингом «ригометр», или инструмент для измерения очень низких температур, послужит не для измерения температур, высоких или низких, а только для измерения невежественной заносчивости г. Дюринга.

Лондон, 11 июня 1878 г.

II

Для меня было неожиданностью, что настоящую работу приходится выпустить новым изданием. Критикуемый ею предмет в настоящее время почти что забыт; сама она не только печаталась по частям для многих тысяч читателей в лейпцигском «Vorwärts» за 1877 и 1878 гг., но появилась и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Кого же еще может интересовать то, что я писал несколько лет назад о г. Дюринге?

Прежде всего я обязан этим, надо полагать, тому обстоятель-

ству, что настоящая работа, как и все почти другие мои писания, обращавшиеся тогда на книжном рынке, была тотчас после издания исключительного закона против социалистов запрещена в Германии. Для всякого, кто не закопел окончательно в наследственных чиновничьих предрассудках стран Священного Союза, действие этой меры должно было заранее представляться ясным: двойной и тройной сбыт запрещенных книг, доказательство бессилия берлинских господ, издающих запрещения и не имеющих возможности провести их на практике. В самом деле, благодаря любезности имперского правительства мои небольшие работы появляются в большем количестве изданий, чем я могу осилить; у меня нет времени просматривать, как следует, их текст, и я принужден большей частью просто перепечатывать его.

Сюда присоединяется еще другое обстоятельство. Критикуемая здесь «система» г. Дюринга, охватывая очень широкую теоретическую область, вынудила и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицательная критика стала, таким образом, положительной; полемика превратилась в более или менее связное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, защищаемого Марксом и мною, — изложение, охватывающее притом довольно много областей знания. Это наше мировоззрение, впервые выступившее перед светом в «Нищете философии» Маркса и в «Коммунистическом Манифесте», пережило более чем 20-летний инкубационный период, пока с появлением «Капитала» оно не стало захватывать с растущей быстротой все более широкие круги. В настоящее время оно встречает внимательное к себе отношение и имеет последователей далеко за пределами Европы, во всех странах, где, с одной стороны, имеются пролетарии, а с другой — не идущие на компромиссы научные теоретики. Таким образом, существует, повидимому, публика, достаточно интересующаяся вопросом, чтобы ради положительной части книги примириться с неинтересной уже теперь во многих отношениях полемикой против г. Дюринга.

Замечу мимоходом, что так как излагаемое в настоящей книге мировоззрение в главной своей части было обосновано и развито Марксом и только в самой незначительной степени мною, то само собой разумеется, что это мое сочинение не могло появиться без его ведома. Я прочел ему свою рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а 10-я глава отдела, трактующего о политической экономии («Из критической истории»), написана Марксом, и только по внешним соображениям мне пришлось, к сожалению, несколько укоротить ее. Таков уж был наш обычай: помогать друг другу в специальных областях.

Настоящее новое издание представляет, за исключением одной главы, перепечатку первого издания. С одной стороны, у меня не было времени для основательного пересмотра, как бы я сам ни желал изменить во многом изложение: на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся от Маркса рукописи, а это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того совесть также удерживает меня от всяких

изменений. Сочинение мое носит полемический характер, и я думаю, что обязан перед своим противником не исправлять ничего, раз он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать на право возразить на ответ г. Дюринга, но того, что г. Дюринг писал против моей полемики, я не читал и не стану читать, если для этого не явится особой надобности: теоретические счеты с ним я покончил. Впрочем, я тем более должен соблюсти по отношению к нему все правила чести, принятые в литературной борьбе, что уже после издания моей книги университет поступил с ним постыдно-несправедливо. Правда, университет был за это достаточно наказан. Университет, который соглашается при известных всем обстоятельствах лишить г. Дюринга свободы преподавания, не в праве удивляться, если ему при столь же общеизвестных обстоятельствах навязывают г. Швенцингера.

Единственная глава, в которой я себе позволил сделать добавления пояснительного характера, это вторая глава третьего отдела: «Очерк теории». Здесь, где речь идет исключительно об изложении одного основного пункта защищаемого мною воззрения, мой противник не может жаловаться, если я старался писать более популярно и более систематично. К тому был внешний повод. Три главы книги (первую главу введения и I и II главы третьего отдела) я переработал в самостоятельную брошюру для своего друга Лафарга, для издания во французском переводе, и после того, как французское издание послужило образцом для итальянского и польского, я выпустил немецкое издание под названием «Развитие социализма от утопии к науке». Эта брошюра в несколько месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только одна указанная вначале глава, и было бы педантизмом с моей стороны, при новом издании оригинала, связать себя первоначальным текстом, раз существует позднейший текст его, ставший международным.

То, что я мог бы еще пожелать изменить, относится главным образом к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган дал только в 1877 г. Но так как я с тех пор имел случай в своей работе «Происхождение семьи, собственности и государства» (1884) использовать ставший мне доступным за это время материал, то достаточно будет указания на эту позднейшую работу.

Во-вторых, хотелось бы изменить ту часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Здесь царит большая неуклюжесть в изложении, и многое можно было бы выразить в настоящее время более ясно и определенно. И если я не считаю себя в праве ввести здесь улучшения, то тем самым я обязан подвергнуть здесь самого себя критике.

Мы с Марксом были едва ли не единственными людьми, которые из немецкой идеалистической философии спасли сознательную диалектику, переводя ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и, вместе с тем, материалистиче-

ского понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательный математик, но естественными науками мы могли заниматься только урывками, спорадически. Поэтому, когда, оставив коммерческое дело и переселившись в Лондон¹, я приобрел необходимый для этого досуг, то я подверг себя, насколько оно было возможно, в сфере математики и естествознания процессу полного «линияия» (как выражается Либих) и употребил на это большую часть времени в течение 8 лет. Я еще переживал этот самый процесс, когда мне пришлось заняться так называемой натурфилософией г. Дюринга. Поэтому, если мне иной раз не удастся подобрать надлежащее техническое выражение и если я вообще довольно неуклюже подвизаюсь в области теоретического естествознания, то это вполне понятно. Но, с другой стороны, сознание некоторой своей нетвердости сделало меня осторожным; действительных прегрешений против известных в то время фактов и неверного изложения принятых в то время теорий никто не сможет указать у меня. В этом отношении только один непризнанный великий математик жаловался в письме к Марксу, будто я дерзновенно затронул вещь $\sqrt{-1}$.

Само собой разумеется, что при этом кратком повторении мною математики и естественных наук дело шло о том, чтобы и на частных убедиться в факте, относительно которого у меня вообще не было никаких сомнений, — а именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий; те самые законы, которые, проходя красной нитью и через историю развития человеческого мышления, постепенно доходят до сознания мыслящих людей; законы, которые впервые были развиты широко, но в мистической форме, Гегелем и которые извлечь из этой мистической формы и ясно представить во всей их простоте и всеобщности было одним из наших стремлений. Само собой понятно, что старая натурфилософия, — как бы много действительно хорошего в ней ни было и сколько бы плодотворных зачатков она ни содержала², — не могла нас удовлетворить. Как это более

¹ Энгельс переехал из Манчестера в Лондон осенью 1870 г. *Ред.*

² Гораздо легче вместе с бессмысленными вульгаризаторами обрушиваться, на манер Карла Фогта, на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. Она содержит много нелепостей и фантазерства, но не больше, чем современные ей не-философские теории естествоиспытателей-эмпириков, а что она заключала в себе много разумного, это начинают понимать с тех пор, как стала распространяться теория эволюции. Так, Геккель с полным правом признал заслуги Тревирануса и Окена. Окен в своей первичной слизи и первичном пузырке выставляет, в качестве постулата биологии, то, что было потом действительно открыто, как протоплазма и клеточка. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали объяснить всякое непонятное явление тем, что приписывали ему какую-нибудь силу — силу тяжести, электрического контакта, плавательную и т. д., или же, где это не было возможно, измышляли какое-нибудь неизвестное вещество: световое, тепловое, электрическое и т. д. Эти воображаемые вещества теперь можно считать уstra-

подробно доказывается в настоящей книге, натурфилософия, особенно в ее гегелевской форме, грешила в том отношении, что она не признавала у природы никакого развития во времени, никакой «последовательности», а только «сосуществование». Такой взгляд коренился, с одной стороны, в самой системе Гегеля, приписывавшей прогрессивное историческое развитие только «духу», с другой же стороны, в тогдашнем общем состоянии естествознания. Таким образом, Гегель в этом случае оказался значительно позади Канта, который своей небулярной теорией мироздания уже провозгласил возникновение солнечной системы, а открытием замедляющего влияния морских приливов на вращение земли указал на неизбежную гибель этой системы. Наконец, для меня речь могла идти не о том, чтобы выдумать и внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней, вывести их из нее.

Но выполнить это систематически и в каждой отдельной области представляет гигантский труд. Не только сфера, которую приходится исследовать, почти необъятна, но само естествознание переживает еще здесь такой грандиозный процесс преобразования, что за ним вряд ли мог бы уследить даже тот, кто располагает для этого всем своим свободным временем. Между тем, с тех пор, как умер Карл Маркс, я был занят более настоятельными обязанностями и потому должен был прервать свою работу по естествознанию. В данный момент я вынужден удовольствоваться указаниями, содержащимися в предлагаемой работе, и ждать в будущем случая, который позволил бы мне собрать и опубликовать полученные мною результаты, быть может — вместе с оставшимися после Маркса весьма важными рукописями по математике.

Но может статься, что прогресс теоретического естествознания сделает мой труд в большей его части или целиком излишним, так как революция, к которой теоретическое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать накопляющиеся массы чисто эмпирических открытий, — эта революция такова, что она должна привести к признанию диалектического характера процессов природы даже самого упрямого эмпирика. Прежние неизменные противоположности и резкие, непреходимые пограничные ли-

ненными, но шарлатанство с силами, против которого боролся Гегель, все еще встречается, как, напр., в Инсбрукской речи Гельмгольца (*Helmholtz, Populäre Vorlesungen, II Heft, 1871, стр. 409*). В противовес унаследованному от французов XVIII века обожествлению Ньютона, которого Англия засыпала почетом и богатством, Гегель утверждал, что Кеплер, которому Германия дала умереть с голоду, является настоящим основателем современной небесной механики, и что Ньютонов закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем даже буквально выражен. То, что Гегель доказывает в своей «*Naturphilosophie*», § 270 и добавления (*Hegel's Werke, 1842, т. 7-й, стр. 98 и 113—115*), несколькими простыми уравнениями, мы находим снова, как результат новейшей математической механики, у Густава Кирхгофа («*Vorlesungen über mathematische Physik*», 2-е изд., 1877, стр. 10), и по существу — в той же, впервые развитой Гегелем, простой математической форме. Натурфилософы относятся к сознательно-диалектическому естествознанию так, как утописты к современному коммунизму.

нии все более и более исчезают. С тех пор, как удалось сжижение последних «постоянных» газов, с тех пор, как доказано, что тело может быть приведено в такое состояние, в котором жидкая и газообразная форма не различимы, — агрегатные состояния потеряли последний остаток своего прежнего абсолютного характера. С установлением того положения кинетической теории газов, согласно которому в совершенных газах квадраты скоростей, с которыми движутся отдельные газовые молекулы, обратно пропорциональны (при равной температуре) молекулярному весу, теплота перешла прямо в разряд непосредственно измеримых, как таковые, форм движения. Если, еще десять лет тому назад, новооткрытый великий основной закон движения понимался лишь как простой закон сохранения энергии, как простое выражение того, что движение не может быть уничтожено или создано, т. е. понимался только с количественной стороны, то это узкое, отрицательное выражение все более вытесняется положительным выражением — теорией превращения энергии, где впервые получает надлежащее признание качественное содержание процесса и устраняется последнее воспоминание о внемировом творце. Что количество движения (так называемой энергии) не изменяется, когда оно из кинетической энергии (так называемой механической силы) превращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию положения и т. д., и обратно, — это теперь не приходится проповедывать как нечто новое; мысль эта служит раз навсегда данной основой более содержательного отныне исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, к пониманию которого сводится все познание природы. И с тех пор, как биология стала разрабатываться при свете эволюционной теории, в области органической природы начали также исчезать одна за другой резкие пограничные линии классификации; с каждым днем умножаются почти не поддающиеся классификации промежуточные звенья, более точное исследование перебрасывает организмы из одного класса в другой, и отличительные признаки, ставшие почти символом веры, теряют свое безусловное значение: мы знаем теперь млекопитающих, кладущих яйца, и если подтвердится известие, то и четвероногих птиц. Если уже много лет назад Вирхов, вследствие открытия клетки, принужден был, — не столько как натуралист и с диалектической точки зрения, сколько как прогрессист, — разложить единство животного индивидуума на федерацию клеточных государств, то понятие животной (а следовательно, и человеческой) индивидуальности становится еще гораздо более сложным после открытия белых кровяных клеток, амёбообразно передвигающихся в организме высших животных. Между тем именно полярные противоположности, считавшиеся непримиримыми и неразрешимыми, именно насильственно установленные неподвижные пограничные линии и отличительные признаки классов, — они-то и придавали современному теоретическому естествознанию его ограниченно-метафизический характер. Признание того, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая

неизменность и абсолютное значение только привнесены в природу нашей рефлексией, — признание этой истины составляет центральный пункт диалектического воззрения на природу. К нему можно притти, будучи вынужденным к этому накапливающимся фактическим материалом естествознания; но его можно легче достигнуть, если навстречу диалектическому характеру естественно-научных фактов нести понимание законов диалектического мышления. Во всяком случае естествознание подвинулось так далеко, что оно не может уже ускользнуть от диалектического обобщения. Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых суммируются данные его опыта, суть понятия, и что искусство оперировать с понятиями не есть что-либо врожденное человеку и не дается обыденным повседневным сознанием, а требует действительной работы мысли, которая тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю, в такой же мере, как эмпирическое естествознание. Усвоивши себе результаты двух с половиной тысячелетнего развития философии, оно избавится, с одной стороны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой — от своего собственного, заимствованного от английского эмпиризма, ограниченного метода мышления.

Лондон, 23 сентября 1885 г.

III

Третье издание, за исключением некоторых очень незначительных стилистических изменений, является воспроизведением предыдущего. Только в одной главе, именно десятой главе II отдела, «Из критической истории», я позволил себе существенные дополнения в силу следующих соображений.

Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, эта глава в существенных своих частях принадлежит Марксу. В первой редакции, предназначенной для журнальной статьи, я вынужден был значительно сократить рукопись Маркса, и как раз в тех местах, где критика дюринговских положений отступает на задний план сравнительно с самостоятельными экскурсами в область истории экономической науки. Между тем эта-то часть рукописи представляет еще в настоящее время величайший и прочный интерес. Я считаю себя обязанным возможно полнее и буквальнее привести те разъяснения, где Маркс отводит таким людям, как Петти, Норт, Локк, Юм, подобающее им место в развитии классической экономики; еще более я считаю нужным воспроизвести данное им разъяснение «экономической таблицы» Кене, этой загадки сфинкса, которая оставалась до сих пор неразрешимой для всей современной экономической науки. Напротив, то, что относилось исключительно к произведе-

ниям г. Дюринга, я, насколько это позволяла общая связь, решил выпустить.

В заключение я могу выразить свое полное удовлетворение по поводу распространения, которое со времени последнего издания получили в научных кругах и среди рабочего класса идеи, отстаиваемые в настоящем сочинении, — получили притом во всех цивилизованных странах мира.

Ф. Энгельс

Лондон, 23 мая 1894 г.

рий, т. е. тех отраслей науки, которые, по вполне понятной причине, занимали у греков классических времен лишь второстепенное место, потому что грекам нужно было раньше накопить необходимый для этого материал. [Только после того, как естественно-научный и исторический материал был накоплен в достаточном количестве, можно было приступить к критическому исследованию, сравнению, разделению на классы, роды и виды. Поэтому] приемы точного исследования природы стали развиваться впервые лишь у греков александрийского периода, а затем в средние века развивались дальше арабами. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины XV века, и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Разложение природы на отдельные части ее, разделение различных явлений и предметов в природе на определенные классы, анатомическое исследование разнообразного внутреннего строения органических тел — все это было основным условием тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось развитие естествознания за последние четыре столетия. Но этот же способ изучения оставил в нас привычку рассматривать предметы и явления природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого — не в движении, а в неподвижном состоянии, не как изменяющиеся существенным образом, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми. Перенесенное Бэконом и Локком из естествознания в философию, это мировоззрение создало характерную ограниченность последних столетий — метафизический способ мышления.

Для метафизика вещи и их мысленные отображения, т. е. понятия, суть отдельные; неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными непосредственными противоположностями; речь его состоит из: «Да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Для него вещь или существует или не существует, предмет не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и действие по отношению друг к другу тоже находятся в неизменной противоположности. Этот способ мышления потому кажется нам на первый взгляд вполне убедительным, что он присущ так называемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в домашнем обиходе, между четырьмя стенами, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится пуститься в далекий путь исследования. Точно так же и метафизический образ мышления, вполне законный и, смотря по характеру предмета, даже необходимый в известных, более или менее обширных областях, рано или поздно достигает тех пределов, за которыми он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием не видит их возникновения и исчезновения, за их покоем не видит их движения, за деревьями не видит леса. Мы, например, в обыденной жизни можем с уверенностью сказать,

существует ли данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, трудности которого прекрасно известны юристам, тщетно пытавшимся открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момента смерти, так как физиология показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающийся процесс. Равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгновение остается тем же самым и все же не тем же самым. В каждое мгновение оно перерабатывает получаемые им извне вещества и выделяет из себя другие вещества, одни клеточки его организма отмирают, другие нарождаются, так что спуска известный период времени вещество данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов. Вот почему каждое органическое существо всегда то же и, однако, не то же. Точно так же, при более точном исследовании, мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности — положительный и отрицательный — так же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что они, несмотря на *всю* противоположность, взаимно проникают друг друга. Мы видим далее, что причина и следствия суть представления, которые имеют значение, как таковые, только в применении к данному отдельному случаю; но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются местами: то, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием, или наоборот.

Все эти явления и методы мышления не вмещаются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, которая берет вещи и их мысленные изображения по существу в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие явления, как вышеприведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный метод. Природа есть подтверждение диалектики, и мы должны быть благодарны современному естествознанию за то, что оно доставило для этого подтверждения необыкновенно богатый и ежедневно накапливающийся материал и тем самым доказало, что дела обстоят в природе в последнем счете диалектически, а не метафизически [что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь следует указать прежде всего на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно также и человек, суть продукты процесса развития, длившегося миллионы лет]. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечислить естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то это противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние

как учителей, так и учеников, как писателей, так и их читателей.

Итак, точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человека, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть приобретено только путем диалектики, только принимая постоянно в соображение общее взаимодействие между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. И в этом именно направлении пошла сразу же новая немецкая философия. Первым научным шагом Канта было превращение солнечной системы Ньютона, неизменной и вечной, — после того, как ей был однажды дан пресловутый первый толчок, — в исторический процесс: в процессе возникновения солнца и всех планет из вращающейся туманной массы. Он уже пришел при этом к тому выводу, что возникновение солнечной системы предполагает и ее будущую неизбежную гибель. Спустя полстолетия, его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще полустолетием позже спектроскоп показал существование во вселенной таких раскаленных газовых масс различных степеней сгущения.

Свое завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, величайшая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и пытался раскрыть взаимную внутреннюю связь этого движения и развития. С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться нелепым клубком бессмысленных насилий, достойных перед лицом философского разума лишь осуждения и скорейшего забвения; она, напротив, представлялась как процесс развития самого человечества, и задача научной мысли свелась к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, разрешила ли система Гегеля поставленную им задачу: его великая заслуга состояла в самой постановке этой задачи. Разрешение ее не может быть делом единичного ума. Хотя Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего времени, но он все-таки был связан как неизбежной ограниченностью своих собственных знаний, так и ограниченностью — в смысле глубины и объема — знаний и взглядов своей эпохи. К этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалистом, т. е. для него мысли нашей головы были не отражениями, более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а, наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то до возникновения мира. Таким образом, все было поставлено на голову, и действительная связь мировых явлений вывернута наизнанку. И хотя Гегель сделал немало верных и гениальных выводов относительно взаимной связи некоторых отдельных явлений, но все же упомянутые нами причины привели к тому, что и в частностях его системы многое оказалось ошибочным, искусственным, натянутым, словом — извращенным. Гегелевская

система как система была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. Она страдала еще неизлечимым внутренним противоречием: с одной стороны, в основе ее лежало убеждение в том, что человеческая история есть процесс развития, ход которого по самой его природе не может найти своего умственного завершения открытием так называемой абсолютной истины, но, с другой стороны, его система претендует быть изложением этой именно абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, что, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать громадные успехи с каждым поколением.

Уразумение того, что господствовавший до тех пор в Германии идеализм совершенно ложен, должно было неизбежно привести к материализму, но, разумеется, не к простому метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно-революционному простому отрицанию всей протекшей истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, причем его задачей является открытие законов движения этого процесса. В противоположность господствовавшему у французов XVIII века и еще у Гегеля представлению о природе, как о всегда равном себе целом, неизменно движущемся в одних и тех же ограниченных кругах с вечными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил о них Линней, современный материализм связывает в одну систему все новейшие успехи естествознания, согласно которым природа тоже имеет свою историю во времени, небесные тела, как и все виды организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возникают и исчезают, и эти движения по кругам, поскольку представление о них вообще допустимо, принимают бесконечно большие размеры. В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и не нуждается в стоящей над прочими науками философии. Когда перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место в общей системе вещей и знаний, какая-либо особая наука об этой общей их связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное значение сохраняет лишь наука о мышлении и его законах, т. е. формальная логика и диалектика, все же остальное входит в положительные науки о природе и истории.

Но между тем как указанный переворот в естественно-научном миросозерцании мог совершиться лишь по мере того, как исследования доставляли соответствующие положительные знания, — уже значительно раньше совершились исторические события, обусловившие собою решительный поворот в понимании истории. В 1831 г. в Лионе произошло первое рабочее восстание; с 1838 по 1842 г. первое национальное рабочее движение, движение английских чартистов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом стала занимать первое место в истории наиболее развитых стран Европы, по мере того как развивались,

с одной стороны, крупная промышленность, а с другой — новобретенное политическое господство буржуазии. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и о всеобщем благополучии народа, которое будто бы должно явиться следствием свободной конкуренции. Невозможно уже было не считаться с этими фактами, равно как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, правда, крайне несовершенным выражением. Но старое, идеалистическое, еще не вытесненное понимание истории не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, как вообще оно не признавало никаких материальных интересов. Производство, как и все экономические отношения, упоминалось лишь между прочим, как второстепенные элементы «истории культуры».

Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что *вся* прежняя история [за исключением первобытного состояния] была историей классовой борьбы, что борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент результатом способов производства и обмена, словом — *экономических* отношений своего времени. Экономический строй общества каждой данной эпохи представляет собою ту реальную основу, свойствами которой объясняется в последнем счете вся надстройка правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских и прочих воззрений каждого данного исторического периода. [Гегель освободил от метафизики понимание истории: он сделал его диалектическим, но его собственный взгляд на нее был идеалистичен по существу. Теперь] идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из области истории, теперь понимание истории стало материалистическим, теперь найден был путь для объяснения человеческого сознания условиями бытия вместо прежнего объяснения бытия человеческим сознанием.

[Поэтому социализм теперь уже не рассматривается как случайное открытие того или другого гениального ума, а как неизбежное следствие борьбы двух исторически возникших классов — пролетариата и буржуазии. Его задача заключается уже не в том, чтобы сконструировать возможно более совершенный общественный строй, а в том, чтобы исследовать историко-экономический процесс, необходимым следствием которого явились названные классы с их взаимной борьбой, и чтобы в экономическом положении, созданном этим процессом, найти средство для разрешения этой борьбы.] Но прежний социализм был так же несовместим с этим материалистическим взглядом на историю, как несовместимы были с диалектикой и с новейшим естествознанием воззрения французских материалистов на природу. Прежний социализм хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не мог объяснить его, а следовательно, не в состоянии был справиться с ним, — он мог лишь объявить его никуда не годным. [Чем сильнее восставал он против неизбежной при этом способе производства эксплуатации рабочего класса, тем менее был он в состоянии на-

глядно объяснить, в чем состоит эта эксплуатация и как она возникает.] Но задача заключалась в том, чтобы, с одной стороны, объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи с определенным историческим периодом, а поэтому и неизбежность его гибели, а с другой — в том, чтобы разоблачить внутренний характер этого способа производства, который все еще не был раскрыт, так как прежняя критика направлялась больше на вредные последствия, чем на самый ход развития капитализма. Это было сделано благодаря открытию *прибавочной стоимости*. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и свойственной ему эксплуатации рабочих; что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она в качестве товара имеет на рынке, он все же извлекает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за нее, и что эта прибавочная стоимость в конце концов и образует ту сумму стоимостей, из которой накапливается в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капиталов. Таким образом, было выяснено происхождение капиталистического способа производства, равно как и производство самого капитала.

Этими двумя великими открытиями — материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости — мы обязаны *Марксу*. Благодаря им социализм стал теперь наукой, которую в дальнейшем нужно лишь разрабатывать во всех ее деталях [и взаимосвязях].

Приблизительно так обстояли дела в области теоретического социализма и покойной ныне философии, когда г. Евгений Дюринг не без громкого шума выскочил на сцену и возвестил о произведенном им полном перевороте в философии, политической экономии и социализме.

Посмотрим же, что обещает нам г. Дюринг и... как он выполняет свои обещания.

II. Что обещает г. Дюринг

Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинения г. Дюринга: «Cursus der Philosophie», «Cursus der National- und Sozialökonomie» и «Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus». Ближайшим образом нас интересует преимущественно первое произведение.

Уже на первой его странице г. Дюринг возвещает о себе, как о «человеке, претендующем на представительство этой силы (философии) для своего времени и для ближайшего будущего». Таким образом, он провозглашает себя единственным истинным философом современности и «ближайшего» будущего. Кто расходится во взглядах с ним, тот расходится с истиной. Многие и прежде г. Дюринга *думали* о себе в таком же роде, но — за исключением Рихарда Ваг-

нера — он, вероятно, первый высказал, не смущаясь, такое лестное мнение о самом себе. При этом истина, о которой у него идет речь, представляется собой «конечную истину в последней инстанции».

Философия г. Дюринга представляет собою «естественную систему или философию действительности... действительность мыслится в ней таким образом, что исключается всякое поползновение к мечтательному и субъективно-ограниченному представлению о мире». Следовательно, эта философия имеет то свойство, что выводит г. Дюринга за границу его собственной субъективной ограниченности, — границу, существования которой он сам не может отрицать. Впрочем, это необходимо, чтобы дать ему возможность установить конечные истины в последней инстанции, хотя мы все еще не знаем, каким образом должно совершиться это чудо.

Эта «естественная система знания, представляющего самостоятельную ценность для духа», «твердо установила основные формы бытия, не жертвуя несколько глубиной мысли». С своей «действительно критической точки зрения» она доставляет элементы действительной философии, ориентирующейся на действительность природы и жизни, — философии, которая не признает никакого видимого лишь горизонта, но *развертывает в своем могучем революционизирующем движении все земли и все небеса внешней и внутренней природы*. Эта система есть «новый метод мышления», и его результаты представляют собой «глубоко своеобразные выводы и воззрения... системосоздающие идеи... твердо установленные истины». В ее лице мы имеем перед собой «труд, который должен черпать свою силу в сосредоточенной инициативе» (что сие значит, трудно понять)... «исследование, проникающее до самых корней... коренную науку... строго научное воззрение на людей и вещи... все проникающую работу мысли... творческий набросок охватываемых мыслью предпосылок и выводов... нечто абсолютно фундаментальное». В политико-экономической области г. Дюринг не только дает нам «обширные исторические и систематические труды», — из которых исторические отличаются вдобавок «моим историческим описанием в высоком стиле» и которые внесли в экономическую науку «творческие изменения», — но и заканчивает собственным, вполне разработанным социалистическим планом будущего общества, который является «практическим плодом ясной и до последних корней проникающей теории», а потому столь же непогрешим и единоспасителен, как и дюрингова философия; ибо *только в том социалистическом обществе, которое я охарактеризовал в моем «Курсе национальной и социальной экономики», истинно «собственное» может занять место кажущейся и только временной или же насильственной собственности*. И с этим должно сообразоваться будущее.

Этот букет восхвалений г. Дюринга самим же г. Дюрингом легко мог бы быть увеличен в десять раз. Приведенного, впрочем, достаточно, чтобы уже теперь возбудить в читателе некоторые сомнения, действительно ли он имеет дело с философом, или же с... мы должны, однако, просить читателя отложить свой приговор до ближайшего ознакомления с проникающими в корень творениями г. Дюринга.

Мы хотели только показать цитированными выше местами, что имеем дело не с обыкновенным философом и социалистом, который просто выражает свои мысли и предоставляет истории решить вопрос об их ценности, но с существом совершенно необыкновенным, претендующим на папскую непогрешимость, — человеком, единосопадающее учение которого приходится просто-на-просто принять, если не желаешь впасть в преступную ересь. Таким образом, мы отнюдь не имеем здесь дело с одной из тех работ, которыми изобилует социалистическая литература всех стран, в последнее время и немецкая, — работ, где люди самого различного калибра искреннейшим образом стараются выяснить себе вопросы, ответить на которые у них, быть может, в большей или меньшей степени нехватает материала; при всех их научных и литературных недостатках в них заслуживает признательности уже наличность социалистических добрых намерений. Напротив, г. Дюринг преподносит нам положения, которые он провозглашает «конечными истинами в последней инстанции», рядом с которыми всякое иное мнение объявляется, таким образом, уже заранее ложным. Обладатель исключительной истины, г. Дюринг обладает также единственным строго научным методом исследования, рядом с которым все другие методы ненаучны. Либо он прав, и тогда перед нами величайший гений всех времен, первый сверхчеловек, ибо непогрешимый человек; либо он неправ, и в таком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благожелательная снисходительность к нему, во внимание к его возможным добрым намерениям, была бы все-таки смертельнейшим оскорблением для г. Дюринга.

Когда обладаешь конечной истиной в последней инстанции и единственно строгой научностью, то, само собой разумеется, приходится питать изрядное презрение к прочему заблуждающемуся и ненаучному человечеству. Нас не может поэтому удивлять, что г. Дюринг выражается о своих предшественниках с крайним пренебрежением и что лишь немногие великие люди, признаваемые им самим в виде исключения, находят пощаду перед его судом.

Послушаем сначала его мнение о философах: «Беспринципный Лейбниц, этот лучший из всех возможных придворных дилетантов философии». Кант еще с грехом пополам может быть терпим, но после него все пошло вверх дном; появилась «распушенность и столь же нелепый, сколько пустой вздор ближайших эпигонов, в особенности таких господ, как Фихте и Шеллинг... чудовищные карикатуры невежественного натурфилософствования... после-кантовские чудовищности» и «горячечный бред», которые увенчал «какой-нибудь Гегель». Этот последний говорил на «гегелевском жаргоне» и распространил «гегелевскую заразу» посредством своей «вдобавок еще и по форме ненаучной манеры» и своих «неудобоваримых идей».

Естествоиспытателям достается не меньше, но по имени назван из них только Дарвин, и потому мы принуждены ограничиться им одним: «Дарвинистская полупоэзия и фокусы с метаморфозами, с их грубо чувственной узостью понимания и притупленной способностью различения... По нашему мнению, специфический дарви-

низм, из которого, разумеется, следует исключить построения Ламарка, представляет собой *порядочное скотство, направленное против человечности*.

Но хуже всего достается социалистам. За исключением разве только Луи Блана, самого незначительного из всех, все они грешники и не заслуживают славы, которой пользовались до г. Дюринга, и это не только с точки зрения истины или научности, но и по своему личному характеру. За исключением Бабефа и некоторых коммунаров 1871 г., они не были «мужами». Три известных утописта окрещены «социальными алхимиками». Из них Сен-Симон третируется еще мягко, поскольку ему делается только упрек в «экзальтированности», причем с соболезнованием отмечается, что он страдал религиозным помешательством. Зато, когда речь идет о Фурье, то г. Дюринг выходит совсем из терпения, ибо Фурье «обнаружил все элементы безумия... идеи, которые, кроме него, скорее всего можно найти в психиатрических больницах... самые дикие бредни... продукты безумия... Невыразимо нелепый Фурье», эта «детская головка», этот «идиот», вдобавок не может быть даже назван социалистом; его фаланстер отнюдь не заключает в себе некоторой доли рационального социализма, это — «уродливое построение по обычному торговому шаблону». И, наконец: «для кого этих отзывов (Фурье о Ньюtone)... недостаточно, чтобы убедиться, что в имени Фурье и во всем фурьеризме истинного только и есть, что первый слог (fou — сумасшедший), тот сам может быть зачислен в какую-либо категорию идиотов». Наконец, Роберт Оуэн «имел тусклые и скудные идеи... его столь грубое в области морали мышление... несколько доведенных до чудачества общих мест... противоречащий здравому смыслу и грубый способ понимания... ход идей Оуэна едва заслуживает серьезной критики...его тщеславие» и т.д. Если, таким образом, г. Дюринг в высшей степени остроумно характеризует утопистов по их именам: Сен-Симон — блаженный (saint), Фурье — сумасшедший (fou), Анфантен — ребяческий (enfantin), то остается только прибавить: Оуэн — увы (o weh!), — и целый значительный период истории социализма попросту разгромлен в четырех словах. А ежели кто в этом сомневается, то он «может быть сам зачислен в какую-нибудь категорию идиотов».

Из суждений Дюринга о позднейших социалистах мы, краткости ради, извлечем только относящиеся к Лассалю и Марксу.

Лассаль: «Педантически вымученные попытки популяризации... бьющая через край схоластика... чудовищная смесь общей теории и мелких пустяков... бессмысленное и бесформенное гегелианское суеверие, устрашающий пример... свойственная ему ограниченность... важничанье самым безразличным хламом... наш еврейский герой... памфлетный писака... заурядный... внутренняя дряблость воззрений на жизнь и мир».

Маркс: «Узость взглядов... его труды и произведения сами по себе, т. е. рассматриваемые чисто теоретически, не имеют прочного значения для нашей области (критической истории социализма), а в общей истории умственных течений должны быть упомянуты

разве только как симптомы влияния одной отрасли новейшей сектантской схоластики... бессилие концентрирующих и систематизирующих способностей... бесформенность идей и стиля, лишенные достоинства аллюры языка, англизированное тщеславие... морочение... дикие концепции, в действительности представляющие собой убожества исторической и логической фантастики... обманчивый оборот... личное тщеславие... презрительная манера... претендующие на остроумие шуточки... китайская ученость... философская и научная отсталость».

И так далее, и так далее, ибо все приведенное выше — лишь небольшой, наскоро собранный букет из дюринговского цветника. Само собой разумеется, что в данный момент мы не касаемся того, насколько эти любезные ругательства, — которые, при некоторой воспитанности г. Дюринга, должны бы не позволить ему находить *что бы то ни было* «презрительным», — являются конечными истинами в последней инстанции. Точно так же мы остережемся выразить пока какое-либо сомнение в их коренной основательности, так как в противном случае нам, быть может, запретили бы даже выбрать ту категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Мы лишь сочли своим долгом, с одной стороны, дать пример того, что г. Дюринг называет «образцами деликатного и истинно скромного способа выражения», а с другой — констатировать, что для г. Дюринга негодность его предшественников есть нечто столь же твердо установленное, как его собственная непогрешимость. Засим, мы в глубочайшем почтении немеем перед этим величайшим гением всех времен... если, конечно, все это обстоит именно так.

III. Подразделение. Априоризм

Философия, по Дюрингу, есть развитие высшей формы сознания мира и жизни и обнимает в более широком смысле *принципы* всякого знания и хотения. Везде, где только человеческое сознание имеет дело с рядом результатов познания или стимулов, или же с какой-нибудь группой форм существования, — *принципы* всего этого должны быть предметом философии. Эти принципы суть простейшие — или предполагаемые до сих пор простейшими — элементы, из которых может быть составлен многообразный мир знания и воли. Подобно химическому составу тел, общее устройство вещей также может быть сведено к основным формам и основным элементам. Эти последние составные элементы или принципы, будучи раз найдены, имеют значение не только для непосредственно известного и доступного нам мира, но и для мира, нам неизвестного и недоступного. Таким образом, философские принципы составляют последнее дополнение, в котором нуждаются отдельные науки, чтобы образовать единую систему объяснения природы и человеческой жизни. Кроме основных форм всего существующего, философия имеет только два настоящих объекта исследования: природу и человеческий мир. Таким образом, для расположения нашего материала *совершенно непринужденно* получаются три группы: всеобщая мировая схематика, учение о принципах природы и, наконец, учение о человеке. В этой серии заключается в то же время известный *внутренний логический порядок*, ибо формальные положения, имеющие силу для всего сущего, идут впереди, а конкретные области, к которым эти положения должны *применяться*, следуют за ними в порядке их подчиненности. Таково мнение г. Дюринга, приведенное почти дословно.

Стало быть, речь у него идет о *принципах*, о выведенных из мышления, а не из внешнего мира, формальных основных положениях, которые должны применяться к природе и человечеству, с которыми должны, следовательно, соотноситься природа и человек. Но откуда берет мышление эти принципы? Из себя самого? Нет, ибо сам г. Дюринг говорит: сфера чисто идеального ограничивается логическими схемами и математическими образами (последнее, как мы увидим, вдобавок неверно). Но ведь логические схемы могут быть

отнесены только к формам мышления, здесь же речь идет только о формах бытия, о внешнем мире, а эти формы бытия мышление никогда не может почерпнуть и выводить из себя самого, а только из внешнего мира. Раз так, то все отношение приходится перевернуть: принципы не исходный пункт исследования, а его заключительный результат; эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа, не человечество соотнобразуются с принципами, а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет, а противоположный взгляд Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей, из существовавших где-то до сотворения мира схем, призраков, или категорий, совсем так, как это делает «какой-нибудь Гегель».

Действительно, сопоставим Энциклопедию Гегеля и весь ее «горячечный бред» с конечными истинами последней инстанции г. Дюринга. У г. Дюринга мы имеем, во-первых, всеобщую мировую схематику, которая у Гегеля носит название *логики*; затем мы имеем у обоих применение этих схем или логических категорий к природе: натурфилософию, наконец, применение их к человечеству, или то, что Гегель называет философией духа. Таким образом «внутренний логический порядок» дюрингова ряда приводит нас «совершенно непринужденно» обратно к Энциклопедии Гегеля, откуда он заимствован с верностью, которая должна до слез тронуть Вечного Жида гегелевской школы, проф. Мишле в Берлине.

Так бывает всегда, когда «сознание», «мышление», принимаются вполне натуралистически, как нечто данное, заранее противопоставляемое бытию, природе. В таком случае не может не показаться чрезвычайно замечательным то обстоятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мысли и законы природы до такой степени согласуются между собой. Но если далее поставить вопрос, что такое мышление и познание, откуда они берутся, то мы увидим, что они — продукты человеческого мозга и что сам человек — продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместе с ней. Само собой разумеется в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей.

Но г. Дюринг не может позволить себе такого простого трактования предмета: он, ведь, мыслит не только от имени человечества, что уже само по себе было бы весьма порядочным достижением, а от имени сознательных и мыслящих существ всех небесных тел. В самом деле, «было бы принижением основных форм сознания и знания, если бы мы захотели отвергнуть или даже только заподозрить их суверенное значение и безусловное право на истинность, придав им эпитет человеческих». Таким образом, дабы не явилось подозрение, что на какой-нибудь планете дважды два составляют пять, г. Дюринг не может определить мышление эпитетом «человеческого»

и вынужден поэтому отделить его от единственной реальной основы, на которой мы его встречаем, т. е. от человека и природы. Вследствие этого г. Дюринг безнадежно попадает во власть идеологии, превращающей его в эпитгона того самого Гегеля, которого он пренебрежительно называет «эпитгоном». Прибавим, что нам еще часто придется приветствовать г. Дюринга на других небесных телах.

Само собою понятно, что на такой идеологической основе невозможно построить никакого материалистического учения. Мы увидим впоследствии, что г. Дюринг вынужден неоднократно приписывать природе сознательный образ действий, т. е., попросту говоря, ввести в свои рассуждения идею бога.

Впрочем, у нашего философа действительности были еще и другие мотивы к тому, чтобы основу всей действительности перенести из мира действительного в мир идей. Ведь наука об этой всеобщей мировой схематике, об этих формальных принципах бытия, ведь именно она и составляет основу философии Дюринга. Если схему мира выводить не из своей головы, а только *при помощи* головы из действительного мира, если принципы бытия выводить из того, что есть, то для этого нам нужна не философия, а положительное знание о мире и о том, что в нем происходит; то, что получается в результате такой работы, также не есть философия, а положительная наука. Но в таком случае весь том сочинений г. Дюринга оказался бы не более как зря потраченным трудом.

Далее, если не нужно больше философии, как таковой, то не нужно и систем, даже и естественной системы философии. Убеждение, что все явления природы находятся в систематической взаимной связи, побуждает науку разыскивать эту систематическую связь повсюду, и в частностях и в целом. Но адекватное, вполне исчерпывающее научное изображение этой связи, образование точной идеальной копии той мировой системы, в которой мы живем, остается как для нас, так и для всех грядущих поколений делом невозможным. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была построена подобная окончательная система, объемлющая все взаимоотношения мировых явлений, как физических, так и духовных и исторических, то тем самым область человеческого познания была бы закончена и всякое дальнейшее историческое развитие приостановилось бы с того момента, как общество организовалось бы в соответствии с этой системой, — что было бы абсурдом, чистой бессмыслицей. Таким образом, люди оказываются стоящими перед противоречием: с одной стороны, перед ними задача — познать исчерпывающим образом систему мира в ее общей связи, а с другой стороны, их собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-либо вполне разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов, мира и людей, оно является также главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается также и разрешается и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества, — совершенно так, как, например, известные математические задачи находят свое решение в бесконечном ряде или непрерывной дроби.

Фактически каждое идеальное отражение системы мира остается ограниченным, объективно — историческими условиями, субъективно — физической и духовной организацией его автора. Но г. Дюринг заранее объявляет свой метод мышления таким, который исключает всякое поползновение к субъективно-ограниченному представлению о мире. Мы уже видели раньше, что г. Дюринг вездесущ, присутствуя на всевозможных небесных телах. Теперь мы видим также, что он и всеведущ. Он разрешил последние задачи науки и, таким образом, навсегда уничтожил возможность дальнейшего развития всякой науки.

Подобно основным формам бытия, г. Дюринг считает также возможным вывести и всю чистую математику априорно, т. е. без пользования опытом, который доставляется нам внешним миром, вывести ее из головы. В чистой математике разум должен оперировать «над продуктами своего собственного творчества и воображения»; понятия числа и фигуры представляют «достаточный для нее объект, который может создаваться ею самой», и потому она имеет «значение, независимое от особого опыта и реального содержания мира».

Что чистая математика имеет значение независимое от особого опыта каждой отдельной личности, это, конечно, верно, но то же можно сказать обо всех твердо установленных фактах любой науки и даже вообще о всяких фактах. Магнитная полярность, состав воды из водорода и кислорода, тот факт, что Гегель умер, а г. Дюринг жив, — все это имеет значение независимо от моего опыта или опыта других отдельных личностей, даже независимо от опыта г. Дюринга, когда последний спит сном праведника. Но совершенно неверно, будто в чистой математике разум оперирует только над продуктами собственного творчества и воображения. Понятия числа и фигуры взяты исключительно из реального мира. Десять пальцев, на которых люди научились считать, т. е. производить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже способностью отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств, кроме числа, а эта способность есть результат долгого исторического развития и опыта. Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенную форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было прийти до понятий фигуры. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения реального мира, стало быть — весьма реальный материал. То обстоятельство, что этот материал является в чрезвычайно абстрактной форме, может скрыть его происхождение из внешнего мира лишь для поверхностного взгляда. Но чтобы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от их содержания, оставить это последнее в стороне, как нечто без-

различное; таким путем мы получим точки, лишённые измерений, линий, не имеющие толщин и ширин, разные a и b , x и y , постоянные и переменные величины, и только в самом конце мы доходим до продуктов свободного творчества и воображения самого разума, а именно — до мнимых величин. Точно так же кажущееся априорным выведение математических величин друг из друга доказывает не их априорное происхождение, а только их рациональную взаимную связь. Прежде чем притти к мысли вывести *форму* цилиндра из вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон, нужно было исследовать некоторое количество реальных прямоугольников и цилиндров, хотя бы и в очень несовершенных формах. Как и все другие науки, математика возникла из *потребностей* человека: из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счисления времени и механики. Но как и во всех других областях мышления, абстрагированные от реального мира законы на известной степени развития отделяются от реального мира, противопоставляются ему, как нечто самостоятельное, как извне явившиеся законы, с которыми мир должен сообразоваться. Так происходило дело с обществом и государством; так же точно *чистая* математика *применяется* впоследствии к миру, хотя она заимствована из этого самого мира и отражает лишь часть его составных форм — и именно *только поэтому* может вообще применяться.

Подобно тому как г. Дюринг воображает, что из математических аксиом, — «которые и чисто логически не допускают обоснования и не нуждаются в нем», — можно, не прибегая к какому бы то ни было опыту, вывести всю чистую математику и эту последнюю применить затем к миру, так он воображает, что можно сначала создать из головы основные формы бытия, простые составные элементы всякого знания, аксиомы философии, из них вывести всю философию, или мировую схематику, и затем высочайше даровать эту свою конституцию природе и человечеству. К сожалению, природа вовсе не состоит, а человечество состоит лишь в самой ничтожной части из мантейфелевской Пруссии 1850 г. ¹.

Математические аксиомы выражают крайне скудное идейное содержание, которое математика принуждена заимствовать у логики. Их все можно свести к двум:

1. Целое больше своей части. Это положение является чистой тавтологией, ибо взятое в количественном смысле представление «часть» заранее имеет определенное отношение к представлению «целое», а именно, «часть» означает, — это ясно без дальнейших объяснений, — что количественное «целое» состоит из нескольких количественных «частей». Так как упомянутая аксиома лишь определенно констатирует этот факт, то мы не подвинулись ни на шаг вперед. Эту тавтологию можно даже до известной степени *доказать*

¹ Энгельс иронически намекает здесь на прусскую конституцию, которая была «дарована» свыше королем Фридрихом Вильгельмом IV после контрреволюционного государственного переворота и в составлении которой принял участие реакционный министр Мантейфель. *Ред.*

следующим образом: целое есть то, что состоит из нескольких частей; часть есть нечто такое, что, будучи взято несколько раз, составляет целое; следовательно, часть меньше целого, — причем пустота содержания еще резче подчеркивается пустым повторением.

2. Если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. Как уже доказал Гегель, это положение представляет заключение, за правильность которого ручается логика, которое, стало быть, доказано, хотя и вне сферы чистой математики. Прочие аксиомы о равенстве и неравенстве представляют только логическое развитие этого заключения.

С этими тощими положениями ни в математике, ни где-либо вообще далеко не уедешь. Чтобы подвинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения, отношения и пространственные формы, взятые из реальных тел. Представления о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шарах и т. д. — все заимствованы из действительности, и нужна изрядная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве, первая поверхность — от движения линии, первое тело — от движения поверхности и т. д. Уже язык восстает против этого. Математическая фигура о трех измерениях называется телом, *corpus solidum*, следовательно, полатыни — даже осязаемым телом, и, таким образом, она носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения разума, а из грубой действительности.

Но к чему все эти длинные рассуждения? После того, как г. Дюринг на стр. 42—43 с энтузиазмом воспел независимость чистой математики от эмпирического мира, ее априорности, ее оперирование продуктами свободного творчества и воображаемыми образами самого разума, он заявляет на стр. 63: «Некоторые легко упускают из виду, что эти математические элементы» (число, величина, время, пространство и геометрическое движение) *идеальны только по своей форме...* Абсолютные величины поэтому представляют нечто вполне *эмпирическое*, все равно, к какой бы категории они ни относились... но «математические схемы в отличие от механических допускают *изолированную* от опыта и тем не менее достаточную характеристику», — что, заметим, более или менее применимо ко *всякой* абстракции, но вовсе не доказывает, что последняя не абстрагирована от действительности. Итак, в мировой схематике чистая математика возникла из чистого мышления, в натурфилософии же она есть нечто вполне эмпирическое, взятое из внешнего мира и потом *изолированное*. Кому же мы должны верить?

IV. Мировая схематика

«Всеобъемлющее бытие *единственно*. Будучи самодовлеющим, оно не допускает ничего подле себя или над собой. Поставить рядом с ним другое бытие значило бы сделать его тем, чем оно не может быть, а именно — сделать его частью или составным элементом бо-

лее обширного целого. Поскольку мы, словно в раму, вставляем внешний мир в нашу *единую* мысль, постольку ничто из того, что должно войти в это мысленное единство, не может сохранить за собой двойственность. Но ничто не может остаться также вне этого мысленного единства. Сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в единство... Именно благодаря объединяющей способности мышления возникает *неделимое понятие мира*, и вселенная, как показывает уже само слово (*Universum*), признается чем-то таким, в чем все объединено в одно *единство*.

Так говорит г. Дюринг. Математический метод, согласно которому «всякий вопрос должен быть решаем *аксиоматически* на простых основных формах, как если бы дело шло о простых... положениях математики», — этот метод здесь применен впервые.

«Всеобъемлющее бытие единственно». Если тавтология, т. е. простое повторение в сказуемом того, что уже было высказано в подлежащем, представляет аксиому, то мы имеем здесь перед собой аксиому чистейшей воды. В подлежащем г. Дюринг говорит нам, что бытие охватывает все, а в сказуемом он бесстрашно утверждает, что в таком случае ничто не существует вне его. Какая колоссальная «системосоздающая идея»!

В самом деле, создающая систему. Не успели мы прочесть и шести строк дальше, как г. Дюринг *единственность* (*Einzigkeit*) бытия превращает через посредство нашей единой мысли в его *единство* (*Einheit*). Так как сущность всякого мышления заключается в объединении в нечто единое, то бытие, как только оно мыслится, мыслится единым, понятие о мире мыслится неделимым, и на том основании, что *мыслимое бытие, понятие о мире, едино, бытие действительное, действительный мир также составляет неделимое единство*. Таким образом, «как только ум научается охватывать бытие в его однородной универсальности, для потусторонностей нет больше места».

Перед нами военный поход, в сравнении с которым Аустерлиц и Иена, Кениггрец и Седан совершенно ступеньваются. В каких-нибудь двух, трех положениях, через какую-нибудь страницу после того, как мы мобилизовали первую аксиому, мы уже отменили, устранили, уничтожили все потустороннее: бога, небесное воинство, небеса, ад и чистилище, вместе с бессмертием души.

Каким образом мы от единственности бытия приходим к его единству? Очень просто: тем, что мы вообще представляем его себе. Едва мы, словно рамой, охватили единственное бытие своей единой мыслью, оно становится в мысли единым, неким идеальным единством, ибо сущность *всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в одно единство*.

Последнее положение просто неверно. Во-первых, мышление состоит столько же в разложении объектов сознания на их элементы, сколько в объединении родственных элементов в единство. Без анализа не бывает синтеза. Во-вторых, мысль, не желающая делать грубых промахов, может связать элементы сознания в единство лишь в том случае, если в них, или в их реальных прообразах, это единство

уже существовало наперед. Если я зачислю в единую категорию с млекопитающими сапожную щетку, — от этого у нее не вырастут молочные железы. Таким образом, единство бытия, т. е. оправдание воззрения на бытие, как на нечто единое, остается попрежнему тем, что требовалось доказать, и если г. Дюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не двойственным, например, то он этим высказывает лишь свое личное, ни для кого не обязательное мнение.

Если бы мы пожелали представить ход его идей в чистом виде, то он был бы таков: «Я начинаю с бытия. Итак, я мыслю себе бытие. Идея бытия едина. Но мышление и бытие должны согласоваться, они соответствуют друг другу, они «взаимно покрываются». Следовательно, бытие в действительности также едино, следовательно — не существует ничего потустороннего». Но если бы г. Дюринг говорил так откровенно вместо того чтобы давать нам вышеприведенные оракульские изречения, то его идеология была бы очевидна. Пытаться доказать реальность какого-либо продукта мышления из тождества мышления и бытия, — ведь именно это было одной из самых безумных горячечных фантазий «какого-нибудь» Гегеля.

Если бы даже вся аргументация г. Дюринга была правильна, то и тогда он не отвоевал бы ни пяди земли у спиритуалистов. Последние ответят ему коротко: мир и для нас неразложим; распадение мира на земной и потусторонний существует только для нашей специфически земной, отягченной первородным грехом, точки зрения; само по себе, т. е. в боге, все бытие едино. И они последуют за г. Дюрингом на его излюбленные другие небесные светила и покажут ему одно или несколько светил, где не было грехопадения, где, стало быть, нет такой противоположности между посюсторонним и потусторонним миром, и где единство мира является логматом веры.

Самое комичное во всем этом то, что г. Дюринг, желая доказать на основании понятия бытия, что бога нет, применяет известное онтологическое доказательство бытия божия. Последнее гласит: когда мы мыслим бога, то мы мыслим его как совокупность всех совершенств. Но к этим совершенствам принадлежит прежде всего реальное бытие, ибо существо, не имеющее реального бытия, по необходимости несовершенно. Стало быть, мы в число совершенств бога должны включить и реальное бытие. Следовательно, бог непременно существует. Точь-в-точь так рассуждает г. Дюринг: когда мы мыслим себе бытие, мы мыслим его как одно понятие. То, что охватывается одним понятием, само едино. Таким образом, бытие не отвечало бы своему понятию, если бы оно не было едино. Следовательно, оно должно быть единым; следовательно, бога нет, и т. д.

Если мы говорим о *бытии*, и только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, *суть*, что они существуют. Только в единстве этого существования — а не в каком-либо другом — они объединяются мыслью, и общее утверждение, что все они *существуют*, не только не может придать им никаких иных общих или необщих свойств, но и временно исклю-

чают из рассмотрения все такие свойства. Ибо, как только мы от простого основного факта, что всем этим вещам обще бытие, удалимся хотя бы на миллиметр, тотчас же перед нашим взором начинают выступать различия в этих вещах, и состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие черны, одни одушевлены, другие неодушевлены, одни принадлежат, скажем, к миру земному, а другие к потустороннему, — обо всем этом мы не можем заключать только на основании того, что им всем равномерно приписывается одно лишь свойство бытия.

Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания.

Будем читать дальше. *Бытие*, о котором с нами беседует г. Дюринг, не есть «то чистое бытие, которое, будучи самому себе равным, не должно иметь никаких особых определений и в действительности представляет собой лишь коррелятив мысленного ничто (Gedankennichts) или отсутствия мысли». Однако мы очень скоро увидим, что мир г. Дюринга действительно начинается с бытия, которое лишено всякой внутренней дифференцированности, всякого движения и изменения и, следовательно, фактически является именно коррелятивом мысленного ничто, стало быть, представляет действительное ничто. Лишь из этого *бытия-ничто* развивается теперешнее дифференцированное, изменчивое состояние мира, представляющее собою развитие, становление, и лишь после того, как мы это поняли, мы получаем возможность, несмотря на это вечное превращение, «установить самому себе равное понятие универсального бытия». Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на высшей ступени, на которой оно заключает в себе и постоянство и изменение, и бытие и становление. Дойдя до этого пункта, мы находим, что «род и вид, вообще общее и частное, являются простейшими средствами различения, без которых нельзя понять устройства вещей». Но все это только средства различения *качества*; рассмотрев их, мы идем дальше: «противоположность родам составляет понятие величины, как того однородного, в чем уже нет больше никаких видовых различий», т. е. от *качества* мы переходим к *количеству*, а последнее всегда *«измеримо»*.

Сравним же теперь «эти строго очерченные схемы, имеющие всеобщее применение», и их «истинно критическую точку зрения» с неудобоваримыми идеями, дикостями и горячечным бредом какого-нибудь Гегеля. Мы найдем, что гегелевская логика начинает с *бытия* (das Sein), как и г. Дюринг; что бытие оказывается тем же *ничто*, как и у г. Дюринга; что от этого *бытия-ничто* переходят к *становлению*, результатом которого является определенное бытие (Dasein), т. е. более высокая, более содержательная форма бытия — совсем как у г. Дюринга. Определенное бытие приводит к *качеству*,

качество — к количеству, совсем как у г. Дюринга. И чтобы не было недостатка ни в одном важном элементе сходства, г. Дюринг рассказывает нам по другому поводу: «Переход из сферы нечувствительности в сферу ощущения совершается, несмотря на всю количественную постепенность, только посредством *качественного скачка*, о котором мы... можем утверждать, что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же свойства». Это как раз и есть гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественный подъем или убыль производят в определенных узловых пунктах *качественный скачок*, например при нагревании или охлаждении воды, где точка кипения и точка замерзания являются теми узловыми пунктами, в которых (при нормальном давлении) совершается скачок в новое агрегатное состояние, где, стало быть, количество переходит в качество.

Наше исследование также пыталось дойти до корня вещей, и в корне проникающих в корень дюринговых основных схем оно находит — «горячечные фантазии» какого-нибудь Гегеля, находит категории гегелевской Логики (часть I, учение о бытии), в строгой старо-гегелевской «последовательности» и почти без всякой попытки замаскировать плагиат!

Но, не довольствуясь тем, что он заимствовал у своего им же оклеветанного предшественника всю его схематику бытия, г. Дюринг, дав вышеприведенный пример скачкообразного перехода количества в качество, преспокойно заявляет о Марксе: «Как комична покажется, например, ссылка (Маркса) на гегелевское *путаное и туманное представление*, что количество превращается в качество». Путаное, туманное представление! Кто здесь превращается и кто здесь комичен, г. Дюринг?

Таким образом, все эти прекрасные вещицы не только не «решены аксиоматически», как предписано, но просто привнесены извне, т. е. из Логики Гегеля. Да еще так, что во всей главе нет даже тени внутренней связи, поскольку она не заимствована у Гегеля, и все в конце концов сводится к бессодержательному мудрствованию о пространстве и времени, о постоянстве и изменчивости.

От бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь он рассматривает рефлексивные определения, их внутренние противоположности и противоречия, — например, положительное и отрицательное. — затем переходит к *причинности*, или к отношению причины и следствия, и заканчивает *необходимостью*. То же мы видим и у г. Дюринга. То, что Гегель называет учением о сущности, г. Дюринг переименовывает в «логические свойства бытия», последние же заключаются прежде всего в «антагонизме сил», в *противоположностях*. Напротив, противоречие г. Дюринг радикально отрицает; к этому вопросу мы еще вернемся. Далее он переходит к причинности, а от нее к необходимости. Если, следовательно, г. Дюринг говорит о себе: «мы, которые не философствуем *из клетки*», то, конечно, это надо понимать так, что он философствует в клетке, а именно — в клетке гегелевского схематизма категорий.

V. Философия природы. Время и пространство

Перейдем теперь к философии природы. Здесь г. Дюринг опять имеет полное основание быть недовольным своими предшественниками. Философия природы «пала так низко, что превратилась в пустую лже-поэзию, покоящуюся на невежестве», и «стала уделом протитупированного философствования разных Шеллингов и ему подобных господ, изображающих из себя жрецов абсолюта и мистифицирующих публику». Усталость от бессмыслицы спасла нас наконец от этих «уродств», но на место натурфилософов явились некоторые естествоиспытатели, поражающие своей «беспринципностью»; «что же касается широкой публики, то, как известно, для нее уход более крупного шарлатана часто дает повод более мелкому, но более практичному преемнику повторять сказанное первым, только под другой вывеской». Сами естествоиспытатели проявляют некоторую «склонность к экскурсиям в царство мирообъемлющих идей» и потому высказывают в области теории только «бессистемные скороспелые выводы». Одним словом, здесь настоятельно необходима помощь, и, к счастью, г. Дюринг стоит во всеоружии на своем посту.

Чтобы правильно оценить следующие за сим откровения о развитии мира во времени и его ограниченности в пространстве, мы должны вернуться вновь к некоторым местам «мировой схематики».

Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем (Энциклопедия, § 93), приписывается бесконечность, — то, что Гегель именует *дурной* или ложной бесконечностью, — которая затем исследуется.

«Наиболее отчетливым образом бесконечности, мыслимой без противоречий, является неограниченное накопление чисел в числовом ряде... Подобно тому, как мы к каждому числу можем прибавить еще одну единицу, не исчерпывая никогда возможности дальнейшего счета, так и к каждому состоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неограниченном созидании этих состояний и заключается бесконечность. Эта *точно мыслимая бесконечность* имеет поэтому лишь одну основную форму и одно направление. Ибо если для нашего мышления и безразлично, представить ли накопление изменяющихся состояний в одном или противоположном направлении, то все же представление о такой идущей назад бесконечности может быть только результатом слишком поспешного мышления. В самом деле, так как эта бесконечность должна была бы в действительности быть пройденной в обратном направлении, то в каждом отдельном своем состоянии она имела бы позади себя бесконечный ряд чисел. Но тогда мы получили бы недопустимое противоречие сосчитанного бесконечного ряда чисел; таким образом, предположить еще второе направление бесконечности оказывается бессмысленным».

Первое следствие, которое выводится из этого воззрения на бесконечность, состоит в том, что сцепление причин и следствий в мире должно было иметь некогда свое начало: «бесконечное число причин, уже примкнувших одна к другой, немислимо уже потому, что оно предполагает *бесчисленность сосчитанной*». Стало быть, доказано существование *конечной причины*.

Вторым следствием является закон определенного количества: накопление тождественных элементов какого-либо реального рода самостоятельных предметов мыслимо только в виде образования определенного числа. Определенным должно быть в каждый данный момент не только наличное число небесных тел, но и совокупность всех существующих в мире малейших самостоятельных частиц материи. Эта последняя необходимость есть истинное основание, почему ни одно соединение не может быть представлено без атомов. Всякая реальная разделенность всегда обладает конечной определенностью и должна ею обладать, ибо иначе получилось бы противоречие сосчитанной бесчисленности. По той же причине не только должно быть определенным число сделанных уже землей оборотов вокруг солнца, хотя его и нельзя указать, но и все периодические естественные процессы должны были иметь какое-нибудь начало в прошлом; всякая дифференциация, все следующие друг за другом многообразия природы должны корениться в некотором, *самому себе равном состоянии*. Такое состояние может без противоречия мыслиться существовавшим от века, но и это представление было бы невозможно, если бы время само в себе состояло из реальных частей, а не делилось, напротив, только произвольно нашим разумом, путем идеального полагания возможностей. Иначе обстоит дело с реальным и внутренне неоднородным содержанием времени; это действительное заполнение времени неодинаковыми фактами и формы существования этой области принадлежат, именно благодаря своей различности, к категории исчислимого. Если мы представим себе такое состояние, которое не знает изменений и в своем саморавенстве не представляет никаких различий в следовании, то более специальное понятие времени превратится в более общую идею бытия. Что должно означать накопление лишенной содержания длительности, этого нельзя себе даже представить — Таковы рассуждения г. Дюринга, который не мало кичится важностью своих открытий. Сначала он выражает только надежду, что их «признают, по меньшей мере, не маловажной истиной», но дальше мы читаем у него: «напомним о тех *крайне простых* приемах, посредством которых мы доставили понятиям бесконечности и их критике значение *доселе неведомое*... столь *простые* элементы универсального понимания пространства и времени, выработанные современным углубленным и более острым исследованием».

Мы доставили! Современное углубленное и более острое исследование! Кто же эти мы, и когда разыгрывается эта современность? Кто углубил и дал более острый анализ?

«Тезис. Мир имеет начало во времени и ограничен так же в пространстве. — Доказательство. В самом деле, если мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени протекла вечность и, следовательно, протек бесконечный ряд следующих друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший ряд в мире невозможен; значит, начало мира есть

необходимое условие его существования, что и требовалось доказать в первой части тезиса. Что касается второй половины тезиса, допустим опять противоположное утверждение, что мир есть бесконечное данное целое из одновременно существующих вещей. Но величину такого количества, которое не дано в известных границах какого бы то ни было наглядного представления, мы можем представить не иначе, как только посредством синтеза частей, и целостность такого количества только посредством законченного синтеза, или посредством повторного присоединения единицы к самой себе. Поэтому, чтобы мыслить, как целое, мир, наполняющий все пространство, необходимо было бы рассматривать последовательный синтез частей бесконечного мира как законченный, т. е. пришлось бы рассматривать бесконечное время, необходимое для исчисления всех сосуществующих вещей, как протекшее, что невозможно. Итак, бесконечный агрегат действительных вещей не может быть рассматриваем как данное целое, а следовательно, он не может быть рассматриваем также и как данный *одновременно*. Следовательно, мир по своему протяжению в пространстве не бесконечен, а заключен в границы, что и требовалось доказать».

Эти положения буквально выписаны из довольно известной книги Иммануила Канта, впервые появившейся в 1781 г. и озаглавленной «Критика чистого разума», где каждый может их прочесть в I части 2-го отд. 2-й кн. 2-й главы § 2-м: Первая антиномия чистого разума. Г-ну Дюрингу же принадлежит только та слава, что к мысли, выраженной Кантом, он приклеил название: «закон определенного количества» и открыл, что было такое время, когда еще не было времени, хотя уже существовал мир. Что же касается всего прочего, т. е. всего, что в рассуждениях г. Дюринга еще имеет какой-либо смысл, так это — «Мь», т. е. Иммануил Кант; что же касается современности, о которой упоминает автор, то ей всего-навсего 95 лет. Бесспорно, «крайне просто»! Замечательное «доселе неведомое значение»!

Между тем, Кант вовсе не говорит, что вышеприведенные положения окончательно установлены его доказательством. Напротив, на напечатанной тут же рядом странице он утверждает и доказывает противоположное: что мир не имеет начала во времени и конца в пространстве. Именно в этом он и усматривает антиномию, неразрешимое противоречие, что первое из этих положений так же доказуемо, как и второе. Люди меньшего калибра, быть может, несколько призадумались бы над поставленным вопросом, ввиду того что «такой человек, как Кант», встретил в нем неразрешимую трудность. Не таков наш смелый изготовитель «глубоко оригинальных выводов и воззрений»: то, что ему может быть полезно из антиномии Канта, он прилежно списывает, а остальное просто отбрасывает в сторону.

Весь этот вопрос разрешается очень просто. Вечность во времени и бесконечность в пространстве уже по самому смыслу этих слов не могут иметь конца ни с какой стороны, ни впереди, ни позади, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Эта бесконечность

совершенно пная, чем та, с которою мы имеем дело в бесконечном ряде, ибо последний прямо начинается с единицы, с первого члена. Неприменимость представления о ряде к нашему предмету обнаруживается тотчас же, как только мы попробуем применить его к пространству. Бесконечный ряд, в переводе на язык пространства, это — линия, проведенная на бесконечное расстояние от известной точки в известном направлении. Выражается ли таким способом хотя бы в отдаленной степени бесконечность пространства? Отнюдь нет: требуется, напротив, не менее шести линий, проведенных из одной этой точки в тройко противоположных направлениях, чтобы дать представление об измерениях пространства; у нас должно бы быть шесть таких измерений. Кант настолько хорошо понимал это, что только косвенно, обходным путем, переносил свой числовой ряд на пространственность вселенной. Между тем, г. Дюринг заставляет нас принять шесть измерений в пространстве и тотчас же вслед за этим не находит достаточно слов для выражения своего негодования по поводу математического мистицизма Гаусса, который не хотел довольствоваться тремя обычными измерениями пространства.

— В применении ко времени бесконечная линия, продолженная в обе стороны, или бесконечный ряд единиц, имеет известный образный смысл. Но если мы представляем себе время как ряд, начинающийся с единицы, или как линию, выходящую из определенной точки, то мы тем самым сразу же говорим, что время имеет начало; мы предполагаем как раз то, что должны доказать. Мы придаем бесконечности времени односторонний, половинчатый характер; но односторонняя, разделенная пополам бесконечность есть также противоречие в себе, прямая противоположность «бесконечности, мыслимой без противоречий». Избежать такого противоречия можно, лишь приняв, что единицей, с которой мы начинаем считать ряд, точкой, от которой мы измеряем дальше линию, может быть любая единица в ряде, любая точка в линии, и для линии или ряда безразлично, где мы поместим их.

Ну, а противоречие «сосчитанного бесконечного числового ряда»? Его мы сможем исследовать ближе в том случае, если г. Дюринг покажет нам кунштюк, как *сосчитать этот бесконечный ряд*. Когда он закончит свой счет от $-\infty$ (минус бесконечность) до нуля, тогда мы с ним поговорим. Очевидно ведь, что, откуда бы он ни начал свой счет, он оставит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет свой собственный бесконечный ряд $1 + 2 + 3 + 4 \dots$ и попытается вновь пересчитать от бесконечного конца назад до единицы; ясно, что это попытка человека, который не видит даже, в чем суть дела. Более того, если г. Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего времени сосчитан, то он тем самым утверждает, что время имеет начало, ибо иначе он не мог бы начать «сосчитывать». Он, стало быть, опять подсовывает в виде предпосылки то, что должен доказать. Таким образом, представление о сосчитанном бесконечном ряде, — другими словами, мирообъемлющий дюрингов закон определенного количества есть contra-

dictio in adjecto, содержит в себе самом противоречие, притом *нелепое* противоречие.

Ясно следующее: бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалектическая проницательность должна была бы подсказать г. Дюрингу, что конец и начало необходимо связаны друг с другом, как северный и южный полюс, и что когда отбрасывают конец, то начало становится концом, тем *одним* концом, который и имеется у ряда, и наоборот. Вся иллюзия была бы немыслима без математической привычки оперировать над бесконечными рядами. Так как в математике приходится исходить из определенного, конечного, чтобы прийти к неопределенному, не имеющему конца, то все математические ряды, положительные или отрицательные, должны начинаться с единицы, иначе с ними нельзя оперировать. Но идеальная потребность математика далеко не есть принудительный закон для реального мира.

Впрочем, г. Дюрингу никогда не удастся представить себе действительную бесконечность без противоречия. Бесконечность есть противоречие и полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность приходится составлять из одних только конечных величин, а между тем это именно так. Допущение ограниченности материального мира приводит к не меньшим противоречиям, чем допущение его безграничности, и всякая попытка устранить это противоречие ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречиям. Именно потому, что бесконечность есть противоречие, она представляет собою бесконечный, без конца во времени и пространстве развертывающийся процесс. Устранение этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понимал Гегель, почему и третировал с заслуженным презрением господ, мудрствующих по поводу этого противоречия.

Пойдем далее. Итак, время имело начало. А что было до этого начала? Мир, находившийся в неизменном, самому себе равном состоянии. И так как в этом состоянии не происходит никаких последовательных изменений, то более частное понятие времени преобразуется в более общую идею бытия. Во-первых, нам нет здесь никакого дела до того, какие понятия преобразуются в голове г. Дюринга. Речь идет не о *понятии времени*, а о *действительном* времени, от которого г. Дюрингу не откупиться столь дешевой ценой. Во-вторых, сколько бы понятие времени ни превращалось в более общую идею бытия, однако мы от этого не поднимаемся ни на шаг дальше. Ибо основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как и бытие вне пространства. Гегелевское «безвременно протекшее бытие» и ново-шеллинговское «незапамятное бытие» являются еще рациональными представлениями по сравнению с этим бытием вне времени. Поэтому г. Дюринг и приступает очень осторожно к делу: собственно, это — время, но такое время, которое нельзя в сущности назвать временем, ибо само по себе время не состоит ведь из реальных частей и лишь произвольно делится на части нашим разу-

мом; только действительное наполнение времени различными фактами относится к исчислимому; что должно означать накопление лишенной содержания длительности, этого нельзя себе даже представить. Что должно означать это накопление, для нас здесь совершенно безразлично; вопрос идет о том, длится ли мир в предположенном здесь состоянии, испытывает ли он продолжительность во времени? Что от измерения подобной, лишенной содержания длительности ничего не получается, как и от бесцельного измерения пустого пространства, это мы знаем давно, и Гегель, именно вследствие скучного характера этой работы, называет эту бесконечность *дурной*. По мнению г. Дюринга, время существует только благодаря изменениям, а не изменения существуют во времени. Именно потому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять посредством изменений, ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлечит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких заметных изменений, далеко от того, чтобы *совсем не быть* временем; напротив, это — *чистое*, не осложненное никакими чуждыми примесями, следовательно, истинное время, время *как таковое*. Действительно, если мы хотим представить себе понятие времени во всей его чистоте, отделенным от всех чуждых и посторонних примесей, то мы вынуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все различные события, которые происходят рядом или последовательно во времени, — другими словами, представить себе время, в которое не происходит ничего. Мы не даем тогда понятию времени потонуть в общей идее бытия, а приходим лишь таким путем к чистому понятию времени.

Однако все отмеченные противоречия и несообразности представляют еще детскую забаву по сравнению с той путаницей, в которую впадает г. Дюринг со своим самому себе равным первоначальным состоянием мира. Если мир был некогда в таком состоянии, когда в нем не происходило абсолютно никакого изменения, то как он мог перейти из этого состояния в состояние изменения? То, что абсолютно не испытывает изменений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком состоянии, не может ни в каком случае само собою выйти из этого состояния, перейти в состояние движения и изменения. Стало быть, первый толчок, который привел мир в движение, должен был притти извне, из внемировой сферы. Но «первый толчок» есть, как известно, только другое выражение для обозначения бога. Бог и потусторонний мир, — эти понятия, которым г. Дюринг на словах так решительно дал отставку в своей мировой схематике, — он сам же вносит их здесь опять, более заостренными и углубленными, в философию природы.

Далее г. Дюринг говорит: «там, где величина принадлежит постоянному элементу бытия, она останется неизменной в своей определенности. Это положение справедливо... относительно материи и механической силы». Заметим мимоходом, что первое предложение дает драгоценный пример широковещательной аксиоматически-тавтологической манеры выражения г. Дюринга: там, где известная величина не изменяется, она остается той же самой. Итак, количество

механической силы, которое имеется в мире, вечно остается тем же самым. Мы оставляем в стороне тот факт, что, поскольку сказанное правильно, оно в философии было известно и сформулировано почти уже 300 лет тому назад Декартом; что в естествознании возятся уже 20 лет с учением о сохранении силы, и что, ограничивая его *механической* силой, г. Дюринг отнюдь не улучшает его. Но где же была механическая сила во время неизменного состояния мира? На этот вопрос г. Дюринг упорно отказывается дать какой-либо ответ.

Где, г. Дюринг, была тогда вечно остающаяся равной себе механическая сила, и что она делала? Ответ: «изначальное состояние вселенной или, точнее, неизменяющегося бытия материи, не заключающего в себе никакого накопления изменений во времени, — это вопрос, отмахнуться от которого может лишь ум, видящий верх мудрости в добровольном изуродовании своей производительной способности». Стало быть: либо примите без рассуждений мое неизменное изначальное состояние, либо я, способный к творчеству Евгений Дюринг, объявляю вас духовными скопцами. Это, конечно, может кое-кого испугать. Но мы, уже видевшие несколько образцов творческой силы г. Дюринга, позволим себе оставить пока изящное ругательство г. Дюринга без возражения и спросить еще раз: однако, г. Дюринг, с вашего позволения, как обстоит дело с механической силой?

Г-н Дюринг тотчас же приходит в смущение. Действительно, — заикается он, —

«абсолютное тождество этого первоначального предельного состояния само по себе не дает никакого принципа перехода. Вспомним, однако, что в сущности так же обстоит дело со всяким, самым небольшим новым звеном в хорошо известной нам цепи бытия. Поэтому тот, кто хочет найти затруднения в настоящем главном случае, не должен позволять себе обходить их в случаях менее важных. Сверх того, в нашем распоряжении вполне имеется возможность интерполирования ряда постепенных промежуточных состояний, следовательно — моста непрерывности, чтобы дойти по нему назад до полного прекращения изменяемости. Правда, чисто логически эта непрерывность не устраняет главного затруднения, но она является для нас основной формой всякой закономерности и всякого известного нам вообще перехода, так что мы имеем право воспользоваться ею также, как посредствующим моментом между упомянутым первоначальным равновесием и его нарушением. Но если бы мы захотели представить себе это, так сказать (!), недвижимое равновесие, руководясь понятиями, которые допускаются без особых возражений (!) в современной механике, то совершенно нельзя было бы объяснить себе, каким образом материя могла дойти до состояния изменчивости». Но кроме механики масс существует еще превращение движения масс в движение мельчайших частиц; однако, как происходит это превращение, «для понимания этого мы до сих пор не имеем в своем распоряжении никакого общего принципа и не должны поэтому удивляться, если эти явления несколько уходят в область *темного*».

Вот и все, что отвечает нам г. Дюринг на поставленный вопрос.

И мы должны были бы видеть верх мудрости не только в добровольной кастрации, но и в слепой, не рассуждающей вере, если бы захотели удовлетвориться этими поистине жалкими, пустыми увертками и фразами. Что абсолютное тождество не может само собою притти к изменяемости, это признает сам г. Дюринг. Средств, с помощью которых абсолютное равновесие само собою могло бы притти в движение, нет. Что же есть в таком случае? Три ложных и пустых изворота.

Во-первых: столь же трудно, мол, установить переход от всякого, самого малого звена хорошо известной нам цепи бытия к следующему. Г-н Дюринг считает, повидимому, своих читателей младенцами. Как известно, установление отдельных переходов и связей мельчайших звеньев в цепи бытия именно и составляет содержание естествознания, и если при этом кое-где дело не ладится, то никому, даже г. Дюрингу, не приходится в голову объяснять происходящее движение из «ничего», а всегда, напротив, предполагается, что это движение является результатом перенесения, преобразования или продолжения какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же мы имеем перед собою прямое допущение, что движение возникает из неподвижности, т. е. *из ничего*.

Во-вторых, мы имеем «мост непрерывности». Правда, он логически не устраняет затруднения, но все же мы в праве *воспользоваться* им как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. К сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться, поэтому вопрос, каким образом создать при ее помощи движение, остается еще более таинственным, чем когда-либо. И сколько бы г. Дюринг ни разлагал на бесконечно малые частицы свой переход от полного отсутствия движения к универсальному движению и какой бы долгий период он ни приписывал ему, все же мы не сдвинемся с места ни на одну десяти тысячную часть миллиметра. Раз навсегда, без акта творения мы не можем перейти от ничего к чему-то, хотя бы это «что-то» было не больше математического дифференциала. Таким образом, мост непрерывности — даже не ослиный мост ¹, пройти по нему может только г. Дюринг.

В-третьих, пока сохраняет значение современная механика (а она, по г. Дюрингу, является одним из важнейших орудий для дисциплины мышления), совершенно нельзя объяснить, каким образом перейти от неподвижности к движению. Но механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс при известных обстоятельствах превращается в молекулярное движение (хотя и в этом случае движение возникает из другого движения, но никогда из неподвижности), и это, намекает робко г. Дюринг, могло бы, быть может, дать нам мост между строго статическим (находящимся в равновесии) и динамическим (движущимся) состоянием. Но эти

¹ В подлиннике игра слов: по-немецки *Eselsbrücke* (ослиный мост) означает пособие для тупых или ленивых школьников (нечто вроде «шпаргалки»). *Ред.*

явления уходят «несколько в область темного». И г. Дюринг так и оставляет нас сидеть впотьмах.

Вот куда мы пришли после всего углубления: все глубже и глубже погружаясь во все более очевидный абсурд, мы, наконец, причалили туда, куда необходимо должны были причалить, — к «области темного». Это, однако, мало смущает г. Дюринга. Уже на следующей странице он имеет дерзость утверждать, что ему «удалось понятие самому себе равного инертного состояния наполнить реальным содержанием непосредственно из свойств самой материи и *механических сил*». И этот человек называет других людей «шарлатанами»!

К счастью, при всем этом беспомощном блуждании «впотьмах», у нас остается еще одно бесспорно возвышающее дух утешение: «математика обитателей других небесных тел не может основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших!»

VI. Философия природы. Космогония, физика, химия

В дальнейшем изложении г. Дюринг переходит к теориям возникновения нынешнего мира. Состояние всеобщего рассеяния материи, говорит он, было уже исходным представлением понятийской философии, но гипотеза первоначальной туманности стала вновь, особенно со времени Канта, играть важную роль, причем всемирное тяготение и тепловое лучеиспускание должны были объяснить постепенное образование отдельных твердых небесных тел. Современная механическая теория теплоты позволяет придать выводам о прежних состояниях вселенной гораздо более определенный характер.

При всем том «состояние газообразного рассеяния может быть исходным пунктом для серьезных выводов лишь в том случае, если представляется возможность определеннее охарактеризовать раньше данную в нем механическую систему. В противном случае, не только идея остается действительно туманной, но и первоначальная туманность по мере дальнейших выводов, становится все более густой и непроницаемой... пока же все остается еще в смутном и бесформенном состоянии идеи рассеяния, не допускающей более точного определения», и, таким образом, мы имеем в лице «этой газообразной вселенной только весьма воздушную концепцию».

Кантова теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся туманных масс была величайшим шагом вперед, который астрономия сделала со времени Коперника. Впервые было поколеблено представление, что природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор небесные тела признавались неизменно пребывающими от начала времен в одних и тех же орбитах и в тех же состояниях, и если даже на отдельных планетах отдельные существа органического мира умирали, то по крайней мере роды и виды их считались неизменными. Было, конечно, очевидно для всех, что природа находится в постоянном движении, но это

движение представлялось как непрерывное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне соответствующем метафизическому образу мышления, Кант пробил первую брешь и притом настолько научным способом, что большинство употребленных им доказательств сохраняет свою силу и поныне. Разумеется, теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, только гипотезой. Но и коперникова система мира также остается доныне гипотезой. После же того, как существование раскаленных газовых масс на звездном небе было доказано спектроскопом с убедительностью, разбивающей всякие возражения, замолкла и научная оппозиция против теории Канта. Сам г. Дюринг тоже не может построить свою теорию мироздания, не прибегая к такой стадии туманного состояния, но он вымещает свою досаду по этому поводу, во-первых, требованием, чтобы ему показали в этом состоянии известную механическую систему, а, во-вторых, так как это невыполнимо, то он употребляет относительно туманного состояния всякого рода пренебрежительные эпитеты. Современная наука не может, к сожалению, охарактеризовать эту систему так, чтобы вполне удовлетворить г. Дюринга. Но столь же мало она может ответить и на многие другие вопросы. На вопрос, почему жаба не имеет хвоста, наука доселе может лишь сказать: потому что она его утратила. Если же у кого-нибудь явилась бы охота погорячиться по поводу такого ответа и сказать, что вопрос о жабе все-таки остается в смутном и бесформенном состоянии идеи утраты, не поддающейся более точному определению, и что нам предлагают крайне воздушную концепцию, то от подобных применений морали к естествознанию мы не подвинулись бы ни на один шаг дальше. Такого рода нелюбезные словечки и изъяснения неудовольствия можно выражать всегда и повсюду, и именно потому они везде и всегда неуместны. И кто, наконец, мешает г. Дюрингу самому найти механическую систему первоначальной туманности?

К счастью, мы узнаем дальше, что кантова туманная масса «далеко не совпадает с вполне тождественным состоянием мировой среды или, выражаясь иначе, с самому себе равным состоянием материи». Счастливец Кант, который мог удовлетвориться возможностью восхождения от нынешних небесных тел к туманному шару и которому даже в голову не приходила мысль о самом себе равном состоянии материи! Заметим мимоходом, что если в современном естествознании туманный шар Канта обозначается словом первоначальная туманность, то это, само собою разумеется, надо понимать лишь относительно. Первоначальной эта туманность является, с одной стороны, как начало существующих небесных тел, а с другой, как самая ранняя форма материи, к которой мы имеем возможность восходить при нынешнем состоянии наших знаний. Это отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает мысль, что материя до этой первоначальной туманности прошла через бесконечный ряд других форм.

Г-н Дюринг усматривает в этом преимущество своей гипотезы; там, где мы, вместе с наукой, останавливаемся пока на временной первоначальной туманности, ему его наука наук помогает проник-

путь гораздо далее вглубь времен, до того «состояния мировой среды, которое нельзя понять ни как чисто статическое, в современном смысле этого представления, ни как динамическое» (т. е. вообще нельзя понять. — Ф. Э.). «Единство материи и механической силы, которое мы называем мировой средой, есть, так сказать, логически реальная формула, имеющая целью указать на самому себе равное состояние материи, как предпосылку всех исчислимых стадий развития».

Мы, очевидно, еще далеко не разделились с самому себе равным первоначальным состоянием материи. Здесь оно называется единством материи и механической силы, а это единство — логически реальной формулой и т. д. Как только, следовательно, прекращается единство материи и механической силы, начинается движение.

Эта логически реальная формула представляет не что иное, как бессильную попытку воспользоваться для философии действительности гегелевскими категориями *Ansichsein* (бытия в себе) и *Fürsichsein* (бытия для себя). У Гегеля в состоянии *Ansich* существует первоначальное тождество противоположностей, скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе или понятии; в *Für-sich* наступает различие и обособление этих скрытых элементов и начинается их взаимная борьба. Мы, стало быть, должны представить себе первоначальное недвижимое состояние в виде единства материи и механической силы, а переход к движению — в виде разделения и противоположения того и другого. Но этим способом представления не доказывается реальность дюринговского фантастического первоначального состояния, а только то, что его можно подвести под гегелевскую категорию «в себе» (*Ansich*), а столь же фантастическое прекращение этого состояния — под категорию «для себя» (*Für-sich*). Помогай, Гегель!

Материя, — говорит г. Дюринг, — есть носительница всего действительного, почему и не может существовать никакой механической силы вне материи. Далее, механическая сила есть состояние материи. В первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, т. е. механическая сила, составляли нечто единое. Потом, когда что-то начало совершаться, состояние должно было, следовательно, стать отличным от материи. И подобными мистическими фразами, да еще уверением, что самому себе равное состояние не было ни статическим, ни динамическим, что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении, — ими нам предлагают удовлетворяться. Мы все еще не знаем, где была механическая сила во время этого состояния, и как нам без толчка извне, т. е. без бога, перейти от абсолютной неподвижности к движению.

До г. Дюринга материалисты говорили о материи и о движении. Г-н Дюринг сводит движение к механической силе, как его основной якобы форме, и тем лишает себя возможности понять действительное отношение между материей и движением, которое, впрочем, было неясно и всем прежним материалистам. Между тем, все дело довольно просто. *Движение есть форма бытия материи*. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом

пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебание молекул в виде теплоты или в виде электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь, — в той или другой из этих форм движения или в нескольких зараз постоянно находится каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительно, имеют смысл только по отношению к той или другой определенной форме движения. Так, например, известное тело может находиться на земле в состоянии механического равновесия, т. е. механически — в состоянии покоя, но это не мешает тому, чтобы оно принимало участие в движении земли и в движении всей солнечной системы, как это не мешает его мельчайшим физическим частицам испытывать обусловленные его температурой колебания, или же атомам его вещества — участвовать в известном химическом процессе. Материя без движения так же немислима, как и движение без материи. Движение поэтому точно так же нельзя создать и разрушить, как и самую материю, — мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: количество имеющегося в мире движения всегда одно и то же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только передано. Когда движение переходит с одного тела на другое, то, поскольку оно передается, поскольку оно активно, на него можно смотреть, как на причину движения, поскольку последнее передано, оно пассивно. Это активное движение мы называем *силой*, пассивное же — *проявлением силы*. Отсюда ясно, как день, что сила так же велика, как и ее проявление, ибо в них обоих совершается *одно и то же* движение.

Таким образом, лишенное всякого движения состояние материи оказывается одним из самых бессодержательных и нелепых представлений, настоящим «горячечным бредом». Чтобы притти к нему, нужно относительное механическое равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на нашей земле, представить себе абсолютный покой и затем это представление перенести на всю вселенную. Такое перенесение облегчается, конечно, если сводить всемирное движение к одной только механической силе. И тогда подобное ограничение движения одной механической силой имеет еще ту выгодную сторону, что оно позволяет представить себе силу покоящейся, в связанном состоянии, следовательно в данный момент бездействующей. Если, например, передача движения, как это бывает очень часто, представляет сколько-нибудь сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то действительную передачу можно отложить до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так происходит, например, дело в том случае, если, зарядив ружье, мы оставляем за собою выбор момента, когда вследствие спуска курка должно будет совершиться разряжение, т. е. перенесение освободившегося, благодаря воспламенению пороха, движения. Можно поэтому представить себе, что во время неподвижного, самому себе равного состояния материя была заряжена силой; именно это и разумеет, повидимому,

г. Дюринг (если он вообще что-либо понимает) под единством материи и механической силы. Но такое представление бессмысленно, ибо на всю вселенную оно переносит, как нечто абсолютное, такое состояние, которое по природе своей относительно и в котором поэтому в каждый данный момент может находиться всегда только *часть* материи. Но если даже оставить в стороне это обстоятельство, то все же остается еще затруднение: во-первых, каким образом мир оказался заряженным, ибо в наши дни ружья не заряжаются сами собой, а во-вторых, чей палец спустил затем курок. Мы можем вертеться, как нам угодно, но под руководством г. Дюринга мы все-таки возвращаемся каждый раз опять к персту божию.

От астрономии наш философ действительности переходит к механике и физике, причем сетует, что механическая теория теплоты, за целое поколение, прошедшее со времени ее открытия, недалеко ушла от того пункта, до которого ее довел сам Роберт Майер. Кроме того, все дело еще очень темно: мы вынуждены «вновь напомнить, что вместе с состояниями движения материи даны и статические отношения, и что эти последние не имеют никакого мерил в механической работе...; если мы прежде называли природу великой работницей и будем теперь строго толковать это выражение, то мы должны еще прибавить, что самим себе равные состояния и покоящиеся отношения не представляют собою никакой механической работы. Таким образом, у нас опять нет моста от статического к динамическому, и если так называемая скрытая теплота до сих пор остается камнем преткновения для теории, то мы и здесь должны признать наличие пробела, который всего менее следовало бы отрицать в применении к космическим явлениям».

Весь этот оракулоподобный разговор представляет опять-таки не что иное, как изливание нечистой совести автора, который очень хорошо чувствует, что своей гипотезой образования движения из абсолютной неподвижности он безнадежно запутался, но все же стыдится апеллировать к единственному спасителю, а именно — к создателю неба и земли. Если даже в механике, включая сюда механику теплоты, нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то как можно обязать г. Дюринга отыскать мост от его неподвижного состояния к движению? Таким образом он как будто счастливо выпутывается из беды.

В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является толчок извне. Если камень весом в центнер поднят на высоту десяти метров и свободно подвешен, так чтобы висеть там в самому себе равном состоянии и в покое, то нужно апеллировать к публике из грудных детей, если хотят утверждать, что теперешнее положение этого тела не выражает никакой механической работы, или что его расстояние от его прежнего положения не может находить меры в механической работе. Каждый встречный без труда разъяснит г. Дюрингу, что камень не сам собой попал туда, вверх, на веревку, и первый попавшийся учебник механики может указать ему, что если этому камню дать упасть, то он произведет при падении ровно столько механической работы, сколько

нужно было затратить, чтобы поднять его на высоту десяти метров. Даже тот весьма простой факт, что камень висит там, наверху, уже представляет собой механическую работу, ибо если он будет висеть достаточно долгое время, то веревка оборвется, как только она, вследствие химического разложения, окажется недостаточно крепкой, чтобы выдержать камень. Но к таким «простым основным формам», употребляя выражение г. Дюринга, можно свести все механические процессы, и надо еще родиться тому инженеру, который не сумел бы провести мост от статического состояния к динамическому, располагая надлежащим внешним толчком.

Бесспорно, для нашего метафизика является трудным вопросом и горькой пилюлей тот факт, что движение должно находить свою меру в своей противоположности, в покое. Ведь это — вопиющее противоречие, а всякое противоречие, по мнению г. Дюринга; есть бессмыслица. И тем не менее остается факт, что висящий камень представляет определенное количество механического движения, которое подлечит, поэтому, измерению по весу камня и его удаленности от поверхности земли и может быть использовано как угодно, различным образом (например, посредством прямого падения, спуска по наклонной плоскости, или вращения какого-нибудь вала); то же замечание приложимо к заряженному ружью. Для диалектического воззрения это выражение движения в его противоположности, в покое, вовсе не представляет затруднения. Для него вся эта противоположность является, как мы видели, лишь чем-то относительным; абсолютного покоя, безусловного равновесия не существует. Отдельное движение стремится к равновесию, общее движение снова нарушает равновесие. Таким образом, покой и равновесие, там, где они имеют место, являются результатом ограниченного движения, и само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нем и вновь из него получаться в той или иной форме. Но удовлетвориться столь простым изложением дела г. Дюринг не может. Как это и подобает настоящему метафизику, он сначала вырывает между движением и равновесием зияющую пропасть, не существующую в действительности, и затем удивляется, что не может через эту им самим созданную пропасть построить мост. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего метафизического Росинанта и погнаться за кантовской «вещью в себе», ибо именно она, а не что-либо другое, скрывается, в конце концов, за этим недосыгаемым мостом.

Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и связанной или скрытой теплотой, которая остается для этой теории «камнем преткновения»?

Если при нормальном давлении атмосферы превратить путем нагревания фунт льда, имеющий температуру точки замерзания, в фунт воды той же температуры, то исчезает количество теплоты, которого было бы достаточно, чтобы нагреть тот же фунт воды от нуля до $79,4^{\circ}$ Ц., или чтобы нагреть 79,4 фунта воды на 1° . Если, далее, этот фунт воды нагреть до точки кипения, т. е. до 100° , и затем

превратить в пар с температурой 100° , то, пока вода совершенно обратится в пар, исчезает почти в семь раз большее количество теплоты, достаточное, чтобы повысить на один градус температуру 537,2 фунта воды. Эту исчезающую теплоту называют *связанной* или скрытой. Если путем охлаждения превратить пар опять в воду, и воду опять в лед, то количество теплоты, которое прежде приведено было в связанное состояние, вновь *освобождается*, т. е. становится ощущаемым, как теплота, и может быть измерено. Это выделение теплоты при сгущении пара и при замерзании воды есть причина того, что пар, охлажденный до 100° , лишь постепенно превращается в воду, и что масса воды, имеющая температуру точки замерзания, лишь очень медленно превращается в лед. Таковы факты. Теперь спрашивается: что происходит с теплотой в то время, когда она находится в скрытом состоянии?

Механическая теория теплоты, согласно которой теплота заключается в большем или меньшем (смотря по температуре и агрегатному состоянию) колебании мельчайших физически деятельных частиц тел (молекул), — колебании, способном при известных условиях превратиться в любую другую форму движения, — эта теория объясняет приведенные выше факты тем, что исчезающая теплота выполнила известную работу, была превращена в работу. При таянии льда прекращается тесная, крепкая связь отдельных молекул между собою, заменяясь более свободным соединением; при превращении воды в пар, на точке кипения, возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и, под действием теплоты, даже разлетаются по разным направлениям. Ясно, что отдельные молекулы какого-либо тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей энергией, чем в жидком, а в жидком состоянии опять-таки большей, чем в твердом. Таким образом, связанная теплота не исчезла, она просто преобразовалась и приняла форму молекулярного напряжения. Как только прекращается условие, при котором отдельные молекулы могут сохранить эту абсолютную или относительную взаимную свободу, т. е. как только температура опускается ниже минимума в 100° или ниже 0° , это напряжение ослабевает, молекулы опять стремятся друг к другу с той же силой, с какой они раньше удалились друг от друга, и эта сила исчезает, но лишь для того, чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты и притом точь-в-точь того же количества тепла, которое прежде было в скрытом состоянии. Это объяснение представляет собою, конечно, только гипотезу, как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто никогда не видел молекулы, уже не говоря об ее колебаниях. Оно, поэтому, несомненно полно пробелов, как и вообще вся эта, лишь очень недавно выставленная теория, но оно, по крайней мере, может объяснить явления, не вступая нигде в противоречие с принципом, согласно которому движение не может быть ни уничтожено, ни создано, и это объяснение умеет даже дать точный отчет в том, куда девается тепловая энергия во время ее превращения. Таким образом, скрытая или связанная теплота вовсе не является камнем преткно-

вения для механической теории теплоты. Напротив того, эта теория впервые дает рациональное объяснение процесса, и возражения может вызывать разве только то, что физики продолжают называть теплоту, превращенную в другую форму молекулярной энергии, устарелым и уже неподходящим термином «связанной».

Итак, самим себе равные состояния и покой твердого, капельно-жидкого и газообразного агрегатного состояния представляют во всяком случае механическую работу, поскольку она является мерой теплоты. Как твердая земная кора, так и вода океана представляют в своем теперешнем агрегатном состоянии совершенно определенное количество освободившейся теплоты, которому, само собой разумеется, соответствует столь же определенное количество механической силы. При переходе газообразного шара, из которого возникла земля, в капельно-жидкое, а позднее, в преимущественно твердое агрегатное состояние, определенное количество молекулярной энергии было излучено в мировое пространство в виде теплоты. Следовательно, затруднение, о котором таинственно шепчет г. Дюринг, не существует, и даже в применении к космическим явлениям мы если и можем натолкнуться на пробелы, обусловленные несовершенством наших познавательных средств, то все же нигде не встретимся с препятствиями, теоретически непреодолимыми. Мостом от статического к динамическому является и здесь внешний толчок — охлаждение или нагревание, произведенное другими телами, которые действуют на предмет, находящийся в равновесии. Чем более мы углубляемся в дюрингову натурфилософию, тем больше обнаруживается безнадежность всех попыток объяснить движение из неподвижного состояния или найти мост, по которому чисто статическое, покоящееся, может *из себя самого* перейти в динамическое, в движение.

Засим, мы на некоторое время избавились, к счастью, от самому себе равного изначального состояния. Г. Дюринг переходит к химии и по этому случаю раскрывает перед нами три закона постоянства природы, добытые до сих пор философией действительности, а именно: 1) количество всей вообще материи, 2) количество простых (химических) элементов и 3) количество механической силы, — все они представляют собой постоянные величины.

Итак, невозможность создать и уничтожить материю, равно как и ее простые составные части, поскольку она из таких состоит, а также невозможность создать и уничтожить движение, — эти старые, общеизвестные факты, крайне неудовлетворительно формулированные, вот единственные положительные вещи, которые г. Дюринг может представить нам как результат своей натурфилософии неорганического мира. Но ведь все это мы давно знаем. Вот одного только мы не знали, — что это — «законы постоянства», и что, как таковые, они представляют «схематические свойства системы вещей». Опять происходит на наших глазах то, что имело место и по поводу Канта: г. Дюринг берет какое-нибудь общеизвестное старье, приклеивает к нему свою этикетку и называет это «глубоко оригиналь-

ными результатами и воззрениями... системосоздающими идеями... проникающей до корня наукой».

Однако это еще не должно приводить нас в отчаяние. Какими бы недостатками ни страдала самая коренная наука и наилучшее общественное устройство г. Дюринга, одно он может утверждать с уверенностью: что «имеющееся во вселенной золото должно было всегда представлять одно и то же количество и, подобно всей вообще материи, не могло быть ни увеличено, ни уменьшено». К сожалению, г. Дюринг не сообщает нам, что именно мы можем купить себе на это «имеющееся золото».

VII. Философия природы. Органический мир

«От механики давления и толчка до связывания ощущений и мыслей идет одна цельная и единственная скала промежуточных ступеней». Этим утверждением г. Дюринг избавляет себя от необходимости сказать что-либо определенное о возникновении жизни, хотя, казалось бы, от мыслителя, проследившего развитие мира вплоть до равного самому себе состояния и чувствующего себя, как дома, на других небесных телах, можно было бы ожидать, что он и об этом вопросе имеет точные сведения. Кроме того, приведенное выше утверждение верно лишь наполовину, пока оно не дополнено вышеупомянутой гегелевой узловой линией отношений меры. При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков характер перехода от механики небесных тел к механике меньших масс на отдельных небесных телах, или же переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие предмет исследования физики в тесном смысле этого слова: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно так же переход от физики молекул к физике атомов или химии опять-таки совершается посредством решительного скачка; еще больше это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью. В пределах сферы жизни скачки становятся затем все более редкими и незаметными. Итак, опять Гегелю приходится поправлять г. Дюринга.

Для логического перехода к органическому миру г. Дюринг пользуется понятием цели. И это опять-таки заимствовано у Гегеля, который в своей «Логике» — в учении о понятии — делает переход от химизма к жизни при посредстве телеологии, или учения о целях. Куда мы ни посмотрим, везде мы наталкиваемся у г. Дюринга на какую-нибудь гегелевскую «неудобоваримую мысль», которую он сам без всякого стеснения выдает за свою собственную, проникающую до корня науку. Мы зашли бы слишком далеко, если бы занялись здесь исследованием, в какой степени основательно и уместно применение представления о целях и средствах к органическому миру. Во всяком случае, даже применение гегелевской «внутренней цели», т. е. такой цели, которая не вносится в природу намеренно

действующим, сторонним элементом, например, мудростью провидения, но которая заключается в необходимости самого явления, — даже такой метод приводит людей, философски не вполне дисциплинированных, к постоянному и легкомысленному навязыванию природе сознательной и намеренной деятельности. Тот самый г. Дюринг, который при малейших «спиритических» попользованиях других людей приходит в величайшее нравственное негодование, утверждает «с уверенностью, что инстинкты созданы главным образом ради того удовлетворения, которое соединено с их игрой». Он рассказывает нам, что бедная природа «должна постоянно снова и снова приводить в порядок предметный мир» и что, сверх того, у нее еще много других дел, «которые требуют от природы большей тонкости (Subtilität), чем это принято думать». Но природа не только *знает*, почему она создает то или другое, ей не только приходится исполнять работы домашней служанки, она не только обладает тонкостью, что уже само по себе представляет весьма порядочное совершенство в субъективном сознательном мышлении, — она еще имеет волю; ибо то дополнение к инстинктам, что они мимоходом выполняют реальные естественные функции: питание, размножение и т. д., — эту их дополнительную функцию «мы должны представить себе не прямо, а лишь косвенно *желаемой*». Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и сознательно действующей природе, следовательно, стоим уже на «мосту», ведущем, правда, не от статического к динамическому, но все же от пантеизма к деизму. Или, может быть, г. Дюрингу хочется и самому заняться немного «натурфилософской полупоэзией»?

Нет, это невозможно предположить. Все, что наш философ действительности умеет сказать нам об органической природе, ограничивается полемикой против этой «натурфилософской полупоэзии», против «шарлатанства, с его легкомысленной поверхностностью и, так сказать, научными мистификациями», против «поэстствующих черт» *дарвинизма*.

Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он перенес теорию народонаселения Мальгуса из политической экономии в естествознание, что он находится во власти понятий скотовода, и что его борьба за существование — не более, как ненаучная полупоэзия. Одним словом, весь дарвинизм, за исключением того, что заимствовано им у Ламарка, представляет изрядную дозу скотства, направленного против человечности.

Дарвин вынес из своих научных путешествий мнение, что виды растений и животных не постоянны, а изменчивы. Чтобы развить дальше эту мысль у себя дома, ему не представлялось лучшего поля для наблюдений, как искусственное разведение животных и растений. Именно в этом отношении Англия является классической страной: работы в других странах, например в Германии, не могут дать даже приблизительного масштаба того, что достигнуто по этой части в Англии. Сверх того, большая часть успехов, достигнутых в указанной области, относится к последнему столетию, так что констатирование фактов представляет мало затруднений. Дарвин

нашел, что эта культура вызвала искусственно в животных и растениях одного и того же вида различия более значительные, чем те, которые встречаются у видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с одной стороны, была до известной степени доказана изменимость видов, а с другой — доказана возможность существования общих предков для организмов, обладающих неодинаковыми видовыми признаками. Дарвин исследовал затем, нельзя ли найти в самой природе таких причин, которые должны были, без сознательного намерения человека, разводящего животных и растения, вызывать все-таки со временем в живых организмах изменения, подобные тем, которые достигаются путем искусственного разведения. Причины эти он нашел в несоответствии между громадным числом создаваемых природой зародышей и незначительным количеством организмов, фактически достигающих зрелости. Так как каждый зародыш стремится к развитию, то необходимо возникает борьба за существование, которая проявляется не только в виде непосредственной физической борьбы или пожирания, но и как борьба за пространство и свет, наблюдаемая даже у растений. Ясно, что в этой борьбе имеют наибольшие шансы созреть и размножиться те особи, которые обладают какой-либо выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью, хотя бы и самой незначительной. Эти индивидуальные особенности имеют тенденцию передаваться по наследству, а если они встречаются у нескольких особей того же вида, то благодаря повторной наследственной передаче могут усиливаться в однажды принятом направлении. Напротив, особи, не обладающие такими особенностями, легче погибают в борьбе за существование и постепенно исчезают. Таким образом, происходит изменение вида путем естественного отбора, т. е. переживания наиболее приспособленных.

Против этой дарвиновской теории г. Дюринг возражает, что по признанию самого Дарвина происхождение идеи борьбы за существование следует искать в обобщении взглядов экономиста, теоретика народонаселения, Мальтуса. Таким образом, названная теория страдает, мол, всеми теми недостатками, которые свойственны поповско-мальтузианским воззрениям на избыточность народонаселения. — Между тем Дарвину вовсе не приходило в голову говорить, что *происхождение* идеи борьбы за существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему миру растений и животных. И как бы велик ни был промах Дарвина, наивно принявшего без критики учение Мальтуса, все же каждый отлично понимает, что не требуется мальтусовских очков, чтобы заметить в природе борьбу за существование, заметить противоречие между бесчисленным множеством зародышей, которые расточительно творит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости, — противоречие, которое действительно разрешается большей частью борьбой за существование, подчас крайне жестокой. И подобно тому, как закон заработной платы сохранил свое значение после того, как давно уже забыты мальту-

зианские доводы, которыми его обосновал Рикардо, точно так же и борьба за существование может существовать в природе, помимо какого бы то ни было мальтузианского ее истолкования. Впрочем, организмы в природе также имеют свои законы народонаселения, еще почти совершенно не исследованные; установление их несомненно будет иметь решающее значение для теории развития видов. А кто дал и в этом направлении решающий толчок? Не кто иной, как Дарвин.

Г-н Дюринг благоразумно остерегается вдаваться в эту положительную сторону вопроса. Вместо этого должна все время быть в ответе теория борьбы за существование. По его мнению, о борьбе за существование между лишенными сознания растениями и добродушными травоядными а priori не может быть речи: «в точном смысле слова борьба за существование имеет место в царстве зверья постольку, поскольку питание совершается здесь путем хищничества и пожирания». Введя понятие борьбы за существование в столь узкие границы, он уже может дать полный простор своему возмущению по поводу скотства этого понятия, которое он сам ограничил царством скотов. Однако это нравственное возмущение затрагивает в действительности лишь самого г. Дюринга, который является единственным автором борьбы за существование в этом ограниченном смысле и, как таковой, один за нее ответствен. Стало быть, «законов и понимания всякой деятельности природы ищет среди зверья» не Дарвин, который, напротив, включил в борьбу всю органическую природу, а некое фантастическое пугало, сфабрикованное самим г. Дюрингом. Впрочем, название борьбы за существование мы можем охотно отдать в жертву высоко нравственному гневу г. Дюринга, но что самый *факт* такой борьбы существует даже среди растений, — это может доказать ему каждый луг, каждое хлебное поле, каждый лес; и дело не в названии, не в том, следует ли говорить о «борьбе за существование», или же говорить о «недостатке условий существования и о механических воздействиях», а в том, как этот факт влияет на сохранение или изменение видов. Относительно этого вопроса г. Дюринг пребывает в упорном, самому себе равном молчании. Следовательно, с естественным отбором все остается пока по-старому.

Но дарвинизм «свои превращения и различия производит из ничего». Правда, когда Дарвин говорит об естественном отборе, то он отвлекается от тех *причин*, которые вызвали изменения в отдельных особях, и трактует преимущественно о том, каким образом подобные индивидуальные отклонения постепенно становятся признаками известной породы (*Rasse*), разновидности или вида. Для Дарвина прежде всего важно найти не столько эти причины, — которые до сих пор частью вовсе не известны, частью же могут быть указаны лишь в самых общих чертах, — сколько ту рациональную форму, в которой их результаты оседают, приобретают прочное значение. Что Дарвин приписывал при этом своему открытию чрезмерно широкую сферу действия, что он сделал его исключительным фактором изменчивости видов и пренебрег вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений ради вопроса о форме, в которой они становятся

всеобщими, — это недостаток, который Дарвин разделяет с большинством людей, делающих действительный шаг вперед в науке. К тому же, если Дарвин выводит свои индивидуальные превращения из ничего, применяя при этом исключительно «мудрость скотовода», то с этой точки зрения надо допустить, что и скотовод и тот, кто культивирует известные растения, производят свои, не предполагаемые только, а действительные изменения животных и растительных форм тоже *из ничего*. Однако толчок к исследованию вопроса, каким образом возникают в сущности эти превращения и индивидуальные различия, дал опять-таки не кто иной, как тот же Дарвин.

В новейшее время представление об естественном отборе было расширено, особенно благодаря Геккелю, и изменчивость видов стала рассматриваться как результат взаимодействия между приспособлением и наследственностью, причем приспособление считается фактором, производящим изменения, а наследственность — фактором, сохраняющим их. Но и это не нравится г. Дюрингу: «настоящее приспособление к условиям жизни, как они даны или отняты природой, предполагает такие стимулы и формы деятельности, которые определяются представлениями. Иначе приспособление лишь кажущееся, и действующая в этом случае причинность не возвышается над низшими ступенями физического, химического и растительно-физиологического» процесса. Опять-таки в г. Дюринге вызывает досаду только название. Между тем, как бы он ни называл этот процесс, вопрос заключается здесь в следующем: вызываются ли подобными процессами изменения в видах организмов, или нет? И г. Дюринг снова не дает никакого ответа.

«Когда какое-нибудь растение в своем росте идет по пути, на котором оно получает наибольшее количество света, то этот результат раздражения представляет не более как комбинацию физических сил и химических агентов, и если в этом случае говорят о приспособлении в прямом, а не переносном смысле слова, то это должно внести в понятия спиритическую путаницу».

Так строг по отношению к другим тот самый человек, который знает совершенно точно, ради чего природа делает то или другое, который толкует о тонкости природы и даже об ее воле. Действительно спиритическая путаница, — только у кого: у Геккеля или у г. Дюринга?

И не только спиритическая, но и логическая путаница. Мы видели, что г. Дюринг всеми силами настаивает на том, чтобы дать место в природе понятию цели: «отношение между средством и целью нисколько не предполагает сознательного намерения». Но что же представляет собой столь решительно отвергаемое им приспособление без сознательного намерения и без посредства представлений, как не именно такую бессознательную целесообразную деятельность?

Если, следовательно, древесная лягушка или насекомое, питающееся листьями, имеет зеленую окраску, если животные пустыни имеют окраску песочно-желтую, а полярные животные — преимущественно снежно-белую, то, конечно, они усвоили себе такую окраску не намеренно и не руководствуясь какими-либо представ-

лениями: напротив, эта окраска объясняется только действием физических сил и химических агентов. И все-таки бесспорно, что упомянутые животные, благодаря такой окраске, целесообразно приспособлены к среде, в которой они живут, в том смысле, что они становятся таким образом гораздо менее заметными для своих врагов. Точно так же те органы, при помощи которых некоторые растения улавливают и пожирают садящихся на них насекомых, приспособлены — и даже целесообразно приспособлены — к такому действию. Следовательно, если г. Дюринг настаивает на том, что приспособление должно совершаться под влиянием представлений, то он говорит лишь другими словами, что целесообразная деятельность также должна совершаться в силу представлений, должна быть сознательной, намеренной. Тем самым мы опять, как водится в философии действительности, приходим к сознательно преследующему известные цели творцу, т. е. к богу. «Когда-то такое объяснение называлось деизмом и не особенно высоко ценилось (говорит г. Дюринг), но теперь люди и в этом отношении проделали, повидимому, регрессивную эволюцию».

От приспособлений мы переходим к наследственности. И в этом вопросе дарвинизм стоит, по мнению г. Дюринга, на ложном пути, ибо, по Дарвину, мол, весь органический мир ведет свое происхождение от одного предка, представляет, так сказать, потомство одного единственного существа. Самостоятельные параллельные ряды однородных созданий природы, не происходящих от общего предка, вовсе не существуют для Дарвина, и он поэтому тотчас же пасует со своими обращенными назад воззрениями, как только у него обрывается нить полового или иного способа размножения.

Утверждение, будто Дарвин выводит все живущие теперь организмы от одного прародича, представляет, чтобы выразиться вежливо, «продукт собственного свободного творчества и воображения» г. Дюринга. На последней странице «Origin of Species» (6-е издание) Дарвин прямо говорит, что он считает «все живые существа не особыми творениями, а потомством по прямой линии *немногих существ*». Геккель идет еще гораздо дальше и допускает «одно совершенно самостоятельное генеалогическое древо для растительного царства и другое — для животного царства», а между этими двумя «некоторое число самостоятельных древ протистов, из которых каждое, совершенно независимо от первых двух, развилося из собственной первичной формы монеры» («Schöpfungsgeschichte», стр. 397). Этот прародич был изобретен г. Дюрингом лишь для того, чтобы его можно было скомпрометировать путем параллели с праевреем Адамом, причем, к несчастью для г. Дюринга, ему осталось неизвестным, что, благодаря ассирийским изысканиям Смита, этот еврей оказался прасемитом, и что все библейское повествование о сотворении мира и потопе является не более как отрывком из цикла древне-языческих сказаний религиозного характера, который был распространен одинаково как среди евреев, так и среди вавилонян, халдеев и ассириян.

Разумеется, Дарвину приходится сделать суровый, но заслу-

женный упрек, что он пасует тотчас же, как только у него обрывается генеалогическая нить. К сожалению, этого упрека заслуживает все наше естествознание: там, где обрывается нить происхождения одного организма от другого, «оно пасует». Оно до сих пор не дошло еще до создания органических существ иначе, как путем воспроизведения от других существ; даже получить из химических элементов простую протоплазму или другие белковые тела оно до сих пор не умеет. Следовательно, о возникновении жизни естествознание может пока определенно утверждать только то, что жизнь должна была возникнуть на основе химических процессов. Но, может быть, философия действительности в состоянии помочь нам в этом случае, так как она располагает самостоятельными параллельными рядами созданий природы, которые не связаны между собой происхождением из общего корня? Как возникли эти создания? Путем самозарождения? Но до сих пор даже самые отважные сторонники самозарождения не притязали на то, чтобы этим путем создавалось что-либо, кроме бактерий, грибных спорыньев и других весьма простых организмов, но отнюдь не насекомые, рыбы, птицы и млекопитающие. Если же эти однородные творения природы (разумеется органические, только о них здесь идет речь) не связаны между собой общим происхождением, то там, «где обрывается нить происхождения от другого организма», они, или каждый из их предков, должны были появиться на свет не иначе, как путем отдельного акта творения. Таким образом, мы опять возвращаемся к творцу и к тому, что принято называть деизмом.

Далее г. Дюринг объявляет признаком чрезвычайной поверхностности Дарвина, что тот «делает основным принципом возникновения особенностей простой акт половой композиции (Komposition) этих особенностей». Опять-таки это — продукт свободного творчества и воображения нашего, смотрящего в корень, философа. Напротив, Дарвин определенно заявляет: выражение «естественный отбор» подразумевает только *сохранение* изменений, а не их образование (стр. 63). Эта новая подтасовка положений, которых Дарвин никогда не высказывал, нужна, однако, для того, чтобы помочь нам понять следующее глубокомысленное замечание г. Дюринга: «если бы во внутреннем схематизме полового размножения отыскивали какой-либо принцип самостоятельного изменения, то эта идея была бы совершенно рациональна, ибо вполне естественна мысль объединить принцип всеобщего генезиса с принципом полового размножения и рассматривать так называемое самозарождение с высшей точки зрения не как абсолютную противоположность воспроизведения, а именно как производство». И человек, который способен был сочинить подобную галиматью, не стесняется упрекать Гегеля за его «жаргон»!

Однако довольно с нас раздражительного и противоречивого брюзжания, выражающего только досаду г. Дюринга по поводу колоссального подъема, которым естествознание обязано толчку, данному дарвиновой теорией. Ни Дарвин, ни его последователи среди естествоиспытателей не думают сколько-нибудь умалять вели-

кие заслуги Ламарка; ведь именно они первые вновь напомнили об его великих научных заслугах. Но мы не можем игнорировать того факта, что во времена Ламарка наука отнюдь еще не располагала достаточным материалом для того, чтобы быть в состоянии ответить на вопрос о происхождении видов иначе, как предвсхищая будущее, так сказать, пророчески. Между тем со времени Ламарка был не только накоплен огромный материал из области как описательной, так и анатомической ботаники и зоологии, но и появились две совершенно новые отрасли науки, которые имеют решающее значение в рассматриваемом сейчас вопросе, а именно: исследование развития растительных и животных зародышей (эмбриология) и исследование остатков организмов, сохранившихся в различных слоях земной коры (палеонтология). В частности, обнаруживается характерное совпадение между постепенным развитием органических зародышей в зрелые организмы и последовательным рядом растений и животных, появившихся одни за другими в истории земли. Именно это совпадение дало надежнейшую опору для теории развития. Но сама теория развития еще очень молода, и потому несомненно, что дальнейшее исследование должно весьма значительно модифицировать нынешние, в том числе и строго дарвинистические, представления о процессе развития видов.

Но что же положительного имеет сказать нам философия действительности по поводу развития органической жизни?

«Изменяемость видов представляет приемлемую гипотезу». Но рядом с ней имеет силу и «самостоятельное параллельное существование однородных творений природы, генеалогически не связанных между собою». На основании этого следовало бы прийти к заключению, что неоднородные творения природы, т. е. изменяющиеся виды, происходят одни от других, однородные же нет. Однако это не совсем так, ибо и относительно изменяющихся видов мы читаем в другом месте, что в образовании их генеалогия играет, надо полагать, «весьма второстепенную» роль. Стало быть, фактор этот все-таки признается, хотя и как фактор «второго класса». Будем радоваться, что г. Дюринг в конце концов вновь впустил генеалогическую связь через заднюю дверь, после того как он указал в ней так много нехорошего и темного. Точно так же обстоит дело и с естественным отбором, ибо после всего нравственного негодования против борьбы за существование, через посредство которой именно и совершается естественный отбор, мы вдруг читаем: «более глубокая причина характера органических форм заключается, таким образом, в условиях жизни и в космических отношениях, тогда как подчеркиваемый Дарвином естественный отбор может приниматься в расчет лишь как второстепенный фактор». Стало быть, все же признается естественный отбор, хотя и как фактор второго класса. Но вместе с естественным отбором дана также борьба за существование, а следовательно, и поповско-мальтузианская избыточность населения! — Вот и все, что мы узнаем у г. Дюринга; относительно всего прочего он отсылает нас к Ламарку.

Наконец, он предостерегает нас против злоупотребления сло-

вами: метаморфоза и развитие. Метаморфоза, — говорит он, — есть понятие неясное, а понятие о развитии допустимо лишь постольку, поскольку законы развития могут быть фактически доказаны. Вместо того и другого мы должны говорить «композиция» (Komposition), и тогда все будет в порядке. Опять старая история: суть дела остается в том же положении, что и прежде, и г. Дюринг вполне доволен, если только мы изменим название. Когда мы говорим о развитии дыпленка из яйца, то производим путаницу, так как можем лишь неудовлетворительно показать законы развития. Но если мы будем говорить об его «композиции», то все становится ясно. Следовательно, отныне мы не будем больше говорить: «это дитя великолепно развивается», а «дитя находится в процессе весьма удачной композиции», и нам остается поздравить г. Дюринга с тем, что он заслуженно занимает место рядом с творцом «Кольца Нибелунгов» не только по благородно-высокой самооценке, но и в качестве композитора будущего.

VIII. Философия природы. Органический мир (окончание)

«Надо принять в соображение... какие положительные знания требуются для того, чтобы снабдить наш натурфилософский отдел всеми его научными предпосылками. В основе его лежат, прежде всего, все существенные завоевания математики, затем главные положения точного знания в механике, физике и химии, а также вообще естественно-научные итоги физиологии, зоологии и аналогичных отраслей исследования».

Так уверенно и решительно отзывается г. Дюринг о математической и естественно-исторической учености г. Дюринга. Однако по этому тощему «натурфилософскому отделу», а в особенности по еще более скудным его результатам не видно, чтобы за ними скрывались глубокие положительные знания. Во всяком случае, чтобы сочинить дюринговы оракульские изречения о физике и химии, не требуется знать из физики ничего, кроме уравнения, выражающего механический эквивалент теплоты, а из химии достаточно знать, что все тела разделяются на элементы и соединения элементов. К тому же, кто, подобно г. Дюрингу (стр. 131), способен говорить о «тяготеющих атомах», тем самым доказывает, что он еще совершенно бродит «впотымах» относительно различия между атомом и молекулой. Как известно, атомы существуют не для притяжения или какой-либо другой механической или физической формы движения, а только для химического действия. Затем, прочитав главу об органической природе, в которой ничего нельзя найти, кроме пустой, противоречивой и по основному пункту оракульски бессмысленной болтовни и абсолютной ничтожности конечного результата, — прочитав эту главу, уже трудно удержаться от предположения, что г. Дюринг толкует здесь о вещах, о которых очень мало знает. Это предположение превращается в уверенность, когда читатель доходит до его предложения употреблять впредь в учении об органической жизни (биологии) термин «композиция», вместо «развития». Тот,

кто может предложить нечто подобное, доказывает этим самым, что он не имеет ни малейшего представления об образовании органических тел.

Все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток, т. е. маленьких, видимых только при сильном увеличении, комочков белкового вещества с клеточным ядром внутри. Обыкновенно клеточка развивает и внешнюю оболочку, и тогда ее содержание более или менее жидкое. Самые низшие клеточные тела состоят из одной клетки; громадное большинство органических существ многоклеточно, представляет связанный комплекс многих клеток, которые, будучи еще однородными у низших организмов, становятся у высших все более и более разнообразными по своей форме, группировке и деятельности. Так, например, в человеческом организме кости, мышцы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа,—одним словом, все ткани состоят из клеток или же развились из них. Но для всех органических клеточных образований, от амебы, представляющей простой, большею частью лишенный оболочки комочек протоплазмы с ядром внутри его, вплоть до человека, и от самой малой одноклеточной *Desmidiacea* (десмидиевой водоросли) до самого высокообразованного растения, — для них всех общим способом размножения клеточек является деление. Клеточное ядро сначала перетягивается в середине; это перетягивание, разделяющее обе головки ядра, становится все сильнее; наконец, они отделяются совсем и образуют два клеточных ядра. Тот же процесс происходит в самой клетке; каждое из двух ядер становится центральным пунктом скопления клеточного вещества, причем обе массы его связаны между собой перегородкой, становящейся все уже и уже, пока, наконец, эти массы не отделяются одна от другой и продолжают жить в виде самостоятельных клеточек. Путем такого многократного деления клетки из зародышевого пузырька животного яйца, после того как оно оплодотворено, постепенно развивается вполне зрелое животное, и точно так же совершается в зрелом организме замещение потребленных тканей. Называть подобный процесс композицией, а применение к нему термина «развитие» — «чистой фантазией», на это способен лишь тот, кто — как это ни трудно допустить в наше время — ничего не знает об этом процессе; здесь происходит *только* развитие, в самом буквальном смысле слова, композиции же здесь нет решительно никакой!

О том, что г. Дюринг вообще понимает под жизнью, нам еще придется говорить ниже. В частности же он представляет себе жизнь следующим образом: «неорганический мир тоже представляет систему самосовершающихся движений; но только там, где начинается настоящее расчленение и циркуляция веществ осуществляется через особые каналы из одного внутреннего пункта по зародышевой схеме, допускающей перенесение на малое образование, — только там можно решиться говорить о действительной жизни в более тесном и строгом смысле этого слова».

Не говоря уже о неуклюжем, запутанном грамматическом строе фразы, это предложение есть в точном и строгом смысле слова, «система самосовершающихся движений» бессмыслица. Если жизнь

начинается лишь там, где наступает собственно расчленение, тогда мы должны объявить мертвым все геккелевское царство протистов, и может быть, и еще большую часть органического мира, смотря по тому, что вкладывается в понятие расчленения. Если жизнь начинается только там, где это расчленение может быть перенесено через посредство малой зародышевой схемы, то нельзя признать живыми существами, по меньшей мере, все низшие организмы, включительно до одноклеточных. Если признаком жизни является циркуляция веществ через особые каналы, то мы должны, сверх вышеупомянутых, вычеркнуть из ряда живых организмов еще целый ряд кишечно-полостных (Coelenterata), за исключением, впрочем, медуз, следовательно, — всех полипов и другие животно-растения. Если же основным признаком жизни считать циркуляцию веществ через особые каналы из одного внутреннего пункта, то мы должны объявить мертвыми всех тех животных, которые не имеют сердца или же имеют их несколько. Сюда, кроме вышеупомянутых, относятся еще все черви, морские звезды и коловратки (Annuloida и Annulosa, по классификации Гексли), часть ракообразных и, наконец, даже одно позвоночное — ланцетник (Amphioxus). Сверх того, все растения.

Итак, желая охарактеризовать жизнь в тесном и строгом смысле слова, г. Дюринг дает четыре противоречащих друг другу признака жизни, из которых один осуждает на вечную смерть не только все растительное, но и почти половину животного царства. Воистину никто не может сказать, что г. Дюринг обманывал нас, когда обещал дать «глубоко своеобразные результаты и воззрения»!

В другом месте у него говорится: «в природе мы также видим, что в основе всех организаций, от низшей до высшей, лежит простой тип», и этот тип «в своей общей сущности наблюдается целиком и полностью уже в самом второстепенном движении самого несовершенного растения». Это утверждение опять-таки представляет «целиком и полностью» бессмыслицу. Наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической природе, есть клетка, и она, действительно, лежит в основе высших организаций. Но в числе низших организаций мы находим множество таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, например протамеба, простой комочек протоплазмы, без всякой дифференциации, затем — целый ряд других монер и все трубчатые водоросли (Siphoneae). Все они связаны с высшими организмами лишь тем, что их существенной составной частью является белок и что поэтому они исполняют свойственные белку функции, т. е. живут и умирают.

Далее, г. Дюринг рассказывает нам: «физиологически ощущение связано с существованием какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Поэтому характерным для всех животных форм признаком является их способность к ощущению, т. е. к субъективно сознательному восприятию своих состояний. Резкая граница между растением и животным лежит там, где совершается скачок к ощущению. Факт существования общеизвестных переходных форм не только не стирает этой границы, но эта последняя становится логической потребностью именно благодаря этим по

внешнему виду неопределенным или не поддающимся определению формам». Далее: «напротив того, растения совершенно и навсегда лишены самого слабого подобия ощущения и даже всякого расположения (Anlage) к нему».

Во-первых, Гегель («Naturphilosophie», § 351, добавление) говорит, что «ощущение есть differentia specifica, т. е. абсолютно отличительный признак животного». Стало быть, опять «незрелая мысль» Гегеля, которая путем простой аннексии со стороны г. Дюринга возведена в дворянское звание окончательной истины последней инстанции.

Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных формах, о нерешенных или неразрешимых, по внешнему виду форм (какой прекрасный тарабарский язык!), лежащих между растением и животным. Тот факт, что такие промежуточные формы существуют и что бывают организмы, о которых мы решительно не можем сказать, растения это или животные, — этот факт создает для г. Дюринга логическую потребность установить для них отличительный признак, который он тут же, не переводя духа, сам признает не выдерживающим критики. Но нам даже нет надобности говорить о сомнительных промежуточных формах между растениями и животными: разве чувствительные растения, свертывающие при самом слабом прикосновении к ним свои листья или свои цветки, разве насекомоядные растения, разве все они лишены самого слабого подобия ощущения и даже всякого зародыша способности ощущать? Этого не может утверждать ведь и г. Дюринг, не впадая в «ненаучную полупоэзию».

В-третьих, опять-таки продуктом свободного творчества и воображения г. Дюринга является его утверждение, будто ощущение физиологически связано с существованием какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Не только все простейшие животные, но еще и животное-растения, по крайней мере большинство их, не обнаруживают никаких следов нервного аппарата. Последний встречается, по общему правилу, только начиная с червей, и г. Дюринг первый выступает с утверждением, что перечисленные организмы лишены ощущения, так как не имеют нервов. Ощущение не связано необходимо с нервами, а только с известными, до сих пор не установленными более точно, белковыми телами.

Впрочем, биологические познания г. Дюринга достаточно характеризуются вопросом, который он неустрашимо предьявляет Дарвину: «неужели животное развилось из растения?» Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни малейших сведений ни о животных, ни о растениях.

О жизни вообще г. Дюринг умеет сообщить нам только следующее: «обмен веществ, который совершается посредством пластически формирующего схематизма» (что бы это могло означать?), «остается всегда отличительным признаком настоящего процесса жизни».

Вот и все, что мы узнаем о жизни, причем мы вдобавок по поводу «пластически формирующего схематизма» увязаем по колено

в бессмысленной тарабарщине чистейшего дюрингова жаргона. Следовательно, если мы хотим знать, что такое жизнь, мы должны сами поближе разобраться в этом вопросе.

Что органический обмен веществ представляет наиболее общее и характерное явление жизни, это повторялось несчетное число раз за последние тридцать лет физиолого-химиками и химико-физиологами; вся заслуга г. Дюринга состоит лишь в том, что он переводит нам это здесь на свой собственный, изящный и ясный язык. Но определить жизнь как органический обмен веществ—это значит определить жизнь как... жизнь, ибо органический обмен веществ, или обмен веществ с помощью «пластического формирующего схематизма» именно и представляет собою выражение, которое в свою очередь нуждается в объяснении жизнью, в объяснении различием между органическим и неорганическим, т. е. между живым и неживым. Следовательно, при таком объяснении мы не сдвинулись с места.

Обмен веществ, как таковой, имеет место и без жизни. Существует целый ряд химических процессов, которые при достаточном притоке сырых материалов снова и снова создают условия, необходимые для их возникновения, притом так, что носителем процесса является здесь определенное тело. Так, например, бывает при фабрикации серной кислоты посредством сжигания серы: при этом получается двуокись серы (обыденное название — сернистый газ) SO_2 , и если ввести водяные пары и азотную кислоту, то двуокись серы поглощает водород и кислород и превращается в серную кислоту H_2SO_4 . Азотная кислота отдает при этом часть своего кислорода и превращается в окись азота; эта окись азота тотчас же поглощает из воздуха новый кислород и превращается в высшие окислы азота, но лишь затем, чтобы тотчас же вновь отдать этот кислород двуокиси серы и снова проделать тот же процесс, так что теоретически бесконечно малого количества азотной кислоты должно бы быть достаточно, чтобы превратить неограниченное количество двуокиси серы кислорода и воды в серную кислоту. — Далее, обмен веществ происходит при просачивании жидкостей сквозь мертвые органические и даже неорганические оболочки, равно как в искусственных клетках Траубе. Опять-таки и здесь оказывается, что с обменом веществ мы не подвигаемся ни на шаг вперед, ибо тот характерный обмен веществ, который должен объяснить жизнь, в свою очередь нуждается сам в объяснении посредством понятия жизни. Следовательно, приходится искать иного объяснения.

Жизнь есть форма бытия белковых тел, и эта форма бытия состоит по существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.

Белковое тело понимается здесь в смысле современной химии, которая этим термином охватывает все тела, аналогичные по составу с обыкновенным белком и называемые также протеиновыми. Термин неудачен, так как из всех родственных ему веществ обыкновенный белок играет наиболее безжизненную, пассивную роль, служа, рядом с желтком, исключительно питательным веществом для развивающегося зародыша. Однако, пока о химическом составе белковых

тел известно так немного, этот термин все еще заслуживает предпочтения перед всеми другими, будучи общее их.

Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим ее связанной с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы встречаем какое-либо не находящееся в процессе разложения белковое тело, мы находим непременно и проявления жизни. Конечно, в живом организме необходима также и наличность других химических соединений, чтобы вызвать более специальное дифференцирование этих проявлений жизни; но для жизни в чистом виде они не необходимы, или же необходимы постольку, поскольку они входят в виде пищи и превращаются в белки. Самые низшие живые существа из известных нам представляют собой не более, как простой комочек белка, и эти существа обнаруживают уже все существенные явления жизни.

В чем же состоят эти, одинаково встречающиеся у всех живых существ, явления жизни? Прежде всего в том, что белковое тело воспринимает в себя из окружающей среды другие подходящие вещества и ассимилирует их, тогда как более старые частицы тела разлагаются и извергаются. Другие, неживые тела тоже изменяются, разлагаются и комбинируются в потоке естественных явлений; но они при этом перестают быть тем, чем были раньше. Камень, который выветрился, уже больше не камень; металл, подвергшийся окислению, превращается в ржавчину. Но то, что в мертвых телах является причиной разрушения, в белке становится основным условием существования. Как только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, эта постоянная смена питания и выделения, — с этого момента само белковое тело прекращает свое существование, оно разлагается, т. е. *умирает*. Жизнь — форма существования белкового тела — характеризуется, следовательно, тем, что каждый живой организм в каждый данный момент является одновременно и самим собою и чем-то другим, и происходит это независимо от какого-либо процесса, которому он подвергается извне, как это может быть и с мертвыми телами. Напротив, жизнь, обмен веществ, происходящий путем питания и выделения, есть процесс самосовершающийся, присущий, прирожденный своему носителю — белку, без которого не может быть жизни. А отсюда следует, что если когда-нибудь химии удастся искусственно произвести белок, то этот последний должен будет обнаружить явления жизни, хотя бы самые слабые. Конечно, еще вопрос, сумеет ли химия открыть также и надлежащую пищу для этого белка.

Из обмена веществ путем питания и выделения, составляющего существенную функцию белка, и из свойственной белку пластичности вытекают все прочие простейшие факторы жизни: раздражимость, которая заключена уже во взаимодействии между белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживающаяся уже на очень низкой ступени при поглощении пищи; способность к росту, которая на низшей ступени включает размножение путем деления; внутреннее движение, без которого невозможно ни поглощение, ни ассимилирование пищи.

Наше определение жизни, разумеется, весьма недостаточно,

поскольку оно далеко от того, чтобы обнять *все* явления жизни, и поневоле ограничивается самыми общими и простыми среди них. Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную ценность. Чтобы дать действительно исчерпывающее представление о жизни, нам пришлось бы обозреть по порядку все формы ее проявления, от самой низшей до высшей. Однако для обыденного употребления такие определения очень удобны, а подчас без них трудно обойтись; во всяком случае, они не могут повредить, пока мы не забываем их неизбежных недостатков.

Однако вернемся к г. Дюрингу. Если ему несколько не везет в области земной биологии, то он знает, как утешиться, и ищет спасения в своем звездном небе.

«Не только органы ощущения, имеющие специальное устройство, но и весь объективный мир устроен так, чтобы вызывать удовольствие и боль. На этом основании мы принимаем, что противоположность удовольствия и боли, притом *в той самой* форме, которая нам известна, универсальна и должна быть представлена однородными по существу чувствами *в различных мирах вселенной*... Это совпадение имеет *немалое значение*, ибо оно является ключом к пониманию *вселенной ощущений*... Нам, следовательно, субъективный космический мир не на много более чужд, чем мир объективный. Организацию того и другого царства следует мыслить по единообразному типу, и таким путем мы получаем начатки для учения о сознании, имеющего не одну лишь земную сферу применения».

Что значат несколько грубых ошибок в земном естествознании для человека, который носит в своем кармане ключ ко вселенной ощущений? Allons donc!

IX. Мораль и право. Вечные истины

Мы воздерживаемся от того, чтобы приводить образчики той смеси плоскостей и туманных прорицаний, словом, той пустой болтовни, которою г. Дюринг угощает своих читателей на протяжении целых 50 страниц, под видом глубокомысленной науки об элементах сознания. Прочитируем только одно место: «кто способен мыслить только при помощи речи, тот еще не знает, что значит *отвлеченное и настоящее мышление*». Согласно этому воззрению, животные — самые отвлеченные и самые настоящие мыслители, так как их мышление никогда не затемняется назойливым вмешательством речи. Во всяком случае, по дюринговским мыслям и по выражающей их речи можно видеть, как мало эти мысли приспособлены к какому бы то ни было языку и как мало немецкий язык приспособлен к выражению таких мыслей.

Наконец, мы с чувством облегчения можем перейти к четвертому отделу, который, кроме этой расплывчатой словесной каши, дает, по крайней мере, там и сям кое-что осязательное относительно *морали и права*. На этот раз мы уже в самом начале получаем приглашение совершить экскурсию на другие небесные светила: эле-

менты морали «должны оказаться также, — если и не в одинаковом сочетании или разнообразии, — у всех нечеловеческих существ, в которых деятельному разуму приходится заниматься сознательным упорядочением инстинктивных проявлений жизни... Впрочем, наш интерес к подобным выводам не может быть особенно значительным... Все же на наш кругозор действует благотворно расширяющим образом мысль, что на других небесных телах индивидуальная и общественная жизнь должна исходить из схемы, которая... не может устранить или обойти основную общую организацию разумно поступающего существа».

Если применимость дюринговых истин ко всем другим возможным мирам устанавливается здесь, в виде исключения, в самом начале, а не в конце соответствующей главы, то для этого имеется достаточное основание. Раз будет признана применимость дюринговых представлений о морали и справедливости ко всем *мирам*, то тем легче можно будет благотворно распространить их силу на все *времена*. И опять-таки речь идет здесь, ни много, ни мало, как об окончательных истинах в последней инстанции. Мир морали «так же, как и мир общего знания, имеет свои непреходящие принципы и простые элементы»; моральные принципы стоят «над историей и над современными различиями народных характеров... Отдельные истины, из которых в ходе развития складывается более полное моральное сознание и, так сказать, совесть, могут, поскольку они познаны до своих последних оснований, притязать на такую же применимость и такое же широкое значение, как истины и приложения математики. Подлинные истины вообще неизменны, так что вообще нелепо изображать правильность познания зависящей от времени и реальных перемен». Поэтому надежность строго научного знания и достаточность обыденного понимания не позволяют нам, когда мы находимся в душевно нормальном состоянии, отчаиваться в абсолютном значении принципов знания. «Уже одно длительное сомнение есть состояние болезненной слабости и представляет не что иное, как проявление безнадежной *футаницы*, которая пытается иногда в систематизированном сознании своего ничтожества создать видимость некоторой твердой позиции. В вопросах нравственности отрицание всеобщих принципов цепляется за географическое и историческое многообразие нравов и нравственных начал; стоит признать вместе с ним неизбежную необходимость нравственно дурного и злого, чтобы оно тогда только и сошло себя действительно стоящим выше признания серьезного значения и фактического действия всеобщих моральных стимулов. Этот *разведающий скептицизм*, который обращается не против каких-либо отдельных лжеучений, а против самой человеческой способности к сознательной нравственности, приводит, в конце концов, к действительному ничто, даже, в сущности, к чему-то худшему, чем простой нигилизм... Он льстит себя надеждой, что сумеет без труда властвовать среди *дикого хаоса* ниспровергнутых им нравственных представлений и открыть настежь двери беспринципному произволу. Но он жестоко ошибается, ибо достаточно простого указания на то, что разум неизбежно впадает в ошибки при

искании истины, чтобы уже путем одной этой аналогии стало ясно, насколько естественная погрешимость не исключает непременно возможности выполнить морально правильное».

Мы спокойно принимали до сих пор все эти пышные фразы г. Дюринга об окончательных истинах в последней инстанции, о суверенности мышления, абсолютной достоверности познания и т. д., так как вопрос этот мог быть решен только в том пункте, до которого мы теперь дошли. До сих пор достаточно было исследовать, насколько отдельные утверждения философии действительности имеют «суверенное значение» и могут «безусловно притязать на истинность». Здесь же мы приходим к вопросу, — могут ли продукты человеческого познания вообще и если да, то какие, иметь суверенное значение и безусловное право (Anspruch) на истину. Когда я говорю — *человеческого познания*, то делаю это не с каким-либо оскорбительным умыслом по отношению к обитателям других небесных тел, которых не имею чести знать, но лишь потому, что и животные тоже познают, хотя отнюдь не суверенно. Собака признает в своем господине своего бога, причем господин этот может быть превеликим негодяем.

Суверенно ли человеческое мышление? Прежде чем ответить «да» или «нет», мы должны исследовать сначала, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление одного индивидуального человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Если я говорю, следовательно, что это суммируемое в моем представлении мышление всех людей, включая и будущих, *суверенно*, т. е. что оно в состоянии познать существующий мир постольку, поскольку человечество будет достаточно долго существовать и поскольку в самих органах и объектах познания этому познанию не поставлены известные границы, — когда я говорю это, то высказываю нечто довольно банальное и к тому же довольно бесплодное. Ибо самым ценным результатом высказанной мысли можно считать то, что она настраивает нас крайне недоверчиво к нашему нынешнему познанию, так как мы, по всем вероятностям, стоим еще приблизительно в самом начале человеческой истории, и поколения, которым выпадает задача поправлять *нас*, будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех, познание которых мы в состоянии поправлять, — обнаруживая при этом нередко довольно пренебрежительное к ним отношение.

Сам г. Дюринг объявляет необходимостью, что сознание, а следовательно, мышление и познание могут проявиться только в ряде отдельных существ. Мышлению каждого из этих индивидуумов мы можем приписать суверенность лишь постольку, поскольку мы не знаем никакой власти, которая была бы в состоянии насильственно навязать ему, в здоровом и бодрствующем состоянии, какую-либо мысль. Что касается суверенного значения результатов каждого индивидуального мышления, то все мы знаем, что об этом не может быть и речи и что, по всему нашему прежнему опыту, они всегда, без исключения, содержат в себе гораздо больше элементов,

допускающих улучшение, нежели элементов, не нуждающихся в нем или правильных.

Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно; познание, имеющее безусловное право на истину, — в ряде относительных (релятивных) заблуждений; ни то, ни другое не может быть осуществлено полностью иначе как при бесконечной продолжительности жизни человечества.

Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером человеческого мышления, представляющимся нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познания столь же неограниченна, как ограничена. Суверенно и неограниченно по своей природе (или устройству, Anlage), призванию, возможности исторической конечной цели; несуверенно и ограничено по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности.

Точно так же обстоит дело с вечными истинами. Если бы человечество пришло когда-либо к тому, чтобы оперировать с одними только вечными истинами, с результатами мышления, имеющими суверенное значение и абсолютное притязание на истинность, то оно бы дошло до того пункта, где бесконечность интеллектуального мира оказалась бы реально и потенциально исчерпанной, и, таким образом, совершилось бы пресловутое чудо сосчитанной бесчисленности.

Но ведь существуют же истины, настолько твердо установленные, что каждое сомнение в них представляется нам равнозначным сумасшествию? Например, что дважды два равно четырем, что сумма углов треугольника равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек без пищи умирает с голоду и т. д.? Следовательно, существуют все-таки вечные истины, окончательные истины в последней инстанции?

Конечно. Всю область познания мы можем, согласно старинному способу, разделить на три больших отдела. Первый обнимает все науки о неживой природе, допускающие в большей или меньшей степени математическую обработку: сюда относятся математика, астрономия, механика, физика, химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять большие слова к весьма простым вещам, то можно сказать, что *некоторые* результаты этих наук представляют собою вечные истины, окончательные истины в последней инстанции, почему эти науки и были названы *точными*. Однако далеко не все результаты: с введением переменных величин и распространением их переменности до области бесконечно малого и бесконечно большого, столь строго нравственная некогда математика совершила грехопадение: она вкусила яблоко познания, которое открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и к заблужде-

ниям. Девственное состояние абсолютной применимости и непровержимой доказанности всего математического исчезло навеки; наступило царство разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей дифференцируют и интегрируют не потому, чтобы понимали, что они делают, но просто в силу веры, так как до сих пор результат всегда получался верный. Еще хуже обстоит дело в астрономии и механике, а в физике и химии находишься среди гипотез, словно в центре пчелиного роя. Да иначе оно и не может быть. В физике мы имеем дело с движением молекул, в химии — с образованием молекул из атомов, и если интерференция световых волн не есть сказка, то у нас нет абсолютно никакой надежды когда-либо увидеть эти интересные вещи собственными глазами. Таким образом, окончательные истины в последней инстанции становятся тут с течением времени чрезвычайно редкими.

Еще хуже обстоит в этом отношении дело с геологией, которая, по самой своей природе, занимается главным образом такими процессами, при которых не присутствовали не только мы, но и вообще ни один человек. Поэтому добывание окончательных истин в последней инстанции здесь сопряжено с очень большим трудом, и результаты его крайне скудны.

Второй класс наук — тот, который включает в себе исследование живых организмов. В этой области имеет место такое сложное многообразие взаимоотношений и причинных связей, что не только каждый решенный вопрос поднимает множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может быть разрешен в большинстве случаев только по частям, путем ряда исследований, которые часто требуют целых столетий; при этом потребность в систематическом уразумении связей между фактами постоянно вынуждает окружать окончательные истины в последней инстанции густым лесом гипотез. Какой длинный ряд промежуточных ступеней от Галена до Мальпигия был необходим, чтобы правильно установить такую простую вещь, как кровообращение у млекопитающих! Как мало знаем мы в настоящее время о возникновении кровяных телец и как много средних звеньев нехватает нам еще ныне, чтобы привести, например, в рациональную связь явления какой-либо болезни с ее причинами! При этом довольно часто появляются такие открытия, как открытие клеточки, которые заставляют нас подвергнуть полному пересмотру все твердо установленные до сих пор в биологии окончательные истины в последней инстанции и целые кучи их отбросить раз навсегда. Кто, следовательно, желает выставить здесь подлинные, действительно неизменные истины, тот должен довольствоваться банальностями вроде того, что все люди должны умереть, что все самки у млекопитающих имеют молочные железы и т. д. Он не сможет даже сказать, что у высших животных пищеварение совершается желудком и кишечным каналом, а не головой, ибо для пищеварения необходима централизованная в голове нервная деятельность.

Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей группе наук, в науках исторических, которые исследуют условия жизни

людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальными надстройками философии, религии, искусства и т. д., в их исторической последовательности и современном состоянии. В органической природе нам приходится, по крайней мере, иметь дело с рядом явлений, которые, поскольку речь идет о нашем непосредственном наблюдении, довольно регулярно повторяются в очень широких пределах. Виды организмов остались со времен Аристотеля в общем и целом те же самые. Напротив, в истории обществ повторение явлений составляет исключение, а не общее правило, как только мы удаляемся от первобытного состояния человечества, так называемого каменного века; если же где такие повторения и имеют место, то они никогда не происходят при совершенно одинаковых условиях. Таков, например, факт существования первобытной общинной собственности на землю у всех культурных народов и форма ее разложения. Поэтому в области истории человечества наша наука еще больше отстала, чем в области биологии. Более того: если, в виде исключения, иногда и удается познать внутреннюю связь общественных и политических форм известного исторического периода, то это, по общему правилу, происходит тогда, когда эти формы уже наполовину пережили себя и клонятся к упадку. Познание носит здесь, таким образом, по существу относительный характер, так как ограничивается выяснением связей и следствий известных общественных и государственных форм, существующих только для данной эпохи и данных народов и, по своей природе, преходящих. Следовательно, кто в этой области гонится за окончательными истинами в последней инстанции, вообще за подлинными неизменными истинами, тот немногим поживится, если не считать общих мест самого банального сорта, вроде того что люди вообще не могут жить без труда, что они до сих пор делились, большей частью, на правящих и управляемых, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. и т. д.

Замечательно, однако, что именно в этой области чаще всего провозглашаются мнимые вечные истины, окончательные истины в последней инстанции и т. д. Такие положения, как «дважды два — четыре» или «у птицы имеется клюв» и т. п., объявляет вечными истинами лишь тот, кто носится с намерением из факта существования вечных истин вообще сделать вывод, что и в истории человечества существуют вечные истины, вечная мораль, вечная справедливость и т. д., якобы имеющие такое же значение, как выводы и положения математики. И тогда можно быть вполне уверенным, что этот самый друг человечества заявит нам при первом удобном случае, что прежние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей степени ослы и шарлатаны, что все они находились во власти заблуждения, ошибались, но *их* заблуждения и *их* подверженность ошибкам вполне естественны и доказывают наличность истины у *него*: он, ныне явленный пророк, хранит в своем чемодане окончательную истину в последней инстанции, вечную мораль, вечную справедливость. Все это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходится только удивляться, как еще находятся люди достаточно легковверные, чтобы этому верить, когда дело идет не только о других, но даже

О них самих. И тем не менее мы дожили, по крайней мере, еще до одного такого пророка, который по принятому обыкновению приходит в высоконравственное негодование, когда другие говорят, что нет человека, который был бы в состоянии открыть один окончательные истины в последней инстанции. Подобного рода отрицание, даже простое сомнение, свидетельствует, мол, только о расслабленности, путанице, ничтожестве, разъедающем скептицизме, представляет собою нечто худшее, чем простой нигилизм, представляет дикий хаос и т. д. Одним словом, как это принято у всех пророков, не делается попыток научно-критически исследовать и судить, а без дальнейших околичностей расточаются громы нравственного негодования.

В предшествующем обзоре мы могли бы еще упомянуть науки, исследующие законы человеческого мышления, т. е. логику и диалектику. Но и здесь с вечными истинами дело выглядит не лучше. Собственно диалектику г. Дюринг объявляет чистой бессмыслицей, а множество книг, которые были написаны и пишутся еще теперь по логике, достаточно доказывают, что и здесь окончательные истины в последней инстанции гораздо более редки, чем иные думают.

Однако нам отнюдь нет надобности приходить в ужас по поводу того, что ступень познания, на которой мы ныне стоим, столь же мало окончательна, как и все предшествующие. Наша наука охватывает уже громадный материал и требует очень значительной специализации от каждого, кто хочет быть своим человеком в какой бы то ни было ее отрасли. Если же кто предъявляет критерий подлинной, неизменной, окончательной истины в последней инстанции к таким знаниям, которые, по самой природе вещей, либо должны оставаться относительными для долгого ряда поколений и лишь понемногу пополняться, либо же, как, например, космогония, геология и история человечества, должны навсегда остаться неполными и незаконченными уже вследствие недостаточности исторического материала, — то он доказывает этим только собственное невежество и превратность своих понятий, даже тогда, когда истинной подкладкой не служит, как в данном случае, претензия на личную непогрешимость. Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области; мы это уже видели, и г. Дюринг знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начатками диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как раз о недостаточности всех полярных противоположностей. Как только мы станем применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, так эта противоположность делается относительной (релятивной) и, следовательно, негодной для точного научного способа выражений. А если мы попытаемся применять эту противоположность вне пределов указанной области как абсолютную, то мы уже совсем потершим фиаско: оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность, т. е. истина станет заблуждением, заблуждение — истиной. Возьмем, в качестве примера, известный закон

Бойля, согласно которому, при неизменной температуре, объем газа обратно пропорционален производимому на него давлению. Реньо нашел, что этот закон неверен для известных случаев. Если бы он был «философом действительности», то обязан был бы заявить: закон Бойля изменчив, следовательно, он не представляет настоящей истины, значит — он вообще не истина, значит — он представляет заблуждение. Но таким образом Реньо впал бы в гораздо большую ошибку, чем та, которая содержится в законе Бойля; в куче заблуждения затерялось бы его зерно истины; таким образом, он обратил бы свой первоначально верный результат в заблуждение, по сравнению с которым закон Бойля, при всей содержащейся в нем небольшой погрешности, показался бы истиной. Но Реньо, как человек науки, не позволил себе подобного ребячества, а продолжал исследование и нашел, что закон Бойля вообще верен только приблизительно; в частности же его действие прекращается для газов, которые посредством давления могут быть приведены в капельно-жидкое состояние, и именно с того момента, когда давление приближается к пункту, при котором наступает этот переход. Таким образом, оказалось, что закон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолютно ли, окончательно ли верен он и в этих пределах? Ни один физик не станет утверждать этого. Он скажет, что закон действителен только в пределах известной величины давления и температуры и для известных газов, и внутри этих тесных пределов он не станет отрицать возможности, что будущее исследование потребует еще более тесного ограничения или иной формулировки¹. Так обстоит, следовательно, дело в физике с окончательными истинами в последней инстанции. Поэтому в действительно научных трудах избегают обыкновенно таких догматическоморальных выражений, как заблуждение и истина; напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях, вроде философии действительности, где пустая болтовня хочет навязать себя нам, как сувереннейший результат суверенного мышления.

Но где же, — спросит, быть может, наивный читатель, — где же г. Дюринг прямо заявил, что содержание его философии действительности представляет окончательную истину, притом в последней инстанции? Как где? Ну, например, в дифирамбе в честь своей системы (стр. 13), из которого мы привели некоторые

¹ С тех пор, как я это написал, мое предположение, повидимому, уже подтвердилось. Новейшие исследования, произведенные Менделеевым и Богусским при посредстве более точных аппаратов, обнаружили для всех постоянных газов изменчивое отношение между давлением и объемом; коэффициент расширения у водорода оказался при всех примененных до сих пор давлениях положительным (объем уменьшался медленнее, чем увеличивалось давление); для атмосферного же воздуха и для других исследованных газов существует для каждого газа некоторый предел давления, так что при меньшем давлении указанный коэффициент положителен, при большем — отрицателен. Таким образом, закон Бойля, до сих пор все еще практически пригодный, нуждается в дополнении целым рядом специальных законов. (Теперь — в 1885 г. — мы знаем, что вообще не существует никаких «постоянных» газов: все они приведены в жидкое состояние.)

выдержки во 2-й главе. Или, когда он в выше цитированном месте говорит: моральные истины, поскольку они познаны до своих последних оснований, могут притязать на однородное значение с выводами математики. Затем, разве г. Дюринг не утверждает, что, исходя из истинно-критической точки зрения и путем проникающего до самых корней исследования, он дошел до этих последних оснований, до «основных схем», следовательно, придал моральным истинам характер окончательных истин в последней инстанции? Или же, если г. Дюринг выставляет это притязание не от себя и не от лица своего времени; если он желает только сказать, что когда-нибудь в туманном будущем могут быть установлены окончательные истины в последней инстанции; если он, следовательно, хочет сказать приблизительно то же, только более спутанно, что говорят «разведающий скептицизм» и «дикая путаница», — в таком случае, к чему был весь этот шум, и что собственно угодно г. Дюрингу?

Если уже с понятиями истины и заблуждения мы не далеко ушли, то еще меньше шансов на это с понятиями добра и зла. Противоположность этих понятий развивается исключительно в области морали, стало быть, в сфере, относящейся к истории человечества, где окончательные истины в последней инстанции встречаются как раз реже всего. Представления о добре и зле так сильно менялись от одного народа и века к другому народу и веку, что часто прямо противоречили одно другому. — Но, возразят нам, добро все-таки не зло и зло не добро; если добро и зло валить в одну кучу, то исчезает всякая нравственность, и каждый может делать все, что хочет. — Таково именно, если снять с него весь оракульский наряд, мнение г. Дюринга. Но так просто вопрос все-таки не решается. Если бы это было так просто, то не было бы никаких споров о добре и зле, каждый бы знал, что есть добро и что есть зло. А между тем, как обстоит дело ныне? Какая мораль проповедуется нам теперь? Прежде всего христианско-феодалная, унаследованная от старых верующих времен, которая, в свою очередь, делится на католическую и протестантскую, причем опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях, от иезуитско-католической и ортодоксально-протестантской до снисходительно-просветительской морали. Рядом с этой моралью фигурирует современно-буржуазная мораль, а рядом с последнею — пролетарская мораль будущего: таким образом, в одних только передовых странах Европы прошедшее, настоящее и будущее выдвинули три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий морали. Какая же из них верна? Ни одна, если прилагать мерку абсолютной окончательности; но, конечно, та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, которая в настоящем выражает точку зрения коренного преобразования настоящего, или точку зрения будущего, следовательно — мораль пролетарская.

Но если каждый из трех классов современного общества, феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат, имеет свою особую мораль, то мы можем сделать отсюда лишь тот вывод, что люди,

сознательно или бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических условий, на которых зиждется их классовое положение, т. е. из экономических условий, в которых они осуществляют производство и обмен хозяйственных благ.

Но ведь в трех вышеуказанных теориях морали есть нечто общее им всем; быть может, именно оно и представляет известную, по крайней мере, долю раз навсегда установленной морали? На это мы ответим, что указанные теории, выражая собою три различные ступени одного и того же исторического процесса, имеют общую историческую подкладку, и уже потому не могут не быть много общего. Более того. Для одинаковых или приблизительно одинаковых ступеней экономического развития нравственные теории должны необходимо более или менее совпадать. С того момента, как развилась частная собственность на движимые вещи, для всех обществ, в которых существовала эта частная собственность, должна была стать общей моральной заповедь: «не укради». Становится ли от этого приведенная заповедь вечной моральной истиной? Отнюдь нет. В обществе, в котором устранены всякие мотивы к краже, где, следовательно, со временем кражу будут совершать разве только люди душевнобольные, — какому осмеянию подвергся бы в нем тот проповедник морали, который вздумал бы торжественно провозгласить вечную истину: не укради!

Ввиду изложенных соображений мы отвергаем всякую попытку навязать нам какую бы то ни было моральную догматику в качестве вечного, окончательного, отныне неизменного нравственного закона, — навязать под тем предлогом, что мир морали также имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше истории и национальных различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая теория морали являлась до сих пор в конечном счете результатом данного экономического положения общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоположностях, то мораль всегда была классовой моралью: либо она оправдывала господство и интересы господствующего класса, либо, когда угнетенный класс становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных. Что при этом, в общем и целом, происходил прогресс в морали, как и во всех других отраслях человеческого познания, — в этом никто не сомневается. Но еще и теперь мы не вышли из рамок классовой морали. Мораль истинно человеческая, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда не только будет уничтожена противоположность классов, но изгладится и всякое воспоминание о ней в практической жизни. После сказанного нами пусть читатель оценит все самомнение г. Дюринга, который изнутри старого классового общества претендует, накануне предстоящей социальной революции, навязать будущему бесклассовому обществу вечную, не зависящую от времени и реальных перемен мораль! Так обстояло бы дело даже в том случае, если бы он понимал,

хотя бы в общих чертах, строй этого будущего общества, — что нам пока еще неизвестно.

В заключение еще одно «глубоко своеобразное» и в то же время «до корней проникающее» открытие. В вопросе о происхождении зла (тот факт, что *тип кошки*, со свойственной ей фальшивостью, имеется в животной породе, имеет для нас такое же значение, как наличие подобного же характера в человеке... Поэтому зло не есть что-либо таинственное, если не желать чужать также нечто мистическое в существовании кошки или вообще хищных животных). Итак, зло, это — кошка. Чорт не имеет, следовательно, рогов и лошадиного копыта, а когти и зеленые глаза. И Гёте совершил непростительную ошибку, когда ввел Мефистофеля в виде черной собаки, а не в виде черной кошки. Зло есть кошка! Вот это мораль, годная не только для всех миров, но и, что называется, «для кошки»!

Х. Мораль и право. Равенство

Мы уже неоднократно знакомились с методом г. Дюринга. Он состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их простейшие якобы элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самоочевидные аксиомы и оперировать дальше с добытыми таким образом результатами. Точно так же и всякий вопрос общественной жизни «должен быть решаем аксиоматически на отдельных простых, основных формах, как если бы дело шло о простых... основных формах математики». Таким образом, применение математического метода к истории, морали и праву должно и в этих областях доставить нам математическую уверенность в истинности добытых результатов, должно придать им характер подлинных, неизменных истин.

Этот метод есть только видоизменение старого излюбленного идеологического метода, называемого также априорным, который познает свойства какого-либо предмета не из самого предмета, а выводит их дедуктивно из его понятия. Сперва из предмета составляют себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отображение предмета, его понятие в мерку для самого предмета. Теперь уже не понятие должно сообразоваться с предметом, а предмет должен сообразоваться с понятием. У г. Дюринга вместо понятия фигурируют простейшие элементы, конечные абстракции, до которых он в состоянии дойти, но это не меняет сущности дела: простейшие элементы, в лучшем случае, носят чисто умозрительный характер. Таким образом, философия действительности оказывается и здесь чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, а из представления.

Итак, если подобного рода идеолог конструирует мораль и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, а из понятия или из так называемых простейших элементов «общества», то какой материал имеется в этом случае для возводимого им здания? Очевидно, двоякого рода: во-первых,

те скудные остатки реального содержания, какие еще могут заключаться в абстракциях, положенных в основу его теории, а во-вторых, то содержание, которое наш идеолог привносит из своего собственного сознания. Но что находит он в своем сознании? Большинство моральные и правовые воззрения, которые в положительной или отрицательной форме, одобряя или осуждая, более или менее точно выражают общественные и политические условия, среди которых он живет; далее, быть может, представления, заимствованные из соответствующей литературы; наконец, еще какие-нибудь личные причуды. Наш идеолог может вертеться, как ему угодно: историческая реальность, выброшенная им за дверь, влетает обратно через окно. Автор, воображавший, что он набрасывает нравственное и правовое учение для всех миров и времен, на самом деле дает искаженное, ибо оторванное от реальной почвы и поставленное вверх ногами, словно в вогнутом зеркале, отражение консервативных или революционных течений своего времени.

Итак, г. Дюринг разлагает общество на простейшие его элементы, причем оказывается, что простейшее общество состоит, по крайней мере, из *двух* человек. Над этими двумя индивидуумами г. Дюринг оперирует затем «аксиоматически», и в результате получается основная «аксиома» морали: «две человеческие воли, как таковые, вполне равны между собой, и одна не может предъявить другой никаких положительных требований». Тем самым «охарактеризована основная форма моральной справедливости», равно как и справедливости юридической, ибо «для развития принципиальных понятий права нам требуется только анализ совершенно простого и элементарного отношения между двумя индивидуумами».

Что два человека или две человеческие воли, как таковые, *совершенно* равны между собой, — это не только не аксиома, но и сильное преувеличение. Два человека могут быть, прежде всего, даже как таковые, неравны по полу, и этот простой факт тотчас же приводит нас к тому, что простейшими элементами общества, — если мы на минуту согласимся на это ребячество, — являются не двое мужчин, но мужчина и женщина, которые образуют семью, эту простейшую и первичную форму обобществления в целях производства. Но это никак не может подойти г. Дюрингу. Ибо, во-первых, ему нужно сделать обоих основателей общества возможно более равными, а, во-вторых, даже и г. Дюринг не сумел бы из первобытной семьи конструировать моральное и правовое равенство мужчины и женщины. Итак, одно из двух: либо социальная молекула Дюринга, путем умножения которой должно построиться все общество, заранее обречена на гибель, ибо двое мужчин никогда не сотворят друг с другом ребенка, или же мы должны представлять себе их как двух глав семейства. В этом случае вся простая основная схема превращается в свою противоположность: вместо равенства людей она доказывает в лучшем случае равенство глав семейств, а так как при этом женщину игнорируют, то она свидетельствует сверх того и о подчинении женщин.

Мы должны сделать здесь читателю неприятное сообщение:

отныне он на довольно долгое время не избавится от этих пресловутых двух мужчин. Они играют в области общественных отношений приблизительно такую же роль, какую до сих пор играли в философии г. Дюринга обитатели других небесных светил, с которыми мы, надо надеяться, больше не встретимся. Как только приходится решать какой-либо вопрос политической экономии, политики и т. д., вмиг появляются эти двое мужчин и моментально «аксиоматически» обделывают дело. Великолепное, творческое, системосозидающее открытие нашего философа действительности! Но, к сожалению, если мы хотим воздать должную честь истине, то не он открыл этих двух мужчин. Они общи всему XVIII веку. Они встречаются уже в рассуждениях Руссо о неравенстве (1754 г.), где, мимоходом сказать, они доказывают аксиоматически как раз противоположное тому, что утверждает г. Дюринг. Затем они играют главную роль у политико-экономов от Адама Смита до Рикардо; но тут они, по крайней мере, неравны в том отношении, что каждый из них занимается не тем, чем другой, — по большей части это охотник и рыбак — и что они взаимно обмениваются своими продуктами. Кроме того, они в течение всего XVIII века служат главным образом только иллюстрирующим примером, и оригинальность г. Дюринга состоит лишь в том, что этот метод иллюстрации он возводит в основной метод всякой общественной науки и в критерий всех исторических формаций. Трудно, конечно, облегчить себе в большей мере «строго-научное понимание вещей и людей».

Но для сооружения основной аксиомы, — что два человека и их воли совершенно равны между собой и ни один из них не может приказывать что-либо другому, — для такой операции годятся отнюдь не двое первых встречных мужчин. Это должны быть два таких человека, которые настолько свободны от всякой реальности, от всех существующих на земном шаре национальных, экономических, политических и религиозных условий, от всяких половых и личных особенностей, что от того и другого не остается ничего, кроме одного понятия «человек», и тогда они, конечно, «совершенно равны». Следовательно, это два настоящих духа, вызванных тем самым г. Дюрингом, который везде чует и обличает «спиритические» поползновения. Эти два духа должны, разумеется, делать все, что прикажет им их заклинатель; но именно потому все их фокусы совершенно безразличны для прочего человечества.

Однако проследим аксиоматику г. Дюринга несколько дальше. Обе воли не могут требовать одна от другой ничего положительного. Если же одна из них все же сделает это и прivedет свое требование силой, то возникает несправедливое состояние, и на этой основной схеме г. Дюринг объясняет несправедливость, насильничество, рабство, — коротко говоря, всю прошлую, достойную осуждения, историю. Между тем уже Руссо в цитированном выше сочинении, пользуясь как раз такими же двумя мужчинами, доказывал столь же аксиоматически нечто совершенно противоположное, а именно: что из двух лиц А и Б первый может поработить второго не посредством насилия, а только поставив Б в такое положение,

в котором последний не может обойтись без А, — воззрение, для г. Дюринга чересчур уже, правда, материалистическое. Рассмотрим тот же вопрос с несколько иной стороны. Двое потерпевших кораблекрушение попали на необитаемый остров и образуют там общество. Воли их формально совершенно равны, и оба признают это. Но материалию между ними существует большое различие: А решителен и энергичен, Б нерешителен, ленив и вял; А смышлен, Б глуп. Проходит немного времени, и А навязывает обыкновенно Б свою волю, сначала путем убеждения, затем по установившейся привычке, но всегда в форме добровольности. Однако, соблюдена ли форма добровольного подчинения или же она грубо попирается ногами, — рабство остается рабством. Добровольное вступление в несвободное состояние проходит через все средневековые, а в Германии мы встречаем его вплоть до Тридцатилетней войны и позже. Когда в Пруссии, после военных поражений 1806 и 1807 гг., было отменено крепостное состояние, а вместе с ним и обязанность господ заботиться о своих подданных в случаях нужды, болезни или старости, то крестьяне подавали петиции королю, прося о том, чтобы их оставили в рабском состоянии, иначе кто же будет заботиться о них в случае нужды? Таким образом, схема двух мужчин столько же «рассчитана» на неравенство и рабство, как на равенство и взаимопомощь, а так как мы вынуждены, под страхом вымирания общества, признать их главами семейств, то в схеме предусмотрено уже и наследственное рабство.

Оставим, однако, на время все эти соображения в стороне. Допустим, что аксиоматика г. Дюринга нас убедила и что мы с энтузиазмом относимся к полной равноправности обеих волей, к «общечеловеческой суверенности», к «суверенности индивидуума», — этим поистине великолепным словам-колоссам, в сравнении с которыми даже штирнеровский «Единственный» с его собственностью ничего не стоит, хотя и его тут есть капля меду. Итак, мы все теперь *совершенно равны* и независимы. Все ли? Нет, все-таки не все. Существуют случаи «дозволительной зависимости», но они объясняются «причинами, которых следует искать не в деятельности обеих волей, как таковых, а в посторонней области: например, когда дело идет о детях, в недостаточности их самоопределения».

В самом деле! Причины зависимости надо искать не в деятельности той или другой воли, как таковой! Конечно, нет, ибо деятельности одной воли не дают ведь проявиться! Но надо искать их в посторонней области! А что это за посторонняя область? Это — конкретная определенность одной угнетенной воли, ее недостаточное самоопределение. Наш философ действительности так далеко ушел от действительности, что по сравнению с абстрактным и бессодержательным словом «воля», действительное содержание, характерная определенность этой воли представляется уже ему «посторонней областью». Как бы то ни было, мы должны констатировать, что равноправие допускает исключение. Оно не имеет силы для такой воли, которая не обладает достаточным самоопределением. *Отступление № I.*

Далее. «Там, где в одном лице из двух соединены грубое животное и человек, можно поставить от имени второго, вполне человеческого лица, вопрос, должно ли его поведение быть таким же, как если бы друг другу противостояли, так сказать, только человеческие личности... Поэтому наше предположение о двух морально-неравных лицах, из которых одно имеет в каком-либо смысле черты животного характера, является типической основной формой для всех отношений, которые могут своеобразно этому различию встречаться внутри человеческих групп и между такими группами».

Пусть теперь читатель сам прочтет следующую за этими неловкими увертками жалостную диатрибу, где г. Дюринг вертится, словно иезуитский поп, чтобы казуистически установить, как далеко человеческий человек может пойти против человека-зверя, как далеко он может применять по отношению к нему недоверие, военную хитрость, суровые и даже террористические средства, а также обман, — нисколько не поступаясь сам принципами неизменной морали.

Итак, равенство прекращается и тогда, когда два человека «морально неравны». Но в таком случае не стоило вызывать на сцену двух совершенно равных людей, ибо нет двух лиц, которые были бы совершенно равны в нравственном отношении. — Указанное неравенство состоит, по мнению автора, в том, что одна личность — человеческая, другая же содержит в себе порядочную дозу зверства. Но уже самый факт происхождения человека из животного царства обуславливает собою то, что человек никогда не освободится от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только о присутствии их в большем или меньшем количестве, о различной степени животности и человечности. Деление человечества на две резко обособленные группы, на человеческих людей и людей-зверей, на добрых и злых, на овец и козлиц, — такое деление знает, кроме философии действительности, одно только христианство, которое вполне последовательно имеет и своего судью мира, совершающего разделение. Но кто же будет таким судьей в философии действительности? Надо полагать, что вопрос этот будет разрешен так, как он решается христианской практикой, где благочестивые овечки, с известным всем успехом, берут на себя роль высшего судии над своими светскими ближними — «козличами». Секта «философов действительности», если она когда-нибудь образуется, наверно не уступит в этом отношении благочестивым святошам. Это обстоятельство, впрочем, для нас безразлично; нас интересует лишь признание, что вследствие морального неравенства между людьми их равенство опять сводится на-нет. *Отступление № 2.*

Пойдем дальше. «Если один поступает, сообразуясь с истиной и наукой, а другой — с каким-либо суеверием или предрассудком, то... обыкновенно должны возникнуть взаимные несогласия... При известной степени неспособности, грубости или злых наклонностях характера всегда должно последовать столкновение... *Насилие* является крайним средством не только по отношению к детям и сумасшедшим. Характер целых естественных групп людей и культур-

ных классов может сделать неизбежной необходимостью *подчинение* их враждебной, вследствие своей извращенности, воли, с целью ввести ее в рамки общежития. Чужая воля признается *равноправной* и в этом случае, но вследствие извращенного характера ее оскорбляющей и враждебной деятельности она вызывает *необходимость выравнивания*, и если она подвергается при этом насилию, то пожинает лишь отраженное действие своей собственной несправедливости».

Следовательно, не только морального, но и умственного неравенства достаточно для того, чтобы устранить «полное равенство» двух личностей и построить такую мораль, согласно которой можно оправдать все позорные деяния цивилизованных государств-грабителей по отношению к отсталым народам, вплоть до зверств царской России в Туркестане. Когда генерал Кауфман летом 1873 г. напал на татарское племя иомудов, сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей, — согласно доброму «кавказскому обычаю», как было сказано в приказе, — то он также утверждал, что подчинение враждебной, вследствие своей извращенности, воли иомудов, для введения ее в рамки общежития, стало неизбежной необходимостью, и что примененные им средства наиболее целесообразны; кто желает какой-нибудь цели, тот должен желать и средств к ее достижению. Однако он не был настолько жесток, чтобы вдобавок еще глумиться над иомудами и говорить, что, устраивая среди них резню в видах выравнивания, он именно этим признает их волю равноправной. Опять-таки и в этом конфликте люди избранные, руководящиеся якобы в своем поведении истиной и наукой, — следовательно, в конечном счете — философы действительности, — они призваны решать, что такое суеверие, предрассудок, грубость и злые наклонности характера, и когда для выравнивания необходимы насилие и подчинение. Итак, равенство превратилось теперь в выравнивание путем насилия, и первая воля признает равноправность второй путем ее подчинения. *Отступление № 3*, которое здесь превращается уже в позорное бегство.

Между прочим: фраза о том, что именно в насильственном выравнивании выражается признание равноправности чужой воли, представляет только искажение теории Гегеля, согласно которой преступник имеет право на наказание. «Во взгляде на наказание, как на право самого преступника, — читаем мы у него, — заключается уважение к последнему, как к разумному существу» (*Rechtsphilosophie*, § 100, примечание).

На этом мы можем покончить. Было бы излишним следовать еще далее за г. Дюрингом, чтобы видеть, как он сам разрушает по частям столь аксиоматически установленное им равенство, общечеловеческую суверенность и т. д.; как он, ухитрившись построить общество только с помощью двух мужчин, вынужден, однако, для конструирования государства вызвать на сцену еще третьего, ибо, вкратце излагая дело, без этого третьего не могут, мол, составиться никакие постановления большинства, а без таких, следовательно, без господства большинства над меньшинством, не может существовать ни одно государство; наконец, как он постепенно сворачивает

в более тихое русло конструирования своего «социалитарного» государства будущего, где мы еще будем иметь честь навестить его в одно прекрасное утро. Мы в достаточной мере могли убедиться, что полное равенство двух волей существует лишь до тех пор, пока обе они *ничего не желают*, но, как только они перестают быть абстрактными человеческими волями и превращаются в действительные, индивидуальные воли, в воли двух реальных людей, — равенство тотчас же прекращается. Мы видели, что детский возраст, безумие, так называемые зверские черты характера, мнимые суеверия и предрассудки, предполагаемая неспособность у одной стороны и воображаемая человечность, понимание истины и науки у другой, — одним словом, всякое различие в качестве обеих волей и сопровождающей их интеллигентности оправдывает неравенство между людьми, которое может доходить до подчинения. Чего же, спрашивается, нам требовать еще, раз автор своими собственными руками так радикально разрушил до основания свое собственное здание равенства?

Но если мы и покончили с плоским и неумелым трактованием идеи равенства у г. Дюринга, то это еще не значит, что мы покончили с самой этой идеей, получившей важное значение в области теории в особенности благодаря Руссо, оказывавшей большое влияние на практическую политику во время французской революции и после нее и продолжающей еще и теперь играть важную агитационную роль в социалистическом движении всех почти стран. Выяснение научного содержания этого понятия определит и его ценность для пролетарской агитации.

Представление о том, что все люди, как люди, имеют между собой нечто общее и, насколько простирается это общее, равны также между собой, — это представление, разумеется, очень старо. Но от этого представления совершенно отлично современное требование равенства, которое из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей, как таковых, выводит право на равное социальное и политическое значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного государства или всех членов данного общества. Для того, чтобы из первобытного представления об относительном равенстве был сделан вывод о равноправии в государстве и обществе, для того, чтобы этот вывод стал казаться чем-то естественным, самоочевидным, должны были пройти и действительно прошли целые тысячелетия. В древнейших, естественно выросших общинах речь могла идти в лучшем случае о равноправии членов общины; женщины, рабы, чужестранцы не входили в круг этих равноправных людей. У греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, полноправные граждане государства и лица, только пользующиеся его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле), что все они могут притязать на равное политическое значение, — такая мысль показалась бы древним безумной. Во время римской империи все эти различия мало-по-

малу стерлись, за исключением различия между свободным и рабом; таким образом возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных лиц, на почве которого развилось римское право, эта совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, покоящегося на частной собственности. Но пока существовала противоположность между свободным и рабом, до тех пор не могло быть и речи о правах, как следствии *общечеловеческого* равенства; это мы еще недавно видели в рабовладельческих штатах Североамериканского Союза.

Христианство, в полном соответствии со своим характером религии рабов и угнетенных, знало только *одно* равенство для всех людей, а именно, равную греховность, унаследованную от прародителей. Наряду с этим оно, в лучшем случае, признавало еще равенство избранных, которое подчеркивалось, однако, только в самом начальном периоде христианства. Следы общности имущества, которые также можно отыскать в этом периоде, объясняются скорее необходимостью сплоченной жизни для людей гонимых, чем действительными представлениями о равенстве. Очень скоро, впрочем, установление различия между священником и мирянином положило конец и этому зачатку христианского равенства. — Наводнение Западной Европы германцами устранило на столетия все представления о равенстве, создав постепенно социальную и политическую иерархию столь сложного типа, какой до тех пор никогда еще не бывало. Но втянув одновременно в историческое движение Западную и Среднюю Европу, оно способствовало тому, что здесь впервые образовалась компактная культурная область и что на этой территории впервые возник целый ряд преимущественно национальных государств, влияющих друг на друга и друг друга сдерживающих. Таким путем была подготовлена почва, на которой только и мог быть поставлен в последующее время вопрос о человеческом равноправии, о правах человека.

Феодальное средневековье воспитало, сверх того, в своем лоне тот класс, который призван был сделаться в своем дальнейшем развитии носителем современного требования равенства, а именно буржуазию. Будучи вначале сама феодальным сословием, буржуазия довела промышленность феодального общества, носившую преимущественно ремесленный характер, и его внутренний обмен продуктов до сравнительно высокой ступени развития, когда в конце XV столетия великие открытия морских путей открыли перед ней новое, более широкое поприще. Внеевропейская торговля, которая до тех пор велась только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию и превысила скоро по своим оборотам как обмен отдельных европейских стран между собою, так и внутренний обмен каждой отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу и, как разлагающий элемент, проникли во все щели, трещины и поры феодального общества. Ремесленное производство перестало удовлетворять растущему спросу; в главных отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.

Однако за этим громадным переворотом в условиях хозяйственной жизни общества последовало далеко не тотчас же соответствующее изменение его политического устройства. Государственный строй остался феодальным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля в крупном масштабе, следовательно, в особенности международная и еще более всемирная торговля, требует свободных, не стесненных в своих движениях товарладельцев, равноправных, как таковые, ведущих между собою обмен на основе равного для них всех права, — равного, по крайней мере, в каждом данном месте. Переход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой существование известного числа свободных рабочих, — свободных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой — от средств, необходимых для самостоятельного использования своей рабочей силы, — людей, которые могут договариваться с фабрикантом о найме их рабочей силы и, следовательно, противостоят ему как равноправная договаривающаяся сторона. И, наконец, равенство и равное значение всех видов человеческого труда, поскольку и потому, что они являются *человеческим* трудом вообще, нашло свое бессознательное, но самое выпуклое выражение в законе стоимости современной буржуазной экономики, — законе, согласно которому стоимость какого-либо товара измеряется содержащимся в нем общественно-необходимым трудом¹. — Однако там, где экономические отношения требовали свободы и равноправия, политический строй противопоставлял им цеховые пути и особые привилегии. Местные привилегии, дифференциальные пошлины и всякого рода исключительные законы стесняли торговлю не только чужестранца или жителя колоний, но довольно часто целых категорий собственных подданных государства; цеховые привилегии везде и беспрестанно становились поперек пути развитию мануфактуры. Нигде поприще не было свободно, нигде не было равенства шансов для буржуазных конкурентов, а между тем это было первым и все более настоятельным требованием.

Как только требование об освобождении от феодальных оков и установлении правового равенства путем устранения феодальных неравенств было поставлено в порядке дня экономическим прогрессом общества, оно должно было скоро принять более широкий характер. Если его выставляли в интересах промышленности и торговли, то того же равноправия приходилось требовать для громадной массы крестьян, которая, находясь на всех ступенях несвободы, начиная от состояния полной закрепощенности, принуждена была наибольшую часть своего рабочего времени отдавать безвозмездно благородному феодалу и, сверх того, уплачивать еще бесчисленные оброки в пользу него и государства. С другой стороны, нельзя было не поставить требования об уничтожении феодальных преимуществ, изъятия дворянства от податей, об отмене политических привилегий

¹ Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических условий буржуазного общества было дано впервые Марксом в «Капитале».

отдельных сословий. А так как дело происходило уже не в мировой империи, какой была Римская, а в системе независимых государств, сносящихся (торгующих — *verkehrender*) друг с другом, как с равными и находившихся приблизительно на одинаковой ступени буржуазного развития, то, естественно, что требование равенства приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер, что свобода и равенство были провозглашены *правами человека*. Специфически буржуазный характер этих прав человека доказан тем, что американская конституция — первая признавшая права человека — одновременно с этим подтвердила и существовавшее в Америке невольничество цветных рас: классовые привилегии были осуждены, расовые привилегии объявлены были священными.

Известно, однако, что когда буржуазия вылущается из феодального бюргерства и превращается из средневекового сословия в современный класс, то ее всегда и неизбежно сопровождает, как тень, класс пролетариев. Точно так же буржуазные требования равенства сопровождаются обыкновенно пролетарскими требованиями равенства. С того момента, как выставляется буржуазное требование отмены классовых *привилегий*, выступает рядом с ним и пролетарское требование об уничтожении *самих классов*, сначала — в религиозной форме, примыкая к первоначальному христианству, а потом — опираясь на буржуазные же теории равенства. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство должно быть не только кажущимся, оно должно осуществляться не только в сфере государственных отношений, но и быть действительным, проводиться в общественной, экономической жизни. Особенно с тех пор, как французская буржуазия со времени великой революции выдвинула на первый план гражданское равенство, — французский пролетариат тотчас же ответил ей требованием социального, экономического равенства, и это требование стало боевым кличем специально французских рабочих.

Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким образом, двойное значение. Либо оно является — и это бывает особенно в самом начале, как мы видим, например, в крестьянской войне, — стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, кутилами и голодающими; как таковое оно является простым выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование равенства возникает как реакция против буржуазного требования равенства, из которого оно выводит более широкие, более или менее правильные требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы при помощи утверждений самих капиталистов поднять против них рабочих, и в этом случае судьба его неразрывно связана с судьбой самого буржуазного равенства. В обоих случаях действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию *уничтожения классов*. Всякое требование равенства, заходящее дальше этого, необходимо впадает в абсурд. Мы уже привели примеры такого абсурда, и нам придется еще указать не малое число

их, когда мы дойдем до фантазий г. Дюринга относительно будущего строя.

Таким образом, представление о равенстве, как в буржуазной, так и в пролетарской своей форме, является само продуктом исторического процесса, для создания которого была необходима определенная историческая обстановка, предполагающая в свою очередь длинную предшествующую историю. Такое представление о равенстве есть все, что угодно, только не вечная истина. И если в настоящее время оно для широкой публики есть нечто само собою разумеющееся, в том или другом смысле, или, как выражается Маркс, «обладает уже прочностью народного предрассудка», то это объясняется не его аксиоматической истинностью, а лишь его всеобщим распространением и тем, что идеи XVIII века еще не утратили своего значения для нашего времени. Таким образом, если г. Дюринг без дальних оценок может позволить своим пресловутым двум мужчинам хозяйничать на почве равенства, то это происходит оттого, что народному предрассудку это кажется вполне естественным. И в самом деле, г. Дюринг называет свою философию *естественной*, так как она исходит все время из таких положений, которые ему кажутся естественными. Но почему они представляются ему естественными, — этим вопросом он, конечно, не задается.

XI. Мораль и право. Свобода и необходимость

«Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов положено *тщательнейшее изучение специальностей*. Поэтому читатель должен иметь в виду, что здесь... дело шло о последовательном изложении *конечных выводов* юриспруденции и государственоведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки, но и время трехлетней судейской практики, в течение которого я продолжал изучение этого предмета, причем ставил себе специальной целью *углубление* его научного содержания... Точно так же моя критика частноправовых отношений и соответствующих неудовлетворительных сторон права не могла бы, *конечно*, выступить с *такой уверенностью*, если бы у меня не было сознания, что *я знаю* все слабые места этой науки так же хорошо, как ее сильные стороны».

Человек, имеющий основание говорить о себе в таком тоне, должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравнении с «заведомо небрежно изучавшим когда-то юридические науки г. Марксом». Поэтому нас немало должно удивить, когда выступающая с такой самоуверенностью критика частноправовых отношений ограничивается повествованием о том, что «юриспруденция в научном отношении... недалеко ушла», что положительное гражданское право представляет собою систему юридической неправды, так как санкционирует насильственную собственность, и что «естественной основой» права уголовного является *месть*, — утверждение, в котором нов

разве только мистический наряд «естественной основы». Конечные выводы государственоведения ограничиваются исследованием отношений между известными уже нам тремя мужчинами, из которых один до сих пор насильничает над остальными, причем г. Дюринг пресерьезно обсуждает вопрос, кто ввел впервые насилие и порабощение, второе или третье из этих лиц.

Однако проследим несколько далее тщательнейшее изучение г. Дюрингом его специальности и научность нашего самоуверенного юриста, углубленную трехлетней судейской практикой.

О Лассале г. Дюринг рассказывает нам, что он был предан суду за «побуждение к покушению на кражу шкатулки», но «осуждение не состоялось благодаря тому, что в то время еще было возможно так называемое освобождение от суда за недостаточностью улики... это полуоправдание».

Процесс Лассала, о котором здесь говорится, разбирался летом 1848 г. перед судом присяжных в Кельне, где, как почти во всей Рейнской области, действовало французское уголовное право. Только для проступков и преступлений политических там, в виде исключения, введено было прусское земское право, но уже в апреле 1848 г. это исключительное постановление было опять отменено Кампгаузенем. Французское право вовсе не знает расплывчатой категории прусского земского права — «побуждения (Veranlassung)» к преступлению, а тем более «побуждения к покушению на преступление». Оно знает только *подстрекательство* к совершению преступления, причем для наказуемости подстрекательства требуется, чтобы оно было произведено «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления своим положением или силой, путем коварных подговоров или наказуемых проделок» (Code pénal, art. 60). Прокуратура, углубившись в прусское земское право и прогнав, подобно г. Дюрингу, существенное различие между строго определенным французским законом и расплывчатой неопределенностью земского права, возбудила против Лассала тенденциозный процесс и блистательно провалилась. Утверждать же, будто французский уголовный процесс знает прусское «оправдание за недостаточностью улики», это оправдание *наполовину*, — на это может отважиться лишь совершенный невежда в области современного французского права: французский уголовный процесс знает только осуждение или оправдание, и ничего среднего между ними.

Таким образом, мы должны сказать, что г. Дюринг, наверное, не мог бы с такой самоуверенностью совершить по отношению к Лассалу свой акт «писания истории в высоком стиле», если бы когда-либо держал в руках кодекс Наполеона. Мы должны ввиду этого констатировать, что г. Дюрингу совершенно незнаком единственный современно-буржуазный кодекс, покоящийся на социальных завоеваниях великой французской революции и переводящий их на юридический язык, т. е. современное французское право.

В другом месте, критикуя введение на всем континенте, по французскому образцу, постановлений приговоров присяжными по большинству голосов, г. Дюринг поучает нас следующим образом:

«Да, можно будет *даже* освоиться с такой, исторически, впрочем, не беспримерной мыслью, что в совершенном обществе осуждение, *при наличии возражающих голосов*, будет немислимым институтом... Однако эта *серьезная и глубоко идейная* точка зрения, как уже отмечено выше, должна казаться для традиционных форм неподходящей потому, что она для них *слишком хороша*».

Опять-таки г. Дюрингу неизвестно, что единогласие присяжных не только в уголовных обвинительных вердиктах, но и при решениях по гражданским делам безусловно необходимо по английскому общему праву (common law), т. е. по тому неписанному обычному праву, которое действует в Англии с незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере, с XIV века. Таким образом, *серьезная и глубоко идейная* точка зрения, которая, по мнению г. Дюринга, *слишком хороша* для современности, имела в Англии силу закона уже в самое мрачное время средневековья и из Англии была перенесена в Ирландию, в Соединенные Штаты Сев. Америки и во все английские колонии. Между тем тщательнейшее изучение юриспруденции ни звука не открыло на этот счет г. Дюрингу. Итак, оказывается, что область, где требуется единогласное решение присяжных, не только бесконечно громадна по сравнению с ничтожной областью, в которой действует прусское земское право, но она даже значительнее, чем все области, вместе взятые, в которых дела решаются большинством голосов присяжных. Г-ну Дюрингу неизвестно не только единственное современное право, французское; он столь же невежествен и относительно единственного германского права, которое до настоящего времени продолжает развиваться независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света: он не знает английского права. Да и зачем его знать? Ведь, по мнению г. Дюринга, английская манера юридического мышления все равно «оказалась бы несостоятельной перед созданной на немецкой почве вышколаенностью в чистых понятиях римских юристов-классиков». Далее он замечает: «что значит говорящий по-английски мир со своим детским языком-мешаниной, по сравнению с нашей самобытной речью?» На что мы можем только ответить вместе со Спинозой: *ignorantia non est argumentum*, невежество не есть довод.

После всего этого мы не можем прийти к иному выводу, кроме того, что тщательнейшее изучение специальности г. Дюрингом состояло лишь в том, что он три года углублялся теоретически в *Corpus Juris*, а в следующие три года изучал практически благородное прусское земское право. Конечно, такая ученость уже сама по себе представляет заслугу и была бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старопрусского уездного судьи или адвоката. Но когда берешься составить философию права для всех миров и для всех эпох, то следовало бы быть несколько осведомленным и относительно юридических порядков таких наций, как французы, англичане и американцы, — наций, игравших в истории роль поважнее, чем тот уголок Германии, где процветает прусское земское право. Однако посмотрим дальше.

«Пестрая смесь местных и провинциальных прав и прав обще-

государственных, которые самым произвольным образом перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, то как обычное право, то как писанный закон, причем часто важнейшие вопросы облекаются в форму статутов, — эта коллекция образчиков беспорядка и противоречия, где частности уничтожают общее постановление, а затем, при случае, общие постановления отменяют частные, она поистине непригодна, чтобы сделать для кого-либо возможным выработку ясного правосознания».

Но где же, спрашивается, царит эта путаница? Опять-таки в области действия прусского земского права, где рядом с ним, над ним и под ним сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинциальные права и местные статуты, кое-где — общее немецкое право и прочий хлам, вызывая во всех юристах-практиках тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувствием вторит г. Дюринг. Ему нет даже надобности покидать свою любимую Пруссию, а достаточно посетить Рейнскую область, чтобы убедиться, что там уже семьдесят лет, как все это сдано в архив, — не говоря о других цивилизованных странах, где все такие устарелые порядки давно устранены.

Далее: «В менее резкой форме прикрывание естественной индивидуальной ответственности проявляется в тайных, а потому и анонимных, коллективных решениях и коллективных действиях коллегий или иных бюрократических учреждений, которые маскируют личное участие каждого члена». И в другом месте: «При наших теперешних порядках покажется *изумительным* и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется категорически против маскирования и прикрытия индивидуальной ответственности коллегами».

Быть может, г. Дюрингу покажется изумительной новостью, если мы сообщим ему, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно подать и мотивировать свой голос в гласном заседании; что административные коллегии невыборного характера, не обсуждающие и не голосующие открыто, представляют преимущественно прусское учреждение и неизвестны в большинстве других стран, и что поэтому его требование может казаться изумительным и крайне строгим только в *Пруссии*.

Точно так же жалобы его на принудительное вмешательство религиозных обрядов при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться — принимая в расчет более крупные цивилизованные страны — только к Пруссии, а со времени введения в ней гражданской регистрации, они не относятся больше и к ней. То, что г. Дюринг надеется осуществить только посредством своего «социалитарного» будущего строя, разрешил тем временем даже Бисмарк путем простого закона. — Таковую же специфически прусскую иермиаду представляет жалоба г. Дюринга по поводу «недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии», — жалоба, которая может быть распространена и на «чиновников администрации». Даже карикатурное юдофобство, которое при всяком случае выставляет напоказ г. Дюринг, и то составляет если не специально прусскую, то, во всяком случае, ост-эльбскую особенность. Этот

философ действительности, который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев он называет «естественным приговором», покоящимся на «естественных основаниях», и доходит до изумительного заявления, что «социализм — это единственная сила, способная успешно бороться против состояний населения с сильной еврейской примесью» (состояния с сильной еврейской примесью! Какой натуральный немецкий язык!).

Довольно. Хвастовство своей юридической ученостью имеет своим фактическим основанием, в лучшем случае, самые обычные профессиональные познания зауряднейшего старопрусского юриста. Область юриспруденции и государственоведения, конечные выводы которых г. Дюринг последовательно излагает нам, «совпадает» с областью действия прусского земского права. Кроме римского права, так хорошо известного теперь каждому юристу даже в Англии, его юридические познания ограничиваются единственно прусским земским правом, этим законодательным кодексом просвещенного патриархального деспотизма, написанным на таком суконном языке, словно по нему г. Дюринг учился немецкому стилю, — кодексом, который со своими нравочительными замечаниями, юридической неопределенностью и беспринципностью, своими палочными ударами, как мерой пытки и наказания, принадлежит еще всецело к дореволюционной эпохе. Все, что сверх этого, то для г. Дюринга от лукавого, — как современное буржуазное французское право, так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и его обеспечением личной свободы, неизвестным на всем континенте. Философия, «не признающая никакого *видимого* только горизонта, но в могуче революционизирующем движении развертывающая все земли и небеса внешней и внутренней природы», эта философия имеет своим *действительным* горизонтом... границы шести старопрусских восточных провинций и, пожалуй, еще пару других клочков земли, в которых действует благородное земское право; за пределами же этого горизонта она не развертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а только картину собственного грубейшего невежества относительно всего, что совершается в остальном мире.

Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности также имеет решение этого вопроса и даже не одно, а два.

«На место всяких ложных теорий свободы надо поставить эмпирическое свойство того отношения, в котором рациональное понимание, с одной стороны, а с другой — инстинктивные побуждения соединяются, *так сказать*, в некоторую равнодействующую силу. Основные факты этого рода динамики должны быть взяты из наблюдения и, *насколько возможно*, определены в общих чертах качественно и количественно, чтобы на их основании измерить наперед событие, еще не наступившее. Таким путем не только основательно устра-

няются нелепые фантазии о внутренней свободе, которыми питались целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни».

Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональное влечение — влево, и в этом параллелограмме сил действительное движение происходит по направлению диагонали. Таким образом, свобода является средней между пониманием и влечением, разумом и неразумием, и степень ее присутствия в каждом отдельном человеке можно, употребляя астрономическое выражение, определить эмпирически «уравнением личности». Однако уже немногими страницами дальше г. Дюринг заявляет:

«Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас только восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному разуму. Все такие мотивы действуют с непреодолимой естественной закономерностью, несмотря на возможность представить себе противоположные поступки; но именно на это неизбежное принуждение мы рассчитываем, когда применяем рычаги нравственного воздействия».

Это второе определение свободы, совершенно бесцеремонно противоречащее первому, представляет опять-таки не более как крайне плоскую передачу гегелевского воззрения. Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. «Слепа необходимость, лишь поскольку она непонята». Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека, — два класса законов, которые мы можем отделять один от другого самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения, тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими неодинаковыми и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свое подчинение тому предмету, над которым она должна была бы господствовать. Свобода состоит, следовательно, в господстве над нами самими и над внешней природой, в господстве, основанном на познании необходимостей природы (Naturnotwendigkeiten). Первые отделившиеся от животного царства люди были во всех существенных отношениях так же несвободны, как и сами животные, но каждый прогресс культуры был шагом вперед к свободе. На заре истории человечества стоит открытие превращения механического движения в теплоту: добывание огня трением; в конце заканчивающегося ныне периода

развития — открытие превращения теплоты в механическое движение: паровая машина. Но несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершает в социальном мире паровая машина, — он еще не закончен и наполовину, — все же не подлежит сомнению, что изобретение паровой машины далеко не имеет того освободительного значения, какое имело открытие способа добывания огня, ибо добытый трением огонь впервые доставил человеку господство над известной силой природы и тем окончательно отделил его от животного царства. Паровая машина никогда не будет в состоянии вызвать такой громадный скачок в развитии человечества, как бы мы ни привыкли видеть в ней представительницу тех огромных, опирающихся на нее производительных сил, при помощи которых только и становится возможным осуществить общественный строй, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования, и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы. Как молода еще вся история человечества и как смешно было бы приписывать нашим теперешним воззрениям какое бы то ни было абсолютное значение, — это явствует уже из того простого факта, что вся протекшая до сих пор история может быть охарактеризована как история промежуточного времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение.

Конечно, у г. Дюринга история трактуется иначе. В качестве истории заблуждений, невежества и грубости, насилия и порабощения она составляет в общем довольно противный сюжет для философии действительности; в частности же она распадается на два больших отдела, а именно: 1) от самому себе равного состояния материи до французской революции и 2) от французской революции до г. Дюринга. При этом XIX столетие «в сущности еще реакционно, а в умственном отношении даже более реакционно, чем XVIII век», хотя оно носит уже в своем лоне социализм, а тем самым и «зародыш более грандиозного преобразования, чем то, которое представляли себе предтечи и герои французской революции». Презрение философии действительности ко всей прежней истории оправдывается следующим образом:

«Немногие тысячелетия, которые можно исторически обозреть при помощи писанных источников, вместе с созданным ими доньяне строем человечества, не имеют большого значения, если подумать о ряде грядущих тысячелетий... Человеческий род, как целое, еще очень молод, и если когда-нибудь наука, оглядываясь назад, должна будет считаться не с тысячелетиями, а с десятками тысяч лет, то относительно нашей эпохи, в которой будут тогда видеть седую древность, будет признаваться бесспорным, что учреждения ее находились в духовно незрелом, младенческом состоянии».

Чтобы не останавливаться долго на действительно «самобытной стилистике» последней фразы, мы заметим только следующее. Во-первых, эта «седая древность» во всяком случае останется историческим

периодом, который будет представлять громадный интерес для всех будущих поколений, так как он образует основу всего позднейшего высшего развития, так как своим исходным пунктом он имеет выделение человека из животного царства, а содержанием — преодоление таких трудностей, которые никогда уже не представляются будущим ассоциированным людям. Во-вторых, конец этой седой древности, по сравнению с которой будущие исторические периоды, не задерживаемые больше упомянутыми препятствиями и трудностями, обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс, — этот конец очень странно выбирать подходящим моментом для преподания наставлений грядущим тысячелетиям при помощи окончательных, неизменных истин в последней инстанции и проникающих в корень концепций, построенных на основе духовно-незрелого младенчества нашего столь «отсталого» и «ретроградного» столетия. В самом деле, надо быть Рихардом Вагнером в философии, только без его таланта, чтобы не видеть, что все уничижительные словечки, которыми бросают во все прежнее историческое развитие, попадают также и в последний якобы результат этого развития, в так называемую философию действительности.

Один из характернейших образцов новой, проникающей в корень, науки представляет собою отдел, трактующей об индивидуализации и повышении ценности жизни. Здесь на протяжении целых трех глав перед нами проходит, пенясь и бурля с неудержимой силой, поток оракулообразных общих мест. К сожалению, мы вынуждены ограничиться несколькими короткими выдержками.

«Более глубокая сущность всякого ощущения и, следовательно, всяких субъективных форм жизни основывается на *различии* состояний... Без особых рассуждений (!) можно показать, что условием *полной* (!) жизни является не состояние покоя, а переход из одного жизненного положения в другое, благодаря которому повышается чувство жизни и выявляются главнейшие привлекательные ее стороны... Приблизительно самому себе равное, *так сказать*, инертное состояние, *как бы* находящееся в том же положении равновесия, каков бы ни был его характер, не имеет большого значения для ощущения бытия... Когда привыкаешь и, так сказать, вживаешься в него, то оно становится чем-то совершенно безразличным, чем-то таким, что не особенно отличается от состояния смерти. В лучшем случае сюда прибавляется еще, как своего рода отрицательное жизненное возбуждение, страдание от скуки... В застоявшейся жизни гаснет для индивидуумов и народов всякая страсть и всякий интерес к существованию. *Но только из нашего закона различия становятся объяснимыми эти явления*».

Просто невероятно, с какой быстротой г. Дюринг получает свои глубоко своеобразные выводы. Не успел он перевести на язык философии действительности то общее место, что продолжительное раздражение одного и того же нерва или продолжительность одного и того же раздражения утомляет всякий нерв и всякую нервную систему, следовательно — что в нормальном состоянии должны происходить перерывы и смены нервных раздражений, — факт, о кото-

ром уже много лет как можно прочесть в любом учебнике физиологии и известный каждому филистеру по собственному опыту; не успел он этот архи-старый плоский трюизм облечь в таинственную форму, гласящую, что более глубокая сущность всякого ощущения основывается на различии состояний, — глядишь, этот трюизм уже превратился в *«наш закон различия»*. И этот закон различия делает «вполне объяснимым» целый ряд явлений, представляющих опять-таки только иллюстрации и примеры приятности разнообразия, явлений, не требующих объяснения даже для ординарнейшего филистерского рассудка и не становящихся ни на волос более ясными от ссылки на мнимый закон различия.

Но радикальная глубина *«нашего закона различия»* этим далеко еще не исчерпана. «Последовательность возрастов жизни и наступление связанных с ними изменений жизненных условий доставляют весьма удобный пример для наглядного уяснения *нашего* принципа различия. Ребенок, подросток, юноша и муж узнают о силе своего чувства жизни в данный период не столько благодаря уже фиксированному состоянию, в котором они пребывают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состояния к другому». Мало того: *«наш закон различия может иметь еще более отдаленное применение, если принять во внимание тот факт, что повторение уже испытанного или сделанного не имеет для нас ничего привлекательного»*. А засим уж читатель сам может представить себе всю оракульскую пустяковину, для которой служат исходным пунктом глубокие и в корень проникающие положения вроде вышеприведенных. И, разумеется, г. Дюринг в праве с торжеством провозгласить в конце своей книги: «для оценки и повышения ценности жизни закон различия имел руководящее значение, как теоретически, так и практически». Он имеет его и для оценки г. Дюрингом духовной ценности своей публики: он полагает, должно быть, что она состоит исключительно из ослов и филистеров.

Далее нам рекомендуются следующие, в высшей степени практические правила жизни: «средства для сохранения общего интереса к жизни» (прекрасная задача для филистеров и тех, которые хотят сделаться таковыми)

«состоят в том, чтобы дать отдельным, *так сказать*, элементарным интересам, из которых слагается целое, развиваться или сменять друг друга через естественные промежутки времени. Точно так же для одного и того же состояния можно пользоваться последовательной заменяемостью низших и легче удовлетворяемых возбуждений высшими и более продолжительными действующими возбуждениями, дабы избежать наступления лишенных всякого интереса пробелов. Кроме того, надо стараться не умножать произвольно и не форсировать напряжений, возникающих естественным образом или при нормальном ходе общественного существования, равно как не давать им удовлетворения уже при самом слабом возбуждении, — что представляет противоположное безрассудство, — и таким образом препятствовать возникновению способной к наслаждению потребности. Сохранение естественного ритма является здесь,

как и в других случаях, предварительным условием равномерного и приятно возбуждающего движения. Не следует также ставить себе неразрешимую задачу — пытаться продлить приятное возбуждение, создаваемое каким-либо положением, за пределы времени, отмеренного природой или общественными условиями» и т. д.

Если бы какой-нибудь обыватель захотел воспользоваться, как правилом для «изведения жизни», этими торжественными филистерскими пророчествами педанта, мудрствующего над самыми пресными пошлостями, то ему, во всяком случае, не пришлось бы жаловаться на «лишенные всякого интереса пробелы». Ему пришлось бы тратить все свое время на надлежащую подготовку наслаждений и расположение их в порядке, так что для самих наслаждений у него, пожалуй, не осталось бы свободной минуты.

Мы должны изведать жизнь, всю полноту жизни! Только две вещи запрещает нам г. Дюринг: во-первых, «неряшливость, связанную с привычкой к табаку»; во-вторых, «напитки и яства, вызывающие противное возбуждение или обладающие вообще свойствами, которые делают их предосудительными для более тонкого чувства». Но так как г. Дюринг в своем «Курсе политической экономии» поет дифирамбы винокурению, то под этими напитками он не может подразумевать водки; мы вынуждены, таким образом, сделать заключение, что его запрет распространяется только на вино и пиво. Ему следовало бы еще воспретить мясо, и тогда он поднял бы философию действительности на ту самую высоту, на которой подвизался с таким успехом блаженной памяти Густав Струве¹, т. е. на высоту чистого ребячества.

Впрочем, именно по отношению к спиртным напиткам г. Дюринг мог бы быть несколько более терпимым. Человек, который, по собственному признанию, все еще не может найти моста от статического к динамическому, имеет полное основание судить снисходительно, если какой-либо бедняк слишком часто прикладывает к рюмочке и, вследствие этого, столь же тщетно отыскивает мост от динамического к статическому.

ХII. Диалектика. Количество и качество

«Первое и важнейшее положение о логических основных свойствах бытия касается исключения противоречия. Противоречивое есть категория, возможная только в мысленной комбинации, но никак не в действительности. В вещах нет никаких противоречий, другими словами, — противоречие, полагаемое реальным, само является верхом бессмыслицы... Антагонизм сил, действующих в противоположном друг другу направлении, составляет даже основную форму всякой деятельности в бытии мира и его существ, но это противо-

¹ Густав Струве (1805—1870) — мелкобуржуазный демократ, пылкий проповедник вегетарианства. *Ред.*

борство направлений сил элементов и индивидов даже в отдаленнейшей мере не совпадает с абсурдной идеей противоречия... Здесь мы можем быть довольны тем, что рассеяли туман, поднимающийся обыкновенно из мнимых таинств логики, представив ясную картину действительной нелепости реального противоречия, и тем, что показали бесполезность фимиама, который расточается кое-где в честь довольно грубого идола — диалектики противоречий, подсовываемой на место антагонистической мировой схематики». — Вот приблизительно все, что говорится о диалектике в дюринговском «Курсе философии». Зато в «Критической истории» диалектика противоречия, а с нею в особенности Гегель отделяются почтше.

«Согласно гегелевской логике или, вернее, согласно его учению о Логосе, противоречивое не есть нечто, скрывающееся в мышлении, которое по природе своей не может быть представлено иначе, как субъективным и сознательным: оно существует, напротив, объективно в самих вещах и явлениях и может быть, так сказать, телесно нащупано; таким образом, бессмыслица перестает быть только невозможной комбинацией мысли, а становится действительной силой. Действительность абсурда есть первый член символа веры в гегелевском единстве логики и нелогичности... Чем противоречивее, тем истиннее, другими словами, чем абсурднее, тем вероятнее: именно это правило, даже не вновь открытое, а лишь заимствованное из теологии откровения и мистики, представляет собою неприкрашенное выражение так называемого диалектического принципа.

Содержание обоих приведенных нами мест можно свести к положению, что противоречие = бессмыслица и поэтому оно не может встречаться в действительном мире. Это положение может представляться для людей с довольно здравым в прочих отношениях рассудком столь же очевидным, как то, что прямое не может быть кривым, а кривое — прямым. И все-таки дифференциальное исчисление, вопреки всем протестам здравого человеческого рассудка, приравнивает при известных условиях прямое к кривому и достигает этим таких успехов, которых никогда не достигнуть здравому человеческому рассудку, заупрямившемуся на признании тождества прямого и кривого бессмысленным. А если принять во внимание ту значительную роль, которую так называемая диалектика противоречия сыграла в философии, начиная с древнейших греков и доныне, то даже более сильный противник, чем г. Дюринг, был бы обязан выставить против нее более солидные аргументы, чем *одно* голословное утверждение и много ругательств.

Разумеется, пока мы рассматриваем вещи в состоянии покоя и безжизненными, каждую в отдельности, рядом или одну вслед за другой, мы не наталкиваемся на какие-либо противоречия в них. Мы находим в них известные свойства, которые отчасти общи, отчасти различны или даже противоречат друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами, так что в себе не содержат никакого противоречия. Поскольку эти наблюдения представляются нам достаточными, постольку мы

можем обойтись также обычным метафизическим методом мышления. Но совсем иной оборот принимает дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменяемости, в их жизни, в их взаимном воздействии одна на другую. В этом случае мы тотчас же попадаем в область противоречий. Движение само есть противоречие; уже простое механическое передвижение может совершаться лишь так, что данное тело в один и тот же момент времени находится в одном месте и одновременно в другом, что оно находится в том же самом месте и не находится в нем. Постоянное возникновение такого противоречия и одновременное его разрешение именно и образует движение.

Здесь мы имеем, следовательно, такое противоречие, которое имеется объективно «в самих вещах и явлениях и может быть, так сказать, телесно нащупано». А что говорит по этому поводу г. Дюринг? Он утверждает, что вообще до сих пор «в рациональной механике нет моста между строго статическим и динамическим». Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой любимой фразой г. Дюринга; не более, как следующее: метафизически мыслящий разум абсолютно не в состоянии перейти от идеи покоя к идее движения, так как ему здесь преграждает путь вышеуказанное противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он против своей воли сам признает существование этого противоречия, следовательно признает, что существует объективное противоречие в самих вещах и явлениях, — противоречие, которое к тому же является фактической силой.

Если уже простое механическое перемещение содержит в себе противоречие, то в еще большей степени его содержат высшие формы движения материи, в особенности же органическая жизнь и ее развитие. Как мы уже видели выше, жизнь состоит прежде всего в том, что данное существо представляется в каждый данный момент тем же и все-таки чем-то иным. Следовательно, жизнь также есть существующее в самих вещах и явлениях, беспрестанно полагающее и разрешающее себя противоречие; и как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Затем мы видели, что и в сфере мышления мы не можем избежать противоречий и что, например, противоречие между внутренне неограниченной человеческой способностью познания и ее действительным бытием в одних внешне-ограниченных и ограниченно познающих людях разрешается в бесконечном — по крайней мере практически бесконечном для нас — ряде последовательных поколений, в бесконечном прогрессе.

Мы уже упомянули, что одним из главных оснований высшей математики является противоречие, заключающееся в требовании, чтобы при известных условиях прямое и кривое принимались за одно и то же. Она приводит также к другому противоречию, состоящему в том, что линии, которые пересекаются на наших глазах, тем не менее уже в 5—6 сантиметрах от точки своего пересечения должны считаться параллельными, считаться линиями, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И тем не менее при посредстве этих и еще более сильных противоречий выс-

пая математика достигает не только правильных, но и совершенно недостижимых для низшей математики результатов.

Но и низшая математика кишит противоречиями. Таким противоречием является, например, требование, чтобы корень из A был степенью A , и все-таки $A^{\frac{1}{2}} = \sqrt{A}$. Противоречие представляет и то, что отрицательная величина может быть квадратом какой-либо величины, ибо каждая отрицательная величина, помноженная на себя самое, дает положительный квадрат. Поэтому квадратный корень из минус-единицы есть не просто противоречие, но даже прямо абсурдное противоречие, действительная бессмыслица. И все же $\sqrt{-1}$ является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций; более того, что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей запрещено было оперировать с $\sqrt{-1}$?

Сама математика, занимаясь переменными величинами, вступает в диалектическую область, и характерно, что именно диалектический философ Декарт внес в нее этот прогресс. Как математика переменных относится к математике постоянных величин, так диалектическое мышление вообще относится к метафизическому. Это не мешает, однако, тому, чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики, и среди них есть не мало таких, которые с помощью методов, добытых диалектическим путем, оперируют на старый, ограниченный метафизический лад.

Разобрать подробно антагонизм сил г. Дюринга и его антагонистическую мировую схематику было бы возможно лишь в том случае, если бы он дал нам по этому вопросу что-нибудь большее, чем одни фразы. Между тем, сочинив свои фразы, г. Дюринг ни разу не выводит перед нами этого антагонизма в действенном виде ни в мировой схематике, ни в натурфилософии, и это лучше всего доказывает, что г. Дюринг не умеет предпринять абсолютно ничего положительного со своей «основной формой всякой деятельности в бытии мира и его существ». Оно и понятно: если гегелевское «учение о сущности» низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места.

Дальнейший повод, чтобы дать выход своему антидиалектическому гневу, доставляет г. Дюрингу «Капитал» Маркса.

«Недостаток естественной и понятной логики, которым отличаются диалектически-витиеватые хитросплетения и арабески мысли... Уже по отношению к появившейся 1-й части («Капитала») надо применить тот принцип, что в известном отношении и даже вообще (!), согласно известному философскому предрассудку, можно в любой вещи отыскивать все и во всем отыскивать любую вещь, и что, согласно этому путаному и превратному представлению, в конце концов, все едино есть».

Такое тонкое понимание известного философского предрассудка позволяет затем г. Дюрингу с уверенностью предсказать, каков

будет «конец» экономического философствования Маркса, каково, следовательно, будет содержание следующих томов «Капитала», причем все это говорится через семь строк после заявления, что, «право, невозможно догадаться, что собственно, говоря человеческим и немецким языком, еще будут содержать два (последних) тома».

Не в первый уже раз, однако, сочинения г. Дюринга оказываются принадлежащими к тем «вещам», в которых «противоречивое присутствует объективно и может быть, так сказать, нащупано». Это не мешает ему продолжать победоносно:

«Но здравая логика, надо надеяться, восторжествует над карикатурой на нее... Важничанье и диалектический таинственный хлам не соблазняет никого, в ком еще осталось хотя немного здравого суждения, к тому, чтобы он углубился в эти уродства мыслей и стиля. Вместе с вымиранием последних следов диалектических глупостей, это средство морочения... потеряет свое обманчивое влияние, и никто не будет больше считать своей обязанностью ломать себе голову над отысканием глубокой мудрости там, где очищенное от скорлупы ядро замысловатых вещей обнаруживает, в лучшем случае, черты обыденных теорий, если не просто общих мест... Совершенно невозможно воспроизвести (марксовские) хитро-сплетенной согласно правилам учения о Логосе, не протитутуируя здравой логики». Метод Маркса состоит в том, чтобы «творить диалектические чудеса для своих верующих» и т. п.

Нас совершенно не интересует еще пока вопрос о правильности или неправильности экономических результатов марксовских исследований, а только примененный Марксом диалектический метод. Несомненно лишь одно: большинство читателей «Капитала» только теперь узнает от г. Дюринга, что, собственно, они читали. И в числе их сам г. Дюринг, который в 1867 г. (*Ergänzungsblätter* III, Heft 3) еще в состоянии был дать сравнительно рациональное для мыслителя его калибра изложение содержания книги Маркса, даже не будучи вынужденным перевести сначала рассуждения Маркса на дюрингов язык, — что он теперь объявляет необходимым. Если уже тогда он дал маху, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он тогда еще не вполне потерял способность различать метод от добытых им результатов и понимать, что последние еще не опровергнуты в частности, если первый раскритикован в общей форме.

Самое поразительное в сообщении г. Дюринга заключается, конечно, в том, что, с точки зрения Маркса, — «все в конце концов составляет одно и то же», так что, по Марксу, например, капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства — все едино суть, а в конце концов, пожалуй, и Маркс и г. Дюринг — тоже «все едино». Чтобы объяснить возможность подобного вздора, остается только допустить, что уже одно слово «диалектика» приводит г. Дюринга в такое состояние невменяемости, при котором для него, вследствие известного извращения и путаницы понятий, все, что он говорит и делает, представляется в конце концов безразличным «одним и тем же».

Здесь мы имеем перед собой образчик того, что г. Дюринг име-

нует «моей» манерой «писания истории в высоком стиле», или еще «суммарным приемом, который сводит счеты с родовым и типичным и совершенно не снисходит до того, чтобы микрологически-подробной критикой оказать честь людям, которых Юм называл ученой чернью; только этот прием в возвышенном и благородном стиле совместим с интересами полной истины и с обязанностями по отношению к стоящей вне цеха публике». Действительно, манера писания истории в высоком стиле и суммарный прием, сводящий счеты с родовым и типичным, весьма удобны для г. Дюринга, ибо он может при этом пренебречь всеми определенными фактами, как фактами микрологическими, может приравнять их к нулю и, вместо того, чтобы доказывать, имеет надобность только произносить общие фразы, голословно утверждать и просто громить. Сверх того, указанный прием имеет то преимущество, что не дает противнику никаких фактических точек опоры для полемики, так что ему не остается почти ничего другого, как тоже голословно утверждать в широком стиле, суммарно разливаться в общих фразах и, в конце концов, в свою очередь, громить г. Дюринга, — коротко сказать, быть челом тем же добром, что не каждому по вкусу. Мы должны быть благодарны поэтому г. Дюрингу за то, что он, в виде исключения, покидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам, по крайней мере, два примера превратного учения Маркса о Логосе.

«Разве не комично, например, выглядит ссылка на спутанное и туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество, и что поэтому аванс, достигший известной границы, становится уже, благодаря одному этому количественному увеличению, капиталом?»

Конечно, в таком «очищенном» г. Дюрингом изложении эта мысль выглядит довольно курьезно. Посмотрим поэтому, как она выглядит в оригинале, у Маркса. На стр. 313 (2-е изд. «Das Kapital») Маркс из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости выводит заключение, что «не всякая произвольная сумма денег или стоимостей может быть превращена в капитал; напротив, для такого превращения в руках отдельного владельца денег или товаров должен находиться известный минимум денег или меновых стоимостей». Для примера он делает предположение, что в какой-либо отрасли труда рабочий в среднем работает 8 часов на самого себя, т. е. для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие четыре часа на капиталиста, для производства прибавочной стоимости, поступающей ближайшим образом в карман последнего. В таком случае, для того, чтобы кто-нибудь мог ежедневно класть в карман такую сумму прибавочной стоимости, которая дала бы ему возможность прожить не хуже одного из своих рабочих, он должен располагать уже суммой стоимостей, позволяющей ему снабдить двух рабочих сырым материалом, орудиями труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не одно только поддержание жизни, а увеличение богатства, то наш хозяин со своими двумя рабочими все еще не капиталист. Чтобы жить вдвое лучше, чем обыкновенный рабочий,

и превращать половину произведенной прибавочной стоимости в капитал, он уже должен быть в состоянии нанимать 8 рабочих, т. е. владеть суммой в 4 раза большей, чем в первом случае. Только после этих и затем еще более подробных рассуждений для освещения и обоснования того факта, что не любая незначительная сумма стоимостей достаточна для превращения ее в капитал, что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль промышленности имеют свои минимальные границы, — только после всего этого Маркс замечает: «Здесь, как и в естествознании, подтверждается верность закона, открытого Гегелем в его логике, что в известном пункте чисто количественные изменения переходят в качественные различия».

А теперь пусть читатель восхищается возвышенным и благородным стилем, при помощи которого г. Дюринг приписывает Марксу противоположное тому, что тот сказал в действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма стоимости может превратиться в капитал лишь тогда, когда она достигнет, хотя и различной, в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определенной, минимальной величины, — этот факт является доказательством правильности гегелевского закона. Дюринг же навязывает Марксу следующую мысль: так как, согласно закону Гегеля, количество переходит в качество, то «потому аванс, достигнув известной границы, становится... капиталом». Следовательно, как раз противоположное.

С обыкновением неверно цитировать, «в интересах полной истины» и «во имя обязанностей перед стоящей вне цеха публикой», мы познакомились уже при разборе г. Дюрингом теории Дарвина. Чем дальше, тем больше такой прием оказывается необходимой внутренней принадлежностью философии действительности и, во всяком случае, представляет весьма «суммарный прием». Уже я не говорю о том, что г. Дюринг утверждает, будто Маркс говорит о любом «авансе», тогда как на самом деле речь идет лишь о такой затрате, которая употреблена на сырой материал, орудия труда и заработную плату; таким путем г. Дюринг заставляет Маркса говорить чистейшую бессмыслицу. И после этого он еще имеет дерзость находить им же самим сочиненную бессмыслицу комичной! Подобно тому, как он сфабриковал фантастического Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так и в этом случае он состряпал фантастического Маркса. Воистину «писание истории в высоком стиле»!

Мы уже видели выше, когда говорили о мировой схематике, что с этой гегелевской узловых линий отношений меры, по смыслу которой в известных пунктах количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, г. Дюринга постигло то маленькое несчастье, что он в минуту слабости сам признал и применил ее. Мы привели там один из известнейших примеров, — пример изменения агрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении переходит при температуре 0° Ц. из жидкого состояния в твердое, а при 100° Ц. — из жидкого в газообразное, так что на этих обоих поворотных пунктах простое количественное изменение температуры вызывает качественное изменение состояния воды.

Мы могли бы привести для доказательства этого закона еще сотни подобных фактов как из природы, так и из жизни человеческого общества. Так, например, в «Капитале» Маркса весь четвертый отдел, о производстве относительной прибавочной стоимости, трактует о несчетном числе случаев в области кооперации, разделения труда и мануфактуры, машинного производства и крупной промышленности, где количественное изменение изменяет качество вещей и, обратно, качественное преобразование изменяет количество их, так что, употребляя столь ненавистное для г. Дюринга выражение, количество переходит в качество и обратно. Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих отдельных сил в одну общую силу, создает, говоря словами Маркса, «новую возведенную в степень силу», существенно отличную от суммы составляющих ее отдельных сил.

Ко всему этому в том самом месте, которое г. Дюринг в интересах полной истины вывернул наизнанку, Маркс сделал следующее примечание: «Применяемая в современной химии молекулярная теория, впервые научно развитая Лораном и Жераром, покоится именно на этом законе». Но какое до этого дело г. Дюрингу? Ведь он знает, что «высоко современные образовательные элементы естественно-научного метода мышления отсутствуют именно там, где скудную ученую амуницию составляют полунауки и некоторое философичание, как, например, у г. Маркса и его соперника Лассалья», тогда как у г. Дюринга в основе лежат «главные факты точного знания в области механики, физики, химии» и т. д., — как лежат, это мы уже видели. Но для того, чтобы и третьи лица могли составить себе мнение по этому вопросу, мы рассмотрим несколько ближе пример, приведенный в указанном примечании Маркса.

Речь идет здесь о гомологических рядах углеводородных соединений, из которых уже очень многие известны и из которых каждый имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, как это принято в химии, обозначим атом углерода через С, атом водорода — через Н, атом кислорода — через О, а число заключающихся в каждом соединении атомов углерода через n , то мы можем представить молекулярную формулу для некоторых из этих рядов в таком виде:

C_nH_{2n+2} — ряд нормальных парафинов.

$C_nH_{2n+2}O$ — ряд первичных спиртов.

$C_nH_{2n}O_2$ — ряд одноосновных жирных кислот.

Если мы возьмем, как пример, последний из этих рядов и примем последовательно $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ и т. д., то получим следующий результат (отбрасывая изомеры):

H_2O_2	— муравьиная кисл.	— точка кип.	100°	точка плавл.	1°
$C_2H_4O_2$	— уксусная	» — »	» 118°	» »	17°
$C_3H_6O_2$	— пропионовая	» — »	» 140°	» »	—
$C_4H_8O_2$	— масляная	» — »	» 162°	» »	—
$C_5H_{10}O_2$	— валериановая	» — »	» 175°	» »	—

и т. д. до $C_{30}H_{60}O_2$ — мелиссиновой кислоты, которая плавится только при 80° и не имеет вовсе точки кипения, так как она вообще не может испаряться, не разлагаясь,

Здесь мы видим, таким образом, целый ряд качественно различных тел, образованных простым количественным прибавлением элементов, притом всегда в одном и том же отношении. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где все составные элементы изменяют свое количество в одинаковом отношении, как, например, в нормальных парафинах C_nH_{2n+2} ; самый низший из них, водородистый метан CH_4 , — газ; высший же из известных, гексадекан $C_{16}H_{34}$, — твердое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящееся при 21° и кипящее только при 278° . В обоих рядах каждый новый член образуется прибавлением CH_2 , т. е. одного атома углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле предыдущего члена, и это количественное изменение молекулярной формулы вызывает каждый раз образование качественно отличного тела.

Но эти ряды представляют только особенно наглядный пример; почти повсюду в химии, например уже на различных окислах азота, на различных кислотных окислах фосфора или серы, можно видеть, как «количество переходит в качество», и это якобы спутанное и туманное представление Гегеля может быть осязательно, так сказать, нащупано в вещах и явлениях, причем, однако, никто не путается и не остается в тумане, кроме г. Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на этот факт, и если г. Дюринг прочел это указание, даже не поняв его (ибо иначе он, конечно, не пропустил бы безнаказанно такого преступления), то этого достаточно, чтобы, не возвращаясь даже назад к знаменитой дюринговской натурфилософии, установить с полной ясностью, кому нехватает «высоко современных образовательных элементов естественно-научного метода мышления» — Марксу или г. Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с «главными фактами... химии».

В заключение мы намерены призвать еще одного свидетеля в пользу превращения количества в качество, а именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой плохо едущей французской кавалерии с мамелюками, в то время безусловно лучшей в единоборстве, но недисциплинированной конницей: «Два мамелюка безусловно превосходили трех французов; 100 мамелюков были равноценны 100 французам; 300 французов большую часть одерживали верх над 300 мамелюками, а 1000 французов уже всегда опрокидывали 1500 мамелюков». Подобно тому, как у Маркса определенная, хотя и изменчивая, минимальная сумма меновой стоимости необходима для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, точно так у Наполеона известная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заключающейся в сомкнутом строе и плановости действия, и чтобы подняться до превосходства даже над более значительными массами иррегулярной кавалерии, имеющей лучших коней, искуснее едущей и, по меньшей мере, столь же храброй. Но говорит ли это что-либо против г. Дюринга? Разве Наполеон не потерпел жалкого поражения в борьбе с Европой? А почему? Только потому, что ввел спутанное и туманное представление Гегеля в кавалерийскую тактику.

ХIII. Диалектика. Отрицание отрицания

«Этот исторический очерк (генезис так называемого первоначального накопления капитала в Англии), — говорит Дюринг, — представляет собою еще сравнительно лучшее место в книге Маркса и был бы еще лучше, если бы не опирался, помимо научных, еще и на диалектические костыли. Гегелевское отрицание отрицания играет здесь — за наименее лучших и более ясных доводов — роль повивальной бабки, благодаря услугам которой будущее высвобождается из недр прошедшего. Уничтожение индивидуальной собственности, совершившееся указанным образом с XVI века, представляет собою первое отрицание. За ним последует другое, которое характеризуется как отрицание отрицания и вместе с тем как восстановление «индивидуальной собственности», но в высшей форме, основанной на общем владении землей и орудиями труда. Если эта новая «индивидуальная собственность» в то же время называется г-ном Марксом и «общественной собственностью», то в этом именно и сказывается гегелевское высшее единство, в котором противоречие устраняется (aufgehoben), т. е., по гегелевской игре слов, столько же превосходится, сколько и сохраняется.

...Экспроприация экспроприаторов является таким образом как бы автоматическим продуктом исторической действительности в ее материальных внешних условиях... Едва ли хоть один разумный человек убедится в необходимости общинного владения землей и капиталом на основании веры в гегелевские фокусы, вроде отрицания отрицания. Туманная уродливость представлений Маркса не может, впрочем, удивить того, кто знаком с тем, что можно сделать из такого научного материала, как гегелевская диалектика, или, — лучше, — какие нелепицы должны получиться из него. Для незнакомых с этими штуками скажу прямо, что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованного из катехизиса понятия грехопадения, а второе — роль высшего единства, ведущего к искуплению. На подобных фокусах аналогии, заимствованных из области религии, — конечно, уж нельзя основать логику фактов... Г. Маркс успокаивается на своей путаной идее об индивидуальной и в то же время общественной собственности и предоставляет своим adeptам самим разрешить эту глубокомысленную диалектическую загадку». Так говорит г. Дюринг.

Итак, Маркс не в состоянии доказать необходимость социальной революции, необходимость введения общинной собственности (Gemeineigentum) на землю и на произведенные трудом средства производства, не прибегая к гегелевскому отрицанию отрицания; основывая свою социалистическую теорию на таких, заимствованных у религии, фокусах аналогии, он приходит к тому выводу, что в будущем обществе будет существовать собственность в одно и то же время и индивидуальная и общественная, в качестве гегелевского высшего единства устраненного противоречия.

Оставим пока в стороне отрицание отрицания и посмотрим на эту «собственность, в одно и то же время и индивидуальную и об-

пественную». Г. Дюринг называет это «туманом», и он, — как это ни удивительно, — действительно прав в этом отношении. К несчастью, только находится в этом «тумане» совсем не Маркс, а опять-таки сам г. Дюринг. Подобно тому как раньше он благодаря своему искусству в пользовании гегелевским методом «бредового фантазирования» сумел без труда установить, что должны содержать в себе еще неоконченные томы «Капитала», так и здесь он без большого труда исправил Маркса по Гегелю, подсовывая ему какое-то высшее единство собственности, о котором Маркс не сказал ни слова.

У Маркса значит... «Это отрицание отрицания. Оно снова создает индивидуальную собственность, но на основании приобретений капиталистической эры — коопераций свободных работников и их общественной собственности на землю и на произведенные ими средства производства. Превращение основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность». Вот и все. Таким образом порядки, созданные экспроприацией экспроприаторов, характеризуются как восстановление индивидуальной собственности, но на основании общественной собственности на землю и созданные самими работниками средства производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, это означает, что общественная собственность простирается на землю и другие средства производства, а индивидуальная собственность на остальные продукты, т. е. на предметы потребления. А чтобы дело было понятно даже 6-летним ребятам, Маркс на стр. 56 предполагает «союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу», т. е. социалистически организованную общину, и говорит: «Весь продукт труда представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. Она остается общественной. Но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть распределена между ними». Должно же это быть достаточно ясно даже и для запутавшейся в гегельянстве головы г. Дюринга.

Собственность и индивидуальная и общественная в то же время, — эта туманная уродливость, эта нелепица, получающаяся из гегелевской диалектики, эта путаница, эта глубокомысленная диалектическая загадка, которую Маркс предоставляет решить своим адептам, — опять-таки является вольным сочинением и выдумкой г. Дюринга... Маркс, в качестве мнимого гегельянца, обязан в виде результата отрицания отрицания дать настоящее высшее единство, но так как он это делает не по вкусу г. Дюринга, то последнему приходится опять впасть в высокий и благородный стиль и в интересах полной истины приписать Марксу такие вещи, которые представляют собственный фабрикат г. Дюринга. Человек, так абсо-

лютно неспособный, хотя бы в виде исключения, цитировать правильно, должен, разумеется, впадать в нравственное негодование по поводу «китайской учености» других людей, которые постоянно цитируют правильно, но именно этим «плохо прикрывают недостаточное понимание идей цитируемого каждый раз писателя в их целом». Г-н Дюринг прав. Да здравствует писание истории в высоком стиле!

До сих пор мы исходили из предположения, что упорно неправильное цитирование г. Дюринга происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и зависит либо от его собственной полной неспособности разумения, либо же от свойственной историческому описанию в высоком стиле привычки цитировать на память, — привычки, которую обыкновенно принято называть просто неряшливой. Но похоже на то, что мы подошли здесь к пункту, где и у г. Дюринга количество переходит в качество. Ибо, если мы примем во внимание, во-первых, что это место у Маркса само по себе изложено совершенно ясно и к тому же дополняется еще другим, абсолютно не допускающим недоразумений местом в той же книге; во-вторых, что ни в вышеупомянутой критике «Капитала», помещенной в «Ergänzungsblätter», ни в критике, помещенной в первом издании «Критической истории», г. Дюринг не открыл этого чудовища — «одновременно индивидуальной и общественной собственности», а открыл его во втором издании своей книги, т. е. уже при третьем чтении «Капитала»; затем, что только в этом втором, переработанном в социалистическом духе издании г. Дюрингу понадобилось приписать Марксу возможно больший вздор о будущей организации общества, чтобы иметь возможность с тем большим торжеством поднести, в противоположность ей, «хозяйственную коммуну, которую я охарактеризовал экономически и юридически в своем курсе», — если мы примем в соображение все это, то сам собою навязывается вывод, что г. Дюринг в этом случае с умыслом «благодетельно развил» мысль Маркса, т. е. благодетельно для самого г. Дюринга.

Теперь — какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания? На стр. 791 и сл. сопоставляет он окончательные результаты изложенного на предыдущих 50 страницах экономического и исторического исследования о так называемом первоначальном накоплении капитала. До капиталистической эры существовало, по крайней мере в Англии, мелкое производство на основании частной собственности работника на его средства производства. Так называемое первоначальное накопление состояло здесь в экспроприации этих непосредственных производителей, т. е. в уничтожении частной собственности, основанной на собственном труде. Это уничтожение сделалось возможным потому, что упомянутое мелкое производство совместимо только с узкими, примитивными рамками производства и общества, и на известной ступени развития оно само создает материальные основания для своего уничтожения. Это уничтожение, превращение индивидуальных и раздробленных орудий производства в общественно-концентрированные — образует собой первоначальную историю капитала. Как скоро работники были превращены в проле-

тариев, а их средства производства в капитал, как скоро капиталистический способ производства стал на собственные ноги, дальнейшее обобществление труда и дальнейшее превращение земли и других средств производства (в капитал), а следовательно, и дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. «Теперь подлежит экспроприированию уже не работник, ведущий свое хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, вследствие концентрации капиталов. Один капиталист побивает на смерть других. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов немногими развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно расширяющихся размерах, развивается сознательное технологическое применение науки, планомерная общественная эксплуатация земли, превращение орудий труда в такие, которые могут быть употреблены только сообща, и экономизирование всех средств производства вследствие употребления их в качестве общих средств производства комбинированного общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, узурпирующих и монополизующих все выгоды этого превращения, растет масса нищеты, угнетения, рабства, деградации, эксплуатации, но также и возмущения постоянно растущего рабочего класса, обучаемого, объединяемого и организуемого самим механизмом капиталистического процесса производства. Капитал становится оковами того способа производства, который расцвел вместе с ним и под его покровом. Концентрация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимы с их капиталистической оболочкой. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприруют».

И теперь, спрашиваю я читателя, где диалектические хитрые завитки и арабески, где смешение понятий, сводящие все различия к нулю, где диалектические чудеса для правоверных, где диалектическая таинственная чепуха и фокусы по шаблону гегелевского учения о Логосе, без которых Маркс, по словам Дюринга, не мог довести до конца своего изложения? Маркс просто доказывает исторически и здесь вкратце резюмирует, что точно так же, как некогда мелкое производство своим собственным развитием породило условия своего уничтожения, т. е. условия экспроприации мелких собственников, так точно теперь капиталистическое производство породило само материальные условия, от которых оно должно погибнуть. Таков исторический процесс, и если он в то же время оказывается диалектическим, то это уже не вина Маркса, как бы фатально ни казалось это г. Дюрингу.

Только теперь, покончивши с своим историко-экономическим доказательством, Маркс продолжает: «Капиталистический способ производства и присвоения, а следовательно, и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капита-

листического производства производится им самим с необходимостью естественно-исторического процесса. Это — отрицание отрицания» и т. д. (как выше цитировано).

Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательство его исторической необходимости. Напротив того: после того как он доказал исторически, что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершиться, только после этого характеризует он его как такой процесс, который притом происходит по известному диалектическому закону. Вот и все. Таким образом, это — опять-таки чистейшая передержка г. Дюринга, когда он утверждает, что отрицание отрицания оказывает здесь услуги повивальной бабки, при помощи которых будущее высвобождается из недр прошедшего, или будто бы Маркс требует, чтобы кто-нибудь убеждался в необходимости общинного владения землей и капиталом (которое уже само по себе представляет дюринговское осязательное противоречие) на основании веры в закон отрицания отрицания.

О полном непонимании природы диалектики свидетельствует уже тот факт, что г. Дюринг считает ее орудием простого доказательства, подобно тому, как ограниченное воззрение может считать таковым формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет, прежде всего, метод для отыскания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному; то же самое, только в гораздо более высоком смысле, представляет диалектика, которая, к тому же, прорывая узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения. Это относится также и к математике. Элементарная математика, математика постоянных величин, по крайней мере в общем и целом, движется в границах формальной логики; математика переменных величин, значительнейший отдел которой составляет исчисление бесконечно-малых, есть в сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Простое доказывание отступает здесь решительно на второй план в сравнении с многообразным применением этого метода к новым областям исследования. И почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств дифференциального исчисления, являются, с точки зрения элементарной математики, строго говоря, неверными. Оно и не может быть иначе, если результаты, добытые в диалектической области, хотят доказать, как это делается здесь, посредством формальной логики. Пытаться посредством одной диалектики доказать что-либо такому грубому метафизику, как г. Дюринг, было бы таким же напрасным трудом, какой потратили Лейбниц и его ученики, доказывая тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно-малых. Дифференциал вызывал у них такие же судороги, какие вызывает у г. Дюринга «отрицание отрицания», в котором, впрочем, как мы увидим, дифференциал тоже играет некоторую роль. В конце концов, эти господа, поскольку они не умерли тем временем, ворча сдались, — не потому сдались, что были переубеждены, но потому, что решения получались всегда верные. Г-ну Дю-

рингу, по его собственному показанию, теперь только за сорок, и если — чего мы ему желаем — он доживет до глубокой старости, то он может еще дожить до того же самого.

Но что же такое, все-таки, это ужасное «отрицание отрицания», столь отравляющее жизнь г. Дюрингу и играющее у него такую же роль непростительного преступления, какую у христиан играет прегрешение против святого духа? В сущности, это очень простая, повсюду и ежедневно совершающаяся процедура, которую может понять всякий ребенок, если только сорвать с нее весь мистический хлам, в который ее закутывала старая идеалистическая философия и в который хотели бы и дальше закутывать ее, в своих интересах, беспомощные метафизики вроде г. Дюринга. Возьмем, например, ячменное зерно. ~~Б~~Иллионы таких зерен размалываются, развариваются, идут на приготовление пива, а затем потребляются. Но если одно такое ячменное зерно найдет нормальные для себя условия, если оно попадет на благоприятную почву, то, под влиянием теплоты и влажности, с ним произойдет своеобразное изменение: оно прорастет: зерно, как таковое, исчезает, отрицается; на его место появляется выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные зерна, и, как только последние созревают, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать или тридцать. Хлебные злаки изменяются крайне медленно, так что современный ячмень имеет приблизительно такой же вид, как ячмень прошлого века. Но возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение, например далию или орхидею: если мы, применяя искусство садовника, будем воздействовать на семя и развивающееся из него растение, то в результате этого отрицания отрицания получим не только больше семян, но и качественно улучшенное семя, дающее более красивые цветы, и каждое повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания, увеличивает это совершенство. — Так же, как с ячменным зерном, процесс этот совершается у большинства насекомых, например у бабочек. Они развиваются из яичка путем отрицания его, проходят через различные фазы превращения до половой зрелости, совокупляются и вновь отрицаются, т. е. умирают, как только завершился процесс спаривания и самки отложили множество яиц. Что у других растений и животных процесс происходит не так просто, что они не однажды, но много раз производят семена, яйца или детенышей, прежде чем умрут, — все это нас здесь не касается; пока нам только нужно показать сейчас, что отрицание отрицания *действительно происходит* в обоих царствах органического мира. Далее, вся геология представляет ряд отрицаемых отрицаний, ряд последовательных разрушений старых и отложения новых горных формаций. Сначала первичная, возникающая от охлаждения жидкой массы земная кора раздробляется океаническими, метеорологическими и атмосферно-химическими воздействиями, и эти измельченные массы отклады-

ваются слоями на дне моря. Местные поднятия морского дна над уровнем моря вновь подвергают части этого первого отложения воздействиям дождя, изменчивой, в зависимости от времени года, температуры, атмосферного кислорода и углекислоты; подобным же воздействиям подвергаются вырывающиеся из недр земли и прорывающие ее пласты, расплавленные и впоследствии охлаждающиеся каменные массы. В течение миллионов столетий образуются, таким образом, все новые и новые слои, по большей части вновь и вновь разрушаясь и снова служа материалом для образования новых слоев. Но результат этого процесса весьма положительный: это — образование почвы, состоявшей из разнообразнейших химических элементов и находящейся в состоянии механической измельченности, которое делает возможной массовую и разнообразнейшую растительность.

То же самое мы видим в математике. Возьмем любую алгебраическую величину a . Если мы отрицаем ее, мы получим $-a$ (минус a). Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив $-a$ на $-a$, то получим $+a^2$, т. е. первоначальную положительную величину, но на высшей ступени, именно во второй степени. И для нас, в этом случае, не имеет значения, что то же самое a^2 мы можем получить также умножением положительного a на самого себя. Ибо отрицаемое отрицание так крепко пребывает в a^2 , что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня, а именно $+a$ и $-a$. И эта невозможность отделаться от отрицаемого отрицания, от содержащегося в квадрате отрицательного корня, получает очень осязательное значение уже в квадратных уравнениях. Еще разительнее отрицание отрицания выступает в высшем анализе, в тех «суммированиях неограниченно малых величин», которые сам г. Дюринг объявляет наивысшими математическими операциями и которые на обычном языке называются дифференциальным и интегральным исчислением. Как производятся эти исчисления? Я имею, например, в известной задаче две переменные величины x и y , из которых одна не может изменяться без того, чтобы и другая не изменилась вместе с ней в определенном условиями задачи отношении. Я дифференцирую x и y , т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что они могут быть сделаны меньше всякой, сколь угодно малой действительной величины, что от x и y не остается ничего, кроме взаимного их отношения, но без всякой, так сказать, материальной основы, остается количественное отношение без всякого количества. Следовательно, $\frac{dy}{dx}$, т. е. отношение обоих дифферен-

циалов x и y , равно $\frac{0}{0}$, но $\frac{0}{0}$, принятому за выражение $\frac{y}{x}$.

Упомяну лишь мимоходом, что это отношение двух обратившихся в нуль величин, этот фиксированный момент их исчезновения, — представляет собой противоречие, но последнее так же мало может нас смутить, как оно не смущало вообще математики в течение почти 200 лет. Но разве это не значит, что я отрицаю y и x , только не

в том смысле, что мне нет больше до них дела, как отрицает метафизика, а отрицаю соответственно обстоятельствам дела? Итак, вместо x и y , я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание dx и dy . Затем я произвожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными, хотя и подчиненными некоторым исключительным законам, и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую дифференциальную формулу, вместо dx и dy получаю вновь действительные величины x и y , и таким путем не просто вернулся к исходному моменту, но разрешил задачу, на которой обыкновенная геометрия и алгебра, быть может, понапрасну обломали бы себе зубы.

То же наблюдаем мы в истории. Все культурные народы начинают с общинной собственности на землю. У всех народов, перешедших известную ступень первобытного состояния, общинная собственность по мере развития земледелия становится оковами для производства. Она уничтожается, отрицается и, после более или менее долгих промежуточных стадий, превращается в частную собственность. Но на более высокой ступени развития земледелия, достигаемой благодаря самой же частной собственности на землю, частная собственность, в свою очередь, становится оковами для производства, как это наблюдается теперь и в мелком и в крупном землевладении. Отсюда необходимо возникает требование отрицания частной земельной собственности, превращения ее опять в собственность общественную. Но это требование означает не восстановление первобытного общинного землевладения, а установление гораздо более высокой, более развитой формы общего владения, которая не только не станет помехой для производства, а, напротив, впервые освободит последнее от стесняющих его оков и даст ему возможность полностью использовать современные химические открытия и механические изобретения.

Или другой пример: античная философия была первоначальным, естественно сложившимся материализмом. Как таковой, она не была способна выяснить отношение мысли к материи. Но необходимость выяснения себе этого вопроса привела к учению об отделимой от тела душе, затем — к утверждению бессмертия души, наконец — к монотеизму. Старый материализм подвергся, таким образом, отрицанию со стороны идеализма. Но при дальнейшем развитии философии идеализм тоже оказался несостоятельным и отрицается современным материализмом. Последний — отрицание отрицания — представляет собой не простое воскрешение старого материализма, а к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания, как и самой этой двухтысячелетней истории. Это вообще уже больше не философия, а простое мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить свою деятельность не в какой-либо особой науке наук, а в реальных науках. Философия, таким образом, «снята» (aufgehoben), т. е. «одновременно преодолена и сохранена», преодолена по форме, сохранена по своему действитель-

ному содержанию. Таким образом, там, где г. Дюринг видит только «игру словами», при более внимательном рассмотрении оказывается реальное содержание.

Наконец, даже учение о равенстве Руссо, бледную, фальсифицированную копию которого представляет учение г. Дюринга, даже оно не могло быть построено без того, чтобы гегелевское отрицание отрицания не сыграло акушерской роли, притом — более чем за 20 лет до рождения Гегеля. И весьма далекое от того, чтобы стыдиться этого обстоятельство, учение Руссо, в первом своем изложении, почти демонстративно выставляет напоказ свое диалектическое происхождение. В естественном и диком состоянии люди были равны, а так как Руссо уже на возникновение речи смотрит, как на искажение естественного состояния, то он имел полное право относительное равенство животных одного и того же вида приписывать также и этим людям-животным, которых Геккель в новейшее время гипотетически классифицировал как *alali* — бессловесных. Но эти равные между собой люди-животные имели одно преимущество перед прочими животными: способность совершенствования, дальнейшей развития, и эта способность стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом. «Все дальнейшие успехи (в сравнении с первобытным состоянием) представляли собой только кажущийся прогресс *в направлении усовершенствования индивида*, на самом же деле они вели *к упадку рода человеческого*. Обработка металлов и земледелие были теми двумя искусствами, открытие которых вызвало эту громадную революцию» (т. е. превращение первобытных лесов в возделанную землю, но, вместе с тем, и возникновение нищеты и рабства, вследствие установления собственности). «С точки зрения поэта, золота и серебро, а с точки зрения философа — железо и хлеб, цивилизовали *людей* и погубили *человеческий род*». Каждый новый прогрессивный шаг цивилизации есть в то же время и прогресс неравенства. Все учреждения, которые создает для себя общество, возникшее вместе с цивилизацией, превращаются в нечто противоположное своему первоначальному назначению. «Бесспорно — и это составляет основной закон всего государственного права, — что народы поставили князей для охраны своей свободы, а не для ее уничтожения». И тем не менее эти князья неизбежно становятся угнетателями народов, и они усиливают этот гнет до того момента, когда неравенство, достигшее крайней степени, превращается вновь в свою противоположность, становясь причиной равенства: перед деспотом все равны, а именно, равны нулю. «Здесь — высшая степень неравенства, та *конечная точка, которая замыкает круг и соприкасается с начальной точкой, от которой мы исходили*: здесь все частные люди становятся равными именно потому, что они представляют собой ничто и подданные не имеют больше другого закона, кроме воли господина». Но деспот является господином, только пока на его стороне сила, а потому, «когда его изгоняют, он не может жаловаться на насилие... Насилие его поддерживало, насилие его и свергает, все идет своим

правильным естественным путем». Таким образом, неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое естественно-сложившееся равенство первобытных бессловесных людей, а в более высокое равенство общественного договора. Угнетателей подавляют. Это — отрицание отрицания.

Таким образом, мы имеем уже у Руссо не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но и в подробностях мы видим целый ряд таких же диалектических оборотов, какими пользуется Маркс: процессы, антагонистичные по своей природе, содержащие в себе противоречие, превращение известной крайности в свою противоположность, наконец, как ядро всего — отрицание отрицания. Если, следовательно, Руссо в 1754 г. и не мог еще говорить «гегелевским жаргоном», то, во всяком случае, он уже за 23 года до рождения Гегеля был глубоко заражен чумой гегельянства, диалектикой противоречия, учением о Логосе, теологией и т. д. И когда г. Дюринг, опошляя теорию равенства Руссо, оперирует при помощи своих двух победоносных мужчин, то он уже попал на наклонную плоскость, с которой безнадежно скользит в объятия отрицания отрицания. Строй, в котором процветает равенство этих двух индивидуумов и который при этом изображен, как строй идеальный, назван на стр. 271 «Курса философии» «первобытным строем». Этот первобытный строй на стр. 279 необходимым образом снимается «системой грабежа» — первое отрицание. Но в наше время мы, благодаря философии действительности, дошли до того, что можем упразднить систему грабежа и на ее место ввести изобретенную г. Дюрингом, покоящуюся на равенстве, хозяйственную коммуну — отрицание отрицания, равенство на высшей ступени. Забавное, благодетельно расширяющее кругозор зрелище: сам г. Дюринг высочайше совершает тяжкое преступление — отрицание отрицания.

Итак, что такое отрицание отрицания? Весьма общий и именно потому весьма широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления; закон, который, как мы видели, проявляется в царстве животном и растительном, в геологии, математике, истории, философии, и с которым вынужден, сам того не ведая, сообразоваться на свой лад и г. Дюринг, несмотря на все свое ушпирательство. Само собою понятно, что я еще ничего не говорю о том особом процессе развития, который проходит, например, ячменное зерно от своего прорастания до умирания плодоносного растения, когда говорю, что это — отрицание отрицания. Так как такое же отрицание отрицания представляет, например, и интегральное исчисление, то, утверждая противное, я только утверждал бы такую бессмыслицу, что процесс жизни ячменного колоса есть интегральное исчисление или, если хотите, социализм. Именно такую бессмыслицу метафизики постоянно приписывают диалектике. Когда я обо всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я охватываю их все одним этим законом развития и именно потому оставляю без внимания особенности каждого отдельного особого процесса. Диалектика же есть не бо-

лее как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления.

Однако нам могут возразить: приведенное здесь отрицание не есть настоящее отрицание; я отрицаю ячменное зерно и в том случае, если я его размалываю, насекомое, если я его растапываю, положительную величину a , если я ее вычеркиваю, и т. д. Или я отрицаю положение — роза есть роза, сказав: роза не есть роза; и что выйдет из того, что я вновь отрицаю это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза? — Таковы, действительно, главные аргументы метафизиков против диалектики, вполне достойные ограниченности их способа мышления. В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь несуществующей, или уничтожить ее любым способом. Уже Спиноза говорил: *Omnia determinatio est negatio*, всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. И, затем, способ отрицания определяется, во-первых, общей, а во-вторых, особенной природой процесса. Я должен не только отрицать, но и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание я должен произвести таким образом, чтобы второе все-таки было или стало возможным. Но как этого достигнуть? Это зависит от особой природы каждого отдельного случая. Если я размолот ячменное зерно или растоптал насекомое, то хотя я и совершил первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. Для каждой категории предметов, как и представлений и понятий, существует, следовательно, своеобразный способ подвергнуться отрицанию так, чтобы отсюда получилось развитие. В исчислении бесконечно-малых отрицание происходит иначе, чем при получении положительных степеней из отрицательных корней. Тому приходится учиться, как и всему прочему. С одним знанием того, что ячменный колос и исчисление бесконечно-малых обнимаются понятием «отрицание отрицания», я не смогу ни успешно вырастить ячмень, ни дифференцировать и интегрировать, точно так же, как знание одних только законов зависимости тонов от размеров струн не дает еще мне умения играть на скрипке. — Однако ясно, что при отрицании отрицания, сводящемся к ребяческому занятию — попеременно писать a , и затем вычеркивать его, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, не получится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру. А между тем метафизики хотят нас уверить, что раз мы желаем производить отрицание отрицания, то это надо делать именно в такой, якобы правильной, форме.

Итак, опять-таки не кто иной, как г. Дюринг, мистифицирует нас, когда утверждает, будто отрицание отрицания представляет собой забавную аналогию с грехопадением и искуплением, изобретенную Гегелем и заимствованную из области религии. Люди расуждали диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, точно так, как они говорили прозой задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания отрицания, который бесознательно осуществляется в природе и истории и, пока он не познан,

столь же бессознательно в нашем мышлении, — этот закон был лишь впервые резко формулирован Гегелем. И если г. Дюринг хочет втихомолку сам заниматься этим делом, но ему только не нравится его название, то пусть отыщет лучшее название. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть дела, то пусть будет любезен изгнать ее сначала из природы и истории и изобрести такую математику, где $(-a) \times (-a)$ не дает $+a^2$, и где дифференцирование и интегрирование воспрещены под страхом наказания.

XIV. Заключение

Мы покончили с философией; те фантазии будущего, какие еще имеются в «Курсе», займут наше внимание при рассмотрении переворота, произведенного г. Дюрингом в области социализма. Что обещал нам г. Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. «Элементы реальной философии, ориентирующейся соответственно с этим на действительность природы и жизни», «строго научное мировоззрение», «системосозидающие идеи» и все прочие научные подвиги г. Дюринга, о которых так громко раззвонил сам г. Дюринг, оказались, при первом же прикосновении к ним, *чистейшим шарлатанством*. Мировая схематика, которая, «не поступаясь ни в чем глубиной мысли, прочно установила основные формы бытия», оказалась бесконечно поверхностной копией с гегелевской логики и разделяет вместе с нею суеверный предрассудок, будто эти «основные формы», или логические категории ведут где-то таинственное существование до и вне мира, к которому они должны «применяться». Натурфилософия дала нам космогонию, исходным пунктом которой является «самому себе равное состояние материи», — состояние, которое можно представить себе только посредством безнадежнейшей путаницы относительно связи материи и движения и, сверх того, лишь при допущении внемирового личного бога, который один может привести это состояние в движение. При рассмотрении органической природы, философия действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный отбор Дарвина, как «изрядную дозу зверства, направленную против человечности», принуждена была ввести затем то и другое через заднюю дверь и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом она нашла случай проявить в области биологии такое невежество, какое ныне, — с тех пор, как нельзя уже избежать знакомства с популярно-научными лекциями, — надо искать днем с фонарем даже среди барышень из образованных сословий. В области морали и права опошление учения Руссо о равенстве привело к не лучшим результатам, чем в предыдущих отделах плоская переделка Гегеля. Точно так же и в области правоведения она, несмотря на все уверения автора в противном, обнаружила такое невежество, которое редко можно встретить даже у самых заурядных старопрусских юристов. Философия, «не признающая никакого лишь видимого горизонта», довольствуется в юридической области

одним действительным горизонтом, совпадающим со сферой действия прусского земского права. Что касается «земли и небес внешней и внутренней природы», которые эта философия обещала развернуть перед нами в своем могуче революционизирующем движении, то мы все еще продолжаем тщетно ждать их, равно как тщетно ждем также и «окончательных истин в последней инстанции» и «абсолютно-фундаментального». Философ, метод мышления которого исключает всякий уклон в сторону «субъективно ограниченного представления о мире», оказывается, в действительности, субъективно ограниченным не только своими крайне недостаточными познаниями, узкометафизическим образом мышления и карикатурным самомнением, но и просто ребяческими причудами. Он не может создать свою философию действительности, не навязав предварительно, в качестве закона, всему человечеству (с евреями включительно) своего отвращения к табаку, кошкам и евреям. Его «истинно критическая точка зрения» по отношению к другим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им вещи, которых они никогда не говорили и которые представляют собственный фабрикат г. Дюринга. Его расплывчатая болтовня на обывательские темы, вроде ценности жизни и наилучшего способа наслаждения жизнью, пропитана филистерством, которое вполне объясняет его гнев против гётевского Фауста. Оно, конечно, непростительно было со стороны Гёте, что он сделал своим героем безрассудного Фауста, а не серьезного философа действительности Вагнера. — Коротко говоря, философия действительности оказывается в конечном итоге, употребляя выражение Гегеля, «самым жиденьким отстоем немецкого просветительства», — отстоем, жиденькая и прозрачная тривиальность которого получает более густой и мутный вид только благодаря накрошенным в него оракульским фразам. И закончив чтение книги, мы оказываемся знающими ровно столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что «новый метод мышления», «глубоко своеобразные результаты и воззрения» и «системосозидающие идеи», — что все они, хотя и преподнесли нам разного рода новую бессмыслицу, но не дали ни одной строки, из которой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек, расхваливающий свои фокусы и свои товары при громе литавр и труб, словно обыкновеннейший базарный рекламист, причем у него за громкими словами не скрывается ровно ничего, — этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг и Гегель, из которых наименее значительный — все еще гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан... только кто, собственно?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

І. Предмет и метод

Политическая экономия, в широком смысле, есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе. Производство и обмен представляют собой две различные функции. Производство может совершаться без обмена, обмен же, именно потому, что он прежде всего — только обмен продуктов, не может иметь места без производства. Каждая из этих двух общественных функций находится в значительной мере под влиянием особенных внешних воздействий, почему та и другая следует также в значительной мере своим особым законам. Но, с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обуславливают друг друга и воздействуют друг на друга в такой степени, что их можно было бы назвать абсциссой и ординатой экономической кривой.

Условия, при которых люди производят и обмениваются продуктами, не одинаковы для разных стран и меняются в каждой стране из поколения в поколение. Политическая экономия не может поэтому быть одной и той же для всех стран и всех исторических эпох. Огромное расстояние отделяет лук и стрелы, каменный нож и встречающиеся только в виде исключения меновые отношения дикаря от паровой машины в тысячу лошадиных сил, от механического ткацкого станка, железных дорог и Английского банка. Жители Огненной Земли не дошли до массового производства и всемирной торговли, как и до спекуляций векселями и биржевых крахов. Поэтому, кто пожелал бы объединить одними законами политическую экономию Огненной Земли и современной Англии, тот, очевидно, не дал бы ничего, кроме самых банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по самому существу своему — историческая наука. Она имеет дело с историческим, т. е. постоянно изменяющимся, материалом; она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена и лишь в конце этого исследования сможет установить немногие, самые общие законы, имеющие применение к производству и обмену вообще. Причем, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу для определенных способов производства и форм обмена, имеют

также значение для всех исторических периодов, которым эти способы производства и формы обмена общи. Так, например, вместе с введением металлических денег вступает в действие ряд законов, имеющих силу для всех стран и исторических периодов, в которых обмен совершается посредством металлических денег.

Род и способ производства и обмена исторически определенного общества и исторические предпосылки этого общества определяют вместе с тем род и способ распределения продуктов. В родовой или сельской общине с общей собственностью на землю, с которою — или с весьма заметными остатками которой — вступают в историю все культурные народы, само собой подразумевается довольно равномерное распределение продуктов; там же, где возникает более или менее значительное неравенство в их распределении между членами общины, это служит уже признаком начинающегося разложения последней. — Как крупное, так и мелкое земледелие допускают — в зависимости от исторических предпосылок, из которых они развились — весьма различные формы распределения. Но ясно, что крупное земледелие обуславливает всегда совершенно иное распределение, чем мелкое; что крупное предполагает или создает противоположность классов — рабовладельцев и рабов, помещиков и барщинно-обязанных крестьян, капиталистов и наемных рабочих, тогда как при мелком классовые различия между занятыми в земледельческом производстве индивидуумами отнюдь не необходимы и, напротив того, самым фактом своего существования свидетельствуют о начинающемся уже упадке парцеллярного хозяйства. Введение и распространение металлических денег в стране, в которой до тех пор велось исключительно или преимущественно натуральное хозяйство, всегда соединено с медленным или быстрым переворотом в прежнем распределении, и именно — со все более и более возрастающим неравенством распределения между отдельными личностями, следовательно, со все более растущей противоположностью между богатыми и бедными. Насколько местное, цеховое ремесленное производство средних веков делало невозможным существование крупных капиталистов и пожизненных наемных рабочих, настолько же эти классы неизбежно создаются современной крупной промышленностью, современным развитием кредита и соответствующей им обоим формой обмена, свободной конкуренцией.

Но с различиями в распределении выступают и *классовые различия*. Общество разделяется на привилегированные и обездоленные, на эксплуатирующие и эксплуатируемые, на господствующие и угнетенные классы. Точно так же государство, к которому пришли в результате своего дальнейшего развития естественно сложившиеся группы одноплеменных общин, сначала только в целях заботы об их общих интересах (например на Востоке — для заботы об орошении) и для защиты от внешних врагов, — государство получает отныне также назначение — охранять посредством насилия условия существования и господства правящего класса против класса угнетенного.

Однако распределение не является только пассивным результатом производства и обмена; оно, в свою очередь, влияет обратно

на то и другое. Каждый новый способ производства или новая форма обмена тормозится вначале не только старыми их формами и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Им приходится путем долгой борьбы завоевывать себе соответствующее распределение. Но чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем больше он способен к развитию, тем скорее и распределение достигает такой ступени, на которой оно перерастает породивший его способ производства и обмена и вступает с ним в противоречие. Старые, естественно выросшие общины, о которых была уже речь, могут существовать целые тысячелетия, как это наблюдается еще теперь у индусов и славян, пока сношения с внешним миром не породят внутри этих общин имущественные различия, вследствие которых начинается их разложение. Напротив, современное капиталистическое производство, существующее едва триста лет и ставшее господствующим только со времени появления крупной промышленности, т. е. всего сто лет тому назад, успело в течение этого короткого срока породить противоположности в распределении — с одной стороны, концентрацию капиталов в немногих руках, а с другой — концентрацию неимущих масс в больших городах, — от которых оно необходимо погибнет.

Связь между данным распределением и данными условиями материального существования всякого общества настолько коренится в природе вещей, что она неизменно инстинктивно отражается в народном сознании. Пока известный способ производства находится в восходящей стадии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается в убытке от соответствующего ему способа распределения. Так было с английскими рабочими, пока крупная промышленность находилась в восходящей стадии своего развития. Более того: пока этот способ производства остается еще общественно-нормальным, господствует в общем довольство распределением, и если протесты раздаются в это время, то лишь со стороны лиц, вышедших из среды самого господствующего класса (С.-Симон, Фурье, Оуэн), причем они не находят как раз у эксплуатируемых масс никакого отклика. Лишь когда данный способ производства прошел уже порядочную часть своей нисходящей стадии, когда он наполовину пережил себя, когда условия, породившие его существование, в значительной степени исчезли, и его преемник уже стучится в двери, — лишь тогда обнаруживается несправедливость все более возрастающего неравенства распределения, лишь тогда люди начинают апеллировать от переживших себя фактов к так называемой вечной справедливости. Этот призыв к морали и праву не ведет нас в научном отношении ни на шаг вперед; в нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом. Ее задачей является скорее: показать, что начинающие обнаруживаться пороки общественного строя представляют необходимое следствие существующего способа производства, но в то же время признак наступающего разложения его, а затем — вскрыть внутри разлагающейся формы экономического движения элементы будущей, новой организации

производства и обмена, устраняющей эти пороки. Гнев, создающий поэтов, вполне уместен — как при изображении этих пороков, так и при нападках на тех, которые, служа господствующему классу, отыскивают гармонию в существующем строе и отрицают или прикрашивают его пороки; но как мало он может иметь значения в качестве *доказательства* для каждого данного случая, это ясно уже из того, что для гнева было достаточно материала во *все* эпохи предшествующей истории.

Политическая экономия, как наука об условиях и формах производства и обмена в различных человеческих обществах и о соответствующих им способах распределения продуктов, — политическая экономия, в этом широком смысле, еще только должна быть создана. То, что дает нам в настоящее время экономическая наука, ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства: она начинает с критики пережитков феодальных форм производства и обмена, показывает необходимость их замены капиталистическими формами, развивает затем законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны, т. е., поскольку они идут на пользу целям всего общества, и заканчивает социалистической критикой капиталистического способа производства, т. е. изображением его законов с отрицательной стороны, доказательством того, что этот способ производства, вследствие собственного своего развития, приближается быстро к точке, где он сам себя делает невозможным. Эта критика показывает, что капиталистические формы производства и обмена все более приобретают характер невыносимых оков для самого производства; что необходимо обусловленный этими формами способ распределения создал положение классов, становящееся с каждым днем все более невыносимым, создал обостряющийся с каждым днем антагонизм между немногими, все более богатеющими капиталистами и многочисленными, поставленными в общем во все худшие и худшие условия неимущими наемными рабочими; наконец, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, с которыми он не в состоянии больше справиться, только ждут перехода своего в руки организованного для планомерной совместной работы общества, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и к свободному развитию их способностей, притом во все возрастающей степени.

Чтобы всесторонне провести эту критику буржуазной экономики, недостаточно было знакомства с капиталистической формой производства, обмена и распределения. Нужно было также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к сравнению формы, которые ей предшествовали, или те, которые существуют еще рядом с ней в менее развитых странах. Такое исследование и сравнение было в общем предпринято пока только Марксом, и почти исключительно его работам мы обязаны тем, что мы знаем до сих пор о добуржуазной теоретической экономике.

Политическая экономия, в узком смысле, хотя и возникла,

благодаря отдельным гениальным личностям, около конца XVII столетия, представляет, однако, в своей положительной формулировке физиократами и А. Смитом, по существу, детище XVIII века и примыкает тесно к другим одновременным достижениям великих французских просветителей, со всеми достоинствами и недостатками этой эпохи. То, что было сказано нами о просветителях, применимо и к тогдашним экономистам. Новая экономическая наука была для них не выражением отношений и потребностей их эпохи, а проявлением вечного разума; открытые ею законы производства и обмена были не законами исторически определенной формы этих видов экономической деятельности, а вечными, естественными законами: их выводили из природы человека. Но при внимательном рассмотрении этот человек оказывался просто средним бюргером того времени, находившимся в процессе своего превращения в буржуа, а его «природа» заключалась лишь в том, что он производил фабричные изделия и торговал на почве тогдашних исторически определенных отношений.

После того, как мы достаточно познакомились с нашим «критическим основоположником», г. Дюрингом, и его методом в философии, мы легко можем предсказать, какие взгляды он будет высказывать относительно политической экономии. В философской области, там, где он не городил просто вздора (как, например, в натурфилософии), его воззрения были карикатурой на воззрения XVIII века. Дело шло для него не об исторических законах развития, а об естественных законах, о вечных истинах. Общественные отношения, как мораль и право, определялись каждый раз не согласно исторически данным условиям, а с помощью пресловутых двух индивидуумов, из которых один либо угнетает другого, либо не угнетает, — последнее, к сожалению, доселе никогда не случалось. Поэтому мы едва ли ошибемся, если вперед скажем, что г. Дюринг и политическую экономию сведет, в конце концов, к окончательным истинам в последней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтологическим аксиомам, абсолютно лишенным содержания, — и в то же время все положительное содержание политической экономии, поскольку оно ему знакомо, проведет опять контрабандою через заднюю дверь; что распределение, как общественное явление, он не выведет из производства и обмена, а передаст его на окончательное разрешение своим пресловутым двум мужчинам. А так как все это уже давно нам знакомые приемы, то мы можем ограничиться здесь лишь кратким их разбором.

Действительно, уже на второй странице г. Дюринг заявляет нам, что его экономия основывается на «установленном» в его философии и «копируется в некоторых существенных пунктах на истины более высокого порядка, уже окончательно доказанные в высшей области исследования». Везде все то же назойливое самовосхваление, везде торжество г. Дюринга по поводу неопровержимо и окончательно доказанного г. Дюрингом. Действительно окончательно, примеров этого мы видели достаточно, — как окончательно задувают свечу, чтобы она не коптила.

Тотчас же вслед за тем мы узнаем о «самых общих *естественных законах* всякого хозяйства» — значит, мы верно угадали. Но эти естественные законы допускают правильное понимание прошлой истории лишь в том случае, если их «исследуют в той ближайшей форме, которую их результаты получили благодаря политическим формам подчинения и группировки. Такие учреждения, как рабство и наемная кабала, к которым присоединяется их родная сестра — насильственная собственность, должны быть рассматриваемы как формы социально-экономического строя чисто политического характера; они составляли до сих пор рамку, в пределах которой только и могли проявляться действия естественных законов хозяйства».

Это положение играет роль фанфары, которая, подобно вагнеровскому лейт-мотиву, должна возвестить нам о появлении пресловутых двух мужчин. Но оно представляет еще нечто большее, так как образует основную тему всей дюринговой книги. Когда речь шла о праве, г. Дюринг не сумел нам дать ничего большего, кроме плохого перевода теории равенства Руссо на социалистический язык, — перевода, гораздо лучшие образцы которого уже много лет как можно услышать в любом парижском кафе, посещаемом рабочими. Здесь он дает нам несколько не лучший социалистический перевод сетований экономистов на искажение вечных, естественных экономических законов и их действия вследствие вмешательства государства, вмешательства насилия. Тем самым он заслуженно оказывается одиноким среди социалистов. Каждый рабочий-социалист, безразлично какой национальности, очень хорошо знает, что насилие только охраняет эксплуатацию, но не создает ее; что основанием эксплуатации, которой он подвергается, является отношение капитала и наемного труда и что это последнее возникло чисто экономическим путем, а вовсе не путем насилия.

Далее мы узнаем, что во всех экономических вопросах «можно различать два процесса — процесс производства и процесс распределения»; к ним известный своей поверхностностью экономист Ж. Б. Сэй прибавил еще третий процесс — потребление, но ни он, ни его последователи не сумели сказать по его поводу ничего умного. Обмен или обращение представляет, однако, только подразделение производства, к которому относится все, что должно совершиться для того, чтобы продукты попали к последнему и настоящему потребителю. — Если г. Дюринг сваливает в кучу два по существу различных, хотя бы и взаимно обуславливающих друг друга процесса — производства и обращения, и чрезвычайно развязно утверждает, что устранение этой путаницы может «только породить путаницу», то он этим лишь доказывает, что не знает или не понимает того колоссального развития, которого достиг за последние пятьдесят лет как раз обмен товаров, — как оно и подтверждается дальнейшим содержанием его книги. Но этого мало. Соединив вместе производство и обмен под именем производства вообще, он ставит распределение *рядом* с производством, как второй, совершенно

посторонний процесс, не имеющий ничего общего с первым. Между тем мы видели, что распределение в главных своих чертах всегда является необходимым результатом способов производства и обмена в данном обществе, равно как исторических предпосылок этого общества; зная последние, можно с достоверностью умозаключить и о характере господствующего в данном обществе способа распределения. Но в то же время мы видим, что если г. Дюринг не хочет изменить принципам, «установленным» в его учении о морали, праве и истории, — то он принужден отрицать этот элементарный исторический факт и, в особенности, должен отрицать его, раз требуется провести контрабандой в политическую экономию его двух неизменных мужчин. После того, как распределение благополучно избавлено от всякой связи с производством и обменом, это великое событие может, наконец, совершиться.

Припомним, однако, сначала, как происходило дело при рассмотрении вопроса о морали и праве. Здесь г. Дюринг начал сперва только с одного человека; он сказал: «один человек, поскольку мы его представляем себе одиноким, или, что то же, стоящим вне всякой связи с другими людьми, не может иметь обязанностей. Для него не существует *долженствований*, а только *хотение*». Но что же иное представляет собою этот не имеющий обязанностей, предполагаемый в единственном числе, человек, как не рокового «пра-еврея Адама» в раю, где он свободен от грехов по той простой причине, что не может совершать таковых? — Однако и этому созданному философией действительности Адаму предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Адамом появляется если и не пышнокудрявая Ева, то все же второй Адам. Тотчас же Адам получает обязанности — и нарушает их. Вместо того, чтобы прижать к своей груди брата, как равноправного человека, он подчиняет его своему господству, порабощает его, — и от последствий этого первого греха, от первородного греха порабощения страдает вся всемирная история вплоть до нынешнего дня, вследствие чего она, по мнению г. Дюринга, и не стоит медного гроша.

Заметим мимоходом: если г. Дюринг полагал, что возбудил достаточное презрение к «отрицанию отрицания», назвав его копией со старой истории грехопадения и искупления, то что же нам сказать в таком случае об *его собственном* новейшем издании той же истории (ибо и к искуплению нам еще придется со временем «подступать поближе»), как выражаются наши рептилии)? Во всяком случае — что мы предпочитаем старое семитское сказание, где для мужчины и женщины имело все-таки некоторый смысл выйти из состояния невинности, и что за г. Дюрингом останется безраздельная слава человека, конструировавшего свое грехопадение при помощи двух мужчин.

Послушаем, однако, как переводится грехопадение на язык политической экономии:

«Для идеи производства может во всяком случае служить пригодной логической схемой представление о Робинзоне, который изолированно противостоит со своими силами природе и не имеет

надобности ни с кем делиться чем-либо... Столь же целесообразной для наглядной иллюстрации того, что наиболее существенно в идее распределения, является логическая схема двух лиц, хозяйственные силы которых комбинируются, и которые, очевидно, должны в той или иной форме столкнуться друг с другом относительно своих долей. Действительно, нет никакой нужды в чем-либо еще, кроме этого простого дуализма, чтобы вполне строго изложить некоторые из важнейших отношений распределения и изучить эмбрионально их законы в их логической необходимости... Совместная деятельность на условиях равноправия столь же мыслима в этом случае, как комбинация сил путем полного подчинения одной стороны, которая принижается в таком случае до положения раба или простого орудия для хозяйственных услуг и потому содержится также лишь в качестве орудия... Между состоянием равенства и состоянием ничтожества, с одной стороны, и всемогуществом и единственно-активным участием, с другой, лежит целый ряд промежуточных ступеней, о заполнении которых широко постаралась всемирная история. Существенным предварительным условием является здесь всеобъемлющий взгляд на различные институты *права* и *неправды* в истории... и в заключение, все распределение превращается в «экономическое право распределения».

Теперь, наконец, г. Дюринг вновь обрел твердую почву под ногами. Рука об руку со своими двумя мужчинами он может бросить вызов своему веку. Но за этим тройным созвездием стоит еще некто неназванный.

«Капитал не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, рабочий, свободный или несвободный, должен присоединить к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства, будет ли этим собственником афинский *γαλός κἀγαθός* [аристократ], этрусский теократ, *civis romanus* [римский гражданин], норманский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный лэндлорд или капиталист». («Капитал», т. I, стр. 257—258.)

После того, как г. Дюринг узнал, таким образом, что составляет основную форму эксплуатации, общую всем существовавшим до сих пор формам производства — поскольку они движутся в классовых противоположностях, ему оставалось только пустить в ход своих двух мужчин, и глубокий фундамент экономии действительности был готов. Они ни минуты не медлили с выполнением этой «системосозидающей идеи». Суть дела заключается здесь в работе без эквивалента, длящейся за пределы рабочего времени, необходимого для поддержания жизни самого работника. Итак, Адам, который здесь носит имя Робинзона, заставляет второго Адама, Пятницу, работать во-всю. Почему же, однако, Пятница работает дольше, чем необходимо для его пропитания? И на этот вопрос имеется отчасти ответ у Маркса. Но для наших двух мужчин все это слишком длинная история. Дело устраивается на скорую

руку: Робинзон «подчиняет» Пятницу — принуждает его «как раба или рабчее орудие исполнять хозяйственные услуги», и содержит его «также только как орудие». Этим новейшим творческим приемом г. Дюринг, словно хлопнушкой, убивает разом двух мух. Во-первых, он избавляет себя от труда объяснить существовавшие до сих пор формы распределения, их различия и их причины: все они просто никуда не годятся, они покоятся на угнетении и насилии. К этому вопросу нам еще придется скоро вернуться. Во-вторых, он переносит всю теорию распределения с экономической почвы на почву морали и права, т. е. из области твердо установленных материальных фактов в область более или менее шатких мнений и чувств. Таким образом, ему нет больше надобности исследовать или доказывать, а достаточно только развязно декламировать, и он может выставить требование, чтобы распределение продуктов труда совершалось не сообразно его действительным причинам, а согласно с тем, что ему, г. Дюрингу, представляется нравственным и справедливым. Однако то, что представляется справедливым г. Дюрингу, отнюдь не есть что-либо неизменное и, следовательно, весьма далеко от того, чтобы быть подлинной истиной, ибо такие истины, по заявлению самого г. Дюринга, «вообще неизменны». Действительно, в 1868 г. он писал («Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift etc.»): «всякая высшая цивилизация имеет тенденцию *придавать собственности все более резкое выражение*, и именно в этом, а не в путанице прав и сфер господства, заключается существо и будущность современного развития»; затем он вообще не в состоянии был тогда постигнуть, «*каким образом превращение наемного труда в другую форму добычания средств к жизни может когда-либо быть согласовано с законами человеческой природы и естественно-необходимым расчленением общественного организма*». Итак, в 1868 г. частная собственность и наемный труд были естественно необходимы и потому справедливы. В 1876 г. то и другое оказалось следствием насилия и «грабежа», стало быть несправедливым. И так как невозможно знать, что через несколько лет будет казаться нравственным и справедливым такому могуче стремительному гению, то мы поступим во всяком случае лучше, если, рассуждая о распределении богатств, будем держаться реальных, объективных, экономических законов, а не мимолетного, изменчивого, субъективного представления г. Дюринга о правом и неправо.

Если бы наша уверенность относительно надвигающегося перелома в современном способе распределения продуктов труда, с его вопиющими противоречиями нищеты и роскоши, голода и обжорства, опиралась только на сознание, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна же когда-нибудь восторжествовать, то наше дело обстояло бы плохо и нам пришлось бы долго ждать. Средневековые мистики, мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, сознавали уже несправедливость классовых противоположностей. На заре новой истории, 350 лет тому назад, Томас Мюнцер громко провозгласил на весь свет это убеждение. Во время английской и французской буржуазной революции раздается тот

128

же ключ и затем — замирает. Чем же объясняется, что этот призыв к уничтожению классовых противоположностей и классовых различий, который до 1830 г. не встречал отклика у трудящихся и страждущих масс, ныне вызывает сочувствие миллионов рабочих; что он завоевывает одну страну за другой, притом в той самой последовательности и с той самой интенсивностью, с которой в отдельных странах развивается крупная промышленность; что за одно какое-нибудь поколение он приобрел такую мощь, которая может бросить вызов всем объединившимся против него силам и уверенно ждать своей победы в близком будущем? Объясняется это тем, что современная крупная индустрия создала, с одной стороны, пролетариат, класс, который впервые в истории может выставить требование об уничтожении не той или иной классовой организации, не той или иной специальной классовой привилегии, а вообще разделения общества на классы, и который поставлен в такое положение, что должен провести это требование, если не хочет опуститься до положения китайских кули. С другой стороны, та же крупная промышленность создала в лице буржуазии класс, который имеет монополию на все орудия производства и жизненные средства, но который в каждый период спекуляции и следующего за ним краха доказывает, что он стал неспособен к дальнейшему господству над производительными силами, переросшими его власть, — класс, под руководством которого общество быстро идет навстречу гибели, подобно локомотиву, у которого машинист не имеет сил открыть зажатый предохранительный клапан. Другими словами, отмеченный факт объясняется тем, что и порожденные современным капиталистическим способом производства производительные силы и созданная им система распределения хозяйственных благ пришли в вопиющее противоречие с этим самым способом производства, притом в такой степени, что необходим переворот в способе производства и распределения, который устранил бы все классовые различия, если хотят избежать гибели всего современного общества. На этом осязательном материальном факте, который в более или менее ясной форме и с непреодолимой необходимостью проникает в сознание эксплуатируемых масс, — на этом факте, а не на представлениях того или другого кабинетного мыслителя о правом и неправом, основана уверенность в победе современного социализма.

III. Теория насилия

«Отношение общей политики к формам хозяйственного права определено в моей системе столь решительно и вместе с тем так своеобразно, что специальное указание на него будет излишним для облегчения изучения этого вопроса. Формы *политических* отношений представляют собою *исторический фундамент*, хозяйственные же зависимости суть только их *следствие* или частный случай, а потому всегда являются *фактами вторичного порядка*. Некогда из новейших социалистических систем выставляют руководящим принципом

кажущееся и бросающееся в глаза совершенно обратное взаимоотношение, выводя из экономических условий формы политического подчинения. Бесспорно, что эти действия вторичного характера существуют, как таковые, и в настоящее время особенно резко чувствуются; но *первичный фактор* все-таки следует искать в *непосредственном политическом насилии*, а не в косвенном влиянии экономической мощи. То же говорится и в другом месте, где г. Дюринг «исходит из того положения, что политический строй является решающей причиной экономического положения и что обратное отношение представляет лишь отраженное действие вторичного порядка... если кто-нибудь делает политическую группировку исходным пунктом не ради нее самой, а рассматривает ее исключительно как *средство для целей кормления*, то какими бы радикально-социалистическими и революционными ни казались на первый взгляд его воззрения, они все же будут заключать в себе в скрытом виде добрую долю реакционности».

Такова теория г. Дюринга. И здесь и во многих других местах она просто выставляется, так сказать, декретируется; во всех трех толстых томах мы не находим даже малейшей попытки ее доказательства или опровержения противоположного взгляда. Но если бы даже доказательства были дешевле грибов, то г. Дюринг не видел бы надобности давать их. Ведь вопрос уже решен знаменитым грехопадением Робинзона, поработившего Пятницу. Это был акт насилия, стало быть — деяние политическое. А так как это порабощение, составляя исходный пункт и основной факт всей истории до наших дней, прививает ей первородный грех несправедливости, ибо в позднейшие периоды истории оно было лишь смягчено и «заменено более косвенными формами экономической зависимости»; так как на этом же первом акте порабощения покоится вся господствующая до сих пор «насильственная собственность», то ясно, что все экономические явления должны быть объясняемы политическими причинами, а именно — насилием. Если же кто-нибудь не удовлетворяется этим объяснением, то он — скрытый реакционер.

Прежде всего заметим, что надо обладать самовлюбленностью г. Дюринга, чтобы считать это воззрение настолько «своеобразным», — каковым оно на деле вовсе не является. Представление, будто решающим фактором в истории являются громкие государственно-политические деяния, столь же старо, как и сама историография. Оно было главной причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о бесшумном и действительно прогрессивном развитии народов, происходившем на заднем плане этих шумных выступлений. Это представление господствовало во всем прежнем понимании истории и впервые было поколеблено французскими буржуазными историками времен реставрации; «своеобразно» в данном случае лишь то, что г. Дюринг опять-таки ничего не знает обо всем этом.

Далее, если бы мы даже допустили на минуту правильность утверждения г. Дюринга, что вся история до наших дней может быть сведена к порабощению человека человеком, то это еще далеко не выяснило бы нам сути дела. Напротив, прежде всего является во-

прос: каким образом Робинзон пришел к мысли поработить Пятницу? Просто ради удовольствия? Отнюдь нет. Напротив, мы видим, что Пятница, «как раб или простое орудие, принуждается к *хозяйственной* службе, и его содержат именно только, как орудие». Робинзон поработит Пятницу только для того, чтобы Пятница работал на Робинзона. А каким образом Робинзон может извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только потому, что Пятница производит своим трудом больше жизненных средств, чем сколько Робинзон принужден давать ему для того, чтобы сохранить его трудоспособность. Следовательно, вопреки прямому предписанию г. Дюринга, Робинзон сделал созданную поработением Пятницы «политическую группировку исходным пунктом не ради нее самой», а отнесся к ней «исключительно как к *средству для целей кормления*»; и теперь ему надо хорошо подумать над тем, как оправдаться перед своим господином и хозяином Дюрингом.

Таким образом, детский пример, изобретенный г. Дюрингом нарочито для доказательства того, что насилие есть «исторически фундаментальный» фактор, показывает напротив, что насилие есть только средство, целью же является в действительности экономическая выгода. Насколько цель «фундаментальнее» средства, примененного для ее достижения, настолько же экономическая сторона данного отношения является в истории более основной, чем сторона политическая. Следовательно, приведенный пример доказывает как раз противоположное тому, что он должен был доказать. И точно так же, как с Робинзоном и Пятницей, дело обстоит во всех случаях господства и поработнения, которые имели место до сих пор. Подчинение всегда было, употребляя изящное выражение г. Дюринга, «средством для целей кормления» (понимая эти цели в самом широком смысле слова), но никогда и нигде оно не являлось политической группировкой, введенной «ради нее самой». Надо быть г. Дюрингом, чтобы вообразить, будто налоги представляют в государстве только «следствия второго порядка», или что современная политическая группировка на господствующую буржуазию и угнетенный пролетариат существует «ради нее самой», а не ради «целей кормления» господствующих буржуа, ради выжимания прибылей и накопления капитала.

Возвратимся, однако, к нашим двум мужчинам. Робинзон «со шпагой в руке» обращает Пятницу в своего раба. Но, чтобы успеть в этом, Робинзон нуждается еще кое в чем кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в состоянии пользоваться им, нужно располагать вещами двоякого рода: во-первых, орудиями и объектами для приложения труда раба; во-вторых, средствами для поддержания его скудного существования. Следовательно, прежде чем станет возможным рабство, должна уже быть достигнута известная ступень в развитии производства и известная ступень неравенства в распределении. А для того, чтобы рабский труд стал господствующим способом производства целого общества, требуется еще гораздо более значительный рост производства, торговли и накопления богатств. В древних, естественно выросших общинах, с общей

собственностью на землю, рабство либо вовсе не встречается, либо играет лишь весьма второстепенную роль. Так было и в первоначально крестьянском городе Рима; когда же он стал «мировым городом» и итальянская поземельная собственность стала все более и более переходить в руки малочисленного класса колоссально богатых собственников, тогда крестьянское население было вытеснено населением, состоявшим из рабов. Если во времена греко-персидских войн число рабов в Коринфе достигало 460 000, а в Эгине — 470 000, и на каждую душу свободного населения приходилось 10 рабов, то для этого требовалось нечто большее, чем «насилие», а именно — требовалась наличность высоко развитой художественной и ремесленной промышленности и обширной торговли. Невольничество в Американских Соединенных Штатах покоилось гораздо меньше на насилии, чем на английской хлопчатобумажной промышленности; в местностях, где не произрастал хлопок, или которые не занимались подобно пограничным штатам разведением рабов для продажи в штаты, занимающиеся хлопководством, рабство вымерло само собой, без применения насилия, просто потому, что оно не было выгодно.

Если, следовательно, г. Дюринг называет современную собственность насильственной собственностью и определяет ее как «такую форму господства, в основе которой лежит не только отстранение ближнего от пользования естественными средствами, необходимыми для существования, но, что еще важнее, порабощение человека и принуждение его к холопской службе», — то он переворачивает вверх дном действительное соотношение фактов. Порабощение человека и принуждение его к холопской службе во всех ее формах предполагает на стороне порабощающего обладание средствами для приложения труда, с помощью которых он только и может использовать порабощенного, а при невольничестве, сверх того, и распоряжение жизненными средствами, необходимыми для содержания раба. Во всех этих случаях предполагается, таким образом, обладание известным, превышающим средний уровень, имуществом. Но как возникло последнее? Конечно, оно могло быть награблено, следовательно основываться на насилии, но это вовсе не представляется необходимым. Оно могло быть добыто также трудом, украдено, нажито торговлей, обманом. Оно даже должно быть добыто трудом, раньше чем может вообще быть награбленным.

Вообще, частная собственность появляется в истории отнюдь не как результат грабежа и насилия. Напротив, она существует уже, хотя и распространяясь только на известные предметы, в первобытной, естественно выросшей общине всех культурных народов. Уже в пределах этой общины, раньше всего в процессе обмена с чужеземцами, объекты частной собственности начинают принимать форму товара. Чем больше продукты общины принимают товарную форму, т. е. чем меньшая часть их производится для собственного потребления производителя и чем большая — для целей обмена, чем больше обмен вытесняет и внутри общины первоначальное, естественно сложившееся разделение труда, — тем более неравным становится

также имущественное положение отдельных членов общины, тем глубже подрывается старое общинное владение землей, тем быстрее община идет навстречу своему разложению и превращается в деревню мелких собственников-крестьян. Восточный деспотизм и сменявшееся господство завоевателей-кочевников в течение тысячелетий ничего не могли поделать с этими старыми общинами; напротив, постепенное разрушение их естественно выросшей домашней промышленности все больше и больше приводит к их разложению. О насилии здесь можно говорить так же мало, как и при ныне еще происходящем разделе общинных угодий в так называемых *Gehüferschaften* (общинах) на Мозеле и в Гохвальде: крестьяне просто считают выгодной для себя замену общинной собственности на полевую землю частной собственностью. Даже образование первоначально-сложившейся родовой аристократии, как она возникла на почве общинного землевладения у кельтов, германцев и в индийском Пятиречье, — даже оно поконится ближайшим образом не на насилии, а возникает стихийно-самопроизвольно и держится по традиции. Повсюду, где образуется частная собственность, это происходит вследствие изменения условий производства и обмена (*Austausch*), в интересах повышения производства и развития общения (*Verkehr*), следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен существовать, прежде чем грабитель может *присвоить* себе чужое добро; что, следовательно, насилие, хотя и может переменить лицо владельца, но не может создать частную собственность, как таковую.

Но и для того, чтобы объяснить «порабощение человека и принуждение его к холопской службе» в самой современной его форме наемного труда, мы также не можем ссылаться на насилие или на насильственную собственность. Мы уже упомянули, какую роль играет при разложении старых общин, следовательно при прямом или косвенном распространении частной собственности, превращение продуктов труда в товары, т. е. производство их не для собственного потребления, а для обмена. Между тем Маркс с не допускающей сомнений ясностью показал в «Капитале» (и г. Дюринг остерегается хотя бы словечком заикнуться об этом), что на известной стадии развития товарное производство превращается в капиталистическое производство и что на этой ступени «закон присвоения, или закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, превращается путем собственной, внутренней, неустранимой диалектики в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов, в котором состояла первоначальная операция, претерпел такие изменения, что в результате он оказывается лишь внешней видимостью; в самом деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама является лишь частью продукта чужого труда, присвоенного без эквивалента; во-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим ее рабочим, но возмещена с новым избытком... Первоначально право собственности выступало

перед нами как право, основанное на собственном труде... Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд или его продукт, для рабочего — невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Отделение собственности от труда становится необходимым следствием закона, исходным пунктом которого было, повидимому, их тождество» («Капитал», т. I, стр. 641). Другими словами, если мы даже исключим возможность всякого грабежа, насильственного действия и обмана, если мы допустим, что вся частная собственность покоилась первоначально на личном труде собственника и что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равноценности, то мы все-таки при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно приходим к современному капиталистическому способу производства, т. е. к монополизации орудий производства и жизненных средств в руках одного, малочисленного класса, к низведению другого класса, составляющего громадное большинство, до положения неимущих пролетариев, к периодической смене спекулятивного расширения производства и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс объясняется чисто экономическими причинами, и для понимания его нет решительно никакой необходимости ссылаться на грабеж, насилие, государственное или какое-либо иное политическое вмешательство. «Насильственная собственность» оказывается и в этом случае просто хвастливой фразой, которая должна прикрыть недостаток понимания действительного хода вещей.

Этот процесс, выражаясь исторически, есть история развития буржуазии. Если «политический строй является решающей причиной экономического положения», то современная буржуазия должна была бы развиться не в борьбе с феодализмом, а быть его добровольно рожденным, любимым детищем. Всякий знает, однако, что дело происходило как раз наоборот. Представляя из себя первоначально угнетенное сословие, обязанное оброками господствующему феодальному дворянству и вербовавшееся из всякого рода крепостных людей, буржуазия в непрерывной борьбе с дворянством отвоёвывала одну позицию за другой, пока, наконец, не стала в наиболее развитых странах господствующим, вместо него, классом: во Франции — прямо свергнув дворянство, в Англии — все более и более обуржуазивая его и включив его в свой состав в качестве декоративной верхушки. И каким образом она достигла этого? Только путем изменения «экономического положения», за которым, рано или поздно, добровольно или после тщетного сопротивления, последовало также изменение политического строя. Борьба буржуазии с феодальным дворянством есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решающим оружием буржуа в этой борьбе была их *экономическая* мощь, которая непрерывно возрастала благодаря развитию промышленности, сначала ремесленной, а позднее превратившейся в мануфактуру, и благодаря расширению торговли. В течение всей этой борьбы политическая сила была на

стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть пользовалась буржуазией в своей борьбе с дворянством, чтобы держать в страхе одно сословие при помощи другого; однако с того момента, как буржуазия, политически все еще бессильная, начала благодаря росту своего экономического могущества становиться опасной, королевская власть вновь вступила в союз с дворянством и вызвала этим, сначала в Англии, а потом во Франции, буржуазную революцию. «Политический строй» оставался во Франции неизменным, между тем как «экономическое положение» переросло его. В политическом отношении дворянство было всем, буржуа — ничем; по социальному положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве, тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и продолжало только получать доходы, в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие функции. Мало того, буржуазия во всей сфере своего производства оставалась втиснутой в феодальные политические формы средневековья, которые это производство — не только мануфактура, но даже ремесло — давно переросло; развитие ее стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, обратившимися в источник придирок и путы для производства, стеснялось местными и провинциальными таможенными рогатками. Буржуазная революция положила этому конец. Но она это сделала не приспособлением экономического положения к политическому строю, согласно принципу г. Дюринга, — именно это в течение долгого времени тщетно пытались сделать дворянство и монархия, — а наоборот, отбросив старый, гнилой политический хлам и создав такой политический строй, в условиях которого могло бы существовать и развиваться новое «хозяйственное положение». И в этой новой, подходящей для нее политической и правовой атмосфере буржуазия блестяще развилась, — так блестяще, что она уже недалеко теперь от того положения, которое дворянство занимало в 1789 г.: она все более становится не только в общественном смысле излишней, но и помехой для социального развития, она все более и более отходит от производственной деятельности и становится, как в свое время дворянство, классом, только получающим доходы. И этот переворот в своем собственном положении и создание нового класса, пролетариата, буржуазия осуществила без всяких насильственных фокуссов, чисто экономическим путем. Более того, буржуазия отнюдь не желала такого результата своей собственной деятельности, напротив: он был осуществлен с непреодолимой силой против ее воли и вопреки ее намерениям; ее собственные производительные силы переросли ее руководство и как бы с естественной необходимостью гонят все буржуазное общество навстречу либо к гибели, либо к перевороту. И если буржуа апеллируют теперь к насилию, чтобы охранить от крушения рушащееся «экономическое положение», то они лишь доказывают этим, что разделяют заблуждение г. Дюринга, будто «политический строй является решающей причиной экономического положения», т. е. воображают совершенно так же, как г. Дюринг, что при помощи «первичного фактора», «неносред-

ственного политического насилия», они могут переделать эти «факты второго порядка», т. е. экономическое положение и его неотвратимое развитие; что они могут, следовательно, при помощи крупновеских пушек и маузеровских ружей стереть с лица земли экономические результаты паровой машины и современного машинного производства, приводимого ею в действие, стереть с земли результаты мировой торговли и развитие современных банков и кредита.

III. Теория насилия (продолжение)

Присмотримся, однако, несколько ближе к этому всемогущему «насилию» г. Дюринга. Робинзон «со шпагой в руке» поработает Пятницу. Откуда он взял эту шпагу? Даже на фантастических островах Робинзон над шпагой не растут до сих пор на деревьях, и г. Дюринг не дает никакого ответа на этот вопрос. Если Робинзон мог достать себе шпагу, то с таким же основанием мы можем представить себе, что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и тогда все соотношение «насилия» становится обратным: Пятница командует, а Робинзон вынужден работать изо всех сил. Мы просим у читателя извинения в том, что столь настойчиво возвращаемся назад к истории Робинзона и Пятницы, которой в сущности место в детской, а не в науке. Но что же делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод г. Дюринга, и не наша вина, если мы постоянно вращаемся при этом в сфере ребяческих вопросов. Итак, револьвер одерживает победу над шпагой, и тогда самому младенческому аксиоматику должно стать ясным, что насилие не есть просто волевой акт, но требует весьма реальных предпосылок для своего осуществления, а именно — известных *орудий*, из которых более совершенное одерживает верх над менее совершенным; что эти орудия должны быть произведены; что производитель более совершенных орудий насилия, или попросту оружия, побеждает производителя несовершенного оружия; одним словом, что победа насилия основывается на производстве оружия, а последнее, в свою очередь, на производстве вообще, следовательно на «экономической мощи», на «экономическом положении», на *материальных* средствах, находящихся в распоряжении вооруженной силы.

Армия и военный флот — это орудие насилия, а то и другое, как мы все, к нашему несчастью, знаем, стоит «чертовски много денег». Но насилие само по себе не в состоянии делать денег, а в лучшем случае может лишь отнимать уже сделанные, да и от этого не всегда бывает много толку, как мы, опять-таки к нашему несчастью, знаем по опыту с французскими миллиардами. Следовательно, деньги должны быть, в конце концов, добыты посредством материального производства; значит, сила опять-таки определяется экономическим положением, доставляющим ей средства для изготовления и сохранения в порядке орудий борьбы. Но это еще не все. Ничто не зависит в такой степени от экономических условий, как

именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от путей сообщения. Не «свободное творчество разума» гениальных полководцев действовало здесь революционизирующим образом, а изобретение лучшего оружия и изменение живого солдатского материала; влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивается тем, что они приспособляют характер борьбы к новому оружию и новым борцам.

В начале XIV века среди западноевропейских народов входит в употребление порох, заимствованный ими у арабов, и, как известно всякому школьнику, он произвел полный переворот в способе ведения войн. Но введение пороха и огнестрельного оружия отнюдь не было делом насилия, а делом промышленного, т. е. экономического, прогресса. Промышленность остается промышленностью, занята ли она производством полезных предметов или же таких, которые служат для целей разрушения. Введение огнестрельного оружия повлияло революционизирующим образом не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господствующих и угнетенных классов. Чтобы добыть огнестрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было поэтому с самого начала оружием городов и возвышающейся монархии, которая в своей борьбе против феодального дворянства опиралась на города. Непроступные до тех пор каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан; пули бюргерских ружей пробили рыцарские панцири. Вместе с закованной в броню дворянской кавалерией рухнуло также господство дворянства; с развитием буржуазии пехота и артиллерия все больше становятся главными факторами военных успехов; под давлением артиллерии военное ремесло вынуждено присоединить к себе новую, чисто промышленную отрасль — инженерное дело.

Усовершенствование огнестрельного оружия подвигалось очень медленно. Пушки долгое время были неповоротливы, а ружья, несмотря на многие частичные изобретения, грубы. Прошло более 300 лет, пока явилось ружье, годное для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII столетия кремневое ружье с насаженным на него штыком окончательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из хорошо прошедших военную муштру, но совершенно ненадежных и самых испорченных элементов общества, лишь палкой сдерживаемых в порядке; часто она состояла из наемных княжеских солдат и враждебных военнопленных, насильно зачисленных в армию; единственной формой борьбы, в которой эти солдаты могли применять новое оружие, была линейная тактика, достигшая своего высшего совершенства при Фридрихе II. Вся пехота данной армии выстраивалась в три линии, в виде очень длинного и пустого внутри четырехугольника, и двигалась в боевом порядке, как одно целое; только в крайнем случае одному из двух флангов позволялось выдвинуться несколько вперед или отступить назад. Эта беспомощная масса могла двигаться в порядке лишь на совершенно ровной местности, да и то крайне медленно

(75 шагов в минуту); изменение боевого порядка во время сражения было невозможно, и раз пехота вступала в бой, победа и поражение решались в короткое время одним ударом.

Против этих беспомощных линий выступили в американской войне за независимость отряды инсургентов, которые не умели, правда, маршировать, но зато лучше стреляли из своих винтовок; сражаясь за свои кровные интересы, они не дезертировали, как наварбованные наемные войска. Они не доставили англичанам удовольствия — выступать против них в линейном боевом порядке на ровном месте, а нападали рассыпанными, подвижными отрядами стрелков в лесах, служивших им прикрытием. Линия была здесь бессильна и потерпела поражение от невидимых и недоступных противников. Таким образом был вновь изобретен рассыпной строй — новый способ борьбы, как следствие изменившегося солдатского материала.

То, что было начато американской революцией, завершила французская, между прочим — также и в военной области. Против хорошо обученных наемных войск коалиции она также могла выставить только плохо обученные, но многочисленные массы, ополчение всего народа. Но с этими массами приходилось защищать Париж, следовательно прикрывать определенную местность, а этого нельзя было достичь без победы в открытом массовом бою. Простой перестрелки было уже недостаточно: нужно было найти подходящую форму для применения масс, и эта форма была найдена в *колонне*. Благодаря построению в форме колонн, могли двигаться в достаточном порядке и менее обученные войска, притом даже более ускоренным маршем (сто и более шагов в минуту); колонное построение позволяло прорывать неповоротливые формы старого линейного строя, сражаясь в любой местности, следовательно — и в самой неблагоприятной для линейного строя, группировать войска любым, в каком-нибудь отношении удобным образом и, в сочетании с действиями рассыпанных стрелков, сдерживать, отвлекать, утомлять неприятельские линии, — пока не наступит момент, когда их можно будет прорвать в решающем пункте позиции при помощи сохраняемых в резерве масс. Этот новый боевой метод, основанный на соединении стрелковых команд с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, — был вполне разработан Наполеоном как со стороны тактики, так и стратегии. Из сказанного выше видно, что он стал необходимым, прежде всего, вследствие изменения солдатского материала, которым располагала французская революция. Но для успешного применения его требовались еще два очень важных технических условия: во-первых, более легкие лафеты полевых орудий, устроенные Грибовалем, благодаря чему только и стала возможной требуемая теперь от них большая скорость движения; во-вторых, введенная во Франции в 1777 г. и заимствованная у охотничьего ружья изогнутость ружейного приклада, представлявшего раньше прямое продолжение ствола, — что сделало возможным целить в определенного человека, не делая непременно промахов. Без этого

последнего усовершенствования нельзя было бы при помощи старого ружья применить стрельбу в рассыпном строю.

Революционная система вооружения всего народа была скоро ограничена и сведена к принудительному набору (с правом замещения за деньги для людей состоятельных), и в этой форме воинская повинность была принята большинством крупных государств континента. Только Пруссия пыталась при помощи своей системы ландвера привлечь на службу военную силу нации в более значительных размерах. Она же была первым государством, которое после непродолжительного опыта с заряжающейся с дула винтовкой, усовершенствованной между 1830 и 1860 гг., вооружило всю свою пехоту новейшим оружием: винтовкой, заряжающейся с казенной части. Общим этим нововведениям Пруссия обязана была своими успехами в 1866 г.

Во франко-прусской войне впервые выступили друг против друга две армии, вооруженные обе винтовками, заряжающимися с казенной части, и притом обе, по существу, с тем самым боевым построением, какое было в ходу в период старого гладкоствольного кремневого ружья; разница была лишь та, что пруссаки сделали попытку в «ротной» колонне найти боевую форму, более подходящую к новому вооружению. Но когда 18 августа, при Сен-Прива, прусская гвардия попробовала серьезно применить эту ротную колонну, то пять полков, принимавших наибольшее участие в этом сражении, потеряли в каких-нибудь два часа более $\frac{1}{3}$ своего состава (176 офицеров и 5 114 рядовых), и с тех пор применение в бою ротной колонны было бесповоротно осуждено, так же как и применение батальонных колонн и линейного строя. Всякая попытка подставлять впредь под неприятельский ружейный огонь какие-либо сомкнутые отряды была оставлена, и затем бой со стороны немцев велся только теми густыми тучами стрелков, на которые уже и прежде колонна обыкновенно сама рассыпалась под градом неприятельских пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся с этим как с нарушением порядка. Точно так же в сфере действия неприятельского ружейного огня единственной формой передвижения сделался беглый шаг. Солдат опять-таки оказался толковее офицера: именно он инстинктивно нашел единственную боевую форму, оправдавшую себя до сих пор под огнем ружья, заряжаемого с казны, и он с успехом отстоял ее вопреки противодействию начальства.

Франко-прусская война отмечает собою поворотный пункт, имеющий гораздо большее значение, чем все предыдущие перемены. Во-первых, оружие так усовершенствовано теперь, что какой-либо новый прогресс в этой области, который мог бы иметь сколько-нибудь революционизирующее действие, невозможен больше. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья, дающие тот же результат относительно отдельного человека, причем на заряжение требуется меньше времени, чем на прицеливание, то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена.

Во-вторых, эта война заставила все континентальные великие державы ввести у себя усиленную прусскую систему ландвера и тем самым наложить на себя военное бремя, под тяжестью которого они через немногие годы должны рухнуть. Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью; народы существуют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Militarизм господствует над Европой и съедает ее. Но этот милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели. Взаимное соперничество отдельных государств принуждает их, с одной стороны, с каждым годом тратить все больше на армию, флот, пушки и пр., следовательно — все более ускорять финансовую катастрофу; с другой стороны, оно заставляет их все серьезнее применять всеобщую воинскую повинность и тем самым обучить в конце концов весь народ владеть оружием, так что последний приобретает возможность в известный момент осуществить свою волю вопреки командующему военному начальству. И этот момент наступит, как только народная масса — деревенские и городские рабочие и крестьяне — будет иметь определенную волю. На этой ступени развития войска государей превратятся сразу в войска народа, машина откажется служить, и милитаризм погибнет под действием собственного диалектического развития. То, что оказалось не по силам буржуазной демократии 1848 г., именно потому, что она была *буржуазной*, а не пролетарской, мы разумеем — дать трудящимся массам определенную волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению, — это непременно совершит социализм. А это означает уничтожение милитаризма и, вместе с ним, всех постоянных армий *изнутри*.

Такова одна мораль нашей истории современной пехоты. Другая мораль, снова возвращающая нас к г. Дюрингу, состоит в том, что вся организация и боевой метод армий, а вместе с тем успех и поражение последних, оказываются зависящими от материальных, т. е. экономических условий: от человеческого материала и от оружия, следовательно — от качества и количества населения и от техники. Только охотничий народ, как американцы, мог вновь изобрести стрелковый строй, но охотниками они были по чисто экономическим причинам, точно так, как теперь те же янки Старых Штатов превратились по чисто экономическим причинам в крестьян, промышленников, моряков и кушцов, которые не стреляют больше в девственных лесах, но зато тем лучше подвизаются на поле спекуляции, где они тоже далеко подвинули искусство пользоваться массами. Только такая революция, как французская, которая экономически раскрепостила буржуа и особенно крестьянина, могла изобрести массовые армии и в то же время найти для них свободные формы движения; об эти свободные формы разбились старые, неповоротливые линии, — отражение в организации армии абсолютизма, который они защищали. А каким образом успехи техники, едва они становились применимыми и фактически применялись к военным целям, — как они тотчас же почти насильственно, часто против воли войскового командования, вызывали перемены и даже перевороты в боевых методах, — это мы уже проследили шаг за

шагом. В какой степени ведение войны зависит, сверх того, от производительных сил и средств сообщения собственного глубокого тыла, как и театра военных действий, на этот счет может просветить в наши дни г. Дюринга всякий старательный унтер-офицер. Одним словом, везде и всегда экономические условия и ресурсы помогали «насилию» одержать победу, без которой оно перестает быть силой, и кто захотел бы реформировать военное дело, руководствуясь противоположной точкой зрения, соответствующей принципам г. Дюринга, тот не мог бы пожалеть ничего, кроме тумачков¹.

Если мы от суши перейдем к морю, то только за последние 20 лет можно констатировать здесь еще гораздо более решительный переворот. Боевым судном в Крымскую войну был деревянный двух- и трехпалубный корабль, имевший от 60 до 100 орудий; он двигался главным образом парусами и имел слабую паровую машину только для вспомогательной работы. На нем помещались преимущественно 32-фунтовые орудия весом в 50 центнеров, и лишь немного 68-фунтовых весом в 95 центнеров. К концу войны появились пловучие батареи, одетые в железную броню, неповоротливые — почти неподвижные, но при тогдашней артиллерии — неуязвимые чудовища. Вскоре броня была перенесена и на боевые суда; вначале она была тонка: 4 дюйма толщины считались очень тяжелой броней. Но прогресс артиллерии скоро справился с броней; для брони любой толщины, которая последовательно применялась, находили новое, более тяжелое орудие, которое легко пробивало ее. Таким образом, мы уже дошли, с одной стороны, до 10, 14 и 24-дюймовой брони (Италия намерена построить судно с броней в 3 фута толщины), а с другой стороны — до нарезных орудий в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (тонна = 20 центнерам) веса, выбрасывающих на неслыханные прежде дистанции снаряды в 300, 400, 1 700 и до 2 000 фунтов. Нынешнее боевое судно представляет гигантский броненосный винтовой пароход с 8 000—9 000 тонн водоизмещения и 6 000—8 000 индикаторных сил, с вращающимися башнями, с четырьмя, максимум шестью, тяжелыми орудиями и с выступающим в его носовой части, ниже ватерлинии, тараном для пробивания неприятельских судов. Это судно вообще представляет колоссальную машину, где сила пара служит не только для того, чтобы сообщать быстрое движение броненосцу, но и чтобы управлять рулем, поднимать и опускать якорь, вращать башни, направлять и заряжать орудия, выкачивать воду, поднимать и спускать лодки, которые отчасти также приводятся в движение паром, и т. д. Соперничество между броневой защитой и силой орудий еще так далеко от завершения, что в настоящее время строящееся военное судно сплошь и рядом не удовлетворяет больше требованиям, становится уже устарелым еще раньше, чем его успели спустить на воду. Современный броненосец есть не только продукт крупной индустрии, но в

¹ В прусском генеральном штабе это знают как нельзя лучше. «Основной военный дела является прежде всего *экономический* строй жизни народов», — замечает в одном научном докладе капитан генерального штаба Макс Иенс («Köln. Zeitung», 20 апреля 1876 г.).

то же время и образец ее, пловучая фабрика — преимущественно, правда, для расточения денег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью пользуется почти монополией по постройке этих судов: все турецкие, почти все русские и большинство германских броненосцев построены в Англии, сколько-нибудь пригодные броневые плиты изготавливаются исключительно в Шеффилде; из трех железодельных заводов Европы, которые одни в состоянии изготовлять самые тяжелые орудия, два (в Вуличе и Эльсвике) находятся в Англии, а третий (Крупна) — в Германии. Этот пример показывает наиболее наглядно, что «непосредственное политическое насилие», которое по г. Дюрингу является «решающей причиной экономического положения», напротив того, совершенно подчинено экономическому положению; что не только постройка, но и управление орудием насилия в море, боевым судном, само сделалось отраслью современной крупной промышленности. От того обстоятельства, что дело приняло такой характер, никому не пришлось так солоно, как именно «насилию», государству, которому в настоящее время одно судно стоит столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот; которому приходится мириться с тем, что эти дорогие суда, еще раньше чем они спущены на воду, становятся уже устарелыми и, следовательно, обесцениваются; которое наверно не меньше г. Дюринга испытывает досаду по поводу того, что человек «экономического положения», инженер, имеет ныне большее значение на борту корабля, чем человек «непосредственного насилия» — капитан. Напротив, мы, с своей стороны, не имеем никакого основания досадовать, когда видим, что, благодаря состязанию между броней и орудием, боевое судно доведено до такой степени совершенства, которая делает его столь же недоступным по цене, сколько непригодным для войны¹, и что благодаря этому же состязанию на поприще морской войны проявляются те внутренние законы диалектического движения, согласно которым милитаризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от последствий своего собственного развития.

Таким образом, мы и здесь убеждаемся с очевидностью в неверности утверждения, будто «первичное надо искать в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической мощи». Как раз напротив. В самом деле, что оказалось «первичным» в самом насилии? Экономическая мощь, возможность распоряжения мощными средствами современной промышленности. Политическая сила на море, покоящаяся на современных военных судах, оказывается вовсе не «непосредственной», а прямо зависящей от экономической мощи, от высокого развития металлургии, от наличности искусных техников и богатых угольных копей.

Однако к чему все это? Пусть в ближайшей морской войне передадут высшее командование г. Дюрингу, и он все порабощенные

¹ Усовершенствование последнего изделия крупной промышленности, работающей для военно-морского дела, — мы разумеем самодвижущуюся торпеду, — по видимому, призвано осуществить этот результат: самая маленькая миноноска окажется в таком случае сильнее громаднейшего броненосца. (Впрочем, пусть читатель вспомнит, что это написано в 1878 году.)

«экономическим положением» броненосные флоты уничтожит без торпед и прочих кунштюков, единственно посредством своего «непосредственного насилия».

IV. Теория насилия (окончание)

«Весьма важным обстоятельством является то, что фактически господство над *природой* вообще произошло (господство произошло!) только благодаря господству над *человеком*. Хозяйствование на земельной собственности, занимающей значительные пространства, никогда и нигде не осуществлялось без предшествующего порабощения человека и принуждения его к тому или иному виду рабского или барщинного труда. Установление экономического господства над вещами имело своей предпосылкой политическое, социальное и экономическое господство человека над человеком. Можно ли представить себе крупного землевладельца, не соединяя с этим мысли об его господстве над рабами, крепостными или косвенно несвободными? Какое значение могла бы, какое значение может иметь для ведения земледелия в крупных размерах сила одного человека, располагающего в лучшем случае помощью одних только своих родных? Эксплуатация земли или распространение экономического господства над нею в размерах, превышающих естественные силы отдельной личности, были возможны до сих пор в истории только потому, что до установления господства над землей или одновременно с ним было проведено соответственное порабощение человека. В позднейшие периоды развития это порабощение было смягчено... его теперешней формой в более развитых государствах является наемный труд, в большей или меньшей степени руководимый полицейским господством. На нем основывается, следовательно, практическая возможность той категории современного богатства, которая представляется в виде обширного земельного господства и (!) крупного землевладения. Разумеется, все другие категории распределительного богатства должны быть исторически объясняемы подобным же образом, и косвенная зависимость человека от человека, образующая в настоящее время основную черту экономически наиболее развитого строя, не может быть понята и объяснена сама из себя, а только как несколько видоизмененное наследие прежнего прямого подчинения и экспроприации». Так утверждает г. Дюринг.

Тезис: Господство (человека) над природой предполагает предварительное порабощение человека (человеком).

Доказательство: хозяйствование на *земельной собственности на значительных пространствах* никогда и нигде не производилось иначе, как трудом холопов.

Доказательство доказательства: Как могут существовать крупные землевладельцы без холопов, раз крупный землевладелец со своей семьей, без холопов, может обработать всего лишь ничтожную часть своего владения?

Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения себе природы

должен был поработать предварительно человека, г. Дюринг превращает без дальнейших околичностей «природу» в «земельную собственность на значительных пространствах» и эту земельную собственность — неизвестно чью — обращает тотчас же в собственность крупного землевладельца, который, разумеется, не может обрабатывать свою землю без помощи холопов.

Во-первых, «господство над природой» и «хозяйствование на земельной собственности» вовсе не одно и то же. Господство над природой осуществляется в крупной промышленности в гораздо более колоссальном масштабе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждено подчиняться погоде, вместо того, чтобы подчинять ее себе.

Во-вторых, если мы ограничимся хозяйствованием на земельной собственности на значительных пространствах, то важно знать, кому принадлежит эта земельная собственность, и тут мы находим в начале истории всех культурных народов не «крупного землевладельца», которого подсовывает нам здесь г. Дюринг со своей обычной фокуснической манерой, именуемой им «естественной диалектикой», — а родовые и сельские общины с общим землевладением. От Индии и до Ирландии хозяйствование на больших пространствах земельной собственности производилось первоначально именно такими родовыми и сельскими общинами, причем пашня либо обрабатывалась сообща за счет общин, либо делилась на отдельные участки земли, отводимые общиной на известный срок отдельным семьям, при постоянном общем пользовании лесом и пастбищами. Опять-таки характерно для «тщательнейших специальных занятий» г. Дюринга «в области политической науки и юриспруденции», что он ничего не знает обо всем этом, что все его сочинения дышат полным незнакомством с произведшими эпоху в науке трудами Маурера об организации первобытной германской марки, этой основе всего германского права, точно так же, как с вызванной преимущественно трудами Маурера и постоянно разрастающейся литературой, которая посвящена доказательству существования первобытного общинного землевладения у всех европейских и азиатских культурных народов и исследованию различных форм его существования и разложения. Подобно тому, как г. Дюринг «собственными силами приобрел свое полное невежество» в области французского и английского права, так он может похвалиться еще большим невежеством относительно германского права. Человек, столь сильно негодующий на ограниченность горизонта университетских профессоров, еще и поныне стоит в области германского права, в лучшем случае на том месте, где профессора стояли 20 лет тому назад.

Чистейший «продукт свободного творчества и воображения» г. Дюринга представляет его утверждение, будто для ведения хозяйства на больших пространствах земельной собственности требовались помещики и несвободные слуги. На всем Востоке, где земельным собственником является община или государство, нет на туземных языках даже слова «земледелец-помещик», — о чем г. Дюринг может справиться у английских юристов, которые в Индии так же тщетно бились над вопросом: «кто здесь земельный собственник?».

как блаженной памяти принц Генрих LXXII Рейсс-Грейц-Шлейц-Лобенштейн-Эберсвальде ломал себе голову над вопросом: «кто здесь будочник?». Только турки впервые ввели на Востоке в завоеванных ими странах нечто вроде помещичьего феодализма. Греция уже в героическую эпоху вступает в историю с расчленением на сословия, которое, в свою очередь, было только очевидным результатом долгой, неизвестной нам предшествующей истории. Но и тут земля обрабатывалась почти исключительно самостоятельными крестьянами; более крупные поместья благородных и родовых князей составляли исключение и, сверх того, скоро исчезли. Италия стала плодородной преимущественно трудом крестьян; когда в последние времена Римской республики крупные комплексы имений, — так называемые латифундии, — вытеснили мелких крестьян и заменили их рабами, то они заменили одновременно земледелие скотоводством и, как это знал уже Плиний, погубили в конце концов Италию (*latifundia italiam perdidere*). В средние века в Европе везде преобладает (особенно при распашке пустошей) крестьянская обработка, причем для рассматриваемого сейчас вопроса безразлично, должны ли были эти крестьяне платить те или иные оброки какому-либо феодалу. Фризские, нижнесаксонские, фламандские и нижне-рейнские колонисты, которые предприняли обработку отнятых у славян земель на Востоке от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян, плативших очень льготный чинш, но отнюдь не на условиях «той или иной барщины». — В Северной Америке громадная часть земли стала культурной только благодаря труду свободных крестьян, тогда как крупные помещики Юга со своим рабским трудом и своей хищнической системой хозяйства истощили землю до того, что на ней стали расти только ели, и культура хлопка должна была передвинуться дальше на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки английского правительства искусственно создать земельную аристократию потерпели неудачу. Коротко говоря, если исключить тропические и субтропические колонии, в которых климат не позволяет европейцу заниматься земледельческими работами, то крупный землевладелец, подчиняющий природу своему господству и приводящий в культурное состояние землю посредством труда рабов или несущих барщину крепостных, оказывается чистейшим плодом фантазии. Напротив, там, где крупный землевладелец появляется в древние времена, как, например, в Италии, он распашанную крестьянами землю превращает в пастбища, обезлюживая и разоряя целые области. Только в новейшее время, с тех пор как большая густота населения подняла стоимость земли, а особенно с тех пор, как развитие агрономии сделало более пригодной для обработки плохую землю, только с этого момента крупные землевладельцы начинают принимать в обширных размерах участие в распашке пустошей и пастбищ, преимущественно путем расхищения крестьянских и общинных земель, как в Англии, так и в Германии. Однако и тут дело не обошлось без противоположного процесса: на каждый акр общинной земли, распашанный крупными землевладельцами в Англии, они обратили в Шотландии по меньшей

мере 3 акра годной для обработки земли в пастбища для овец, а под конец — даже просто в парки для крупной дичи.

Здесь мы имеем дело только с утверждением г. Дюринга, что обращение в возделанное состояние значительных пространств земли, т. е. в сущности почти всей культурной земледельческой площади, «никогда и нигде» не совершалось иначе, как крупными землевладельцами при помощи холопов, — утверждением, имеющим, как мы видели, «своей предпосылкой» поистине неслыханное незнание с историей. Нам нет поэтому надобности ни входить здесь в рассмотрение вопроса о том, насколько земельные пространства, уже совершенно или большею частью возделанные, обрабатывались потом в различные эпохи рабами (как это было в период расцвета Греции) или крепостными (крестьянские тяглые дворы со времен средних веков), ни исследовать, какова была общественная функция крупных землевладельцев в разные эпохи.

И после того как г. Дюринг мастерски нарисовал нам эту фантастическую картину, в которой не знаешь, чему больше удивляться, фокусничеству ли дедукции или фальсификации истории, — после этого он торжествующе восклицает: «Разумеется, все другие категории распределительного богатства *должны быть исторически объясняемы подобным же образом!*» Этим он, конечно, избавляет себя от труда потратить, например, хотя бы словечко для объяснения возникновения капитала.

Если г. Дюринг своим господством человека над человеком, как предпосылкой господства человека над природой, хочет вообще сказать лишь то, что весь наш современный экономический строй и достигнутая ныне ступень развития земледелия и промышленности представляют результат истории общества, развивавшегося в классовых противоречиях, в отношениях господства и рабства, то он говорит нечто такое, что со времени Коммунистического Манифеста давно стало общим местом. Но речь идет именно о том, как объяснить возникновение классов и отношений господства, и если у г. Дюринга имеется на этот предмет всегда одно только слово «насилие», то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперед. Одного того факта, что угнетенные и эксплуатируемые были во все времена гораздо многочисленнее угнетателей и эксплуататоров и, следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых, — уже этого факта достаточно, чтобы показать нелепость всей теории насилия. Следовательно, для отношений господства и рабства необходимо найти иное объяснение.

Они возникли двояким путем.

Выйдя первоначально из животного мира (в тесном смысле слова), люди и в историю вступают еще полуживотными; грубыми, бессильными перед силами природы, не сознавшими собственных сил и потому столь же бедными, как животные, и едва ли более производительными, чем они. Между ними господствует известное равенство уровня жизни, а для глав семейств также — своего рода равенство общественного положения, по крайней мере — отсутствие общественных классов, продолжающее существовать в естественно

выросших земледельческих общинах позднейших культурных народов. В каждой такой общине существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возложить на отдельных членов, хотя бы и под общим контролем: разрешение споров и подавление правонарушений со стороны отдельных лиц; надзор за орошением, особенно в жарких странах; наконец, на ранних ступенях первобытного состояния некоторые религиозные функции. Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена, так например, в древнейших германских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, понятно, известными полномочиями и представляют зародыш государственной власти. Постепенно производительные силы растут; увеличение плотности населения создает в одних случаях общность, в других — столкновение интересов между отдельными общинами; группировка последних в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и учреждение новых органов для охраны общих и для отражения противодействующих интересов. Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, подчас даже антагонистическое положение, становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря наследственности общественных должностей, которая устанавливается почти сама собою в мире, где все происходит стихийно, отчасти же благодаря растущей необходимости в такой власти при учащающихся конфликтах с другими группами. Вдаваться в вопрос, каким образом эта самостоятельность общественной административной функции по отношению к обществу превратилась со временем в господство над обществом; каким образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина; как господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то в качестве восточного деспота или сатрапа, то как греческий родовой князек или как кельтский глава клана и т. д., в какой мере он при этом превращении пользовался также насилием, и как, наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс, — в этот вопрос нам здесь не приходится вдаваться. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление общественной административной функции и что политическое господство сохранялось надолго лишь в том случае, когда оно эту общественную административную функцию выполняло. Каждая из многочисленных восточных деспотий, последовательно расцветавших и склонявшихся к упадку в Персии и Индии, знала очень хорошо, что она прежде всего является совокупной предпринимательницей по орошению речных долин, без чего там было немислимо и самое земледелие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии; они запустили оросительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, начинают соображать, что они пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы сделать их господство в Индии правомерным хотя бы в такой степени, в какой им было господство их предшественников.

Но наряду с этим образованием классов наблюдается еще и другое. Естественное разделение труда внутри земледельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность привлечь одну или несколько посторонних рабочих сил. Это особенно имело место в таких странах, где старое общинное владение землей уже распалось или, по крайней мере, где прежняя совместная обработка земли уступила место индивидуальной обработке земельных наделов соответствующими семьями. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого существования ее; средства для содержания большего количества рабочих сил имелись налицо, имелись также средства для приложения этих сил. Таким образом, рабочая сила получила *стоимость*. Но собственная община и союз, к которому она принадлежала, еще не выделяли из своей среды свободных, излишних рабочих сил. Зато их доставляла война, а война была явлением столь же старым, как одновременное существование по соседству нескольких общественных групп. До тех пор не знали, что делать с военнопленными, и потому их умерщвляли, а еще раньше их просто съедали. Но на достигнутой теперь ступени «хозяйственного положения» они получили известную стоимость; их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом, насилие вместо того чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, пойти на службу к хозяйственным целям: была найдена форма *рабства*. Оно сделалось скоро господствующей формой производства у всех народов, развившихся дальше старой общины, но, в конце концов, оно стало одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным разделение труда в более или менее крупном масштабе между земледелием и промышленностью и таким путем сделало возможным расцвет древнего мира, греческую культуру. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и римской империи, а без фундамента греческой культуры и римской империи не было бы и современной Европы. Мы никогда не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имело своим предварительным условием такой строй, в котором рабство было столь же необходимым, сколько общепризнанным элементом. В этом смысле мы в праве сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.

Очень легко раздражаться общими фразами и высококонрастными гневом по поводу рабства и тому подобных позорных явлений. К сожалению, этим негодованием выражается лишь то, что известно всякому, а именно, — что эти античные учреждения не отвечают больше нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но такое отношение не дает еще никакого материала для уяснения того, как возникли эти порядки, почему они существовали и какую роль они сыграли в истории. И если уж касаться этого вопроса, то мы должны сказать, — как бы противоречиво и еретично это ни звучало, — что введение рабства при тогдашних условиях было крупным прогрессом. Ведь все-таки факт таков,

что человечество начало свое развитие с состояния животного, а потому ему требовались и варварские, почти зверские средства, чтобы подняться из варварского состояния. Старые общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу грубейшей государственной формы, восточной деспотии, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперед по пути развития, и ближайший экономический прогресс их состоял в увеличении и развитии производства посредством рабского труда. Ясно одно: пока человеческий труд был еще так мало производителен, что давал лишь ничтожный излишек над необходимыми жизненными средствами, до тех пор подъем производительных сил, расширение обмена, развитие государства и права, создание искусств и наук—все это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда, имевшего своим базисом крупное разделение труда между массой, на которую возлагается простая ручная работа, и немногими привилегированными лицами, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также наукой и искусством. Наиболее простой, стихийно сложившейся формой этого разделения труда именно и было рабство. При исторических условиях древнего, в частности греческого мира переход к основанному на классовых противоположностях обществу мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась масса рабов, оставались теперь, по крайней мере, в живых, вместо того, чтобы, как прежде, подвергаться умерщвлению или, как было еще раньше, быть изжаренными.

Заметим кстати, что все существовавшие до сих пор исторические противоположности между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующим и угнетенными классами, находят свое объяснение в той же относительно неразвитой производительности человеческого труда. Пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остается времени для общественных дел — для руководства работами, для государственных дел, отправления правосудия, занятия искусствами и науками и пр., — до тех пор неизбежно было существование особого класса, который, будучи свободен от действительного труда, заведывал бы всеми этими делами, причем он никогда не упускал случая наваливать на трудящиеся массы в своих интересах все большую работу. Только достигнутый крупной промышленностью громадный рост производительных сил позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и таким путем ограничить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно досуга для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь всякий господствующий и эксплуатирующий класс стал не только чем-то излишним, но и прямой помехой для общественного развития; только теперь он будет неумолимо устранен, сколько бы он ни имел в своем распоряжении «непосредственного насилия».

Если, следовательно, г. Дюринг задирает нос перед греческим

миром на том основании, что тот был основан на рабстве, то с таким же правом он может поставить в упрек грекам, что они не имели паровых машин и электрических телеграфов. И если он утверждает, что наше современное наемное рабство представляет лишь несколько видоизмененное и смягченное наследие прежнего рабства и не может быть объяснено из себя самого (т. е. из экономических законов современного общества), то это утверждение либо означает, что наемный труд, как и рабство, представляет форму подчиненного положения и классового господства — обстоятельство, известное каждому ребенку, либо же оно ложно, ибо с таким же правом можно было бы сказать, что наемный труд является только смягченной формой людоедства, которое, как в настоящее время положительно установлено, было везде первоначальным способом использования побежденных врагов.

Отсюда ясно, какую роль играет в истории насилие по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая власть основывается первоначально на какой-нибудь экономической, общественной функции и растет по мере того, как члены общества превращаются, вследствие разложения первоначальных общин, в частных производителей и становятся, благодаря этому, еще более отчужденными от лиц, выполняющих функции, касающиеся всего общества. Во-вторых, после того, как политическая власть стала самостоятельной по отношению к обществу и из слуги его стала госпожей, она может действовать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении закономерного экономического развития, тогда между этими двумя факторами не происходит никакого конфликта и само экономическое развитие идет ускоренным темпом. Либо же она действует наперекор этому развитию, и тогда она, за немногими исключениями, терпит обыкновенно поражение перед экономическим развитием. Этими немногими исключениями являются те единичные случаи завоеваний, когда менее культурные завоеватели истребляли или прогоняли туземное население известной страны и уничтожали его производительные силы или давали им заглухнуть, не умея их использовать. Так поступили, между прочим, христиане в мавританской Испании с большей частью оросительных сооружений, на которых покоилось высоко развитое хлебопашество и садоводство мавров. Каждое завоевание менее культурным народом прерывает, разумеется, экономическое развитие и уничтожает многочисленные производительные силы. Но при длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособиться к более высокому «хозяйственному положению» завоеванной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания; он ассимилируется завоеванными туземцами и большей частью усваивает даже их язык. Если мы оставим, однако, в стороне случаи завоевания, то всюду, где внутренняя государственная власть какой-либо страны вступала в антагонизм с ее экономическим развитием, как это на известной ступени развития бывало до сих пор почти со всякой политической властью, — там борьба всякий раз оканчивалась низвержением политической власти. Всегда, без исключения, экономи-

ческое развитие беспощадно пролагало себе путь; последний, наиболее разительный в этом отношении пример представляет собой, как мы уже видели, великая французская революция. Если бы экономическое положение, а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны зависели, согласно учению г. Дюринга, от политического насилия, то нельзя понять, почему Фридриху Вильгельму IV не удалось после 1848 г., несмотря на все его «доблестное войско», привить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности своей страны; или почему русский царь, пользующийся еще гораздо большей политической властью, не только не в состоянии платить своих долгов, но не может даже сохранить свою власть иначе, как беспрерывно прибегая к новым займам у «экономического положения» Западной Европы.

Для г. Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое. Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением. Вся его доктрина есть нытье по поводу того, что этот акт насилия запятнал первородным грехом всю историю вплоть до настоящего времени, что все законы природы и законы социальные позорно извращены этим орудием дьявола — насилием. О том, что насилие играет также в истории другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, — обо всем этом ни слова у г. Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйства понадобится, может быть, насилие, — к сожалению, извольте видеть! ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции! И это говорится в Германии, где насильственное столкновение, которое ведь может быть навязано народу, имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства, проникший в национальное сознание из унижения Тридцатилетней войны. И это тусклое, дряблое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партии, какую только знает история?

V. Теория стоимости

Прошло почти сто лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30 изданий и распространявшаяся в городе и деревне чиновниками, священниками и филантропами всякого рода, которые везде рекомендовали ее народным школам как хорошую хрестоматию. Книга эта называлась: «Друг детей» Рохова. Она имела целью поучать юных отпрысков

крестьян и ремесленников их жизненному призванию, их обязанностям по отношению к начальникам, общественным и государственным, и в то же время внушить им благодетельное довольство своим земным жребием, — довольство черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими тумачами и тому подобными прелестями, и все это при помощи ходячего тогда просветительства. Городской и сельской молодежи пояснялось при этом, как мудро устроила природа, что человек принужден трудиться, дабы поддерживать свое существование и пользоваться удовольствиями жизни, и сколь счастливым должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник оттого, что судьба дала ему возможность услаждать свою трапезу тяжелым трудом, тогда как богатый обжора, вечно страдающий расстройством желудка, несварением или запором, лишь с отвращением глотает самые изысканные и лакомые блюда. Те самые общие места, которые старый Рохов считал достаточными для саксонских крестьянских детей своего времени, г. Дюринг подносит нам на 14-й и следующих стр. своего «Курса», подносит как «абсолютно фундаментальное» в новейшей политической экономии.

«Человеческие потребности, как таковые, имеют свою естественную законосообразность, и росту их поставлены известные границы; извращенность может безнаказанно нарушать их лишь в течение недолгого времени, после чего наступают отвращение, пресыщенность жизнью, дряхлость, превращение в социального калеку и, наконец, спасительная смерть... Жизнь-игра, наполненная одними удовольствиями, без дальнейшей серьезной цели, скоро ведет к пресыщению, или, что то же, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд, в той или иной форме, есть социально-естественный закон здоровых существ... Если бы инстинкты и потребности не имели противовеса, то они едва в состоянии были бы создать чисто детское существование, не говоря уже об исторически повышающемся строе жизни. При полном удовлетворении их без всякого труда, они были бы скоро исчерпаны, и человеку оставалось бы влачить ничем не заполненное существование в нудных промежутках между периодическим их возвращением... Таким образом, зависимость удовлетворения влечений и страстей от преодоления экономических препятствий является благодетельным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека» и т. д., и т. д. Как видит читатель, самые плоские пошлости почтенного Рохова празднуют в книге г. Дюринга свой столетний юбилей, вдобавок — в виде «глубокого основоположения» единственной истинно критической и научной «социалитарной системы».

Заложив, таким образом, фундамент, г. Дюринг может продолжать постройку. Применяя математический метод, он нам дает сначала, по примеру старика Эвклида, ряд определений. Это весьма удобно постольку, поскольку он может сразу построить свои определения так, чтобы положения, которые должны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Так, мы узнаем прежде всего, что руководящее понятие прежней политической экономии называется богатством, а богатство, как оно в действительности по-

нималось до сих пор во всемирной истории и как оно развивало сферу своего влияния, есть «экономическая власть над людьми и вещами». Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство старых родовых и сельских общин отнюдь не было господством над людьми. Во-вторых, даже в таких обществах, которые движутся в классовых противоречиях, богатство, поскольку оно включает господство над людьми, является преимущественно и даже почти исключительно господством над людьми *в силу и посредством* господства над вещами. Уже с того весьма раннего времени, когда охота за рабами и эксплуатация рабов стали отдельными друг от друга промыслами, эксплуататоры рабского труда должны были покупать рабов, т. е. приобретать господство над людьми только путем господства над вещами, над покупной ценой, над средствами содержания рабов и средствами производства. В течение всего средневековья обладание крупной земельной собственностью является предварительным условием для получения феодальным дворянством оброчных и барщинных крестьян. А в наше время даже шестилетний ребенок видит, что богатство господствует над людьми исключительно через посредство вещей, которые оно имеет в своем распоряжении.

Для чего же, спрашивается, г. Дюрингу понадобилось сочинить свое неправильное определение богатства, для чего ему понадобилось разорвать фактическую связь, существовавшую до сих пор во всех классовых обществах? А для того, чтобы перетачить богатство из экономической области в моральную. Господство над вещами — дело вполне хорошее, но господство над людьми — от лукавого, и так как г. Дюринг сам себе воспретил объяснить господство над людьми господством над вещами, то он опять может сделать смелый шаг и объяснить его своим излюбленным насилием. Богатство, как господство над людьми, есть «грабеж», и, таким образом, мы приходим вновь к ухудшенному изданию старого-престарого прудоновского афоризма: «собственность есть кража».

Этим путем мы благополучно подвели также богатство под две основные точки зрения производства и распределения: богатство, как господство над вещами, производственное богатство, хорошая сторона; богатство, как господство над людьми, распределительное богатство, существующее до сих пор, дурная сторона, долой его! В применении к современным отношениям это значит: капиталистический способ производства вполне хорош и может остаться, но капиталистический способ распределения никуда не годится и должен быть упразднен. Вот к какой бессмыслице можно притти, когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением.

После богатства идет вопрос о стоимости, и она определяется следующим образом: «стоимость есть то значение, которое имеют в обращении хозяйственные предметы и работы». Это значение соответствует «цене или какому-либо иному названию эквивалента, например заработной плате». Другими словами: стоимость есть цена. Или, скорее, чтобы не быть несправедливым к г. Дюрингу и передать нелепость его определения, по возможности, собственными его сло-

вами: стоимость — это цены. Ибо на стр. 19 он говорит: «стоимость и выражающие ее в деньгах цены», следовательно, констатирует сам, что одна и та же стоимость имеет весьма различные цены, а стало быть, и столько же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы повесился. Создать стоимость, имеющую столько же различных стоимостей, сколько цен, — это не удалось бы ему со всей его теологией. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью г. Дюринга, чтобы новое, более глубокое обоснование политической экономии начать с заявления, что между ценой и стоимостью нет иного различия, кроме того, что одна выражается в деньгах, а другая нет.

Но все это не дает еще нам никаких указаний на то, что такое стоимость, и еще меньше, чем она определяется. Г-ну Дюрингу приходится поэтому выступить с более подробными разъяснениями. «Вообще говоря, основной закон сравнения и оценки, на котором покоятся стоимость и выражающие ее в деньгах цены, лежит ближайшим образом в области одного только производства, независимо от распределения, которое вносит в понятие стоимости лишь второй элемент. Большие или меньшие препятствия, которые различие естественных условий противопоставляет стремлениям, направленным на добывание предметов, и которыми оно принуждает к большим или меньшим затратам хозяйственной силы, — эти препятствия определяют также... большую или меньшую стоимость»; последняя определяется соответственно «препятствиям, которые поставлены производству природой и условиями... Размеры, в которых мы вложили в них (т. е. в вещи) свою собственную силу, — такова непосредственно решающая причина существования стоимости вообще и ее определенной величины в частности».

Поскольку все это имеет какой-нибудь смысл, оно означает: стоимость какого-либо продукта труда определяется необходимым для его изготовления рабочим временем, а это мы знали давно и без г. Дюринга. Вместо того, чтобы просто сообщить факт, он не может представить его иначе, как с оракульскими вывертами. Прямо неверно, будто размеры, в которых кто-либо влагает свою силу в вещи (чтобы сохранить это высокопарное выражение), являются непосредственно решающей причиной стоимости и величины стоимости. Во-первых, не безразлично, в какую вещь вкладывается сила, а, во-вторых, как она вкладывается. Если кто-нибудь изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной стоимости для других, то вся его сила не создает ни одного атома стоимости; если же он упорствует в том, чтобы изготовлять ручным способом предмет, который машина делает в 20 раз дешевле, то $\frac{19}{20}$ вложенной им силы не создадут ни стоимости вообще, ни особой ее величины в частности.

Далее, весь вопрос получает извращенную постановку, если производительный труд, создающий положительные изделия, превращают в чисто отрицательное преодоление сопротивления. При таком обороте дела, чтобы получить рубашку, нам пришлось бы проделать следующее: сначала преодолеть сопротивление, оказываемое семенем хлопчатника посеву и росту, затем сопротивление зрелого хлопка

сбору, упаковке и пересылке, затем его сопротивление распаковке, чесанию и прядению, далее — сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани отбелке и шитью и, наконец, сопротивление готовой рубашки ее надеванию на человека.

К чему все это ребяческое выворачивание наизнанку и извращение? А для того, чтобы через посредство «сопротивления» притти от «производственной стоимости», от этой истинной, но донныне лишь идеальной стоимости, к фальсифицированной насиллием «стоимости распределительной», исключительно господствовавшей до сих пор в истории. «Кроме того сопротивления, которое оказывает природа... существует еще другое, чисто социальное препятствие... Между человеком и природой становится тормозящая сила, и последней является опять-таки человек. Человек, мыслимый одиноким и изолированным, свободен по отношению к природе... Но положение меняется, как только мы представим себе другого человека, который с мечом в руке занимает все доступы к природе и ее ресурсам и требует за вход плату в той или иной форме. Этот другой... как бы облагает податью первого и является, таким образом, причиной того, что стоимость желаемого предмета оказывается большей, нежели она была бы без такого политического или общественного препятствия на пути к его добыванию или производству... Крайне многообразны формы этого общественного повышения значения вещей, которому естественно отвечает соответственное понижение значения труда... Было бы поэтому иллюзией заранее рассматривать стоимость как эквивалент в собственном смысле слова, т. е. как равнозначимость или как меновое отношение, установленное согласно принципу равенства данной работы и работы, даваемой взамен ее... Напротив, признаком правильной теории стоимости будет то, что самая общая причина оценки, которую мы себе представляем при ней, не будет совпадать с особой формой стоимости, основывающейся на принудительном распределении. Эта последняя форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственно экономическая стоимость может быть только производственной стоимостью, измеряемой по отношению к природе, и потому должна изменяться только вместе с чисто производственными препятствиями естественного и технического характера».

Таким образом, существующая теперь на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению г. Дюринга, из двух частей: во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой «с мечом в руке» надбавки, имеющей характер обложения. Другими словами, господствующая в настоящее время стоимость представляет собой монопольную цену. Теперь, если согласно этой теории стоимости все товары обладают такой монопольной ценой, то возможны только два случая. Либо каждый теряет, как покупатель, то, что он выиграл в качестве продавца, и тогда цены меняются только номинально, реально же, в своем взаимном отношении, они остаются неизменными; все остается попрежнему, и пресловутая распределительная стоимость является простым миражем. Либо же гипотетические надбавки обложения представляют собой действи-

тельную сумму стоимости, а именно ту, которая производится работающим, создающим стоимости классом, но присваивается классом монополистов, и в таком случае эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного труда; несмотря на гипотезу о человеке с мечом в руке, несмотря на мнимые налогообразные надбавки и распределительную стоимость, мы приходим здесь опять — к марксовой теории *прибавочной стоимости*.

Присмотримся, однако, к некоторым примерам пресловутой «распределительной стоимости». На 135 и след. стр. говорится: «образование цены путем индивидуальной конкуренции может быть рассматриваемо также как форма экономического распределения и взаимного наложения дани... Если представить себе, что запас какого-либо необходимого товара внезапно значительно уменьшается, то на стороне продавцов получается непропорционально большая возможность эксплуатации... Насколько колоссально может быть повышение, показывают в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов», и т. д. Сверх того, — прибавляет г. Дюринг, — существуют и при нормальном ходе вещей фактические монополии, открывающие возможности для произвольного повышения цен, например железные дороги, общества для снабжения городов водой и осветительным газом и т. д. — Что такие случаи монополярной эксплуатации бывают, это давно известно. Но что создаваемые ими монополярные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, а как раз классическими примерами господствующего в настоящее время способа установления стоимости, — вот это ново. Как определяются цены жизненных средств? Ступайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и поучайтесь, — отвечает г. Дюринг. Как действует конкуренция на установление денежных цен? Спросите монополию, и она вам расскажет!

Впрочем, даже и в случаях подобных монополий нельзя открыть человека с мечом в руке, который будто бы стоит за их спиной. Напротив: в осажденных городах человек с мечом, т. е. комендант, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро приканчивает монополию и конфискует запасы монополистов в целях равномерного их распределения. А затем вообще, когда люди с мечом пытались фабриковать «распределительную стоимость», то они всегда пожинали лишь плохие дела и убытки. Голландцы своим монополизированием ост-индской торговли погубили и свою монополию и свою торговлю. Два сильнейших правительств, какие только когда-либо существовали, именно северо-американское революционное правительство и французский национальный конвент, отважились установить максимальные цены и потерпели полную неудачу. Русское правительство уже несколько лет как старается поднять в Лондоне курс своих бумажных денег, который оно понижает в России непрерывающимися выпусками неразменных кредитных билетов; для этого оно столь же непрерывно скупает в Лондоне векселя на Россию. В результате это удовольствие обошлось ему в течение немногих лет в 60 млн. рублей, а бумажный

рубль ценится теперь всего около двух марок, вместо трех. Если бы меч обладал приписываемой ему Дюрингом волшебной экономической силой, то почему же ни одно правительство не может добиться того, чтобы принудительными мерами надолго присвоить плохим деньгам «распределительную стоимость» хороших или доставить ассигнациям стоимость золота? Да и где тот меч, который командует на всемирном рынке?

Кроме приведенных выше примеров распределительной стоимости существует, по Дюрингу, еще одна основная форма, в которой она служит для присвоения продуктов чужого труда без эквивалента: владельческая рента, т. е. земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем пока это обстоятельство только с целью указать, что сказанным исчерпывается все сообщаемое нам г. Дюрингом относительно пресловутой «распределительной стоимости». — Все ли, однако? Не совсем все. Послушаем дальше:

«Несмотря на двойственную точку зрения, выступающую в признании производственной стоимости и стоимости распределительной, в основе всегда остается еще *нечто общее, как тот предмет, из которого состоят все стоимости* и которым они, поэтому, также измеряются. Непосредственной, естественной мерой является затрата силы, а простейшей единицей — человеческая сила в самом грубом смысле слова. Последняя сводится ко времени существования, *самоподдержание* которого представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни. В чистом и исключительном виде распределительная стоимость или стоимость присвоения существует лишь там, где право распоряжения непроизведенными вещами или, выражаясь более обычным языком, сами эти вещи вымениваются на работы или предметы, имеющие действительную производственную стоимость. То однородное, которое представлено в каждом выражении стоимости, а следовательно, и в составных частях стоимости, присваиваемых путем распределения, без эквивалента, — это однородное состоит в затрате человеческой силы, воплощенной... в каждом товаре».

Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные стоимости измеряются воплощенной в товарах затратой человеческой силы, то где же здесь распределительная стоимость, где надбавка к цене, обложение данью? Г-н Дюринг говорит нам, правда, что и вещи, не произведенные трудом, следовательно неспособные иметь настоящую стоимость, могут приобретать распределительную стоимость и обмениваться на вещи, произведенные трудом, обладающие стоимостью. Но в то же время он говорит, что *все стоимости*, следовательно в том числе и стоимости исключительно распределительного характера, определяются воплощенной в них затратой силы. При этом мы, к сожалению, не узнаем, каким образом в непроизведенной вещи воплощается затрата силы. Во всяком случае из всей этой мешанины стоимостей в конце концов выясняется, повидимому, одно: что и со стоимостью распределительной, этой вымогаемой в силу своего социального положения надбавкой к цене, этим обложением силою меча, ничего не выходит; значит, стоимости товаров определя-

ются затратой человеческой силы, в просторечии — трудом, который в них воплощен? Следовательно, г. Дюринг, если оставить в стороне земельную ренту и немногие монопольные цены, говорит только беспорядочно и туманно то самое, что уже давно гораздо определеннее и яснее сказала столь ославленная теория стоимости Рикардо — Маркса?

Да, он это говорит, но одновременно утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: стоимость товаров определяется воплощенным в них общественно-необходимым человеческим трудом, который, в свою очередь, измеряется своей продолжительностью. Труд есть мерило всех стоимостей, но сам он не имеет никакой стоимости. Г-н Дюринг, выставив также, хотя и на свой неряшливый манер, труд как мерило стоимости, продолжает: труд «сводится ко времени существования, самоподдержание которого представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни». Оставим в стороне вызванное лишь страстью к оригинальничанью смещение рабочего времени, о котором одном идет здесь речь, с временем существования, которое до сих пор еще никогда не создавало и не измеряло стоимостей. Оставим в стороне и ту ложно «социалитарную» видимость, которую должно внести «само-поддержание» этого времени существования; с тех пор, как существует мир, и доколе он будет существовать, каждый должен сам поддерживать себя в том смысле, что он сам потребляет средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что г. Дюринг выразился точным языком политической экономии; тогда вышеприведенное положение либо ничего не означает, либо означает следующее: стоимость товара определяется воплощенным в нем рабочим временем, а стоимость этого рабочего времени определяется стоимостью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. В применении к нынешнему обществу это значит: стоимость товара определяется содержащейся в ней *заработной платой*.

Тут мы подошли, наконец, к тому, что, собственно, хочет сказать г. Дюринг. Стоимость товара определяется на языке вульгарной экономии издержками производства, против чего Кэри «выдвинул ту истину, что не издержки производства определяют стоимость, а издержки воспроизводства» («Kritische Geschichte», стр. 401). Какой смысл имеют эти издержки производства или воспроизводства, об этом мы скажем ниже; здесь же заметим только, что они, как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. Заработная плата представляет воплощенную в товаре «затрату силы», производственную стоимость; прибыль представляет вынуждаемую капиталистом при помощи своей монополии, своего меча в руке, пошлину или надбавку к цене, распределительную стоимость. Таким образом вся противоречивая путаница дюринговой теории стоимости разрешается наконец в чудесную гармоническую ясность.

Определение стоимости товаров заработной платой, которое у Адама Смита встречается еще часто рядом с определением стоимости рабочим временем, со времени Рикардо изгнано из научной

политической экономии и в наши дни продолжает разгуливать еще только в вульгарной экономии. Как раз самые плоские сикофанты существующего капиталистического общественного строя проповедуют определение стоимости заработной платой, изображая в то же время прибыль капиталиста высшим родом заработной платы, платой за воздержание (за то, что капиталист не прокутил своего капитала), премией за риск, платой за управление делом и т. д. Г-н Дюринг отличается от них только тем, что объявляет прибыль грабительством. Другими словами, свой социализм г. Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной политической экономии худшего сорта. Его социализм имеет ровно такую же научную ценность, как эта вульгарная политическая экономия: судьбы их неразрывно связаны между собой.

Ведь ясно следующее: то, что рабочий производит, и то, во что обходится его рабочая сила, представляют вещи столь же различные, как то, что производит машина и чего она стоит. Стоимость, которую рабочий создает в течение 12-часового рабочего дня, не имеет ничего общего со стоимостью жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящихся к нему промежутков отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплощено 3, 4 или 7 часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Допустим, что для их производства потребовалось 7 часов труда, тогда по смыслу принимаемой г. Дюрингом вульгарно-экономической теории стоимости продукт 12-часового труда имеет стоимость продукта 7-часового труда, 12 часов труда равны 7 часам труда, или 12 равно 7. Выражаясь еще яснее, если сельский рабочий, безразлично при каких общественных отношениях, производит в год количество хлеба, скажем, в 20 гектолитров пшеницы, сам же в течение этого времени потребляет сумму стоимостей, которая выражается 15 гектолитрами пшеницы, — то в таком случае эти 20 гектолитров пшеницы имеют ту же стоимость, что 15. И это на одном и том же рынке и при прочих равных условиях; иными словами, 20 равняется 15. И это называется экономической наукой!

Всякое развитие человеческого общества дальше стадии животной дикости начинается с того дня, когда труд семьи стал создавать больше продуктов, чем необходимо было для ее поддержания, с того дня, как часть труда могла затрачиваться на производство не одних только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками содержания труда и, затем, образование и накопление из этого избытка общественного производственного и резервного фонда были и остаются основой всякого общественного, политического и умственного прогресса. Во всей прежней истории этот фонд составлял собственность привилегированного класса, которому вместе с этой собственностью доставались также политическое господство и духовное руководство. Предстоящий социальный переворот впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд, т. е. всю массу сырья, орудий производства и жизненных средств, действительно общественным,

изъяв его из распоряжения привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние.

Одно из двух. Либо стоимость товаров определяется издержками содержания рабочих, необходимых для производства этих товаров, т. е. в нынешнем обществе — заработной платой; в таком случае каждый рабочий получает *в своей заработной плате стоимость продукта своего труда*, и тогда эксплуатация класса наемных рабочих классом капиталистов есть вещь невозможная. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки в день. Тогда дневной продукт рабочего имеет, согласно изложенной выше вульгарно-экономической теории, стоимость в 3 марки. Допустим теперь, что капиталист, нанимающий этого рабочего, надбавляет на этот продукт прибыль, пошлину в 1 марку и продает, следовательно, продукт за 4 марки. То же делают и другие капиталисты. Но в таком случае рабочий уже не может покрыть свой дневной бюджет тремя марками, а нуждается для этого тоже в четырех марках. Так как все прочие условия предполагаются неизменными, то и реальная, выраженная в жизненных средствах, заработная плата должна остаться неизменной, следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна подняться, а именно — с трех марок в день до четырех. То, что капиталисты отнимают у рабочего класса в форме прибыли, они должны ему вернуть в форме заработной платы. Мы не подвинулись, таким образом, ни на шаг вперед от того места, где были сначала. Если заработная плата определяет стоимость, то невозможна никакая эксплуатация рабочего капиталистом. Но невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько стоимостей, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой стоимости, то нельзя даже представить себе, чем они будут жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственный и резервный фонд, тем не менее, существует и притом находится в руках капиталистов, то не остается никакого другого возможного объяснения, кроме того, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только стоимость товаров, а сами товары в натуре оставляют в распоряжении капиталистов для дальнейшего использования.

Или же надо допустить другое решение вопроса. Если этот производственный и резервный фонд фактически существует в руках класса капиталистов, если он на самом деле составился из накопленной прибыли (земельную ренту мы пока оставляем в стороне), то он необходимо образуется из накопленного избытка продукта труда рабочих над суммой заработной платы, уплачиваемой им классом капиталистов. Но в таком случае стоимость определяется не заработной платой, а количеством труда; тогда рабочий доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество стоимостей, чем какое он получает от него в своей заработной плате, и тогда прибыль на капитал, как и все другие формы присвоения продуктов чужого неоплаченного труда, объясняется как простая составная часть этой открытой Марксом прибавочной стоимости.

Кстати. О великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что «стоимость известного товара зависит от количества труда, необходимого для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, заплаченного за этот труд», — об этом составившем эпоху открытии г. Дюринг во всем своем «Курсе политической экономии» не говорит ни слова. В «Критической истории» он отделяется следующей оракульской фразой: «он (Рикардо) не принимает в расчет того обстоятельства, что большая или меньшая пропорция, в которой заработная плата может представлять ассигновку на жизненные потребности, должна... привести с собой также неодинаковые отношения стоимостей!» Фраза, о которой читатель может думать, что ему угодно, а безопаснее всего, если он ничего о ней не будет думать.

А теперь пусть читатель сам выбирает тот сорт стоимости, какой ему наиболее понравится из пяти различных сортов, подносимых нам г. Дюрингом: перед ним, во-первых, стоимость производственная, находящаяся в зависимости от природных условий; во-вторых, распределительная стоимость, которую создала людская испорченность и которая отличается тем, что она измеряется затратой силы, в ней не содержащейся; в-третьих, стоимость, измеряющаяся рабочим временем; в-четвертых, стоимость, определяемая издержками воспроизводства; наконец, в-пятых, стоимость, измеряемая заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая. И нам остается только воскликнуть вместе с г. Дюрингом: «Учение о стоимости есть пробный камень для определения достоинства экономических систем!»

VI. Простой и сложный труд

Г-н Дюринг открыл у Маркса очень грубую «ученическую» экономическую ошибку, в то же время заключающую в себе общественно-опасную социалистическую ересь. Теория стоимости Маркса представляет собою

«не более, как обычное... учение, что труд есть причина всех стоимостей, а рабочее время — мерило их. Совершенно неясным остается здесь представление о том, как следует мыслить различную стоимость так называемого квалифицированного труда. Несомненно, что и по нашей теории измерять естественную себе-стоимость и, следовательно, абсолютную стоимость хозяйственных предметов может только затраченное рабочее время. Но при этом рабочее время одного индивидуума признается у нас совершенно равным рабочему времени другого, и приходится только следить за теми случаями, когда при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одного лица присоединяется рабочее время других лиц... например в виде употребляемого инструмента. Дело обстоит, следовательно, не так, как туманно представляет себе г. Маркс, будто где-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени; нет, вся-

кое рабочее время без исключения и принципиально, следовательно без необходимости выводить раньше какую-либо среднюю, одинаково и совершенно равноценно, и при работах какого-либо лица, как и в каждом готовом изделии, нужно только выяснить, сколько рабочего времени других лиц скрыто в затрате как будто его собственного только рабочего времени. Будет ли орудие производства, приводимое в действие рукой, или сама рука, или даже голова, той вещью, которая без рабочего времени других людей не могла бы получить известного специального свойства и работоспособности, — это не имеет ни малейшего значения для строгого применения теории. Между тем г. Маркс в своих рассуждениях о стоимости не может отделаться от видящегося на заднем плане призрака квалифицированного рабочего времени. Быть решительным в этом направлении помешал ему унаследованный метод мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени тачечника и рабочего времени архитектора экономически вполне равноценными).

То место у Маркса, которое вызвало этот жестокий гнев г. Дюринга, очень кратко. Маркс исследует, чем определяется стоимость товаров, и отвечает: содержащимся в них человеческим трудом. Последний, — продолжает он, — «есть расходование простой рабочей силы, которой в среднем располагает телесный организм каждого обыкновенного человека, не обладающего никакой специальной подготовкой... Сравнительно сложный труд означает только *возведенный в степень* или, скорее, *помноженный* простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его *стоимость* делает его равным продукту простого труда и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и потому кажутся последним установленными обычаем» («Капитал», т. I, стр. 51—52).

Речь идет здесь у Маркса ближайшим образом лишь об определении стоимости *товаров*, т. е. предметов, которые производятся внутри общества, состоящего из частных производителей, — производятся этими производителями за частный счет и обмениваются ими один на другой. Следовательно, здесь говорится отнюдь не об «абсолютной стоимости», где бы сия ни обитала, но о стоимости, имеющей силу в определенной общественной формации. Эта стоимость, в этой определенной исторической рамке, создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным в отдельных товарах, а человеческий труд оказывается далее затратой простой рабочей силы. Однако не всякий труд представляет только затрату простой человеческой рабочей силы: очень многие виды труда включают в себе применение ловкости и познаний, приобретенных с большим или меньшим трудом или с большей или меньшей затратой времени и

денег. Создают ли эти виды сложного труда в равный промежуток времени такую же товарную стоимость, как и труд простой, как затрата одной лишь простой рабочей силы? Ясно, что нет. Продукт часа сложного труда представляет товар более высокой стоимости, двойной или тройной, по сравнению с продуктом часа простого труда. В результате этого сравнения стоимость произведений сложного труда выражается в определенных количествах простого труда. Но это сведение сложного труда к простому совершается путем общественного процесса за спиной производителей, — процесса, который здесь, при обсуждении теории стоимости, подлежит только констатированию, но еще не объяснению.

Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся на наших глазах в современном капиталистическом обществе, и констатирует здесь Маркс. Он настолько бесспорен, что даже г. Дюринг не отваживается оспаривать его ни в своем «Курсе», ни в своей «Истории политической экономии». Изложение Маркса так просто и прозрачно ясно, что кроме г. Дюринга наверно никто не останется при этом «в полной неясности». Но именно вследствие полной неясности своих собственных идей г. Дюринг ошибочно принимает стоимость товаров, исследованием которой здесь только и занимается пока Маркс, за «естественную себестоимость», еще более увеличивающую неясность, и даже за «абсолютную стоимость», которая до сих пор, насколько нам известно, не имела обращения в политической экономии. Что бы, однако, ни понимал под «естественной себестоимостью» г. Дюринг и какой бы из его пяти видов стоимости ни имел честь представлять «абсолютную стоимость», — несомненно одно: что у Маркса нет речи обо всех этих предметах, а он говорит только о стоимости товаров; во всем отделе «Капитала», трактующем о стоимости, нет ни малейшего намека на то, считает ли Маркс свою теорию стоимости товаров применимой к другим общественным формам, и если считает, то в каком объеме.

«Следовательно, — продолжает г. Дюринг, — дело обстоит не так, как туманно представляет себе г. Маркс, будто рабочее время одного человека само по себе стоит больше, чем рабочее время другого, потому что в первом из них как бы сгущено больше среднего рабочего времени. Нет, всякое рабочее время, без исключения и принципиально, следовательно, — без необходимости выводить раньше какую-либо среднюю, совершенно равноценно». Счастье для г. Дюринга, что судьба не сделала его фабрикантом и, таким образом, предохранила его от оценки своих товаров по этому новому правилу, а следовательно, и от неизбежного банкротства. Но позвольте. Разве мы еще находимся в обществе фабрикантов? Отнюдь нет. Со своей естественной себестоимостью и абсолютной стоимостью г. Дюринг заставил нас сделать скачок, настоящее *salto mortale* из нынешнего дурного мира эксплуататоров в его собственную хозяйственную коммуны будущего, в чистую небесную атмосферу равенства и справедливости; мы должны поэтому, хотя и несколько преждевременно, уже здесь заглянуть немного в этот новый мир.

Без сомнения, по теории г. Дюринга, стоимость хозяйственных предметов в его будущей коммуне тоже может быть измеряема только затраченным рабочим временем, но при этом рабочее время каждого должно будет заранее считаться совершенно равноценным, без исключения и принципиально, и без необходимости брать предварительно какую-либо среднюю. Затем, пусть читатель сравнит этот радикальный, уравнилельный социализм с туманным представлением Маркса, будто рабочее время одного человека само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого, так как в нем сгущено больше среднего рабочего времени, — представление, от которого Маркс не в силах освободиться из-за унаследованного способа мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени тачечника и рабочего времени архитектора экономически вполне равноценными.

К сожалению, Маркс делает к цитированному выше месту «Капитала» маленькое примечание: «Читатель должен иметь в виду, что здесь речь идет не о заработной плате, или стоимости, которую рабочий получает, например, за один рабочий день, а о стоимости товаров, в которой овеществляется его рабочий день» («Капитал», т. I, стр. 51). Маркс, словно предчувствовавший здесь своего Дюринга, предостерегает, следовательно, сам против применения цитированных выше положений хотя бы даже к заработной плате, которая должна быть выплачиваема за сложный труд в нынешнем обществе. И если г. Дюринг, не довольствуясь таким применением, выдает еще приведенные выше положения за основные начала, согласно которым Маркс хотел бы регулировать распределение жизненных средств в социалистически организованном обществе, то это бесстыдная подтасовка, которую можно встретить разве только в нравах литературных разбойников.

Присмотримся, однако, несколько ближе к учению о равноценности. Всякое рабочее время, — говорит г. Дюринг, — совершенно равноценно: рабочее время тачечника, как и рабочее время архитектора. Таким образом, рабочее время, а следовательно, и самый труд имеют стоимость. Но ведь труд есть создатель всех стоимостей. Только он один придает произведениям природы стоимость в экономическом смысле. Сама стоимость есть не что иное, как выражение овеществленного в каком-либо предмете общественно необходимого человеческого труда. Следовательно, труд не может иметь никакой стоимости. Говорить о стоимости труда и пытаться определить ее — это все равно, что говорить о стоимости самой стоимости или пытаться определить не вес физического тела, а вес самой тяжести. Г-н Дюринг разделяется с такими людьми, как Сен-Симон, Оуэн и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но когда он мудрит над стоимостью рабочего времени, т. е. труда, то доказывает этим, что стоит сам еще гораздо ниже действительных алхимиков. Пусть читатель измерит теперь сам дерзость, с которою г. Дюринг навязывает Марксу утверждение, будто рабочее время одного человека само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого, и будто рабочее время, т. е. труд, имеет стоимость, — Марксу,

который впервые развил мысль, что труд не может иметь стоимости, и доказал, почему именно не может.

Для социализма, который хочет эмансипировать человеческую рабочую силу от ее положения товара, весьма важно понимание той истины, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. Вместе с таким пониманием теряют почву все попытки регулировать в будущем распределение средств существования, как своего рода высшую заработную плату, — попытки, перешедшие к г. Дюрингу по наследству от наивного рабочего социализма. Из него следует дальше, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства, развитию же производства наиболее способствует такой способ распределения, который позволяет *всем* членам общества возможно всесторонне развивать, поддерживать и применять свои способности. Унаследованному г. Дюрингом образу мышления образованных классов должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии и когда человек, который давал в течение получаса указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора. Хорош был бы социализм, увековечивающий профессиональных тачечников!

Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости и что нет необходимости брать раньше какую-либо среднюю, то это, очевидно, неверно. Продукт одного часа труда двух работников, хотя бы в одной и той же отрасли промышленности, всегда окажется различным, смотря по интенсивности труда и искусству работника; этой беде, которая, впрочем, может казаться таковой только только господам à la Дюринг, — не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей равноценности любого труда? Ничего, кроме хвастливой фразы, экономическим основанием которой является только неспособность г. Дюринга различать между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой, — ничего, кроме простого указа, основного закона новой хозяйственной коммуны: заработная плата за равное рабочее время должна, дескать, быть равна. Но тогда старые французские коммунисты-рабочие и Вейтлинг приводили уже гораздо лучшие доводы в пользу своего равенства заработной платы.

Как же разрешается весь важный вопрос о более высокой оплате сложного труда? В обществе частных производителей расходы по обучению квалифицированного рабочего покрываются частными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и достается ближайшим образом более высокая плата за квалифицированную рабочую силу: искусный раб продается дороже, искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы оплачивает общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. большие стоимости, создан-

ные сложным трудом. Сам рабочий не может претендовать ни на какой избыток, — из чего, между прочим, следует тот практический вывод, что и излюбленное притязание рабочего на «весь продукт труда» тоже иной раз оказывается не совсем неизлечимым.

VII. Капитал и прибавочная стоимость

«О капитале г. Маркс имеет, прежде всего, не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства, но пытается создать более специальную, диалектически-историческую идею, проникающую в игру метаморфозами понятий и истории. Капитал, по Марксу, рождается из денег; он образует историческую фазу, которая начинается с XVI века, а именно — с предполагаемых в это время зачатков всемирного рынка. Ясно, что при подобном толковании понятия утрачивается острота экономического анализа. В подобных диких концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности представляют только уклонки исторической и логической фантастики, — гибнет способность рассудка к различению, как и всякое добросовестное применение понятий... и в таком же духе идет трескотня на протяжении целой страны... «с марксовской характеристикой понятия капитала можно внести в строгую науку о народном хозяйстве одну только путаницу... легкомыслие, выдаваемое за глубокую логическую истину... шаткость оснований» и т. д.

Итак, по Марксу, капитал родился в начале XVI века из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь сказал, что металлические деньги образовались с лишком три тысячи лет тому назад из скота, так как раньше скот, в числе других предметов, исполнял функцию денег. Только г. Дюринг способен к такому грубому и неправильному способу выражения. У Маркса, при анализе экономических форм, в которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. «Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Исторически капитал везде противостоит земельной собственности сначала в форме денег, как денежное имущество, как купеческий и ростовщический капитал... История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, т. е. на товарном, рабочем или денежном рынке, неизменно является в виде денег, — денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в капитал» («Капитал», т. I, стр. 163). Таким образом, Маркс констатирует здесь опять-таки только факт. Не будучи в состоянии оспорить этот факт, г. Дюринг извращает его: капитал, по Марксу, рождается из денег.

Затем Маркс подвергает дальнейшему исследованию процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит, прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет обратную последовательность в сравнении с той

формой, в которой они циркулируют как всеобщий товарный эквивалент. Простой товаровладелец продает, чтобы купить: он продает то, в чем не нуждается, и покупает за вырученные деньги то, что ему нужно. Между тем приступающий к делу капиталист покупает с самого начала то, в чем сам не нуждается; он покупает, чтобы продать, и притом продать дороже, чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную сумму плюс некоторый денежный прирост. Этот прирост Маркс называет *прибавочной стоимостью*.

Откуда берется эта прибавочная стоимость? Она не может образоваться ни от того, что покупатель купил товары ниже их стоимости, ни от того, что продавец продал их выше стоимости. Ибо в обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравниваются, так как каждый попеременно является покупателем и продавцом. Прибавочная стоимость не может также явиться результатом обмана, так как обман может обогатить одного человека на счет другого, но не увеличить общую сумму, которой они оба располагают, следовательно, увеличить всю вообще сумму обращающихся стоимостей. «Весь класс капиталистов известной страны в целом не может наживаться на счет самого себя» (там же, стр. 181).

И тем не менее мы видим, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, беспрерывно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая себе прибавочную стоимость. Таким образом, мы приходим к тому же вопросу, с которого начали: откуда берется эта прибавочная стоимость? Вопрос этот необходимо разрешить, и притом *чисто экономическим* путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, а именно вопрос: каким образом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено, даже предполагая, что равные стоимости постоянно обмениваются на равные?

Разрешение этого вопроса составляет великую историческую заслугу марксовского труда. Оно проливает яркий свет на такие экономические области, где социалисты бродили до сих пор в глубоких потемках не меньше, чем буржуазные экономисты. Только с него начинается, вокруг него группируется научный социализм.

Решение состоит в следующем. Увеличение суммы денег, которая должна превратиться в капитал, не может произойти из этих денег или образоваться от *покупки*, ибо деньги только реализуют здесь цену товара, а эта цена, согласно нашему предположению, что обмениваются равные стоимости, точно отвечает стоимости товара. По той же причине увеличение стоимости не может возникнуть и из *продажи* товара. Значит, такое изменение должно произойти с *товаром*, который покупается, но только не с его *стоимостью*, так как он и покупается и продается по своей стоимости, а с его *потребительной стоимостью*, как таковой, другими словами — изменение стоимости должно получаться от потребления этого товара. «Но извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу денег удастся лишь в том случае, если ему повезет открыться... на рынке такой товар, сама потребительная стоимость которого

обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости, — такой товар, фактическое потребление которого было бы процессом овеществления труда, а следовательно, процессом *созидания стоимости*. И владелец денег находит на рынке такой специфический товар; это — способность к труду, или *рабочая сила*» (там же, стр. 185). Если, как мы видели, труд, как таковой, не может иметь стоимости, то этого отнюдь нельзя сказать о *рабочей силе*. Последняя получает стоимость, лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится *товаром*, и стоимость эта, «как и стоимость всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли» («Капитал», т. I, стр. 189, Партиздат, 1937 г.), т. е. рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых работнику для поддержания себя в состоянии трудоспособности и для продолжения своего рода. Допустим, что эти жизненные средства представляют ежедневно рабочее время в 6 часов. В таком случае, если наш начинающий капиталист, закупающий для ведения предприятия рабочую силу, т. е. нанимающий работника, уплачивает ему денежную сумму, которая представляет собою шесть часов труда, то он оплачивает ему сполна дневную стоимость его рабочей силы. Следовательно, рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возмещает ему полностью его расход, т. е. оплаченную стоимость дневной рабочей силы. Но от этого деньги еще не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стоимости. Поэтому покупатель рабочей силы и смотрит совершенно иначе на характер заключенной им сделки. Тот факт, что шестичасовой труд достаточен для содержания рабочего в течение 24 часов, нисколько не мешает последнему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и ее выгодное использование в процессе труда суть величины совершенно различные. Владелец денег заплатил дневную стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит также пользование ею в течение всего дня, труд в продолжение всего дня. То обстоятельство, что стоимость, *создаваемая* употреблением рабочей силы в течение дня, вдвое больше ее собственной дневной стоимости, представляет особенную удачу для покупателя, но по законам товарного обмена тут нет никакой несправедливости по отношению к продавцу. Итак, рабочий, согласно нашему допущению, *обходится* владельцу денег ежедневно в известное количество продуктов, равное по стоимости 6 часам труда, а сам *доставляет* последнему ежедневно продукт, равный по стоимости 12 часам труда. Разница в пользу владельца денег — 6 часов неоплаченного, прибавочного труда, неоплаченный, прибавочный продукт, в котором воплощен 6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена, деньги превратились в капитал.

Показав, таким образом, как возникает прибавочная стоимость и как она только и может возникнуть при господстве законов, регулирующих товарный обмен, Маркс вскрыл механизм современного капиталистического способа производства и покоящегося на нем

способа присвоения, раскрыл ядро, вокруг которого кристаллизовался весь современный общественный строй.

Это образование капитала имеет одну существенную предпосылку: «владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдет на рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле: в том смысле, что рабочий — свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого товара, гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для практического применения своей рабочей силы» (там же, стр. 187). Такое подразделение общества на владельцев денег или товаров, с одной стороны, и на людей, не имеющих ничего, кроме собственной рабочей силы, с другой, не есть, однако, отношение естественное и не свойственно также всем историческим периодам: «Оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт... гибели целого ряда более древних формаций общественного производства» (там же, стр. 188). В массовом количестве этот свободный рабочий появляется впервые в конце XV и начале XVI столетия, вследствие разложения феодального способа производства. Этим обстоятельством, вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием всемирной торговли и всемирного рынка, была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства должна все более и более превращаться в капитал, а капиталистический способ производства, направленный к созданию прибавочной стоимости, все более должен становиться исключительно господствующим.

Таковы «дикие концепции» Маркса, эти «ублюдки исторической и логической фантастики», «в которых погибает способность рассудка к различению, вместе со всяким добросовестным применением понятий». Сопоставим же с этими «плодами легкомыслия» те «глубокие логические истины», ту «последнюю и строжайшую научность, в смысле точных знаний», которые нам предлагает г. Дюринг.

Итак, под капиталом Маркс понимает «не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства»; напротив, он утверждает, что известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в капитал, когда она *возрастает в стоимости*, образуя прибавочную стоимость. А что говорит г. Дюринг? «Капитал есть основа экономического могущества, служащего для дальнейшего ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы». Как неряшливо и оракульски это ни выражено опять, несомненно одно: основа экономического могущества может вести производство целую вечность, но, по собственным словам г. Дюринга, она не станет капиталом, пока не образует «долей участия в плодах всеобщей рабочей силы», т. е. прибавочной стоимости, или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, г. Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, не разделяющему общепринятого экономического понятия капитала; он, сверх того, совершает еще неискусный, «плохо прикрытый» высокопарными фразами, плагиат у Маркса.

На стр. 262 эта мысль развивается подробнее: «дело в том, что капитал в социальном смысле» (капитал в не социальном смысле г. Дюрингу еще предстоит открыть) «специфически отличается от простого средства производства, ибо, тогда как последнее имеет лишь технический характер и необходимо при всяких обстоятельствах, первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия. Социальный капитал бесспорно является большею частью не чем иным, как техническим средством производства *в его социальной функции*; но именно эта-то функция и... должна в будущем исчезнуть». Если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые подчеркнул ту «социальную функцию», при помощи которой известная сумма стоимостей только и становится капиталом, то во всяком случае «для каждого внимательно изучающего вопрос должно скоро стать ясным, что марксовская характеристика понятия капитала может породить лишь путаницу», — только не в строгой науке о народном хозяйстве, как думает г. Дюринг, а единственно в голове самого Дюринга, который в «Критической истории» уже забыл, как много он попользовался этим понятием капитала в своем «Курсе».

Однако г. Дюринг не довольствуется тем, что заимствовал свое определение капитала, хотя и в «очищенной» форме, у Маркса. Он вынужден следовать за ним по пути «игры в метаморфозы понятий и истории», притом хорошо зная сам, что из этого ничего не может выйти, кроме «диких концепций», «плодов легкомыслия», «шаткости оснований» и т. д. Откуда происходит эта социальная функция капитала, которая позволяет ему присваивать себе плоды чужого труда и которую он только и отличается от простого средства производства? Она покинется, — говорит г. Дюринг, — «не на природе средств производства и не на их технической необходимости». Следовательно, она возникла исторически, и г. Дюринг повторяет нам на стр. 252 только то, что мы уже слышали от него десять раз, когда он объясняет возникновение капитала при помощи давно известного приключения с двумя индивидуумами, из которых один превратил в начале истории свое средство производства в капитал, силой покорив другого. Но не довольствуясь тем, что он приписывает историческое начало социальной функции, благодаря которой известная сумма стоимостей становится капиталом, г. Дюринг пророчит ей также исторический конец: «именно она-то и должна будет исчезнуть». Но явление, исторически возникающее и вновь исчезающее в истории, принято называть на обычном языке «исторической фазой». Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у г. Дюринга, и мы вынуждены прийти к заключению, что попали в общество иезуитов, где принято правило, что если два человека делают одно и то же, то это не одно и то же. Если Маркс говорит, что капитал представляет историческую фазу, то это — дикая концепция, убудок исторической и логической фантастики, в которой гибнет способность различения вместе со всяким добросовестным применением понятий. Но если г. Дюринг также изображает капитал как историческую фазу, то это лишь доказательство

остроты народнохозяйственного анализа и последней строжайшей научности, в смысле точных дисциплин.

Чем же отличается дюринговское представление о капитале от марковского?

«Капитал, — говорит Маркс, — не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, рабочий, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства» («Капитал», т. I, стр. 257—258). Прибавочный труд, труд, делящийся за пределы времени, необходимого для самоподдержания работника, и присвоение продукта этого прибавочного труда другими, т. е. эксплуатация труда, составляют, таким образом, общую черту всех существовавших до сих пор форм общества, поскольку последние двигались в классовых противоречиях. Но только в том случае, когда продукт этого прибавочного труда принимает форму прибавочной стоимости, когда собственник средств производства находит, как объект для эксплуатации, свободного работника — свободного от социальных уз и свободного от собственного имущества — и эксплуатирует его в целях производства *товаров*, только тогда средство производства принимает, по Марксу, специфический характер капитала, а это произошло в значительных размерах только с конца XV и начала XVI столетия.

Напротив того, г. Дюринг объявляет капиталом *всякую* сумму средств производства, которая «образует долю участия в плодах всеобщей рабочей силы», которая приносит, следовательно, прибавочный труд в какой бы то ни было форме. Другими словами, г. Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы при его помощи убить неподходящую ему в данную минуту прибавочную стоимость, открытую также Марксом. Таким образом, с точки зрения г. Дюринга, не только движимое и недвижимое богатство коринфских и афинских граждан, хозяйничавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев времен империи, точно так же, как богатство феодальных баронов в средние века, поскольку оно каким-либо образом служило производству, — все это без различия представляет собою капитал.

Итак, сам г. Дюринг имеет о капитале «не общепринятое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства», но скорее понятие, прямо противоположное ему, включающее даже непродуцированные средства производства, землю и ее естественные богатства. Между тем представление, по которому капитал есть всякое вообще «произведенное средство производства», принято опять-таки только в вульгарной экономике. Вне этой столь дорогой г. Дюрингу вульгарной экономики «произведенное средство производства» или вообще известная сумма стоимостей становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, т. е. присваивает себе прибавочный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной стоимости, и именно в этих двух опреде-

лённых частных ее формах. Совершенно безразлично при этом, что вся буржуазная политическая экономия не может отрешиться от представления, будто свойство давать прибыль или процент само собою принадлежит всякой сумме стоимостей, затрачиваемой при нормальных условиях в производстве или обмене. В классической политической экономии капитал и прибыль, или капитал и процент, так же нераздельны друг от друга, находятся между собой в таком же взаимоотношении, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Однако слово «капитал» в его современном экономическом значении появляется впервые лишь около того времени, когда появляется сам капитал, когда движимое богатство все более и более приобретает функцию капитала тем, что для производства товаров эксплуатирует труд свободных рабочих; оно вводится в употребление исторически первой нацией капиталистов — итальянцами XV и XVI веков. И если Маркс первый проанализировал до конца свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привел понятие капитала в согласие с историческими фактами, от которых оно в конечном счете было абстрагировано и которым оно обязано своим существованием; если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, наслонившихся на нем и в классической буржуазной политической экономии и у прежних социалистов, — то это значит, что именно Маркс шел путем той «последней и строжайшей научности», которая постоянно на устах у г. Дюринга и которую мы так горестно мало находим в его сочинениях.

Действительно, у г. Дюринга дело идет совсем по-иному. Он не довольствуется тем, что обругал сначала изображение капитала в виде исторической фазы «ублюдком исторической и логической фантастики», а затем сам представил его как историческую фазу. Он без дальних разговоров объявляет капиталом *все* средства экономической мощи, *все* средства производства, присваивающие себе «доли в плодах всеобщей рабочей силы», следовательно и земельную собственность во всех классовых обществах, — что несколько не мешает ему, однако, в дальнейшем изложении на вполне традиционный лад отделять земельную собственность и земельную ренту от капитала и прибыли и обозначать капиталом лишь те средства производства, которые приносят прибыль или процент, как это можно подробно видеть на 116 и след. стр. его «Курса». С таким же основанием г. Дюринг мог бы сначала включить под название «локомотив» лошадей, волков, ослов и собак, на том основании, что экипаж может двигаться и при их помощи, и поставить в упрек нынешним инженерам, что, ограничивая понятие локомотива только современным паровозом, они делают его исторической фазой, создают дикие концепции, ублюдки исторической и логической фантастики и т. д., — а затем объявить, в конце концов, что все-таки лошади, ослы, волы и собаки должны быть исключены из названия «локомотив», которое применимо только к паровозу. — Таким образом, мы вновь вынуждены сказать, что именно при дюринговом определении понятия капитала пропадает всякая острота экономического анализа и исче-

зает способность различения, вместе со всяким добросовестным применением понятий, и что дикие концепции, путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований, — что все это процветает как раз у г. Дюринга.

Однако это еще ничего не значит. За г. Дюрингом все же остается заслуга открытия той главной оси, вокруг которой вертится вся прежняя политическая экономия, вся политика и юриспруденция, — одним словом, вся прежняя история. Вот это открытие:

«Насилие и труд — вот два главных фактора, которые надо принимать в расчет при образовании социальных связей».

В этом единственном положении заключена вся конституция существующего до сих пор экономического строя. Она может быть выражена чрезвычайно кратко в двух статьях:

1. Труд производит.
2. Насилие распределяет.

На этом, «выражаясь человеческим и немецким языком», и кончается вся экономическая мудрость г. Дюринга.

VIII. Капитал и прибавочная стоимость (окончание)

«По мнению г. Маркса, заработная плата представляет только оплату того рабочего времени, в течение которого работник действительно работает для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно сравнительно небольшое число часов; вся остальная часть продолжительного зачастую рабочего дня доставляет избыток, в котором содержится, по терминологии нашего автора, «прибавочная стоимость», или, говоря общепринятым языком, барыш на капитал. Независимо от рабочего времени, заключенного на той или иной ступени производства в средствах труда и в сырье, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталиста-предпринимателя. Следовательно, удлинение рабочего дня есть чисто эксплуататорский барыш в пользу капиталиста».

Итак, по г. Дюрингу выходит, что марксовская прибавочная стоимость есть не более как то, что на обычном языке именуется барышом капиталиста или прибылью. Послушаем самого Маркса. На стр. 227 «Капитала» прибавочная стоимость разъясняется заключенными вслед за этим словом в скобки словами: «процент, прибыль, рента». На стр. 241 Маркс приводит пример, в котором показано, как сумма прибавочной стоимости в 71 шиллинг проявляется в различных формах своего распределения: церковная десятина, местные и государственные налоги — 21 шиллинг, земельная рента — 28 шиллингов, прибыль фермера и процент — 22 шиллинга, итого — общая сумма прибавочной стоимости в 71 шиллинг. — На стр. 572 Маркс объявляет главным пробелом у Рикардо, что последний «не исследовал прибавочную стоимость как таковую, т. е. независимо от ее особых форм, каковы: прибыль, земельная рента и т. д.», — и что он поэтому непосредственно смешивает законы, управляющие нормой прибавочной стоимости, с законами, управляющими нор-

мой прибыли. По этому поводу Маркс замечает: «впоследствии, в третьей книге этой работы, я покажу, что при известных обстоятельствах одна и та же норма прибавочной стоимости может выразиться в самых различных нормах прибыли и различные нормы прибавочной стоимости — в одной и той же норме прибыли». На стр. 619 мы читаем: «Капиталист, производящий прибавочную стоимость, т. е. высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, первый присваивает себе прибавочную стоимость, но отнюдь не является ее последним собственником. Он должен затем поделиться ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном производстве в его целом, с земельным собственником и т. д. Следовательно, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. Различные ее доли попадают в руки различных категорий лиц и приобретают различные, независимые друг от друга формы, каковы: прибыль, процент, торговая прибыль, земельная рента и т. д. Эти превращенные формы прибавочной стоимости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге». То же самое во многих других местах.

Трудно выразиться с большей определенностью. При каждом удобном случае Маркс обращает внимание на то, что его прибавочную стоимость ни в коем случае не следует смешивать с прибылью на капитал, что последняя является только частной формой и сплошь и рядом даже только долей прибавочной стоимости. Если г. Дюринг утверждает тем не менее, что марксовская прибавочная стоимость есть, «выражаясь общепринятым языком, прибыль на капитал», и если общеизвестно, что вся книга Маркса вертится вокруг прибавочной стоимости, то возможно только одно из двух: либо он ничего не понимает, и тогда требуется беспримерное бесстыдство, чтобы разнести книгу, главного содержания которой не знаешь, или же он понимает, в чем дело, и в таком случае он совершает намеренный подлог.

Далее: «ядовитая ненависть, с которой г. Маркс культивирует этот способ изображения эксплуататорства, вполне понятна. Но возможен и более могучий гнев, возможно еще более безусловное признание эксплуататорского характера хозяйственной формы, основанной на наемном труде, без одновременного признания правильности того теоретического приема, который выражается в марксовском учении о прибавочной стоимости».

Итак, употребленный с благим намерением, но ошибочный теоретический прием Маркса вызывает в последнем ядовитую ненависть против эксплуататорства; нравственная сама по себе страсть приобретает, благодаря ложному «теоретическому приему», безнравственный характер, проявляясь в виде неблагородной ненависти и изменной ядовитости. Напротив, строжайшая научность г. Дюринга выражается в нравственной страсти соответственно благородного характера, в гнев, который морален по форме и вдобавок превосходит ядовитую ненависть количественно, будучи гневом более могучим. Пока г. Дюринг сам себя похваливает, мы постараемся выяснить, каков источник этого более могучего гнева,

«Возникает вопрос, — говорит он дальше, — каким образом конкурирующие предприниматели оказываются в состоянии постоянно продавать весь продукт труда, а вместе с тем и прибавочный продукт, по цене, столь значительно превышающей естественные издержки производства, как об этом свидетельствуют размеры избыточного рабочего времени? Ответа на этот вопрос мы не находим в доктрине Маркса, по той простой причине, что в ней не могла себе найти места даже постановка этого вопроса. Весь характер производства, направленного на выделывание предметов роскоши и основанного на наемном труде, совершенно не затронут здесь серьезно, и социальный строй, с его паразитарными общественными положениями, не распознан, как главная основа белого невольничества. Напротив, все политически-социальное всегда должно объясняться по Марксу экономически».

Между тем из вышеприведенных мест мы убедились, что Маркс вовсе не утверждает, будто капиталист, который является первым присвоителем прибавочного продукта, всегда продает его, в среднем, по полной его стоимости, как предполагает здесь г. Дюринг. Маркс говорит совершенно определенно, что и торговая прибыль образует часть прибавочной стоимости, а это, при наличных предпосылках, возможно лишь в том случае, если фабрикант продает торговцу свой продукт *ниже* его стоимости и, таким образом, уделывает ему долю в добыче. Во всяком случае, в том виде, как он ставится г. Дюрингом, этот вопрос не мог быть даже поставлен Марксом. Рационально поставленный, вопрос этот гласит: каким образом прибавочная стоимость превращается в свои частные формы — прибыль, процент, торговый барыш, земельную ренту и т. д.? Этот вопрос Маркс, нет спору, обещает разрешить только в третьей книге. Но если г. Дюринг не может подождать, пока появится второй том «Капитала», то он должен был бы пока что несколько внимательнее осмотреться в первом томе. Тогда он мог бы, кроме приведенных мест, прочесть, например, на стр. 348, что, по Марксу, имманентные законы капиталистического производства проявляются во внешнем движении капиталов, действуют как принудительные законы конкуренции и достигают сознания отдельного капиталиста в виде движущих мотивов его деятельности. Во всяком случае, ясно одно: научный анализ конкуренции становится возможным лишь после того, как познана внутренняя природа капитала, — совершенно так же, как кажущееся движение небесных тел делается понятным лишь для того, кто знает их действительное, но не воспринимаемое непосредственно движение («Капитал», том I, стр. 347—348). Затем Маркс показывает на одном примере, каким образом известный закон, имено закон стоимости, проявляется в определенном случае в условиях конкуренции и как он обнаруживает свою движущую силу. Уже из этого г. Дюринг мог бы заключить, что при распределении прибавочной стоимости главную роль играет конкуренция; при некоторой вдумчивости этих намеков первого тома достаточно, чтобы познать, по крайней мере в общих чертах, способ превращения прибавочной стоимости в ее частные формы.

Но для г. Дюринга конкуренция является именно абсолютным препятствием к пониманию. Он не может постигнуть, каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно продавать весь продукт труда, следовательно в том числе и прибавочный продукт, по цене, значительно превышающей естественные издержки производства. Здесь мы опять встречаемся с обычной у г. Дюринга «строгостью» формулировки, которая на самом деле является неряшливостью. Дело в том, что у Маркса прибавочный продукт *не требует никаких издержек производства*: он представляет собой ту часть продукта, которая *ничего не стоит* капиталисту. Если бы, следовательно, конкурирующие предприниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его естественным издержкам производства, то они должны были бы *подарить* его. Однако не будем останавливаться на таких «микробиологических деталях». Разве конкурирующие предприниматели в действительности не реализуют ежедневно продукта труда по цене, превышающей естественные издержки производства? По г. Дюрингу, естественные издержки производства состоят в «затрате труда или силы, которая, в свою очередь, может измеряться в конечном счете затратой на питание», следовательно, в современном обществе естественные издержки производства состоят из действительных затрат на сырье, средства производства и заработную плату, в отличие от «обложения пошлиной», от прибыли, от надбавки, вынуждаемой с мечом в руке. Между тем известно, что в обществе, в котором мы живем, конкурирующие предприниматели не реализуют продуктов по естественным издержкам их производства, но присчитывают — и обыкновенно получают — еще «надбавку», прибыль. Таким образом, вопрос, который, по мнению г. Дюринга, ему достаточно было только поставить, чтобы тем самым опрокинуть все здание Маркса, подобно тому, как Иисус Навин разрушил некогда стены Иерихона, — этот вопрос существует и для экономической теории г. Дюринга. Посмотрим, как он отвечает на него.

«Собственность на капитал, — говорит он, — не имеет никакого практического смысла и не может быть с выгодой использована, если в ней не заключено одновременно косвенное насилие над человеческим материалом. Плодом этого насилия является прибыль на капитал, и величина последней будет зависеть поэтому от объема и интенсивности применения этого господства... Прибыль на капитал есть политический и социальный институт, который имеет более могущественное действие, чем конкуренция. Предприниматели действуют в этом отношении, как одно сословие, и каждый в отдельности удерживает свою позицию. При господствующем способе хозяйства, известная высота прибыли на капитал является необходимостью».

К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии длительно реализовать продукты труда выше естественных издержек производства. Не может же г. Дюринг быть такого невысокого мнения о своей публике, чтобы считать возможным удовлетворить ее фразой, что прибыль на капитал стоит выше конкуренции, подобно тому, как в былые времена

пруссский король стоял выше закона? Приемы, посредством которых прусский король добился такого положения, нам известны; приемы же, при помощи которых прибыли на капитал удается быть могущественнее конкуренции, они-то именно и составляют тот пункт, который нам должен объяснить г. Дюринг, но который он упорно отказывается объяснить. И дело не меняется от того, что, по его словам, предприниматели действуют в этом случае как одно сословие, причем каждый отдельный предприниматель удерживает свою позицию. Ведь не обязаны же мы верить ему на слово, будто известному числу людей достаточно действовать сплоченно, как сословию, чтобы каждый из них в отдельности удержал за собой свою позицию? Цеховые мастера средневековья и французские дворяне в 1789 г. выступили, как известно, очень решительно как сословие и тем не менее потерпели поражение. Прусская армия действовала при Иене тоже как сословие, но вместо того, чтобы удержать свою позицию, она принуждена была, напротив, отступить, а потом даже по частям капитулировать. Столь же мало может удовлетворить нас уверение, что при господствующем сейчас способе хозяйства известная высота прибыли является необходимостью; ведь требуется именно показать, почему это так. Ни на шаг не приближает нас к цели и сообщение г. Дюринга, что «господство капитала выросло в тесной связи с земельным господством. Часть крепостных сельских рабочих, перейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих, в конце концов — в фабричный материал. После земельной ренты образовалась прибыль на капитал, как вторая форма владельческой ренты». Если даже оставить в стороне историческую неправильность этого утверждения, то оно все-таки остается только голословным утверждением, автор которого ограничивается повторными заверениями в истинности того, что именно требуется объяснить и доказать. Мы не можем, следовательно, притти ни к какому иному заключению, кроме того, что г. Дюринг неспособен ответить на им же самим поставленный вопрос: каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно реализовать продукт труда выше естественных издержек его производства, другими словами — он неспособен объяснить возникновение прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декретировать: прибыль на капитал есть результат *насилия*, что, впрочем, вполне согласуется со ст. 2 дюринговской социальной конституции: *насилие распределяет*. Это, конечно, сказано очень красиво, но теперь «возникает вопрос»: насилие распределяет, — а что именно? Ведь должно же быть лицо что-нибудь подлежащее распределению, иначе даже самое могущественное насилие при всем своем желании не сможет ничего распределить. Прибыль, которую кладут в свой карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весьма осязательное и солидное. Насилие может взять ее, но не может ее создать. И если г. Дюринг упорно отказывается объяснить нам, *каким* образом насилие берет себе предпринимательскую прибыль, то на вопрос, *откуда* оно берет ее, он отвечает уже полным гробовым молчанием. Согласно известной немецкой поговорке, где ничего нет, там и император, как всякая другая власть,

теряет свои права. Из ничего невозможно что-нибудь создать, и всего менее — прибыль. Если собственность на капитал не имеет никакого практического смысла и не может быть с выгодой использована, покуда в ней не заключено также косвенное насилие над человеческим материалом, то снова возникает вопрос: во-первых, каким образом капитал пришел к этому насилию, — вопрос, отнюдь не разрешаемый приведенными выше двумя, тремя историческими утверждениями; во-вторых, каким образом это насилие превращается в возрастание стоимости капитала, в прибыль, и, в-третьих, откуда оно берет эту прибыль.

С какой бы стороны мы ни подошли к дюринговой политической экономии, мы все-таки ни на шаг не подвинемся вперед. Для всех не нравящихся ей явлений, как прибыль, земельная рента, голодная заработная плата, угнетение рабочего, — у нее имеется только одно объясняющее слово: насилие, и опять насилие, и «гораздо более могучий гнев» г. Дюринга тоже разрешается только в гнев против насилия. Мы видели, во-первых, что эта ссылка на насилие представляет жалкую увертку, перенесение вопроса из экономической области в политическую, которая не в состоянии объяснить ни одного экономического факта; во-вторых, что она оставляет необъясненным возникновение самого насилия — и делает это вполне благоразумно, так как иначе она вынуждена была бы прийти к заключению, что всякая общественная мощь и всякая политическая власть коренится в экономических условиях, в исторически данным способе производства и обмена того или другого общества.

Попробуем, однако, нельзя ли вырвать у неумолимого «глубокого основоположника» политической экономии еще несколько разъяснений относительно прибыли. Быть может, нам это удастся, если мы познакоимся ближе с его изложением вопроса о заработной плате. Там, на стр. 158, говорится:

«Заработная плата есть плата наемников (Sold) для содержания рабочей силы и подлежит здесь рассмотрению, прежде всего, только как фундамент для земельной ренты и дохода на капитал. Чтобы вполне отчетливо выяснить себе возникающие при этом отношения, следует представить себе земельную ренту, а затем и доход на капитал, исторически, сперва без заработной платы, т. е. на основе рабства или крепостного состояния... Приходится ли содержать раба или крепостного, или же наемного рабочего, — это обуславливает различие только в способах начисления издержек производства. Во всех этих случаях добытый использованием рабочей силы чистый продукт составляет доход хозяина... Отсюда ясно, что... именно главную противоположность, в силу которой на одной стороне фигурирует тот или иной вид владельческой ренты, а на другой — труд неимущих наемников, нельзя искать только в одном из ее терминов, а непременно в обоих одновременно». Владельческая же рента, как мы узнаем на стр. 188, есть общее выражение для земельной ренты и дохода на капитал. Далее, на стр. 174, говорится: «характерным в доходе на капитал является присвоение большей

части продукта рабочей силы. Нельзя себе представить дохода на капитал без его коррелятива — труда, прямо или косвенно подчиненного в той или другой форме». А на стр. 183 сказано: «заработная плата представляет при всяких обстоятельствах не более как плату наемников, посредством которой должны быть обеспечены в общем содержание рабочего и возможность продолжения его рода». Наконец, на стр. 195 мы читаем: «то, что достается владельческой ренте, должно составить потерю для заработной платы, и обратно, то, что достается труду из общей производительной способности (!), должно быть отнято у доходов от собственности».

Г-н Дюринг подносит нам один сюрприз за другим. В теории стоимости и в последующих главах, вплоть до учения о конкуренции включительно, следовательно от стр. 1 до 155, товарные цены или стоимости распадаются у него, во-первых, на естественные издержки производства, или стоимость производства, т. е. затраты на сырье, орудия труда и заработную плату, и, во-вторых, на надбавку, или распределительную стоимость, этот вырванный с мечом в руке налог в пользу класса монополистов,—надбавку, которая, как мы видели, в действительности ничего не может изменить в распределении богатства, так как то, что отнимается здесь одной рукой, приходится возвращать обратно другой, и которая сверх того, поскольку г. Дюринг осведомляет нас о ее происхождении и содержании, оказывается возникшей из ничего, а потому и состоящей из ничего. В двух следующих главах, трактующих о разных видах доходов, т. е. от стр. 156 до 217, о надбавке уже нет больше речи. Вместо этого стоимость каждого продукта труда, следовательно — каждого товара, делится теперь на две части: во-первых, на издержки производства, куда входит также и выплаченная заработная плата, и, во-вторых, на «достигаемый использованием рабочей силы *чистый продукт*», образующий доход хозяина. Этот чистый продукт имеет вполне определенную физиономию, которую нельзя скрыть никакой татуировкой или искусным размалевыванием. «Чтобы вполне отчетливо выяснить себе господствующие здесь отношения», пусть читатель сопоставит только что приведенные места из сочинения г. Дюринга с приведенными раньше цитатами из Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и прибавочной стоимости: он найдет тогда, что г. Дюринг *прямо списывает* здесь на свой лад «Капитал» Маркса.

Прибавочный труд в какой-либо форме, будь то рабство, крепостное состояние или наемный труд, г. Дюринг признает источником доходов всех господствовавших до сих пор классов; это взято из много раз цитированного места — «Das Kapital», стр. 257: «капитал не изобрел прибавочного труда и т. д. — А «чистый продукт», образующий «доход хозяина», — что это такое, как не избыток продукта труда над заработной платой, которая и у г. Дюринга, несмотря на свое совершенно излишнее переряживание («в плату наемников» (Sold), должна обеспечить в общем поддержание жизни работника и возможность продолжения его рода? Как может происходить присвоение «большой части продукта рабочей силы», если не тем путем, что капиталист, как это изображено у

Маркса, выжимает из работника больше труда, нежели необходимо для воспроизводства потребленных последним жизненных средств, т. е. тем, что капиталист заставляет работника работать дольше, чем требуется для возмещения стоимости заплаченной работнику заработной платы? Следовательно, удлинение рабочего дня за пределы времени, необходимого для воспроизводства жизненных средств работника, или марксовский прибавочный труд, вот что скрывается под дюринговским «использованием рабочей силы». А «чистый доход» хозяина, о котором говорит г. Дюринг, может ли он быть представлен иначе, как не в виде марковского прибавочного продукта и прибавочной стоимости? И чем иным, кроме неточности выражения, отличается дюрингова владельческая рента от марковской прибавочной стоимости? Впрочем, самый термин «владельческая рента» (*Besitzrente*) г. Дюринг заимствовал у Родбертуса, который охватил земельную ренту и ренту с капитала, или доход на капитал, общим термином «рента», так что г. Дюрингу осталось только прибавить слово «владение»¹. А чтобы не осталось никакого сомнения в наличии плагиата, г. Дюринг резюмирует на свойственный ему лад развитие Марксом в 15-й главе «Капитала» (стр. 567) законы, касающиеся соотношения между ценой рабочей силы и величиною прибавочной стоимости, и говорит, что то, что достается владельческой ренте, должно пропасть для заработной платы, и наоборот; другими словами, содержательные отдельные законы Маркса он сводит к бессодержательной тавтологии, ибо само собой разумеется, что одна часть данной величины, распадающейся на две части, не может стать большей без того, чтобы другая не уменьшилась. И, таким образом, г. Дюрингу удалось совершить присвоение марковских идей в форме, при которой «последняя и строжайшая научность в смысле точных дисциплин», бесспорно отличающая ход рассуждения у Маркса, совершенно исчезла.

Следовательно, мы не можем не прийти к заключению, что громкий шум, поднятый г. Дюрингом в «Критической истории» по поводу «Капитала», и, в особенности, пыль, поднимаемая им в связи с пресловутым вопросом, который возникает при рассмотрении прибавочной стоимости и который ему лучше бы не ставить, поелику он сам не может на него ответить, — что все это только военная хитрость, ловкий маневр с целью прикрыть грубый плагиат, совершенный в «Курсе» по отношению к Марксу. Г-н Дюринг действительно имел все основания предостерегать своих читателей от знакомства с «тем клубком, который г. Маркс именует «Капиталом», от ублюдков исторической и логической фантастики, от гегелевских путаных, туманных представлений и уверток и т. д. Венеру, против которой этот верный Эккарт предостерегает немецкое юношество, он сам втихомолку перевел к себе из владений Маркса. Поздравляем его с этим чистым доходом, добытым благодаря использо-

¹ В сущности даже этого слова он не прибавил. В своем втором «социальном письме» Родбертус говорит (*Soziale Briefe*, 2. Brief, стр. 59): «Рента по этой (т. е. его) теории—это всякий доход, получаемый без затраты собственного труда, исключительно в силу права владения (*auf Grund eines Besitzes*)».

ванию марксовской рабочей силы, и с тем своеобразным освещением, которое его аннексия марксовской прибавочной стоимости, под названием владельческой ренты, придает его живому и упорному (ибо оно повторяется в двух изданиях) утверждению, будто Маркс под прибавочной стоимостью понимает только прибыль на капитал.

В общем итоге нам приходится охарактеризовать заслуги г. Дюринга его же словами: «по мнению г-на»... Дюринга, «заработная плата представляет только оплату того рабочего времени, в течение которого работник действительно работает для того, чтобы сделать возможным свое собственное существование. Для этого достаточно лишь сравнительно небольшого числа часов: вся прочая часть продолжительного зачастую рабочего дня доставляет избыток, в котором содержится, по терминологии нашего автора»... владельческая рента: «независимо от рабочего времени, уже заключенного на той или иной ступени производства в средствах труда и сырье, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталиста-предпринимателя. Следовательно, удлинение рабочего дня есть чисто эксплуататорский барыш в пользу капиталиста. Ядовитая ненависть, с которой г. Дюринг «культивирует этот способ изображения эксплуататорства, вполне понятна»... Зато менее понятно, каким образом он отыщет опять в своей душе место «более могучему гневу»?

IX. Естественные законы хозяйства. Земельная рента

До сих пор мы, при всем своем желании, не могли открыть, каким образом г. Дюринг пришел к тому, чтобы «выступить (в области политической экономии) с притязанием на новую систему, не просто удовлетворительную для своей эпохи, но *авторитетную для нее*». Но, быть может, то, чего мы не сумели разглядеть в теории насилия, в учении о стоимости и капитале, бросится нам сразу в глаза при рассмотрении выставленных г. Дюрингом «естественных законов народного хозяйства». Ибо, как он выражается со своей обычной оригинальностью и остротой мысли, «триумф высшей научности состоит в том, чтобы через простые описания и разделения материала, как бы находящегося в состоянии покоя, дойти до живых воззрений, освещающих творчество. Познание законов является поэтому наиболее совершенным видом познания, ибо оно нам показывает, как один процесс обуславливается другим».

Уже первый естественный закон всякого хозяйства открыт специально г. Дюрингом. «Замечательно, что Адам Смит не только не поставил на первый план важнейшего фактора всякого хозяйственного развития, но даже не формулировал его специально и, таким образом, невольно низвел до подчиненной роли ту силу, которая наложила свой отпечаток на современное европейское развитие». Этот «основной закон, который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического снаряжения, можно даже сказать, вооружения естественной хозяйственной силы человека». Этот основной закон, открытый г. Дюрингом, гласит:

Закон № 1: «Производительность хозяйственных средств, естественных богатств и человеческой силы, повышается *благодаря открытиям и изобретениям*».

Мы изумлены. Г-н Дюринг третирует нас совершенно так, как известный шутник у Мольера третирует новоиспеченного дворянина, которому сообщает новость, что тот всю свою жизнь говорил, сам того не подозревая, прозой. Что изобретения и открытия часто увеличивают производительную силу труда (в очень многих случаях этого нельзя сказать, доказательством чего служит огромная архивная макулатура всех учреждений по выдаче патентов), — это мы давно знаем; но что этот старый-престарый трюизм представляет закон всей политической экономии, — таким откровением мы обязаны г. Дюрингу. Если торжество «высшей научности» в политической экономии, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое название первому попавшемуся общему месту и растрюбить его как естественный или даже основной закон, тогда «более глубокое основоположение» и переворот в науке становятся действительно возможными для всякого, — даже для редакции берлинской «*Volkszeitung*». Мы вынуждены были бы в таком случае «со всею строгостью» применить к самому г. Дюрингу следующий его приговор о Платоне: «если же нечто подобное должно быть принимаемо за политико-экономическую мудрость, то автор» критических основоположений «обладает ею сообща со всяким, кто вообще имел случай что-либо подумать» — или даже просто что-нибудь сболтнуть — «о чем-либо вполне очевидном». Если, например, мы говорим: животные едят, то мы, сами того не подозревая, изрекаем великое слово; ибо стоит лишь сказать, что основной закон всякой животной жизни состоит в том, чтобы есть, и мы уже совершили полный переворот в зоологии.

Закон № 2. Разделение труда: «Расщепление профессий и разложение деятельностей повышает производительность труда». Поскольку это справедливо, оно также стало общим местом со времен Адама Смита; в какой именно степени это можно признать справедливым, мы увидим в третьем отделе.

Закон № 3. «*Отдаленность и транспорт* суть главные причины, которыми стесняется или облегчается совместная деятельность производительных сил».

Закон № 4. «Промышленное государство обладает несравненно большей плотностью населения, чем аграрное государство».

Закон № 5. «В экономии ничто не совершается без материального интереса».

Таковы «естественные законы», на которых г. Дюринг основывает свою новую экономическую науку. Он остается верен своему методу, изложенному уже в философии. Два, три безнадежно ходячих трюизма, к тому еще неправильно формулированные, образуют и в политической экономии не нуждающиеся в доказательствах аксиомы, основные теоремы, естественные законы. Затем, под предлогом развития содержания этих законов, в действительности лишенных всякого содержания, г. Дюринг подносит читателю много-

словную экономическую болтовню на разные темы, *названия* которых упоминаются в этих мнимых законах, следовательно об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, народонаселении, интересе, конкуренции и т. п., — болтовню, плоская обыденность которой приправляется только широковещательными оракульскими фразами, а местами — извращенными общими взглядами или мудрствованьем с важным видом над всевозможными казуистическими тонкостями. После этого мы доходим, наконец, до земельной ренты, дохода на капитал и заработной платы, и так как в предшествующем изложении мы касались только последних двух форм присвоения, то здесь, в заключение, мы намерены лишь вкратце рассмотреть дюрингово воззрение на земельную ренту.

При этом мы оставляем без внимания те пункты, которые г. Дюринг просто списывает у своего предшественника Кэри; мы имеем дело не с Кэри, и в нашу задачу не входит также защита рикардовского воззрения на земельную ренту против извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с г. Дюрингом, а этот последний определяет земельную ренту как «доход, получаемый от земли ее собственником, *как таковым*». Экономическое понятие земельной ренты, которое г. Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык, и таким образом мы в экономическом вопросе не сдвинулись с места. Ввиду этого наш глубокий основоположник должен, волей-неволей, снизойти до дальнейших объяснений. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь имения фермеру с ссудой определенного капитала предпринимателю, но открывает скоро, что это сравнение, подобно многим другим, хромает. Ибо, — говорит он, — «если бы мы захотели провести эту аналогию дальше, то барыш, остающийся у фермера за уплатой земельной ренты, должен бы соответствовать тому остатку дохода на капитал, который за вычетом процентов достается предпринимателю, ведущему дело на чужой капитал. Однако на доход фермеров *не принято* смотреть как на главный доход, а на земельную ренту — как на остаток... Доказательством этого неодинакового воззрения служит тот *факт*, что в учении о земельной ренте не выделяется особо случай ведения хозяйства самим собственником и не придается особенного значения разнице между величиною ренты в форме арендной платы и рентой, выручаемой землевладельцем, который ведет хозяйство сам. *По крайней мере, никто не видел* основания мысленно разлагать ренту, получаемую от самостоятельного хозяйствования, так, чтобы одна часть представляла как бы процент с земельного участка, а другая — избыточный барыш предпринимательства. Оставляя в стороне собственный капитал, применяемый фермером, на его специальный доход *смотрят, повидимому, большей частью* как на заработную плату. Было бы, однако, *рискованно* утверждать что-либо по этому вопросу, так как в такой определенной форме он даже не ставился. Везде, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что нельзя изображать специфический доход фермера в виде заработной платы. Дело в том, что этот доход сам покоится на противоб-

положности по отношению к сельской рабочей силе, эксплуатация которой одна делает возможным этот вид дохода. Очевидно, в руках арендатора остается *часть ренты*, вследствие чего сокращается *полная рента*, которая могла бы быть получена при ведении хозяйства самим собственником».

Теория земельной ренты есть специфически английский отдел политической экономии, и это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором рента фактически отделилась от прибыли и процента. В Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное земледелие. Земельные собственники сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных, имений фермерам, которые обладают достаточным капиталом для их эксплуатации и не работают сами, подобно нашим крестьянам, но, как настоящие капиталистические предприниматели, применяют труд батраков и поденщиков. Здесь, следовательно, мы имеем все три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода: земельного собственника, получающего земельную ренту; капиталиста, получающего прибыль; наконец, рабочего, получающего заработную плату. Никогда ни одному английскому экономисту не приходило в голову, как это *кажется* г. Дюрингу, видеть в доходе фермера своего рода заработную плату; еще меньше могло ему казаться *рискованным* принимать прибыль фермера за то, чем она бесспорно, очевидно и осязательно является, а именно — прибылью на капитал. Прямо смешно заявление, будто вопрос о том, что такое, собственно, представляет собой доход фермера, даже не ставился определенно. В Англии этот вопрос не приходится и ставить, ибо вопрос и ответ уже давно лежат готовыми в самих фактах, и со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений.

Случай самохозяйствования, как выражается г. Дюринг, или же ведения хозяйства через управляющего за счет землевладельца, как это в действительности бывает большею частью в Германии, — этот случай ничего не меняет в сущности дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собственный счет, то он, сверх земельной ренты, кладет себе в карман еще и прибыль на капитал, как это само собой разумеется и не может быть иначе при современном способе производства. И если г. Дюринг утверждает, что доселе не видели основания мысленно разлагать ренту (следовало бы сказать доход), получаемую от ведения хозяйства самим собственником, то это просто неверно и в лучшем случае доказывает опять-таки его собственное невежество. Например:

«Доход, получаемый от труда, называется рабочей платой; доход, получаемый от капитала лицом, которое управляет им или прилагает его, называется прибылью... Доход, источником которого является земля, называется рентой и принадлежит землевладельцу... Если эти три различных вида дохода достаются разным лицам, то их легко различить; но если они принадлежат одному и тому же лицу, то их иногда смешивают, по крайней мере — в обыденной речи. Землевладелец, который сам ведет хозяйство на части своей

земли, получает, за вычетом расходов на обработку, и *ренту землевладельца и прибыль арендатора*. Однако он склонен весь свой доход называть прибылью и смешивать, таким образом, земельную ренту с прибылью, по крайней мере в обычном разговоре. Большинство наших североамериканских и вест-индских плантаторов находится в таком положении; большинство из них сами ведут хозяйство в своих владениях, и потому мы редко слышим о ренте с какой-либо плантации, а чаще всего о приносимой ею прибыли... Садовник, собственноручно обрабатывающий свой сад, совмещает в своем лице все три различных положения — землевладельца, арендатора и работника. Его продукт должен был бы, следовательно, оплачивать ему ренту первого, прибыль второго и вознаграждение третьего. Однако все это считается обыкновенно трудовым заработком; рента и прибыль смешиваются, в этом случае, с заработной платой).

Место это взято из 6-й главы первой книги «Богатства народов» Адама Смита. Случай самохозяйствования исследован, таким образом, уже сто лет назад, а потому сомнения и колебания, причиняющие г. Дюрингу так много забот, являются единственно результатом его собственного невежества.

В конце концов он спасается из трудного положения при помощи смелого хода, а именно: барыш арендатора, — говорит он, — основывается на эксплуатации «земледельческой рабочей силы», и поэтому он является, очевидно, «частью ренты», на которую «сокращается полная рента», которая должна, в сущности, пойти целиком в карман землевладельца. Благодаря этому мы узнаем две вещи: во-первых, что арендатор «сокращает» ренту землевладельца, и, таким образом, если согласиться с г. Дюрингом, то наперекор общепринятому до сих пор взгляду выходит, что не арендатор платит ренту землевладельцу, а, наоборот, *землевладелец платит таковую арендатору*, — мнение, бесспорно глубоко своеобразное; во-вторых, мы узнаем, наконец, что г. Дюринг представляет себе под земельной рентой, а именно: весь прибавочный продукт, получающийся при эксплуатации рабочей силы в земледелии. Но так как этот прибавочный продукт во всей прежней политической экономии, за исключением нескольких вульгарных экономистов, распадается на земельную ренту и прибыль с капитала, то мы должны констатировать, что г. Дюринг и относительно земельной ренты «не разделяет общепринятого взгляда».

Итак, земельная рента и доход на капитал различаются между собой, согласно г. Дюрингу, только тем, что первая получается в земледелии, а вторая — в промышленности или торговле. К этому некритическому и сбивчивому способу представления г. Дюринг приходит по необходимости. Мы видели, что он исходил из «правильного исторического воззрения», согласно которому господство над землей основывается исключительно на господстве над людьми. Следовательно, как только земля обрабатывается при помощи той или другой формы холопского труда, для землевладельца остается излишек, и этот излишек именно и образует собою ренту, подобно тому как излишек продукта наемных рабочих над их зара-

ботной платой в промышленности составляет доход на капитал. «Таким образом, ясно, что земельная рента существует везде и всегда в значительном размере там, где земледелие ведется с помощью какой-либо подчиненной рабочей силы». При таком изображении ренты, как всего прибавочного продукта, получаемого от земледелия, г. Дюрингу становится поперек пути, с одной стороны, прибыль английских фермеров, а с другой — заимствованное отсюда и признанное всей классической политической экономией деление упомянутого прибавочного продукта на земельную ренту и прибыль арендатора, следовательно — *чистое*, точное определение ренты. Что же делает г. Дюринг? Он прикидывается, будто ни словечка не знает о делении земледельческого прибавочного продукта на прибыль арендатора и земельную ренту, следовательно, обо всей теории ренты, принятой в классической политической экономии. Он делает вид, будто вопрос о том, что такое в сущности фермерская прибыль, еще вовсе не ставился в политической экономии «с такой определенностью», будто дело идет о совершенно неисследованном предмете, о котором, кроме кажущегося и сомнительного, ничего неизвестно. И из неприятной Англии, где прибавочный продукт в земледелии, без всякого содействия какой-либо теоретической школы, столь безжалостно делится на его составные части, т. е. на земельную ренту и прибыль на капитал, — из этой неприятной страны он спасается в излюбленную им область действия прусского земского права, где самохозяйствование процветает в нашпатриархальнейшем виде, где помещик понимает под рентою доходы от своих земель», где взгляд гг. юнкеров на ренту выступает еще с претензией на авторитет для науки и где, следовательно, г. Дюринг еще может надеяться как-нибудь проскользнуть со своими путанными понятиями о ренте и прибыли и даже найти верующих в его новейшее открытие — что не арендатор платит земельную ренту землевладельцу, а, напротив, землевладелец — арендатору.

Х. Из «Критической истории»

В заключение бросим еще взгляд на «Критическую историю политической экономии», на «это предприятие» г. Дюринга, по его словам, «не имеющее предшественников». Быть может, здесь мы встретим, наконец, многообещанную последнюю и строжайшую научность.

Г-н Дюринг придает большое значение своему открытию, что «учение о хозяйстве» представляет «явление в высокой степени современное» (стр. 12).

Действительно, в «Капитале» Маркса мы читаем: «политическая экономия... как особая наука появляется впервые в период мануфактуры», а в его же сочинении «Zur Kritik d. polit. Oekonomie», на стр. 29-й: «классическая политическая экономия... начинается в Англии с Петти, во Франции с Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции Сисмонди». Г-н Дюринг сле-

дует этому предначертанному для него пути, с той лишь разницей, что у него *высшая* политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука родила на свет, когда кончился ее классический период. И, сравнивая себя с ними, он с полным правом торжествует в конце своего введения: «но если это предприятие уже по своим внешним особенностям и во вновь обработанной половине своего содержания совершенно не имеет предшественников, то в гораздо большей еще степени оно составляет мое личное достояние по своим внутренним критическим исходным точкам и по своей общей точке зрения» (стр. 9). В сущности он мог бы и с внешней и с внутренней стороны анонсировать свое «предприятие» (промышленное выражение недурно употреблено) как «Единственный и его собственность».

Так как политическая экономия в том виде, в каком она исторически выступала, представляет на самом деле не что иное, как научный анализ экономики в период капиталистического производства, то относящиеся сюда положения и теоремы могут встречаться, скажем, например, у писателей древнегреческого общества лишь постольку, поскольку известные явления, как производство товаров, торговля, деньги, приносящий проценты капитал и т. д., общи и древнему миру и современному обществу. Поскольку греки делают иногда случайные экскурсы в эту область, они обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Поэтому воззрения их исторически образуют теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем всемирно-исторического г. Дюринга.

«Таким образом, относительно научной теории хозяйства мы, собственно говоря (!), не имели бы сообщить о древности ровно ничего положительного, а совершенно ненаучное средневековье дает еще гораздо меньший повод к этому (к тому, чтобы *ничего не сообщать*). Но так как манера, тщеславно выставляющая напоказ видимость своей учености... обезобразила чистый характер современной науки, то для сведения, по крайней мере, должны быть приведены некоторые примерь». И г. Дюринг приводит затем примеры критики, которая действительно свободна даже от «видимости учености».

Положение Аристотеля, что «всякое благо имеет двойное употребление: одно, свойственное самой вещи, другое же — нет; так, например, сандалия может служить для обувания ноги и для обмена. То и другое суть способы употребления сандалии, ибо тот, кто обменивает сандалию на предмет, в котором он нуждается, например на деньги или пищу, тоже пользуется сандалией как сандалией. Но это не есть естественный способ ее употребления, ибо она не существует для обмена», — это положение, по мнению Дюринга, «высказано не только тривиально и по-школьному», но те, которые находят в нем «установление различия между потребительной и меновой стоимостью», попадают, кроме того, еще в «юмористическое положение», забывая, что в «самое новейшее время» и «в рамках самой передовой системы», разумеется — системы самого г. Дюринга, с потребительной и меновой стоимостью раз навсегда покончено.

«В сочинениях Платона о государстве... также стремились отыскать *современную* идею о народнохозяйственном разделении труда». Это должно, вероятно, относиться к месту «Капитала» в главе XII, 5 (стр. 369 третьего немецкого издания)¹, где доказывается, однако, наоборот, что взгляд классической древности на разделение труда находился «в стройжайшей противоположности» к современному. — Высокомерное задиране носа и ничего больше не вызывает у г. Дюринга гениальное для своего времени изображение разделения труда Платоном, как естественной основы города (который у греков был равнозначен государству), и вызывает оно такое отношение к себе только потому, что Платон не упоминает (но ее указал грек Ксенофонт, г. Дюринг!) о «границе, которую данные размеры рынка полагают для дальнейшего разветвления профессий и технического разделения специальных операций... только представление об этой границе сообщает значение экономически важной истины идее, которая в противном случае едва ли заслуживает названия научной».

«Профессор» Рошер, к которому г. Дюринг относится с таким презрением, провел, однако, эту «границу», при которой идея разделения труда впервые становится «научной», и потому прямо провозгласил Ад. Смита родоначальником закона разделения труда. В обществе, где производство товаров составляет господствующий способ производства, «рынок», выражаясь по-дюринговски, всегда был весьма известной среди «деловых людей» границей. Но требуется нечто большее, чем одно «знание и инстинкт рутинь», для понимания того, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, а, наоборот, разложение прежних общественных связей и возникающее отсюда разделение труда создали рынок (см. «Капитал», I, глава XXIV, 5: создание внутреннего рынка для промышленного капитала).

«Роль денег была во все времена первым и главным стимулом для хозяйственных (!) мыслей. Но что знал какой-нибудь Аристотель об этой роли? Ясно, не более того, что обмен с помощью денег заменил собою первоначальный натуральный обмен».

Но если «какой-нибудь» Аристотель имеет все-таки дерзость открыть обе различные формы обращения денег, одну, в которой они функционируют как простое орудие обращения, и другую, в которой они функционируют как денежный капитал, то, по словам г. Дюринга, он выражает этим «лишь нравственную антипатию». А когда «какой-нибудь» Аристотель самонадеянно берется анализировать «роль» денег как *мерила стоимости* и действительно правильно ставит эту столь важную для учения о деньгах проблему, то «какой-нибудь» Дюринг предпочитает уж совершенно умолчать о такой непопозволенной дерзости, — разумеется, по вполне основательным тайным соображениям.

Конечный итог: в отражении дюринговского «принятия к сведению», греческая древность обладала в сущности «только самыми обыкновенными идеями» (стр. 25), если только подобные «глупости»

¹ См. русское издание «Капитала», изд. 1937 г., стр. 404.

(стр. 29) имеют вообще что-либо общее с обыкновенными или необыкновенными идеями.

Главу г. Дюринга о меркантилизме гораздо лучше прочесть в «оригинале», т. е. в «Национальной системе» Ф. Листа, глава 29: «Промышленная система, ошибочно называемая на языке школы меркантильной системой». Как тщательно г. Дюринг умеет и здесь избежать всякой «видимости учености», показывает, между прочим, следующее.

Ф. Лист, в 28-й главе, трактующей об итальянских политико-экономах, говорит: «Италия опередила все новейшие нации в области политической экономии, как в теории, так и в применении ее на практике», и упоминает далее как «первое сочинение специально по политической экономии, написанное в Италии, книгу неополитанца Антонио Серра о способе доставить королевствам избыток золота и серебра (1613 г.)». Г-н Дюринг, ничтоже сумняшеся, принимает это указание и потому может рассматривать «Breve trattato» Серры «как своего рода надпись над входом в новейший пролог к истории экономии». Этим «беллетристическим дурачеством» в сущности и ограничивается его рассмотрение «Breve trattato». К несчастью, дело происходило в действительности иначе: уже в 1609 г., т. е. четырьмя годами ранее «Breve trattato», появилось сочинение «A Discourse of Trade etc.» Томаса Мэна. Это сочинение уже в первом своем издании имело особое значение в том отношении, что было направлено против так называемой *монетной системы*, которая тогда еще защищалась в Англии как действующая правительственная практика; оно представляло, следовательно, сознательное *самотмежевание* меркантилизма от системы-родоначальницы. Уже в первоначальном своем виде сочинение Мэна выдержало несколько изданий и оказало непосредственное влияние на законодательство. Совершенно переработанное самим автором и появившееся в 1664 г., уже после его смерти, под заглавием «England's Treasure etc.», сочинение это оставалось еще в течение ста лет евангелием меркантилизма. Если меркантилизм имеет, следовательно, какое-нибудь составляющее эпоху сочинение, «как своего рода надпись над входом», то таковым следует признать книгу Мэна, но именно потому она совершенно не существует для «тщательно соблюдающей ранги» истории г. Дюринга.

Об основателе современной политической экономии, *Петти*, г. Дюринг сообщает нам, что он отличался «довольно легкомысленными суждениями», далее — «недостаточным чутьем к внутренним и более тонким различиям понятий»..., «разносторонностью, которая много знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не останавливаясь основательно ни на какой глубокой мысли»... он «рассуждает о народном хозяйстве еще очень грубо» и «приходит к наивностям, контраст которых... может иной раз и позабавить серьезного мыслителя». И разве мы не имеем в таком случае пред собою пример высокой снисходительности, когда «серьезный мыслитель», г. Дюринг, устаивает вообще заметить «какого-нибудь Петти! Но как он замечает его?

Рассуждения Петти относительно «труда и даже рабочего времени, как меры стоимости, о чем у него встречаются *неясные следы*», у г. Дюринга не упоминаются больше нигде, кроме этой фразы. Неясные следы. В своем «*Treatise on Taxes and Contributions*» (первое издание, 1662) Петти дает вполне ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Иллюстрируя ее ближайшим образом на равноценности благородных металлов и зерна, требующих одинакового количества труда для своего производства, он говорит первое и последнее «теоретическое» слово о стоимости благородных металлов. Но, сверх того, Петти высказывает определенно и в общей форме мысль, что стоимости товаров измеряются *равным трудом* (equal labour). Он применяет свое открытие к решению разных проблем, отчасти весьма запутанных, и местами, по разным случаям и в разных сочинениях, делает важные выводы из этого главного положения, даже там, где он его не повторяет прямо. Но даже в своем первом сочинении он говорит: «я утверждаю, что это (т. е. оценка равным трудом) составляет *фундамент для уравнивания и взвешивания стоимостей*; однако же я должен сознаться, что в надстройке и практическом применении этого положения встречается много разнообразного и запутанного». Таким образом, Петти одинаково сознает и важность своего открытия и трудность его детального использования. Он пробует поэтому другой путь для достижения известных детальнейших целей. Нужно найти естественный паритет (a natural par) между землей и трудом, так, чтобы стоимость могла быть выражена, по желанию, «в каждом из них или, еще лучше, в обоих». Самое заблуждение гениально.

Г-н Дюринг делает относительно теории стоимости Петти остро продуманное замечание: «если бы он сам острее продумал свою мысль, то мы не встретили бы у него в других местах следов противоположного воззрения, о которых упоминалось уже раньше», — это значит, о которых «раньше» у г. Дюринга ничего не упоминалось, кроме того, что «следы неясны». Здесь обнаруживается весьма характерная манера г. Дюринга «раньше» намекнуть на что-нибудь какой-либо бессодержательной фразой для того, чтобы «потом» дать читателю понять, что он уже «раньше» получил сведения о сути дела, тогда как в действительности автор и раньше и потом увильнул от нее.

Между тем мы находим у Адама Смита не только «следы противоположных воззрений» относительно понятия стоимости и не только два, а целых три, точнее — даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость, которые очень удобно уживаются у него друг с другом. Но что естественно у основателя политической экономии, который, по необходимости, подвигается ощупью, экспериментирует и борется с хаосом идей, лишь начинающих складываться в определенные формы, то чрезвычайно странно встретить у писателя, критически резюмирующего более чем 150-летние исследования, результаты которых перешли уже отчасти из книг в общее сознание. Переходя от великого к малому: мы видели выше, что и сам г. Дюринг тоже предлагает нам на выбор пять различных родов стоимости и, вместе с ними, такое же количество противоположных воззрений.

Разумеется, если бы он сам «острее продумал свою мысль», то не потратил бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Петти на стоимость отбросить своих читателей назад к полнейшей путанице.

Вполне законченная, цельная работа Петти, это — его «*Quantulumcumque concerning Money*», вышедшая в свет в 1682 г., десять лет спустя после его «*Anatomy of Ireland*» (это последнее сочинение появилось «впервые» в 1672, а не в 1691 г., как г. Дюринг списывает с «самых ходячих учебных компиляций»). Последние следы меркантилистических воззрений, встречающиеся в других его сочинениях, здесь совершенно исчезают. Это — маленький шедевр по содержанию и по форме; именно потому даже его заглавие не упоминается ни разу у г. Дюринга. Да оно и в порядке вещей, что по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту претенциозная школьная посредственность может только высказывать свое ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду, что теоретические искры света не выступают перед нами гордо, рядами и шеренгами, как готовые «аксиомы», а выскакивают по-одиночке, благодаря углублению в «сырой» практический материал, например в налоговые вопросы.

Такое же отношение, как к чисто экономическим работам Петти, г. Дюринг обнаруживает и к тому факту, что Петти был основоположником «политической арифметики», в просторечии — статистики. Одно лишь злое пожимание плечами над странностями употребляемых Петти методов! Если мы вспомним те причудливые методы, которые даже Лавуазье применял в этой области науки сто лет спустя, если мы вспомним, как далека еще теперешняя статистика от цели, которую поставил ей Петти, то подобная самодовольная гордость своим лучшим пониманием дела, через два столетия *post festum*, выступает во всей своей неприкрытой нелепости.

Значительнейшие идеи Петти, едва упоминаемые в «предприятии» г. Дюринга, являются, по словам последнего, только слабо связанными между собою удачными мыслями, случайными замечаниями, которым только в наше время придают, при помощи вырванных из контекста цитат, неподобающее им в сущности значение, — которые не играют, следовательно, никакой роли в *действительной* истории политической экономики, а играют таковую только в современных книгах, стоящих ниже уровня глубокомысленной критики г. Дюринга и его «историографии в высоком стиле». Г-н Дюринг рассчитывал, повидимому, на слепо верующий круг читателей, который не осмелится потребовать доказательств его утверждений. Мы вернемся еще скоро к этому вопросу, когда будем говорить о Локке и Норте, сейчас же мы должны бегло коснуться Буагильбера и Ло.

Что касается первого из названных лиц, то мы отметим единственную находку г. Дюринга: он открыл незамеченную раньше связь между Буагильбером и Ло. Заключается эта связь в следующем. Буагильбер утверждает, что благородные металлы могли бы быть заменены в нормальных денежных функциях, которые они выполняют в товарном обращении, кредитными деньгами (*un morceau de*

paper — клочком бумаги). Напротив, Ло воображает, что любое увеличение количества этих «клочков бумаги» увеличивает богатство нации. Отсюда для г. Дюринга вытекает заключение, что «оборот Буагильбера скрывал уже в себе новую форму меркантилизма», другими словами — таил уже в себе Джона Ло. Это убедительнейше доказывается следующим образом: «достаточно было *только* указать «простым клочкам бумаги» ту же роль, которую *должны* играть благородные металлы, и тем самым тотчас же совершилась метаморфоза меркантилизма». Таким же способом можно медленно произвести метаморфозу дяди в тетку. Правда, г. Дюринг успокаивающе прибавляет: «конечно, у Буагильбера не было такого намерения». Но каким же образом, чорт поberi, он мог иметь намерение заменить свое собственное рационалистическое воззрение на денежную роль благородных металлов суеверным воззрением меркантилистов только потому, что, по его мнению, благородные металлы могут быть заменены в этой роли бумагой? — Однако, — продолжает со своей комической серьезностью г. Дюринг, — «однако можно признать, что местами нашему автору удается сделать действительно меткое замечание» (стр. 83).

Относительно Ло г. Дюрингу удается сделать только следующее «действительно меткое замечание»: «понятно, что и Ло не мог вполне *отбросить* указанное основание (т. е. «базис из благородных металлов»), но он довел выпуск билетов до крайности, т. е. до крушения всей системы» (стр. 94). На самом деле, однако, бумажные бабочки, эти простые денежные знаки, должны были порхать в публике не для того, чтобы «отбросить» базис из благородных металлов, а для того, чтобы переманить эти металлы из карманов публики в пустые государственные кассы.

Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной роли, которую г. Дюринг отводит ему в истории политической экономии, послушаем сначала, что сообщается нам о ближайших его преемниках, Локке и Норте. В одном и том же 1691 г. вышли в свет «Considerations on lowering of Interest and Raising of Money» Локка и «Discourses upon Trade» Норта.

«То, что он (Локк) писал о проценте и монете, не выходит за пределы размышлений, которые при господстве меркантилизма были обычны в связи с событиями государственной жизни» (стр. 64). Теперь для читателя этого «реферата» должно стать совершенно ясным, почему «Lowering of Interest» Локка приобрело во второй половине XVIII столетия такое влияние на экономическую мысль во Франции и Италии, притом в разнообразных направлениях.

«По вопросу о свободе процентной ставки многие лица из делового мира придерживались сходных (с Локком) воззрений, и само развитие отношений приносило с собою склонность видеть в стеснениях процента недействительную на практике меру. В то время, когда какой-нибудь Додлей Норт мог написать свои «Discourses upon Trade» в направлении свободной торговли, должно было как бы носиться уже в воздухе много такого, что теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась чем-то неслыханным» (стр. 64).

Итак, Локку достаточно было еще раз продумать мысли того или другого современного ему «дельца» или же подхватить многое, «как бы носившееся в воздухе» в его время, чтобы теоретизировать о свободе процента и не сказать ничего «неслыханного»! На самом деле, однако, Петти уже в 1662 г. сопоставил в своем «*Treatise on Taxes and Contributions*» процент, как «ренту с денег, которую мы именуем ростовщической лихвою» (*rent of money which we call usury*), с рентой от земель и домов (*rent of land and houses*), и разъяснил лендлордам, которые хотели законодательными мерами держать на низком уровне денежную ренту — не земельную, конечно, — всю тщету и бесплодность издания положительных гражданских законов, противоречащих закону природы (*the vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature*). В своем «*Quantulumcumque*» (1682) он объявляет поэтому законодательную регламентацию высоты процента столь же нелепой, как регулирование вывоза благородных металлов или вексельного курса. В том же сочинении он высказал также то, что навсегда сохранило свое руководящее значение относительно так называемого *raising of money* (попытки придать, например, пол-шиллингу наименование шиллинга, вычеканивая из унции серебра вдвое большее количество шиллингов).

В этом последнем пункте Локк и Норт почти только копируют его. Что касается процента, то Локк примыкает к параллели Петти между процентом с денег и земельной рентой, а Норт идет дальше и противопоставляет процент, как ренту с капитала (*rent of stock*), земельной ренте, а капиталистов (*stock lords*) лендлордам (*landlords*). Но в то время как Локк принимает требуемую Петти свободу процента лишь с ограничениями, Норт принимает ее без всяких оговорок.

Г-н Дюринг положительно превосходит себя, когда он, сам еще заядлый меркантилист в «более тонком» смысле, отделяет «*Discourses upon Trade*» Додлея Норта замечанием, что они написаны в «фритредерском направлении». Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал о Гарвее, что он писал «в направлении» теории кровообращения. Независимо от прочих ее заслуг, работа Норта представляет собою классическое, написанное с беспощадной последовательностью изложение учения о свободе торговли, как внешней, так и внутренней, — в 1691 г., бесспорно, «нечто неслыханное»!

Затем г. Дюринг сообщает, что Норт был «торговцем», к тому же скверным малым, и что его сочинению «не удалось снискать одобрения». Еще бы, нехватало только, чтобы в эпоху окончательной победы таможенного протекционизма в Англии подобная работа встретила одобрение у задававшей тогда тон сволочи! Это не помешало ей, однако, оказать тотчас же теоретическое действие, которое можно проследить в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии непосредственно после нее, отчасти еще в XVII столетии.

На примере Локка и Норты мы убедились, как первые смелые опыты, сделанные Петти почти во всех областях политической экономии, были подхвачены в отдельности его английскими преемниками и разработаны дальше. Следы этого процесса в течение периода с 1691

до 1752 г. бросаются в глаза самому поверхностному наблюдателю уже потому, что все сколько-нибудь значительные экономические работы этого времени отправляются, положительно или отрицательно, от Петти. Вот почему этот период, изобилующий оригинальными умами, представляется наиболее важным для исследования постепенного генезиса политической экономии. «Историография в высоком стиле», ставящая в счет Марксу, как непростительный грех, что «Капитал» так носится с Петти и другими писателями указанного периода, — она попросту вычеркивает их из истории. С Локка, Норта, Буагильбера и Лю она прямо перескакивает на физиократов, и затем у входа в подлинный храм науки о народном хозяйстве появляется Давид Юм. С разрешения г. Дюринга мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами.

Экономические «Опыты» Юма появились в свет в 1752 г. В связанных друг с другом опытах: of Money, of the Balance of Trade, of Commerce («О деньгах», «О торговом балансе», «О торговле») Юм следует шаг за шагом, часто даже в курьезных вывертах, за книгой Якова Вандерлинта: «Money answers all things» (London, 1734). Как бы незнаком ни был этот Вандерлинт г. Дюрингу, все же с ним еще считаются в английских экономических писаниях конца XVIII века, следовательно — в послесмитовский уже период.

Подобно Вандерлинту Юм смотрит на деньги, как на простой знак стоимости; он почти дословно списывает у Вандерлинта (и это обстоятельство важно, так как теорию денег, как знаков стоимости, он мог бы позаимствовать из многих других сочинений), почему торговый баланс не может быть неизменно против какой-нибудь страны или неизменно в пользу ее; подобно Вандерлинту он выставляет учение о равновесии балансов, устанавливаемом естественным путем, сообразно экономическому положению отдельных стран; подобно Вандерлинту он проповедует свободу торговли, только менее смело и последовательно; вместе с Вандерлинтом, только в более плоской форме, он выдвигает роль потребностей, как стимулов производства; он следует за Вандерлинтом, когда ошибочно приписывает влияние на товарные цены банковым деньгам и всем государственным ценным бумагам; вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги; подобно Вандерлинту он ставит товарные цены в зависимость от цены труда, следовательно — от заработной платы; он списывает у него даже тот курьез, что собрание сокровищ удерживает товарные цены на низком уровне, и т. д. и т. д.

Г-н Дюринг давно уже загадочно бормотал что-то насчет неправильного понимания некоторыми денежной теории Юма и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Маркса, провинившегося вдобавок в том, что противозаконно указал в «Капитале» на тайные связи Юма с Вандерлинтом и Дж. Масси, о котором еще будет речь ниже.

С этим «непониманием» дело обстоит следующим образом. Что касается действительной денежной теории Юма, согласно которой деньги являются только знаками стоимости и потому цены това-

ров, при прочих равных условиях, повышаются пропорционально увеличению количества обращающихся денег и падают соответственно уменьшению этого количества, — что касается этой теории, то г. Дюринг при всем желании умеет только повторять — хотя и со свойственной ему прозрачно-ясной манерой изложения — своих ошибавшихся предшественников. Но Юм, выставив указанную теорию, делает себе самому следующее возражение (которое сделал уже Монтескье, исходя из тех же предпосылок): ведь «не подлежит сомнению», что со времени открытия американских приисков золота и серебра «промышленность выросла у всех народов Европы, за исключением владельцев этих приисков», и что этот рост «был обусловлен, между прочим, увеличением количества золота и серебра». Он объясняет это явление тем, что «хотя высокая цена товаров представляет необходимое следствие увеличения количества золота и серебра, однако она не следует непосредственно за этим увеличением, а требуется некоторое время, пока деньги сделают оборот по всему государству и произведут свое действие на все народные круги». В этот промежуточный период они действуют благотворно на промышленность и торговлю. В конце этого рассуждения Юм объясняет нам также причину такого действия, хотя и гораздо одностороннее, чем многие его предшественники и современники: «нетрудно проследить движение денег через все общество, и тогда мы найдем, что они должны подстегивать усердие каждого, пока они не повышают цены труда».

Другими словами: Юм описывает здесь действие революции в стоимости благородных металлов, а именно — их обесценения или, что то же, революции в функции благородных металлов как *меры стоимости*. Он правильно находит, что при постепенно лишь совершающемся выравнивании товарных цен это обесценение «повышает цену труда», в просторечии заработную плату, только в последней инстанции, следовательно раньше оно увеличивает за счет рабочих прибыль купцов и промышленников (что ему кажется вполне в порядке вещей) и, таким образом, «подстегивает усердие». Однако настоящего научного вопроса — влияет ли на товарные цены увеличенный подвоз благородных металлов при неизменной стоимости их, и каким образом осуществляется это влияние, — этого вопроса Юм себе не ставит и сваливает в кучу *всякое* «увеличение количества благородных металлов» с их обесценением. Таким образом, Юм делает именно то, что Маркс ему приписывает («Zur Kritik», стр. 141). Мы вернемся еще вкратце к этому пункту, но сначала обратимся к опыту Юма «О проценте».

Направленную прямо против Локка аргументацию Юма, что процент регулируется не массой наличных денег, а уровнем прибыли, и прочие его разъяснения относительно причин, определяющих высокий или низкий уровень процента, — все это можно найти в гораздо более точной, но менее остроумной форме в одной появившейся в 1750 г., т. е. за два года до юмовского «Опыта», работе: «An Essay on the Governing Causes of Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are con-

sidered) («Опыт об определяющих причинах естественной высоты процента, где рассматриваются взгляды сэра В. Петти и м-ра Локка по этому предмету»). Автор ее — Дж. Масси, разносторонний писатель, которого много читали, как это явствует из английской литературы того времени. Смитовское объяснение высоты процента стоит ближе к Масси, чем к Юму. Оба, и Масси и Юм, не знают и не говорят ничего о природе самой «прибыли», играющей у них такую роль.

«Вообще, — поучает нас г. Дюринг, — в оценке Юма обнаруживали большей частью сильное лицепрятие и приписывали ему идеи, которых он совершенно не разделял». И сам г. Дюринг дает нам более чем одно разительное доказательство этого лицепрятия.

Так, например, опыт Юма о проценте начинается следующими словами: «самым надежным показателем процветания какого-нибудь народа считается — и совершенно справедливо — низкий уровень процента, хотя я полагаю, что причина этого явления несколько иная, чем обыкновенно принято думать». Таким образом, в первом же предложении Юм приводит воззрение, что низкий процент есть надежнейший показатель процветания известного народа, как общее место, ставшее уже банальным в его время. И в самом деле, «идея» эта имела в своем распоряжении целых сто лет со времени Чайльда, чтобы стать ходячей. У г. Дюринга мы читаем напротив: «из воззрений Юма на высоту процента следует *главным образом подчеркнуть* ту идею, что высота процента является истинным барометром условий (каких?) и что низкий уровень его составляет почти безошибочный признак процветания данного народа» (стр. 130). Кто здесь обнаруживает лицепрятие? Никто иной, как г. Дюринг.

Между прочим, наш критический историк выражает свое наивное удивление по поводу того, что Юм, излагая одну удачную мысль, «не выдает себя даже за автора ее». С г. Дюрингом такая история не случилась бы.

Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с таким увеличением их количества, которое сопровождается их обесценением, сопровождается переворотом в их собственной стоимости, следовательно — в мериле стоимости товаров. Это смешение было неизбежно у Юма, ибо он совершенно не понимал функции благородных металлов, как мерилы стоимости. Он и не мог понимать ее, так как абсолютно ничего не знал о самой стоимости. Самое слово фигурирует, быть может, один только раз в его статьях, а именно, в том месте, где он неудачно поправляет ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы «имеют только воображаемую стоимость», и говорит, что они имеют «главным образом фиктивную стоимость».

Он стоит в этом вопросе не только ниже Петти, но и ниже многих английских своих современников. Ту же «отсталость» обнаруживает он, когда все еще продолжает на старый лад прославлять *купца*, как основную пружину производства, — точка зрения, от которой давно ушел вперед уже Петти. Что касается утверждения г. Дюринга, будто Юм занимался в своих опытах «главными хозяйственными отношениями», то достаточно сравнить с ними хотя бы цитируемое

Ад. Смитом сочинение Кантильона (появилось в свет, как и «Опыты» Юма, в 1752 г., но спустя много лет после смерти автора), чтобы притти в изумление от узкого круга юмовских экономических работ. Юм, несмотря на выдаваемый ему г. Дюрингом патент, остается все-таки почтенной фигурой и в области политической экономии, но здесь он всего менее может быть признан оригинальным исследователем и в еще гораздо меньшей степени человеком, составившим эпоху в науке. Влияние его экономических опытов на тогдашние образованные круги объясняется не только их превосходной манерой изложения, но в гораздо большей еще степени тем, что они представляли прогрессивно-оптимистическое восхваление расцветавшей тогда промышленности и торговли, другими словами — быстро поднимавшегося вверх капиталистического общества, у которого они, естественно, должны были встретить «одобрение». Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому известно, как страстно ненавидела английская народная масса во времена Юма систему косвенных налогов, которая планомерно эксплуатировалась пресловутым сэром Робертом Валполом для облегчения податного бремени земельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы читаем в опыте «О налогах» (Of Taxes), где Юм полемизирует (не называя его по имени) со своим неизменным авторитетом, современником Вандерлинтом, ярким противником косвенных налогов и самым решительным поборником обложения земельной собственности: «они (т. е. налоги на предметы потребления) должны действительно быть уж слишком значительными и слишком неразумно организованными, чтобы рабочий не в состоянии был платить их сам путем усиленного прилежания и бережливости, *не повышая цены своего труда*». Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Валполя, особенно если сопоставить со сказанным место из опыта «О государственном кредите», где по поводу трудности обложения государственных кредиторов говорится следующее: «уменьшение их дохода нисколько не *прикрывалось* бы тем, что оно фигурировало бы как простая статья акцизов или таможенных пошлин».

Как этого и следует ожидать от шотландца, преклонение Юма перед буржуазной стяжательностью отнюдь не было чисто платоническим. Бедняк по происхождению, он дошел до весьма, весьма тяжеловесного тысячефунтового годового дохода, — факт, который у г. Дюринга, так как дело идет не о Петти, выражен в следующей деликатной форме: «благодаря хорошей приватной экономии на основе очень маленьких средств он достиг положения, при котором не имел надобности писать в угоду кому-либо». Когда г. Дюринг говорит дальше о Юме: «он никогда не делал ни малейших уступок влиянию партий, князей или университетов», то хотя действительно неизвестно, чтобы Юм заводил когда-нибудь литературно-компанейские дела с каким-нибудь «Вагенером», однако же мы знаем, что он был стойким защитником вигийской олигархии, что он высоко ценил «церковь и государство» и в награду за эти заслуги получил сначала пост секретаря посольства в Париже, а затем — гораздо более важный и доходный пост помощника статс-секретаря. «В политическом отноше-

нии, — говорит старик Шлоссер, — Юм был и всегда оставался человеком консервативного и строго монархического образа мыслей. Поэтому приверженцы господствующей церковности не обрушивались на него с таким ожесточением, как на Гиббона». «Грубо» плебейский Роббетт говорит: «этот эгоист Юм, этот фальсификатор истории» ругает английских монахов существами откормленными, безбрачными и бесемейными, живущими попрошайничеством, «а между тем он сам никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным жирным толстяком, откормленным в значительной степени на общественные средства, никогда не заслужив этого какой-нибудь действительно общественной службой». У г. Дюринга же мы читаем, что «в практическом отношении к жизни Юм имеет в существенных пунктах очень много преимуществ перед таким человеком, как Кант».

Почему, однако, Юму отводится в «Критической истории» такое преувеличенное положение? Да просто потому, что этот «серьезный и тонкий мыслитель» имеет честь представлять Дюринга XVIII столетия. Подобно тому как Юм служит для доказательства положения, что «создание целой отрасли науки (политической экономии) было делом более просветленной философии», так в существовании предтечи-Юма заключается наилучшая гарантия того, что вся эта отрасль науки найдет свое ближайшее завершение в том феноменальном муже, который пересоздал философию только «более просветленную» в абсолютно светлую философию действительности, и у которого, совсем как у Юма, «занятия философией тесно сочетаются с научной работой над вопросами народного хозяйства... — явление до сих пор беспрецедентное в Германии». Сообразно с этим мы видим, что respectable-ный все-таки, как экономист, Юм раздувается в экономическую звезду первой величины, значение которой могла игнорировать до сих пор только та же зависть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и «руководящие для эпохи» труды г. Дюринга.

* * *

Как известно, школа *физиократов* оставила нам в «Tableau économique» Кенэ загадку, о которую до сих пор тщетно ломали себе зубы критики и историки политической экономии. Эта таблица должна была наглядно иллюстрировать представление физиократов о производстве и обращении всего богатства страны, но осталась довольно-таки темной для следующих поколений экономистов. Г-н Дюринг должен и здесь возжечь для нас окончательный свет. Установить, «какой смысл эта копия отношений производства и распределения имеет у самого Кенэ», — говорит он, — можно лишь в том случае, если «предварительно исследовать точно характерные для него руководящие понятия». Такое предварительное исследование тем более необходимо, что до сих пор эти понятия излагались лишь с «шаткой неопределенностью», и даже у Адама Смита «нельзя распознать их существенных черт». Этому традиционному «легкомысленному изложению» г. Дюринг теперь раз навсегда положит конец. И вот он на протяжении целых пяти страниц издевается над читателем, — пяти страниц, где всякого рода напыщенные обороты, постоянные

повторения и рассчитанный беспорядок должны скрыть тот неприятный факт, что г. Дюринг едва в состоянии сообщить нам о «руководящих понятиях» Кенэ столько, сколько сообщают «самые ходячие учебные компиляции», против которых он так неустанно предостерегает своих читателей. «Одна чрезвычайно сомнительная сторона» этого введения заключается в том, что уже здесь известная пока лишь по названию «Таблица» лишь слегка обнюхивается, а затем автор предается всякого рода «размышлениям», — например, относительно «разницы между затратой и результатом». Если последнего и «нельзя найти в готовом виде в идее Кенэ», то г. Дюринг даст нам, напротив, блестящий пример его, как только он от своей растянутой вводной «затраты» перейдет к своему замечательно краткому «результату», к разъяснению самой таблицы. Итак, приведем сейчас все, но *буквально-таки все*, что он находит нужным сообщить нам о таблице Кенэ.

В «затрате» г. Дюринг говорит: «Ему (т. е. Кенэ) казалось чем-то самоочевидным, что на продукт (г. Дюринг говорил перед этим о чистом продукте) надо смотреть как на *денежную стоимость* и трактовать его как таковую... он связывал свои размышления (!) сразу же с *денежными стоимостями*, которые предполагал как результат продаж всех сельскохозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом (!), он оперирует в столбцах своей таблицы с несколькими миллиардами» (денежных стоимостей). Итак, мы трижды узнали, что Кенэ оперирует в таблице с «денежными стоимостями» сельскохозяйственных продуктов, включая сюда денежную стоимость «чистого продукта». Далее мы читаем в тексте: «Если бы Кенэ пошел по пути действительно естественного способа рассмотрения и оставил в стороне не только благородные металлы и количество денег, но и *денежные стоимости*... На деле, он ведет, однако, счет с одними только суммами стоимости и с самого начала мыслил (!) себе чистый продукт как *денежную стоимость*. Следовательно, в четвертый и пятый раз: в таблице фигурируют только денежные стоимости!

«Он (т. е. Кенэ) получил последний (т. е. чистый продукт), вычитывая издержки и думая (!) главным образом» (хотя и не традиционное, но тем более легкомысленное изложение) «о той стоимости, которая достается земельному собственнику в качестве ренты». — Все еще ни с места, но сейчас вот оно явится: «с другой стороны, однако, чистый продукт тоже переходит, как натуральный предмет, в обращение и становится, таким образом, элементом, который должен служить для содержания класса, именуемого бесплодным. Здесь можно *тотчас* (!) заметить путаницу, получающуюся вследствие того, что в одном случае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в другом — самой вещью». — Вообще *всякое* товарное обращение страдает, повидимому, той «путаницей», что товары вступают в него одновременно и как «натуральный предмет», и как «денежная стоимость». Но мы все еще вертимся вокруг да около «денежных стоимостей», ибо «Кенэ хочет избежать двойного счета народнохозяйственного продукта».

С позволения г. Дюринга: внизу, в «Analyse» таблицы Кенэ, различные роды продуктов фигурируют как «натуральные предметы», а вверх, в самой таблице, фигурируют их денежные стоимости. Кенэ поручил даже потом своему помощнику, аббату Бодо (Beau-deau), внести натуральные предметы *рядом* с их денежными стоимостями прямо в самую таблицу.

После стольких «затрат» следует наконец «результат». Слушайте и удивляйтесь: «однако непоследовательность» (относительно роли, которую Кенэ отводит земельным собственникам) *«тотчас»* выступает наружу, как только мы задаем вопрос: *«что же происходит в народно-хозяйственном круговороте с присвоенным в качестве ренты чистым продуктом?»* Здесь для воззрения физиократов и экономической таблицы возможна была лишь доходящая до мистицизма путаница и произвольность».

Конец — делу венец. Итак, г. Дюринг не знает, «что же происходит в народнохозяйственном круговороте (изображаемом таблицей) с присвоенным в качестве ренты чистым продуктом». Таблица представляет для него «квадратуру круга». Он по собственному признанию не понимает азбуки физиократии. После всего хождения вокруг да около горячей каши, после всего пустословия, всех причудливых прыжков, арлекинад, эпизодов, отступлений, повторений и сваливания в кучу разных вещей, от которого голова идет кругом и которое должно было только подготвить нас к грандиозному разяснению того, «какой смысл имеет таблица у самого Кенэ», — в заключение всего этого стыдливое признание г. Дюринга, что *он сам этого не знает!*

Раз стряхнув с себя эту гнетущую тайну, эту горацеву черную заботу, сидевшую у него за спиной во время прогулки по физиократической стране, наш «серьезный и тонкий мыслитель» снова бодро трубит: «линии, которые Кенэ проводит туда и сюда в своей довольно простой (!), впрочем, таблице» (всего-то их шесть!) «и которые должны изображать обращение чистого продукта», дают повод задуматься, не скрыта ли «в этих причудливых соединениях столбцов» какая-нибудь математическая фантастика; они напоминают о том, что Кенэ занимался квадратурой круга и т. д. Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остаются, по собственному признанию г. Дюринга, непонятными для него, то он вынужден со свойственной ему манерой *набросить на них подозрение*. И теперь он может спокойно прикончить неприятную таблицу: «рассмотрев учение о чистом продукте с этой, вызывающей *чрезвычайные сомнения*, стороны» и т. д. Свое вынужденное признание, что он ни аза не понимает в «Tableau économique» и в «роли», которую играет фигурирующий там чистый продукт, — это г. Дюринг называет «стороной учения о чистом продукте, вызывающей *чрезвычайные сомнения!* Какой юмор отчаяния!

Для того чтобы наши читатели не остались, однако, в том же жестоком неведении насчет таблицы Кенэ, в каком по необходимости пребывают люди, почерпающие свою экономическую мудрость из «первых рук» г. Дюринга, мы заметим вкратце следующее.

Как известно, общество делится у физиократов на три класса: 1) производительный, т. е. действительно занятый в земледелии, класс фермеров и земледельческих рабочих; производительными они именуются потому, что их труд дает излишек — ренту. 2) Класс, присваивающий этот излишек, куда входят земельные собственники и живущие при них лица, государь и вообще оплачиваемые государством чиновники, наконец церковь в качестве присвоительницы церковной десятины. Краткости ради мы будем обозначать дальше первый класс просто как «фермеров», а второй — как «земельных собственников». 3) Промышленный или бесплодный (*stérile*) класс, бесплодный потому, что с точки зрения физиократов он прибавляет к сырью, которое доставляется ему производительным классом, лишь столько стоимости, сколько он потребляет жизненных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Кенэ имеет своей задачей изобразить наглядно, как циркулирует между этими тремя классами весь годовой продукт какой-нибудь страны (фактически Франции) и как он служит для годового воспроизводства.

Первая предпосылка таблицы заключается в том, что везде введена арендная система и вместе с нею крупное хозяйство, в том смысле, какое придавалось этому термину во времена Кенэ, причем образцом являются для него Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции. Фермер выступает поэтому как действительный руководитель земледелия, он представляет в таблице весь производительный (земледельческий) класс и платит земельному собственнику денежную ренту. Всей совокупности фермеров приписывается основной капитал или инвентарь в 10 миллиардов ливров, из коего одну пятую или два миллиарда составляет ежегодно подлежащий возмещению оборотный капитал, — расчет, основанием для которого служили опять-таки наилучшие обрабатываемые фермы упомянутых провинций.

Дальнейшие предпосылки состоят в следующем: 1) ради простоты рассуждения цены предполагаются постоянными, а воспроизводство — простым; 2) всякое обращение, происходящее только внутри одного класса, исключается из рассмотрения, так что принимается во внимание только обращение между классом и классом; 3) все покупки и продажи, совершаемые в течение операционного года между классом и классом, суммируются в одну цифру. Наконец, следует помнить, что во времена Кенэ во Франции, как и в большей или меньшей степени во всей Европе, собственное домашнее производство крестьянской семьи покрывало значительнейшую часть ее потребностей в предметах, не принадлежащих к разряду пищевых средств, и потому предполагается здесь как сама собою разумеющаяся принадлежность земледелия.

Исходным пунктом таблицы является общий урожай, валовая сумма годовых произведений почвы или «вся сумма воспроизводства» страны, в данном случае Франции; потому этот валовой продукт и фигурирует во главе таблицы. Стоимость этого валового продукта исчисляется на основании средних цен произведений почвы у торговых наций. Она составляет 5 миллиардов ливров, — сумму,

которая при возможных тогда статистических расчетах приблизительно выражала денежную стоимость валового земледельческого продукта Франции. Только это, а не какое-либо другое обстоятельство, было основанием, почему Кенэ оперирует в своей таблице «несколькими миллиардами», именно пятью миллиардами, а не пятью турецкими ливрами (Livres tournois).

Весь валовой продукт, стоимостью в 5 миллиардов, находится, следовательно, в руках производительного класса, т. е. ближайшим образом в руках фермеров, которые произвели его путем израсходования годового оборотного капитала в 2 миллиарда, отвечающего общему основному капиталу в 10 миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные средства, сырье и т. д., требующиеся для возмещения оборотного капитала, следовательно — и для содержания всех непосредственно занятых в земледелии лиц, отнимаются от общего урожая в натуре и расходуются для нового сельскохозяйственного производства. Так как, согласно сказанному выше, цены предполагаются постоянными, а воспроизводство — простым, т. е. в однажды установленном масштабе, то денежная стоимость этой заранее снимаемой части валового продукта равна двум миллиардам ливров. Таким образом, эта часть не вступает в общий оборот, ибо, как уже было замечено, из таблицы исключено обращение, поскольку оно происходит лишь в *пределах* каждого особого класса, а не между разными классами.

За возмещением оборотного капитала из валового продукта остается излишек в три миллиарда, из которых два заключаются в жизненных средствах, а один — в сырье. Однако сумма, которую фермеры должны платить земельным собственникам, составляет лишь $\frac{2}{3}$ этого излишка, равные двум миллиардам. Почему только эти два миллиарда фигурируют под рубрикой «чистого продукта», или «чистого дохода», это будет сейчас показано.

Но кроме сельскохозяйственного «полного воспроизводства» стоимостью в 5 миллиардов, из которых в общее обращение вступают 3 миллиарда, в руках фермеров находятся, еще до начала изображенного в таблице движения, все сбережения (*réserve*) нации, два миллиарда наличных денег. С этими сбережениями дело обстоит следующим образом.

Так как исходным пунктом таблицы является весь урожай, то последний образует также конечный пункт хозяйственного года, скажем 1758 г., после которого начинается новый хозяйственный год. В течение этого нового 1759 г. предназначенная для обращения часть валового продукта распределяется путем известного числа отдельных платежей, покупок и продаж, между двумя другими классами. Эти следующие друг за другом раздробленные и растягивающиеся на целый год движения суммируются, однако, — как это безусловно необходимо было для таблицы, — в немногие характерные акты, которые каждый раз обнимают сразу целый год. Таким образом, в конце 1758 г. к классу фермеров приливают назад деньги, которые он уплатил земельным собственникам в качестве ренты за 1757 г. (как это происходит, покажет сама таблица), т. е. к нему

возвращается сумма в 2 миллиарда, так что он может снова пустить ее в обращение в 1759 г. Так как эта сумма, по замечанию Кенэ, гораздо значительнее, чем требуется в действительности для всего обращения страны (Франции), ибо платежи повторяются постоянно мелочами, то находящиеся в руках фермеров два миллиарда ливров представляют всю сумму обращающихся среди нации денег.

Класс получателей ренты, земельных собственников, выступает ближайшим образом, как это случайно происходит еще и теперь, в роли приемщиков платежей. Согласно предположению Кенэ, земельные собственники в тесном смысле слова получают только $\frac{4}{7}$ двухмиллиардной ренты, две же седьмых идут в пользу правительства и одна седьмая — в пользу лиц, получающих церковную десятину. Во времена Кенэ церковь была самой крупной земельной собственницей Франции и получала, сверх того, десятину со всей прочей земельной собственности.

Оборотный капитал (*avances annuelles*), расходуемый «бесплодным» классом в продолжение всего года, состоит из сырья стоимостью в 1 миллиард, — только из сырья, ибо орудия, машины и т. д. считаются изделиями самого этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные изделия в промышленном производстве этого класса, так же мало принимаются в расчет таблицей, как товарное и денежное обращение, происходящее исключительно в его пределах. Вознаграждение за труд, посредством которого бесплодный класс превращает сырье в мануфактурные товары, равно стоимости жизненных средств, получаемых им частью непосредственно от производительного класса, частью косвенным путем, через земельных собственников. Хотя бесплодный класс распадается сам на капиталистов и наемных рабочих, однако, согласно основному воззрению Кенэ, он, как целый класс, находится в наемном услужении производительного класса и земельных собственников. Все промышленное производство, а следовательно, и все его обращение, распределяющееся на следующий за урожаем год, также суммируется в одну цифру. Предполагается поэтому, что в начале изображаемого в таблице движения годовое товарное производство бесплодного класса находится полностью в его руках, что, следовательно, весь его оборотный капитал или сырье, стоимостью в 1 миллиард, превращен в товары стоимостью в два миллиарда, из коих половина представляет цену жизненных средств, потребленных в продолжение этого превращения. Здесь могли бы возразить: но ведь бесплодный класс потребляет также промышленные изделия для своих собственных домашних нужд, где же фигурируют они, раз весь его продукт переходит путем обращения к другим классам? На это мы получаем ответ: бесплодный класс не только потребляет сам часть своих собственных товаров, но старается еще удержать у себя, сверх того, возможно большее количество их. Он продает поэтому пускаемые им в обращение товары выше действительной стоимости и должен это делать, так как мы оцениваем эти товары по стоимости всего их производства. Это обстоятельство не вносит, однако, никаких изменений в данные таблицы, ибо остальные два класса могут фактически полу-

чить мануфактурные товары, только заплатив стоимость всего производства.

Таким образом, мы знаем теперь экономическое положение трех различных классов в начале движения, изображаемого таблицей.

Производительный класс, за возмещением в натуре его оборотного капитала, располагает еще тремя миллиардами валового сельскохозяйственного продукта и двумя миллиардами денег. Класс земельных собственников фигурирует пока еще только со своим правом требования двух миллиардов ренты от производительного класса. Бесплодный класс располагает на два миллиарда мануфактурными товарами. Обращение, происходящее только между двумя из этих трех классов, именуется у физиократов неполным; обращение, совершающееся между всеми тремя классами, называется полным.

Теперь перейдем к самой экономической таблице.

Первое (неполное) обращение. Фермеры платят земельным собственникам деньгами причитающуюся им ренту в два миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные средства у фермеров, к которым притекает, таким образом, обратно половина денег, израсходованных ими на уплату ренты.

В своем «Анализе экономической таблицы» Кенэ не говорит больше ничего ни о государстве, получающем $\frac{2}{7}$, ни о церкви, получающей $\frac{1}{7}$ поземельной ренты, так как общественные роли обоих общеизвестны. Относительно земельных собственников в тесном смысле слова он замечает, однако, что их расходы, куда входят также расходы всей их прислуги, в значительнейшей своей части представляют по меньшей мере бесплодные расходы, за исключением той небольшой части, которая затрачивается на «поддержание и улучшение их имений и на поднятие их культуры». Но настоящая их функция, согласно «естественному праву», именно и заключается «в заботе о хорошем управлении и в производстве затрат на поддержание их вотчин», или, как это разъясняется дальше, в *avances foncières*, т. е. в затратах для подготовки почвы и снабжения ферм всем необходимым, позволяющим фермеру употребить затем весь свой капитал исключительно на дело настоящей сельскохозяйственной культуры.

Второе (полное) обращение. На второй миллиард денег, имеющийся еще в их руках, земельные собственники покупают мануфактурные изделия у бесплодного класса, а этот последний при помощи вырученных таким путем денег приобретает у фермеров жизненные средства на ту же сумму.

Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у бесплодного класса при помощи одного миллиарда денег мануфактурные товары на ту же сумму; значительная часть этих товаров состоит из сельскохозяйственных орудий и других необходимых для сельского хозяйства средств производства. Бесплодный класс посылает фермерам те же деньги назад, покупая на них на один миллиард сырья, для возмещения своего собственного оборотного капитала. Таким образом, к фермерам вернулись обратно израсходованные ими на уплату ренты два миллиарда денег, и движение завершилось. Этим решена также боль-

пая загадка: «что же происходит, собственно, в хозяйственном круговороте с присвоенным в качестве ренты чистым продуктом?»

Мы имели выше, в самом начале процесса, излишек в три миллиарда в руках производительного класса. Из него были уплачены земельным собственникам в качестве ренты только два миллиарда. Третий миллиард излишка образует процент на весь капитал, вложенный в дело фермером, следовательно, на 10 миллиардов — 10 процентов. Этот процент они получают — *nota bene* — не из обращения: он находится в их руках в натуре, и они только реализуют его при посредстве обращения, превращая его путем последнего в мануфактурные товары равной стоимости.

Без этого процента фермер, этот главный агент земледелия, не вложил бы в него своего основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермером той части сельскохозяйственного *прибавочного продукта*, которая представляет процент, составляет для физиократов такое же необходимое условие воспроизводства, как и сам фермерский класс; эту составную часть нельзя, следовательно, причислять к категории национального «чистого продукта» или «чистого дохода», ибо последний характеризуется именно тем, что он может быть потреблен, нисколько не считаясь с непосредственными нуждами национального воспроизводства. Между тем указанный миллиардный фонд служит, согласно Кенэ, большей частью для необходимых в течение года починок и частичных обновлений основного капитала, далее — как резервный фонд против несчастных случаев, наконец, в меру возможности, для увеличения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения культуры сельского хозяйства.

Весь процесс, бесспорно, «весьма прост». В обращение были пущены фермерами два миллиарда деньгами, для уплаты ренты, и на три миллиарда продуктов, из коих две трети — жизненные средства и одна треть — сырье; бесплодным классом были пущены в обращение мануфактурные товары на два миллиарда. Из жизненных средств на сумму двух миллиардов одна половина потребляется земельными собственниками и их домочадцами, другая — бесплодным классом в оплату его труда. Сырье на один миллиард возмещает оборотный капитал того же класса. Из находящихся в обращении мануфактурных товаров на сумму двух миллиардов одна половина достается земельным собственникам, другая — фермерам, для которых она является лишь превращенной формой процента на их основной капитал, получаемого ими непосредственно из сельскохозяйственного воспроизводства. Деньги же, которые фермер внес в обращение, уплатив ренту, возвращаются к нему обратно благодаря продаже его продуктов, и, таким образом, то же круговращение может быть проделано вновь в следующем хозяйственном году.

Теперь пусть читатель восхищается «истинно-критическим» изложением г. Дюринга, столь бесконечно превосходящим «традиционное легкомысленное изложение». После того, как он пять раз под ряд таинственно поставил нам на вид сомнения, возбуждаемые тем, что Кенэ оперирует в таблице одними денежными стоимо-

СТЯМИ, — обстоятельство, оказавшееся вдобавок неправдой, — он приходит, в конце концов, к результату, что стоит ему задать вопрос, «что же происходит в народнохозяйственном круговороте с присвоенным в качестве ренты чистым продуктом», и «для экономической таблицы возможны только путаница и произвольность, доходящие до мистицизма». Мы видели, что таблица, это столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства, как он осуществляется при посредстве обращения, дает весьма определенный ответ на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народнохозяйственном круговороте. Таким образом, «мистицизм» вместе с «путаницей и произвольностью» остаются опять исключительно достоянием г. Дюринга, как «сомнительнейшая сторона» и единственный «чистый продукт» его изучения физиократов.

Такое же короткое знакомство, как с теорией физиократов, г. Дюринг обнаруживает и относительно их исторического влияния. «Вместе с Тюрго, — поучает он нас, — физиократия пришла во Францию и практически и теоретически к своему концу». Если, однако, Мирабо был в своих экономических воззрениях по существу физиократом, если он был первым экономическим авторитетом в учредительном собрании 1789 г., если это собрание в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических положений из теории в практику и, в частности, обложило также сильным налогом земельную ренту, этот чистый продукт, присваиваемый землевладельцами «без равноценной работы», — то все это не существует для «такого человека», как г. Дюринг.

Подобно тому, как одним размахистым росчерком пера через период с 1691 до 1752 г. устранены с дороги все предшественники Юма, так другим росчерком пера устранен сэр Джемс Стюарт (Steuart), занимающий место между Юмом и Адамом Смитом. Об его большом сочинении, которое, независимо от его исторического значения, надолго обогатило область политической экономии, мы ни звука не находим в «предприятии» г. Дюринга. Зато г. Дюринг прилагает к Стюарту самый сильный бранный термин, какой имеется в его лексиконе, и говорит, что он был во времена Ад. Смита «профессором». К сожалению, это обвинение совершенно вымышленное. В действительности Стюарт был шотландским землевладельцем, и, изгнанный из Великобритании за приписанное ему участие в заговоре в пользу Стюартов, он благодаря своему продолжительному пребыванию и путешествию по континенту познакомился близко с экономическими условиями различных стран.

Коротко сказать: согласно «Критической истории» все прежние экономисты имели лишь ту ценность, что либо служили «зачатками», подготовившими более глубокое, «руководящее» основоположение г. Дюринга, либо своей негодностью только и оттеняли настоящееобразие его превосходство. Но все же и в экономии существуют некоторые герои, дающие не только «зачатки» для «более глубокого основоположения», но и известные положения, из которых это последнее, согласно предписанию дюринговой натурфилософии, не «развито»,

а прямо «компонировано». К ним относятся: «несравненно выдающаяся величина» — *Лист*, который к вящей выгоде немецких фабрикантов раздул в «могучие» слова «более субтильные» меркантильные учения Феррье и других; затем — *Кэри*, прямодушно раскрывающий суть своей мудрости в следующей фразе: «система Рикардо есть система розни... она направлена к созданию классовой вражды... его сочинение является руководством для демагога, стремящегося к власти путем раздела земель, войны и грабежа»; наконец, Конфуций лондонского Сити — *Мак Леод*.

Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем будущем захотели бы изучать историю политической экономии, поступят все еще гораздо благоразумнее, если они познакомятся с «водянистыми произведениями», с «плоскостями» и «многословными жиденькими похлебками» «самых ходячих учебных компиляций», нежели если они положатся на «историографию в высоком стиле» г. Дюринга.

* * *

Что же получается в окончательном результате нашего разбора дюринговой «самобытной системы» политической экономии? Ничего, кроме того факта, что после всех гордых слов и еще более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как в философии. Теория стоимости, этот «пробный камень достоинства экономических систем», свелась к тому, что г. Дюринг понимает под стоимостью пять совершенно различных и диаметрально противоречащих друг другу вещей и, следовательно, в лучшем случае, не знает сам, чего хочет. Возвещенные с такой торжественностью «естественные законы всякого хозяйства» оказались все общеизвестными и часто даже не вполне правильно понятыми трюизмами худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, которое имеется для нас у самобытной системы, состоит в том, что они являются результатом «насилия», — фраза, которой филистер всех наций утешает себя в течение тысячелетий во всех своих невзгодах и после которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до нее. Вместо того, чтобы исследовать происхождение и действие этого насилия, г. Дюринг предлагает нам успокоиться с благодарностью на одном слове «насилие», как конечной причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать более подробные разъяснения относительно капиталистической эксплуатации труда, он сначала изображает ее в общем как факт, покоящийся на обложении данью и надбавке к цене, усваивая себе здесь полностью прудоновский «предварительный сбор» (*prélèvement*), — чтобы затем объяснить ее, в частности, при помощи марксовской теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухищряется, таким образом, благополучно примирить между собою два прямо противоречащих друг другу воззрения, единым духом списывая оба. И подобно тому, как он не находил в своей философии достаточно грубых выражений для того самого Гегеля, которого он не переставая эксплуатирует, одновременно опошляя его, так и в «Крити-

ческой истории» не знающее границ охаиванье Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что все сколько-нибудь рациональное, содержащееся в «Курсе» по вопросу о капитале и труде, составляет тоже пошлейший плагиат у Маркса. Невежество, которое в «Курсе» ставит в начале истории культурных народов «крупного землевладельца» и не знает ни слова об общности земельной собственности родовых и сельских общин, в действительности являющейся исходным пунктом всей истории, — это почти непостижимое в наши дни невежество почти превзойдено еще тем невежеством, которое немало кичится собою в «Критической истории», как «универсальная широта исторического кругозора», и немногие устрашающие примеры которого мы привели выше. Коротко говоря: вначале — колоссальная «затрата» самовосхваления, крикливой базарной рекламы, превосходящих друг друга обещаний, а затем — «результат», равный нулю.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

СОЦИАЛИЗМ

I. Исторический очерк

Мы видели во введении (см. Отдел первый), как подготавлившие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали основания разумного государства, разумного общества и безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум оказался в действительности лишь идеализированным рассудком среднего мещанина, развивающегося в современного буржуа. Если общественный строй и новое государство, созданные французской революцией, и могли казаться разумными по сравнению со старыми учреждениями, то они были во всяком случае очень далеки от абсолютной разумности. Царство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое реальное осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своих политических способностях буржуазия искала спасения сперва в подкупности директории, а потом под крылом наполеоновского деспотизма. Обетованный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн.

Не более посчастливилось и разумному общественному строю. Противоположность между богатством и бедностью вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, напротив, усилилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших до известной степени ее прикрытием, а также вследствие исчезновения церковной благотворительности, несколько смягчавшей ее. [Осуществленная теперь на деле «свобода собственности» от феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина свободой продавать эту мелкую собственность, задавленную могущественной конкуренцией крупного капитала и крупного землевладения, именно этим магнатам и превратилась таким образом для мелких буржуа и крестьян в свободу *от* собственности.] Быстрое развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания рабочих масс необходимым условием существования общества. [Чистоган стал, по выражению Карлейля, единственным связывающим элементом этого общества.] Количество преступлений возрастало с каждым годом. Если пороки феодальной эпохи, прежде выставлявшиеся напоказ, теперь хотя и не были уничтожены, все же

были отодвинуты пока на задний план, зато тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, прежде робко скрывавшиеся во тьме. Торговля все более и более проникалась мошенничеством. Революционный девиз «братства» осуществился в плутнях и в зависти, порождаемой конкуренцией. Подкуп заменил грубое насилие, и вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. «Право первой ночи» перешло по наследству от феодалов к фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров, и даже самый брак остался, как и прежде, признанной законом формой, официальным прикрытием проституции, дополняясь к тому же многочисленными нарушениями супружеской верности. Одним словом, возникшие вслед за «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Недоставало только людей, способных констатировать это разочарование, и эти люди явились с началом нового столетия. В 1802 г. вышли «Женевские письма» Сен-Симона; в 1808 г. появилось первое произведение Фурье, хотя основа его теории относится еще к 1799 г.; 1 января 1800 г. Роберт Оуэн взялся за управление Нью-Лэнарком.

Но в это время капиталистическое производство, а вместе с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом были еще очень неразвиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции была еще неизвестна. А между тем лишь крупная промышленность приводит постепенно к конфликтам не только между созданными ею классами, но и между порожденными ею производительными силами и формами обмена, и лишь эти, созданные крупной промышленностью, конфликты ведут с роковой необходимостью к перевороту в способе производства и к устранению его капиталистического характера, причем та же крупная промышленность в гигантском развитии производительных сил дает также средства для разрешения ею же созданных конфликтов. Если в 1800 г. вытекающие из современного общественного порядка конфликты только зарождались, то тем менее было налицо средств для их разрешения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа захватили на минуту власть [и смогли, таким образом, привести к победе буржуазную революцию *против* самой же буржуазии], но этим они доказали только всю невозможность прочного господства этих масс при тогдашних условиях. Пролетариат, еще не выделившийся из общей массы неимущих, составлял в то время лишь зародыш нового класса и не был способен к самостоятельному политическому действию. Он являлся лишь угнетенной, страдающей массой, способной в своей беспомощности ждать избавления только от какой-нибудь внешней, высшей силы.

Это историческое положение отразилось и на учениях основателей социализма. Незрелому капиталистическому производству, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще окутанное туманом неразвитых экономических отношений, пришлось изобретать, создавать из головы. Очевидны были только недостатки общественного строя, их

устранение стало задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более совершенную систему человеческих отношений и навязать ее существующему обществу посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов. Эти новые социальные системы были заранее обречены оставаться утопиями, и чем старательнее разрабатывались они в подробностях, тем дальше уносились в область чистой фантазии.

Отметив этот факт, мы уже не будем на нем останавливаться, так как эта сторона вопроса отошла в область истории. Предоставим литературным лавочникам на манер Дюринга самодовольно перетряхивать эти смешные фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров гениальные мысли и зародыши мыслей, которых не видят слепые филистеры.

[Сен-Симон был сыном великой французской революции, к началу которой он не достиг еще тридцатилетнего возраста. Революция была победой третьего сословия, т. е. большинства нации, занятого в производстве и торговле, над привилегированными до того времени, *праздными* сословиями — дворянством и духовенством. Но победа третьего сословия оказалась в действительности победой маленькой части этого сословия; она свелась к завоеванию политической власти социально-привилегированной частью его, имущей буржуазией. К тому же эта буржуазия быстро развилась еще в процессе революции, с одной стороны — посредством спекуляции конфискованной и затем *проданной* земельной собственностью дворянства и церкви, с другой — посредством надувательства нации военными поставщиками. Именно господство этих спекулянтов привело во время диктатуры Францию и революцию на край гибели и тем самым дало предлог Наполеону для государственного переворота. Таким образом, в голове Сен-Симона борьба между третьим сословием и привилегированными сословиями приняла форму противоположности между «рабочими» и «праздными». Последними являлись не только прежние представители привилегированных сословий, но и все те, кто, не принимая участия в производстве и торговле, жил на свою ренту. А «рабочими» считались не только наемные рабочие, но и фабриканты, купцы и банкиры. Что праздные потеряли способность к умственному руководству и политическому господству, — не подлежало никакому сомнению и окончательно было подтверждено революцией. Что обездоленные не обладали этой способностью, об этом, по мнению Сен-Симона, свидетельствовал опыт периода террора. Кто же в таком случае должен был руководить и господствовать? По мнению Сен-Симона — наука и промышленность, объединенные новой религиозной связью в строго иерархическое, неизбежно мистическое, «новое христианство», призванное восстановить разрушенное со времени реформации единство религиозных воззрений. Наука же — это были официальные ученые, а промышленность — это в первую очередь активные буржуа, фабриканты, купцы, банкиры. Правда, эти буржуа должны были стать чем-то вроде государственных чиновников, дове-

ренных лиц всего общества, но сохраняли по отношению к рабочим командуемое и экономически привилегированное положение. Что касается банкиров, то они были призваны регулировать все общественное производство при помощи регулирования кредита. Такой взгляд вполне соответствовал той эпохе, когда во Франции крупная промышленность, а вместе с ней противоположность между буржуазией и пролетариатом только начали развиваться. Но что Сен-Симон особенно подчеркивает, — это следующее: всюду и всегда его в первую очередь интересует судьба «самого многочисленного и самого бедного класса» (la classe la plus nombreuse et la plus pauvre).]

Уже в «Женевских письмах» Сен-Симона мы находим положение, что «все люди должны работать»; в том же произведении он уже отмечает, что господство террора во Франции было господством неимущих классов. «Посмотрите, — восклицает он, обращаясь к последним, — что произошло во Франции, когда там господствовали ваши товарищи: они создали голод!» Нужна была гениальная проницательность, чтобы в 1802 г. понять, что французская революция была классовой борьбой, [и не только между дворянством и буржуазией, но также] между дворянством, буржуазией и *неимущими массами*. В 1816 г. Сен-Симон заявляет, что политика есть наука о производстве, и заранее предсказывает ее полнейшее поглощение экономикой. Если здесь мысль о происхождении политических учреждений из экономических основ выражена лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана та мысль, что политическая власть над людьми должна превратиться в управление вещами, в заведывание процессами производства, т. е. привести к «отмене государства», о которой так много шумели в последнее время. С таким же превосходством над своими современниками Сен-Симон заявляет в 1814 г., — тотчас по вступлении союзников в Париж, — а затем в 1815 г. (во время войны ста дней), что союз Франции с Англией и этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Нужно было много мужества и исторической дальнорзости, чтобы в 1815 г. проповедывать французам союз с победителями при Ватерлоо.

Если гениальная широта взглядов Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся только к экономической области, то Фурье, со своей стороны, дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя, выраженную при этом с чисто французским остроумием. Он ловит на слове вдохновенных пророков дореволюционной буржуазии и ее подкупленных льстецов после революции. Он беспощадно вскрывает всю материальную и моральную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с блистательными обещаниями прежних просветителей о наступлении царства разума, цивилизации, несущей счастье всем, о способности человечества к бесконечному совершенствованию; он разоблачает пустоту напыщенной фразеологии современных буржуазных идеологов, показывая, какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и изливает весь свой сарказм по поводу полнейшего провала этой фразеологии.

Фурье — не только критик, всегда жизнерадостный по природе, он стал сатириком, и даже одним из величайших сатириков всех времен. Меткими, насмешливыми словами рисует он спекулятивные плутни и мелкобуржуазный дух, овладевший всей французской торговлей в период заката революции. Еще удачнее его сатирическое изображение отношений полов в буржуазном обществе и положение в нем женщины. Ему первому принадлежит мысль, что в каждом данном обществе степень освобождения женщины является естественным мерилом всякого освобождения. Но выше всего поднимается Фурье в своем взгляде на историю человеческого общества. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития: дикость, варварство, патриархат и цивилизация. Под последней он понимает существующее ныне так называемое буржуазное общество, [начавшееся с XVI столетия], и показывает, как эта «цивилизация делает сложным, двусмысленным, двуличным и лицемерным каждый порок, оставшийся в простом виде при варварстве». Он указывает на «порочный круг» непобедимых и вечно возобновляющихся противоречий, в котором движется цивилизация, всегда достигая результатов, противоположных тем, к которым, искренно или притворно, она стремится. Например, по его словам, «в цивилизации бедность порождается самим избытком». Очевидно, Фурье так же мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Так же диалектически он утверждает, вопреки господствовавшей тогда теории о бесконечной способности человека к совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет свой период роста и упадка, и этот свой взгляд он развивает дальше по отношению к будущности всего человечества. Подобно Канту, развивавшему в естествознании идею о будущей гибели земли, Фурье в свое понимание истории включил мысль о будущей гибели человечества.

В то время как над Францией проносился ураган революции, очистивший страну, в Англии совершался менее шумный, но не менее грандиозный переворот. Пар и машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали все основы буржуазного общества. Медленный, вялый ход развития времен мануфактуры превратился в настоящий период бури и натиска в производстве. Все быстрее и быстрее совершалось расслоение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев, а между ними, вместо устойчивого среднего сословия старых времен, мы видим неустойчивую массу ремесленников и мелких торговцев, обреченных на весьма шаткое существование и представляющих самую текучую часть населения. Новый способ производства находился еще на первых ступенях своего восходящего развития; он был еще нормальным, [правильным], единственно возможным, при данных условиях, способом производства, а между тем он успел уже породить вопиющие социальные бедствия: скопление массы бездомного населения в отвратительнейших закоулках больших городов; разрушение всех унаследованных от прошлого связей, патриархального семейного быта, даже самой семьи; ужасающее удлинение рабочего дня — по преимуществу для женщин и детей; испорчен-

ность нравов среди широких масс рабочего населения, внезапно брошенного в совершенно новые условия существования, [из деревни в город, из земледелия в промышленность, из устойчивых условий жизни в ежедневно меняющиеся, ненадежные условия существования]. И тут появился на сцене в качестве реформатора двадцатидевятилетний фабрикант, человек с почти детской чистотой и благородством характера и в то же время прирожденный вождь, каких мало на свете. Роберт Оуэн усвоил учение просветителей-материалистов XVIII века об образовании человеческого характера из взаимодействия, с одной стороны, его природной организации, а с другой — условий, окружающих человека в течение всей жизни, а в особенности в период его развития. Большинство его собратьев по сословию видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годный для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн видел в ней благоприятный случай для осуществления своей любимой идеи и тем самым внесения порядка в хаос. Он в качестве руководителя фабрики, где работало более 500 рабочих, уже пытался, и не без успеха, применить свои идеи в Манчестере. С 1800 по 1829 г. он управлял большой бумагопрядильной фабрикой в Нью-Лэнарке, в Шотландии, и, будучи компаньоном в предпрятии, действовал здесь в таком же духе, но с гораздо большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европе. Население Нью-Лэнарка, постепенно возросшее до 2 500 человек и состоявшее из крайне смешанных и по большей части сильно развращенных элементов, он превратил в образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, уголовные суды и процессы попечительства о бедных стали неизвестными явлениями. Он достиг своей цели единственно тем, что поставил рабочих в условия, более сообразные с человеческим достоинством, и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Нью-Лэнарке были впервые введены детские сады, придуманные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста; дети сами так хорошо проводили в них время, что родители с трудом могли уводить их домой. Рабочий день был сокращен в Нью-Лэнарке до 10¹/₂ часов, тогда как на соперничавших с ним фабриках работа длилась до 13 и 14 часов. А когда хлопчатобумажный кризис принудил к четырехмесячной остановке работ, рабочие продолжали получать полную плату. И при всем том стоимость предприятия возросла более чем вдвое, и вплоть до конца оно приносило собственникам обильный доход.

Но все это не удовлетворяло Оуэна. То положение, в которое он поставил своих рабочих, в его глазах еще далеко не соответствовало человеческому достоинству. «Люди эти были моими рабами», говорил он; сравнительно благоприятные условия существования рабочих Нью-Лэнарка были далеко не достаточны для всестороннего развития их ума и характера, не говоря уже о свободном приложении сил и способностей. «А между тем трудящаяся часть этих 2 500 человек создавала такое количество реального богатства, для производства которого полвека тому назад потребовался бы труд 600 000 человек. Я спросил себя: куда девается разность между количеством продук-

тов, потребляемых 2 500 рабочих, и тем количеством, которое потребовалось бы для прежних 600 000?» Ответ был ясен. Эта разность получалась собственниками фабрики в виде 300 000 фунтов стерлингов [3 000 000 руб.] ежегодного дохода сверх 5% на основной капитал предприятия. Этот ответ еще в большей степени, чем к Нью-Лэнарку, был применим ко всем остальным фабрикам Англии. «Без этого нового источника богатства, созданного машинами, не было бы возможности вести войны для свержения Наполеона и восстановления аристократических принципов общественного устройства. И эта новая сила была ведь делом рук рабочего класса»¹. Ему поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые могучие силы производства, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись Оуэну основами общественного преобразования и должны были служить благосостоянию всех в качестве общественной собственности.

На таких чисто деловых началах, как плод своеобразного коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна. Он до конца сохранил этот свой практический характер. Так, в 1823 г. Оуэн составил проект коммунистических колоний с целью устранения ирландской нищеты и приложил к нему подробное вычисление необходимого основного капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. В своем окончательном плане будущего строя Оуэн обращает особенное внимание на техническую сторону дела, тщательно разрабатывает все подробности, [прилагает при этом перспективные планы, чертежи и рисунки], и все это с таким знанием дела, что если принять его метод общественных реформ, то очень немного можно возразить против подробностей даже с точки зрения специалиста.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока его деятельность была простой филантропией, она доставляла ему богатство, всеобщее одобрение, почет и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только люди его общественного положения, но даже министры и коронованные особы. Но лишь только он выступил со своими коммунистическими теориями, как обстановка изменилась. Три великих препятствия заграждали, по его мнению, путь к общественным реформам: частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным в среде официального общества и лишиться своего общественного положения; но эти соображения ни на волос не убавили энергии его беспощадного нападения. Произошло именно то, что он предвидел: его изгнали из официального общества; игнорируемый прессой, обедневший благодаря неудачным коммунистическим опытам в Америке, поглотившим все его состояние, он обратился прямо к рабочему классу и трудился в его среде еще тридцать

¹ Из обращения под названием «The Revolution in Mind and Practice» [«Революция в умах и в практике»] ко всем «красным республиканцам, коммунистам и социалистам Европы и французскому Временному правительству 1848 г.», но адресованное также и «королеве Виктории и ее ответственному советнику».

лет. Все общественное движение, все действительные успехи, достигнутые рабочим классом Англии, связаны с именем Оуэна. Так, в 1819 г., благодаря его пятилетним усилиям, прошел первый закон, ограничивший работу женщин и детей на фабриках. Под его председательством собрался первый конгресс, на котором трэд-юнионы всей Англии соединились в один большой, всеобщий профессиональный союз. Он же организовал в качестве мероприятий для перехода к общественному строю, уже вполне коммунистическому, с одной стороны, кооперативные товарищества (потребительские и производственные), доказавшие в дальнейшем на практике полную возможность обходиться без кушцов и фабрикантов, а с другой стороны, рабочие базары, на которых продукты обменивались при помощи бумажных денег, единицей которых служил час рабочего времени. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне предвосхитили позднейший прудоновский меновой банк, от которого они отличались как раз тем, что не возводились своим изобретателем в универсальное средство от всех общественных зол, а предлагались только как один из первых шагов к более радикальному переустройству всего общества.

Таковы те люди, на которых суверенный г. Дюринг взирает с высоты своей «окончательной истины в последней инстанции», взирает с презрением, образчики которого мы привели во введении. И это презрение, в известном смысле, имеет свое достаточное основание: оно покоится, в сущности, на истинно ужасающем невежестве относительно сочинений всех трех утопистов. Так, о Сен-Симоне у г. Дюринга говорится, что «основная его идея была по существу верна, и если оставить в стороне некоторые односторонности, то она и теперь может дать толчок к действительному творчеству». Несмотря, однако, на то, что г. Дюринг действительно держал, по видимому, в своих руках некоторые сочинения Сен-Симона, мы на протяжении всех 27 печатных страниц, которые посвящены ему, напрасно искали бы «основных идей» Сен-Симона, как прежде напрасно искали, что, собственно, «должна означать у самого Кенэ» его экономическая таблица; и, в конце концов, мы должны удовлетвориться фразой, что «воображение и филантропический аффект... с соответствующим ему чрезмерным напряжением фантазии господствовали над всем кругом идей Сен-Симона!» У Фурье г. Дюринг знает и рассматривает только изображенные в романтических деталях фантазии будущего, — что, разумеется, «гораздо важнее» для констатирования бесконечного превосходства г. Дюринга над Фурье, нежели исследование того, как последний «*мимоходом*» пытается критиковать реально существующий строй». Мимоходом! Ведь почти на каждой странице его произведений блещат искры сатиры и критики по поводу убожеств достохвальной цивилизации. Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал, что г. Дюринг только «*мимоходом*» провозглашает г. Дюринга величайшим мыслителем всех времен. Что же касается двенадцати страниц, посвященных Роберту Оуэну, то для них г. Дюринг не имеет абсолютно никаких других источников, кроме жалкой биографии филистера Сарганта, который, в свою очередь, был незнаком с важнейшими сочинениями Оуэна,

сочинениями о браке и о коммунистическом строе. Только поэтому г. Дюринг имеет смелость утверждать, что у Оуэна нельзя «предполагать решительного коммунизма». Во всяком случае, если бы г. Дюринг держал хотя бы в руках «The Book of the New Moral World» Оуэна, то он нашел бы выраженным в этой книге не только самый решительный коммунизм, с равной для всех обязанностью труда и равным правом на продукт, — равным соответственно возрасту, как всегда прибавляет Оуэн, — но нашел бы там и вполне разработанный проект зданий для коммунистической общины будущего, с планом, фасадом и видом с высоты птичьего полета. Но если, по примеру г. Дюринга, ограничивать «непосредственное изучение собственных сочинений представителей социалистических идей» знакомством с заголовками или, в лучшем случае, эпиграфами к немногим из их сочинений, то ничего не остается, конечно, как только изрекать подобные нелепые утверждения или сочинять прямые небылицы. Оуэн не только проповедывал «решительный коммунизм», но он также практически применял его в течение пяти лет (в конце 30-х и начале 40-х годов) в колонии Гармони-Холл, в Гемпшире, где коммунизм не оставлял желать ничего в смысле решительности. Я лично знал некоторых бывших участников этого образцового коммунистического эксперимента. Но обо всем этом, как и вообще о деятельности Оуэна между 1836 и 1850 годами, Саргант абсолютно ничего не знает, а потому и «более глубокая историография» г. Дюринга пребывает по этому вопросу во тьме невежества. Г-н Дюринг говорит об Оуэне, что он был «во всех отношениях истинным чудовищем филантропической навязчивости». Но когда тот же г. Дюринг рассказывает нам о содержании книг, с которыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, то мы ни в коем случае не в праве говорить, что он представляет «во всех отношениях истинное чудовище невежественной навязчивости», ибо в наших устах это было бы названо «руганью».

Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое производство было еще так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в самом старом обществе; набрасывая общий план своего нового здания, они принуждены были ограничиваться обращением к разуму именно потому, что не могли еще апеллировать к современной им истории. Но, когда теперь, почти через 80 лет после их выступления, г. Дюринг появляется на сцене с претензией вывести «руководящую» систему нового общественного строя не из наличного, исторически развившегося материала и как его необходимый результат, а из своей суверенной головы, из своего чреватого окончательными истинами разума, то он, который повсюду чует эпигонов, сам является только эпигоном утопистов, самым новейшим утопистом. Он называет утопистов «социальными алхимиками». Пусть так. Алхимия в свое время была необходима. Но с тех пор крупная промышленность развила дремлющие в капиталистическом способе производства противоречия в столь вопиющие антагонизмы, что приближающийся крах этого

способа производства может быть, так сказать, нащупан руками; новые производительные силы могут быть сохранены и развиваемы далее лишь путем введения нового, соответствующего их нынешней стадии развития способа производства; борьба между двумя классами, которые созданы существующим способом производства и постоянно воспроизводятся им, причем происходит все большее обострение классовых противоположностей, — эта борьба охватила все цивилизованные страны и разгорается с каждым днем. Понимание этого исторического процесса, понимание условий социального преобразования, ставшего, благодаря ему, необходимым, как и обусловленных им основных черт последнего, оно теперь достигнуто. И если г. Дюринг фабрикует теперь новый утопический общественный строй не из наличного экономического материала, а просто из своего высочайшего черепа, то далеко не достаточно сказать, что он занимается «социальной алхимией». Нет, он поступает как тот, кто после открытия и установления законов современной химии вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов, кристаллографией и спектральным анализом единственно для открытия... *философского камня*.

II. Очерк теории

Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством и обмен продуктов служат основанием всякого общественного строя; что в каждом исторически возникающем обществе распределение продуктов, а с ним и расчленение общества на классы или сословия определяется тем, как и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренные причины социальных перемен и политических переворотов нужно искать не в головах людей, не в растущем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способов производства и обмена; другими словами — не в *философии*, а в *экономике* данной эпохи. Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующего общественного устройства, убеждение в том, что «безумством мудрость стала, благо — злом», служит лишь указанием того, что в методах производства и в формах обмена незаметно совершились такие изменения, которым уже не соответствует общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий. Из сказанного ясно, что и средства для устранения осознанного зла должны заключаться — в более или менее развитом виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий не может *изобрести* эти средства, он должен *открыть* их в данных материальных фактах производства.

Что же мы можем сказать на основании этого о современном социализме?

Всеми признано, что существующий общественный строй создан господствующим теперь классом — буржуазией. Свойственный бур-

жуазии способ производства, называемый со времени Маркса капиталистическим, был несовместим с местными и сословными привилегиями, равно как и с личными связями феодального строя; буржуазия разрушила феодальный порядок и воздвигла на его развалинах буржуазный общественный строй, царство свободной конкуренции, свободы передвижения, равноправия товаровладельцев, словом — всех буржуазных прелестей. Капиталистический способ производства мог теперь развиваться свободно. С тех пор как пар и машины превратили старую мануфактуру в крупную промышленность, выработавшиеся под управлением буржуазии производительные силы стали развиваться с неслыханной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так же как мануфактура и усовершенствовавшиеся под ее влиянием ремесла пришли некогда в столкновение с феодальными узами цеховщины, крупная промышленность на более высокой ступени своего развития приходит в столкновение с узкими рамками, в которые ее втискивает капиталистический способ производства. Новые производительные силы переросли буржуазные формы их эксплуатации. И этот конфликт между производительными силами и способом производства вовсе не такой конфликт, который существует только в головах людей, — подобно конфликту между первородным грехом и божественной справедливостью, — а существует в действительности, объективно, вне нас, независимо от воли и поведения даже тех людей, деятельностью которых он создан. Современный социализм есть не что иное, как мысленное отражение этого фактического конфликта, идеальное отражение его в головах прежде всего того класса, который страдает от него непосредственно, — рабочего класса.

В чем же состоит этот конфликт?

До появления капиталистического производства, т. е. в средние века, всюду существовало мелкое производство, основанное на частной собственности производителей на средства производства; в деревне господствовало земледелие мелких, свободных или крепостных крестьян, в городе — ремесло. Орудия труда — земля, земледельческие орудия, мастерские и ручные инструменты — были орудиями труда отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное употребление, и, следовательно, по необходимости оставались мелкими — несовершенными, ограниченными. Но потому-то они и принадлежали самим производителям. Концентрировать, укрупнить эти раздробленные, мелкие средства производства, превратить их в современные могучие рычаги производства — такова была историческая роль капиталистического способа производства и его носительницы — буржуазии. Как она исторически выполняла эту роль, начиная с XV столетия, на трех различных ступенях производства: простой кооперации, мануфактуры и крупной промышленности, — подробно изображено в IV отделе «Капитала» Маркса. Но там же показано, что превратить ограниченные средства производства в громадные современные производительные силы буржуазия не могла, не превращая средства производства, принадлежащие отдельным частным лицам, в *общественные*, приводимые в действие лишь усилиями *целого коллектива*

людей. Вместо самопрялки, ручного ткацкого станка, кузнечного молота появились прядильная машина, механический ткацкий станок, паровой молот; вместо маленьких мастерских — громадные фабрики, требующие соединенного труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам производства, и само производство превратилось из ряда разрозненных усилий единиц в ряд общественных действий, а продукты — из произведения отдельного лица в продукты общественные. Пряжа, ткани, металлические товары, выходящие теперь с фабрик и заводов, представляют собой продукт совместного труда множества рабочих, которые поочередно прилагали к ним свои усилия, пока, наконец, не получились готовые вещи. Никто в отдельности не может сказать о них: «Это сделал я, это мой продукт».

Но там, где основной формой производства является стихийное разделение труда в обществе, постепенно возникшее без всякого плана, там продукты неизбежно принимают форму *товаров*, обмен которых, купля и продажа, дает отдельным производителям возможность удовлетворить свои разнообразные потребности. Так и было в средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику земледельческие продукты и покупал у него ремесленные произведения. В это-то общество товаропроизводителей-одиночек вклинился новый способ производства. В стихийную, *без всякого плана* сложившуюся форму разделения труда, царившую во всем обществе, он внес разделение труда, организованное *по плану* на отдельном заводе, рядом с раздробленным производством отдельных производителей появилось *общественное* производство. Продукты того и другого продавались на одних и тех же рынках, а следовательно, по ценам, по крайней мере приблизительно равным. Но плановая организация оказалась могущественнее стихийного разделения труда; продукты общественного фабричного труда стоили дешевле продуктов разброденных мелких производителей. Раздробленное производство отдельных производителей терпело одно поражение за другим, общественное производство революционизировало, наконец, весь старый способ производства. Революционный характер общественного производства, однако, так мало создавался, что оно, наоборот, вводилось именно ради усиления и поощрения товарного производства. Оно возникло в непосредственной связи с известными, уже раньше его существовавшими рычагами производства и обмена товаров: торговым капиталом, ремеслами и наемным трудом. Ввиду того что оно выступило как новая форма товарного производства, свойственные товарному производству формы присвоения также и для нее сохраняли свою полную силу.

При той форме товарного производства, которая существовала в средние века, вопрос о том, кому должны принадлежать продукты труда, не мог даже и возникнуть. Они выделялись каждым отдельным производителем, обыкновенно из собственного материала, часто им же самим произведенного, собственными орудиями и собственными руками или руками семьи. Такому производителю незначительно было присваивать себе свои продукты, они принадлежали ему по самому существу дела. Следовательно, право собственности на про-

дукты основывалось *на собственном труде*. Даже там, где посторонняя помощь имела место на производстве, она в большинстве случаев играла лишь второстепенную роль и зачастую вознаграждалась не одною лишь заработной платою; цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради заработной платы или содержания, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. Но вот началась концентрация средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их по существу дела в общественные средства производства. А с этими общественными средствами производства и продуктами продолжали поступать так, как будто они попрежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор собственник орудий труда присваивал, как правило, продукт своего собственного труда, в котором чужой труд участвовал лишь в виде исключения, то теперь собственник орудий труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не *его*, а исключительно *чужим трудом*. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто фактически приводил в движение средства производства и был настоящим производителем продуктов, а *капиталистами*. Средства производства и производство по существу стали общественными; но их подчинили той форме присвоения, которая своей предпосылкой имеет частное производство отдельных производителей, когда каждый, следовательно, является владельцем своего продукта и выносит его на рынок. Новая форма производства подчиняется этой форме присвоения, несмотря на то, что она устраняет ее предпосылки¹.

Это противоречие, сообщившее новому способу производства его капиталистический характер, заключало в себе *в зародыше все столкновения современности*. И чем полнее становилось господство нового способа производства во всех решающих отраслях производства, во всех наиболее влиятельных в экономическом отношении странах, тем самым оттесняя все дальше остатки раздробленного производства отдельных производителей, *тем резче должна была выступать несовместимость общественного производства с капиталистическим присвоением*.

Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наемного труда уже готовою. Но наемный труд существовал лишь в виде исключения, побочного занятия, переходного положения для рабочего. Земледелец, нанимавший по временам на поденную работу, имел свой собственный клочок земли, продуктами которого он с грехом пополам мог существовать. Цеховые уставы заботились о том, чтобы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером. Но все изме-

¹ Само собой понятно, что если форма присвоения и остается прежней, то характер его вследствие вышеописанного процесса революционизируется не в меньшей степени, чем и характер самого производства. Большая разница, присваиваю ли я продукт своего собственного или продукт чужого труда. Заметим мимоходом, что наемный труд, в котором скрыт в зародыше весь капиталистический способ производства, существует с давних времен. В одиночной, случайной форме мы встречаем его в течение столетий рядом с рабством. Но скрытый зародыш не мог развиваться в капиталистический способ производства раньше, чем созрели необходимые для него исторические условия.

нилось; как только средства производства приобрели общественный характер и сконцентрировались в руках капиталистов. Средства производства и продукты мелких отдельных производителей все более и более обесценивались, и их владельцам не оставалось ничего иного, как наниматься к капиталистам. Наемный труд, существовавший раньше в виде исключения и подсобного промысла, стал общим правилом, основной формой всего производства; из побочного он превратился в единственное занятие рабочих. Рабочий, нанимающийся время от времени, превратился в пожизненного наемного рабочего. Масса наемных рабочих чрезвычайно увеличилась благодаря одновременному крушению феодального порядка, роспуску свит феодалов, изгнанию крестьян из их усадеб и пр. Произошел полный разрыв между средствами производства, сконцентрированными в руках капиталистов, и производителями, лишенными всего, кроме рабочей силы. *Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением проявилось как противоположность между пролетариатом и буржуазией.*

Мы видели, что капиталистическое производство вклинилось в общество, состоявшее из отдельных товаропроизводителей, общественно связанных между собою лишь посредством обмена своих продуктов. Но особенность каждого общества, основанного на производстве товаров, заключается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными отношениями. Каждый производит сам по себе, сколько позволяют случайно имеющиеся в его распоряжении средства производства, для удовлетворения своей индивидуальной потребности обмена. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве он может найти потребителей; никто не знает, найдет ли потребитель его товар, окупит ли он издержки производства, да и вообще будет ли он продан. В общественном производстве господствует анархия. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои, присущие ему и не отделимые от него законы, которые проявляются, вопреки анархии, в ней, через нее. Эти законы проявляются в единственно сохранившейся форме общественной связи — в обмене — и действуют на производителей как принудительные законы конкуренции. Самим производителям они сначала неизвестны и открываются им лишь постепенно, путем долгого опыта. Следовательно, они пролагают себе путь без участия производителей и против производителей в качестве слепо действующих естественных законов их [производителей] формы производства. Продукт господствует над производителями.

В средневековом обществе, в особенности в первые столетия, производство было рассчитано главным образом на собственное потребление. Оно удовлетворяло прежде всего потребности самого производителя и его семьи. Там же, где, как в земледелии, существовала личная зависимость, производство удовлетворяло также потребности феодала. Следовательно, здесь не существовало обмена, и продукты не принимали характера товара. Крестьянская семья сама производила все для нее нужное: орудия и одежду, так же как и пищу. Про-

изводить на продажу она начинала тогда только, когда у нее оставался излишек от собственного потребления, и после уплаты натуральных повинностей помещику; этот пущенный в обмен излишек становился товаром. Городские ремесленники должны были, конечно, с самого начала производить для обмена. Но они сами же производили большую часть нужных для собственного потребления предметов, они имели сады и небольшие поля, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им строительный материал и топливо; женщины пряли лен и шерсть и т. д. Производство с целью обмена, производство товаров еще только возникало. Отсюда — ограниченность обмена, ограниченность рынков, застойный (stabile) способ производства, местная замкнутость по отношению к внешнему миру, тесное единение в местной среде, марка в деревнях, цехи в городах.

С расширением же товарного производства и в особенности с появлением капиталистического способа производства дремавшие раньше законы товарного производства стали действовать с большей силой и ясностью. Старые союзы распались, былая замкнутость была прервана, и производители все более и более превращались в разединенных и независимых товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу и принимала все большие и большие размеры. А между тем главнейшее орудие, с помощью которого капитализм усиливал анархию в общественном производстве, представляло собою прямую противоположность анархии; оно состояло в усилении общественной организации производства в каждом отдельном производственном предприятии. С помощью этого рычага капиталистический способ производства покончил со старой мирной застойностью. Проникая в любую отрасль промышленности, он изгонял из нее старые методы производства. Овладевая ремеслом, он уничтожал старое ремесло. Поле труда стало полем битвы. Великие географические открытия и последовавшая за ними колонизация увеличили во много раз область сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Борьба не ограничивалась уже отдельными местными производителями; местная борьба разрослась, в свою очередь, до размеров национальной борьбы, до торговых войн XVII и XVIII столетий. Наконец, крупная промышленность и возникновение всемирного рынка сделали эту борьбу всеобщей и в то же время придали ей неслыханную напряженность. От обладания естественными или искусственно созданными выгодными условиями производства зависит теперь существование не только отдельных капиталистов, но и целых отраслей промышленности и даже целых стран. Побежденные безжалостно устраняются. Это — дарвиновская борьба за индивидуальное существование, возведенная в степень и перенесенная из царства природы в человеческое общество. Естественное состояние животных представляется венцом человеческого развития. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроизводится как *противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе.*

В этих двух формах проявления того противоречия, которое свойственно ему в силу его происхождения, безвыходно движется капиталистическое производство, описывая тот «порочный круг», который в нем [в капиталистическом производстве] открыл еще Фурье. Но во времена Фурье еще невозможно было видеть, что этот круг постепенно суживается, что движение производства идет по спирали и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром. Неумолимая сила общественной анархии производства превращает постоянно возрастающее большинство человечества в пролетариев, а пролетариат, в свою очередь, положит конец анархии производства. Та же неумолимая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, служащих крупной промышленности, в безусловную обязанность для каждого отдельного капиталиста непрерывно совершенствовать свои машины под страхом разорения. Но совершенствовать машины — значит делать излишним человеческий труд. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов рабочих ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает все более и более усиленное вытеснение самих рабочих при машинах и образование усиленного предложения рабочих рук, превышающее средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует промышленную резервную армию, как я назвал ее еще в 1845 г., являющуюся к услугам производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую крахом, неизбежно следующим за каждым оживлением. Эта армия, постоянно висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором рабочей платы, постоянно удерживая ее на низком уровне, соответственно потребностям капиталистов. Таким образом, выходит, что машина, говоря словами Маркса, является сильнейшим оружием капитала против рабочего класса, что орудие труда постоянно вырывает хлеб из рук трудящегося и собственный продукт рабочих превращается в средство для их порабощения. Оказывается, что сбережение в издержках производства является в то же время самой беззастенчивой растратой рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям труда; что машина, это сильнейшее средство сокращения рабочего времени, превращается в самое верное средство обращения всей жизни рабочего и его семьи в рабочее время, всегда готовое к услугам капитала. Оказывается, что чрезмерный труд одной части рабочего класса обуславливает полную безработицу другой его части, что крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, доводит у себя дома потребление рабочих масс до голодного минимума и таким образом подрывает свой собственный внутренний рынок. «Закон, по которому относительное перенаселение или резервная промышленная армия постоянно удерживается в равновесии с размером и силою накопления капитала, — этот закон приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к скале. Он обуславливает соответствующее накоплению капитала накопление нищеты. Следо-

вательно, накопление богатства на одном полюсе означает накопление нищеты, изнурения, рабства, невежества, огрубения и нравственного вырождения на противоположном полюсе, т. е. в среде того класса, *продукт труда которого становится капиталом*» (Маркс, «Капитал», С. 671). Требовать от капиталистического способа производства другого распределения продуктов имело бы такой же смысл, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь в соединении с нею, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном — водород.

Мы видели, как способность к усовершенствованию, доведенная современными машинами до высочайшей степени, превратилась, вследствие анархии общественного производства, в неумолимый закон, принуждающий отдельных промышленных капиталистов постоянно улучшать свои машины и увеличивать их производительную силу. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Громадная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается детской игрушкой, проявляется теперь в виде *потребности* расширять ее и качественно и количественно; она преодолевает любое противодействие. Это противодействие образуется потреблением, сбытом, рынками для продуктов крупной промышленности. Способность же рынков как к экстенсивному, так и к интенсивному расширению определяется совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может идти в уровень с расширением производства. Столкновение становится неизбежным, и, так как оно не в состоянии разрешить конфликта до тех пор, пока оно не взорвет самый капиталистический способ производства, оно становится периодическим. Капиталистическое производство создает новый «порочный круг».

И действительно, начиная с 1825 г., когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир, производство и обмен всех цивилизованных народов, вместе с их более или менее варварскими придатками, приблизительно раз в десять лет сходят с рельс. Торговля останавливается, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит уничтожается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются всяких средств к существованию именно по той причине, что они произвели эти средства в слишком большом количестве, банкротства следуют за банкротствами, аукционы сменяются аукционами. Застой длится целые годы, массы производителей сил и продуктов уничтожаются и расточаются, пока накопившиеся товары не разойдутся, наконец, по более или менее пониженной цене и не возобновится постепенно движение производства и обмена. Мало-помалу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, промышленная рысь переходит в галоп, уступающий свое место безумному карьеру, настоящей скачке с препятствиями промышленности, торговли, кредита и спекуляции, чтобы, после отчаянных скачков, снова свалиться в бездну краха. И так постоянно сызнова. С 1825 г.

мы уже пять раз пережили этот круговорот и теперь (в 1877 г.) переживаем его в шестой. Характер этих кризисов до такой степени ярко выражен, что Фурье сразу же определил все эти кризисы, назвавши первый из них *crise pléthorique*, кризисом от излишка.

В кризисах противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением доходит до мощного взрыва. Обращение товаров на время прекращается; деньги из орудия обращения становятся его препятствием, все законы производства и обращения товаров действуют навыворот. Экономические столкновения (*Kollision*) доходят до своей высшей точки, — *способ производства восстает против способа обмена*, *производительные силы* — против способа производства, который они переросли.

Тот несомненный факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигает такой степени развития, на которой она становится несовместимой с существующей рядом с нею и над нею анархией производства в обществе, — этот факт становится осязательным для самих капиталистов благодаря совершающейся во время кризисов насильственной концентрации капиталов путем разорения многих крупных и еще большего числа мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического производства надламывается под тяжестью им же самим созданных производительных сил. Он не может уже превращать в капитал всю массу средств производства, они остаются без употребления, а потому вынуждена бездействовать и резервная армия рабочих. Средства производства, жизненные припасы, рабочие руки, все элементы производства и общего благосостояния находятся в избытке. Но, как говорит Фурье, этот «избыток становится источником нужды и лишений», потому что именно он-то и препятствует превращению в капитал средств производства и потребления, ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут функционировать иначе, как превратившись в капитал, т. е. в орудие эксплуатации человеческой рабочей силы. Как привидение, стоит между рабочими и средствами производства и потребления необходимость превращения этих средств производства и потребления в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных рычагов производства; она одна мешает средствам производства действовать, а рабочим жить и трудиться. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства сам обнаруживает свою неспособность к дальнейшему управлению производительными силами. С другой стороны, сами производительные силы с возрастающей силой стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от своего свойства капитала, *к фактическому признанию своего характера — характера общественных производительных сил.*

Это сопротивление мощно возрастающих производительных сил против своего свойства капитала, эта возрастающая необходимость признания их общественной природы принуждает класс самих капиталистов все чаще и чаще рассматривать их как общественные производительные силы, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях. Как периоды промышленной горячки с их

безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, приводят к такой форме объединения больших масс средств производства, какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. Некоторые из этих средств производства и обмена, как, например, железные дороги, по самому существу своему до того колоссальны, что они исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации. На известной ступени развития становится недостаточной и эта форма; [все крупные производители одной и той же отрасли промышленности данной страны объединяются в один «трест», союз, с целью регулирования производства. Они определяют общую сумму того, что должно быть произведено, распределяют ее между собою и навязывают наперед установленную продажную цену. А так как эти тресты при первой заминке в торговле большей частью распадаются, то они этим самым вызывают еще большую концентрацию производства. Целая отрасль промышленности превращается в одно сплошное колоссальное акционерное общество, внутренняя конкуренция уступает место внутренней монополии этого акционерного общества. Так это случилось в 1890 г. с английским производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных фирм перешло в руки единственного, руководимого единым центром акционерного общества с капиталом в 120 миллионов марок.

В трестах конкуренция превращается в монополию, бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством грядущего социалистического общества. Правда, сначала только в пользу и к выгоде капиталистов. Но в этой своей форме эксплуатация становится настолько осязательной, что должна рухнуть. Ни один народ не согласится долго мириться с производством, руководимым трестами, с их неприкрытой эксплуатацией всего общества небольшой шайкой лиц, живущих стрижкой купонов.

Так или иначе, с трестами или без трестов,] государство, как официальный представитель капиталистического общества, вынуждено¹

¹ Я говорю: «вынуждено», так как лишь в том случае, если средства производства или сообщения действительно перерастут управление акционерных обществ, когда переход их в ведение государства станет экономически неизбежным, только тогда, — даже если его совершит современное государство, — он будет экономическим прогрессом, шагом вперед по пути к переходу всех производительных сил в руки самого общества. Но в последнее время, с тех пор, как Бисмарк начал специализироваться в созидаании государственных монополий, появился особого рода фальшивый социализм, проявляющийся то там, то тут в виде особого рода добровольного лакейства, объявляющего без всяких затруднений социализмом *всякое*, даже бисмарковское, обращение средств производства в государственную собственность. Если табачная монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число основателей социализма. Когда бельгийское правительство, из самых обыденных политических и финансовых соображений, само ввязалось в постройку главных железных дорог, когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главные прусские железнодорожные линии ради удобства эксплуатации и пользования ими в случае войны, ради образования из железнодорожных чиновников

взять на себя руководство производством. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог.

Если кризисы показали неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных компаний, трестов и государства доказывает ее ненужность для этой цели. Наемные служащие исполняют теперь все общественные функции капиталистов. Для самих капиталистов не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, стряжки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Капиталистический способ производства, вытеснивший сперва рабочих, вытесняет теперь и самих капиталистов, правда, пока еще не в резервную армию промышленности, а только в разряд излишнего населения.

Но ни переход в руки акционерных обществ [и трестов], ни превращение в государственную собственность не отнимают, однако, у производительных сил их свойств капитала. Относительно акционерных компаний [и трестов] это очевидно. Что же касается современного государства, то оно есть не что иное, как организация, которую создает себе буржуазное общество для охраны общих, внешних условий капиталистического производства от посягательства как рабочих, так и отдельных капиталистов. Какие бы формы ни принимало современное государство, оно остается механизмом чисто капиталистическим, государством капиталистов, идеальным совокупным капиталистом. Чем больше производительных сил захватит оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не устраняются, а наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает противоречий капитализма, но она заключает в себе формальное средство, рычаг их разрешения.

Это разрешение может состоять лишь в фактическом признании общественной природы современных производительных сил, следовательно в приведении способов производства, присвоения и обмена в соответствие с общественным характером средств производства. А этого можно достигнуть только тем, что общество прямо и непосредственно берет в свои руки производительные силы, переросшие всякий другой способ их использования. Общественный характер

послушно вотирующего за правительство стада, а главным образом для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, — то все это ни в коем случае не было социализмом, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. Иначе и королевское общество морской торговли, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии должны быть признаны социалистическими учреждениями [или даже всевозможное предложенное при Фридрихе-Вильгельме III в тридцатых годах каким-то умником огосударствление... домов терриности!]

средств производства и его продуктов, проявляющийся теперь с разрушительной силой слепого закона природы, обрушивающийся против самих производителей, периодически нарушающий ход производства и обмена, будет тогда сознательно проведен в жизнь производителями и превратится из причины неурядицы и периодических катастроф в сильнейший рычаг производства.

Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно и разрушительно, пока мы не понимаем их и не считаемся с ними. Но раз мы узнали их, изучили их действие, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, — а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники, — до тех пор производительные силы действуют помимо нас и против нас, до тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках объединившихся производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой молнии из грозовой тучи и электричеством, покорно действующим в телеграфном аппарате или дуговой лампе, между пожаром и огнем, управляемым руками человека. Когда с современными производительными силами станут обращаться сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественным производством, организованным по плану, рассчитанному на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт поработает сперва производителя, а затем и присвоителя, усугубит место новому способу присвоения, основанному на самой природе современных средств производства: с одной стороны, прямому общественному присвоению продуктов в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой — прямому индивидуальному присвоению их в качестве средств существования и потребления.

Все более и более превращая громадное большинство населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает силу, которая, под страхом собственной гибели, должна совершить этот переворот. Заставляя все более и более обращать в государственную собственность крупные обобществленные средства производства, капитализм сам указывает путь к совершению этого переворота. *Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность.* Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство, как государство. Существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое движется в классовых противоположностях, было необходимо государство, т. е. организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних

условий производства, значит, в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления (рабство, крепостничество, наемный труд). Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество: в древности оно было государством рабовладельцев — граждан государства, в средние века — феодального дворянства, в наше время — буржуазии. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо бы было держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы (крайности), которые проистекают из этой борьбы, — с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, — в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — является в то же время последним самостоятельным актом его, как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другую излишним и само собою засыпает. Место правительства над лицами заступает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не «отменяется», оно отмирает. На основании этого следует оценивать фразу про «свободное народное государство», фразу, имевшую на время агитаторское право на существование, но в конечном счете научно несостоятельную. На основании этого следует оценивать также требование так называемых анархистов, чтобы государство было отменено с сегодня на завтра.

С тех пор как на сцену истории выступило капиталистическое производство, переход всех средств производства в собственность всего общества часто мерещился в виде более или менее туманного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым сектам. Но возможным и исторически необходимым он стал лишь тогда, когда явились материальные условия для его осуществления. Как и всякий другой общественный прогресс, такой переход становится возможным не потому, что осознано, что существование классов противоречит идее справедливости, равенства и т. п., не вследствие простого желания уничтожить классы, а лишь при наличии известных новых экономических условий. Разделение общества на классы, эксплуатирующие и эксплуатируемые, господствующие и угнетенные, было неизбежным следствием прежнего недостаточного развития производства. Пока совокупность результатов общественного труда едва превышает самые необходимые средства существования, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства общества, до тех пор оно неизбежно делится на классы. Рядом с огромным боль-

шинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и ведающий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, обмана и хитрости при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочить свое положение за счет трудящихся классов и превращать управление общественными делами в [усиленную] эксплуатацию масс.

Но если разделение на классы и имело известное историческое оправдание, то оно имело его лишь для данного периода и при данных общественных условиях. Оно обуславливалось недостаточностью производства и будет сметено после полного развития современных производительных сил. И действительно, уничтожение общественных классов предполагает достижение той ступени исторического развития, на которой является анахронизмом не только господство того или другого определенного класса, но и вообще всякое классовое господство, а следовательно, и самое деление на классы. Следовательно, уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классом средств производства и продуктов, — а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства, — не только становится излишним, но и является препятствием для экономического, политического и умственного развития. Эта ступень теперь достигнута. Политическое и умственное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для нее самой, а ее экономическое банкротство повторяется регулярно каждые десять лет. При каждом кризисе общество задыхается под тяжестью своих собственных производительных сил и продуктов, которых оно не может использовать, и остается беспомощным перед бессмысленным противоречием, лишаящим производителей возможности потреблять именно потому, что на продукты нет потребителей. В своем могучем росте средства производства разрывают оковы, наложенные капиталистическим способом производства. Освобождение от этих оков есть единственное предварительное условие непрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного увеличения самого производства. Но это еще не все. Обращение средств производства в общественную собственность устраняет не только нынешние искусственные препятствия правильному его ходу, но также неизбежную теперь фактическую растрату и порчу производительных сил и продуктов, достигающую высших размеров во время кризисов. Сверх того, оно сберегает для общества массу средств производства и продуктов путем устранения безумной роскоши господствующих теперь классов и их политических представителей. Возможность — путем общественного производства — обеспечить всем членам общества вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, а также полное развитие и использование их физических

и умственных способностей, — эта возможность достигается теперь впервые, но она *действительно достигается* ¹.

Вместе с захватом средств производства обществом устраняется товарное производство, а вместе с тем господство продуктов над производителями. Анархия общественного производства заменяется организацией его по заранее обдуманному плану. Прекращается индивидуальная борьба за существование. Таким образом, человек окончательно в известном смысле выделяется из царства животных и из звериных условий существования переходит в условия действительно человеческие. Жизненные условия, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы в той мере, в какой они становятся господами своих собственных общественных отношений. Законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, вполне сознательно применяются ими и, следовательно, подчиняются их господству. Общественное бытие, до сих пор казавшееся людям как бы дарованным свыше природой и историей, становится их собственным, свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие над историей, поступают под контроль самого человека. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени желаемые действия. И это будет скачком человечества из царства необходимости в царство свободы.

[В заключение подведем итоги изложенному нами ходу развития:

1. Средневековое общество: Мелкое индивидуальное производство. Средства производства предназначены для индивидуального потребления и потому, естественно, неуклюжи, мелки, с ничтожным действием. Производство с целью непосредственного потребления продуктов самим ли производителем или его феодальным господином. Лишь там, где оказывается излишек производства над непосредственным потреблением, излишек этот поступает в продажу и поступает в обмен: следовательно, товарное производство находится в зачаточном состоянии; но оно уже и в это время заключает в себе зародыш *анархии общественного производства*.

¹ Несколько цифр могут дать приблизительное понятие о невероятной способности к расширению современных средств производства даже под капиталистическим гнетом. По новейшим вычислениям Гиффена, общая сумма всех богатств Великобритании и Ирландии составляла в круглых числах:

в 1814 г.	2 200 млн. фунт. стерл.,	или 22 млрд. рублей
» 1865 »	6 100 » » » »	61 » »
» 1875 »	8 500 » » » »	85 » »

Что же касается уничтожения средств производства и продуктов во время кризисов, то на втором конгрессе немецких промышленников (в Берлине 21 февраля 1878 года) было установлено, что общая потеря в одной только *германской железной промышленности* достигла во время последнего кризиса 225 миллионов рублей.

II. *Капиталистическая революция*: Переворот в промышленности, совершавшийся сначала посредством простой кооперации и мануфактуры. Концентрация разбросанных до сих пор средств производства в больших мастерских и превращение их этим путем из средств производства отдельных лиц в общественные, — превращение, вообще говоря, не коснувшееся формы присвоения. Старые формы присвоения остаются в полной силе. Появление *капиталиста*: в качестве собственника средств производства он присваивает себе также и продукты и обращает их в товары. Производство становится общественным делом; обмен же, а с ним и присвоение продуктов остаются индивидуальным актом, делом единиц: *продукт общественного труда присваивается отдельным капиталистом*. Это и составляет основное противоречие, откуда вытекают все те противоречия, в которых движется современное общество и которые с особенной ясностью обнаруживаются в крупной промышленности.

а) Отделение производителя от средств производства. Обречение рабочего на пожизненный наемный труд. *Противоположность между пролетариатом и буржуазией*.

б) Возрастающий вес и усиливающееся действие законов, господствующих над товарным производством. Необузданная конкуренция. *Противоречие между общественной организацией на каждой отдельной фабрике и общественной анархией в производстве в целом*.

в) С одной стороны — усершенствование машин, обратившееся благодаря конкуренции в принудительный закон для каждого отдельного фабриканта и означающее в то же время постоянно усиливающееся вытеснение с фабрик рабочих: *возникновение резервной армии промышленности*. С другой стороны — беспредельное расширение производства, также обратившееся в принудительный закон конкуренции для каждого фабриканта. С обеих сторон — неслыханное развитие производительных сил, превышение предложения над спросом, перепроизводство, переполнение рынков, кризисы, повторяющиеся каждые десять лет, порочный круг: *с одной стороны — излишек средств производства и продуктов, с другой — излишек рабочих без занятий и без средств существования*. Но оба эти рычага производства и общественного благосостояния не могут соединиться, потому что капиталистическая форма производства не позволяет производительным силам действовать, а продуктам двигаться иначе, как под условием предварительного превращения их в капитал, чему именно и препятствует их излишек. Это противоречие возрастает до бессмыслицы: *способ производства восстает против формы обмена*. Буржуазия уличается, таким образом, в неспособности к дальнейшему управлению своими собственными общественными производительными силами.

г) Частичное признание общественного характера производительных сил, к которому принуждаются сами капиталисты. Обращение крупных организмов производства и сообщения — сперва в собственность *акционерных компаний*, позже трестов, а затем и *государства*. Буржуазия оказывается излишним классом; все ее общественные функции выполняются теперь наемными служащими.

III. Пролетарская революция: Разрешение противоречий: пролетариат берет общественную власть и обращает с помощью этой власти ускользающие из рук буржуазии общественные средства производства в общественную собственность. Этим он освобождает производительные силы от их существовавшего донныне свойства капитала и дает полную свободу развития их общественной природе. Таким образом, становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану. Развитие производства делает анахронизмом дальнейшее существование различных классов. В той же мере, в какой исчезает анархия общественного производства, замирает политический авторитет государства. Люди, ставшие, наконец, господами своего собственного общественного бытия, становятся вследствие этого господами природы, господами самих себя — свободными.]

Совершить этот освобождающий мир подвиг — таково историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия и самую природу этого переворота и таким образом выяснить призванному к его совершению, ныне угнетенному классу условия и природу его собственного дела — такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения.

III. Производство

Приняв во внимание все предыдущее, читатель не найдет удивительным, что изложенные в последнем отделе основные черты социализма отнюдь не приходятся по вкусу г. Дюрингу. Наоборот. Он должен швырнуть их в бездну всего отверженного, ко всем прочим «ублюдкам исторической и логической фантастики», «диким концепциям», «спутанным и туманным представлениям» и т. д. Для него ведь социализм отнюдь не есть необходимый результат исторического развития и, тем менее, грубо материальных экономических условий современности, направленных на достижение целей «кормления». У него дело поставлено более основательно. Его социализм является конечной истиной в последней инстанции, он представляет «естественную систему общества», он коренится в «универсальном принципе справедливости», и если он все-таки вынужден принять во внимание существующее положение вещей, созданное предыдущей грешной историей, чтобы улучшить его, то в этом надо видеть скорее несчастье для чистого принципа справедливости. Г-н Дюринг создает свой социализм, как и все прочее, при помощи своих пресловутых двух мужчин. Вместо того, чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, эти две марионетки на этот раз разыгрывают для разнообразия пьесу о равноправии — и дюринговский социализм готов в своей основе.

Поэтому само собой разумеется, что у г. Дюринга периодически повторяющиеся промышленные кризисы отнюдь не имеют того исторического значения, которое мы должны были признать за ними.

Для него кризисы представляют лишь случайные отклонения от «нормального хода вещей» и служат, самое большое, поводом «к развиту более правильного порядка». «Обычный способ» объяснения кризисов перепроизводством отнюдь не удовлетворяет его «более точного понимания» вопроса. Впрочем, «к частным кризисам в отдельных областях» такое объяснение «пожалуй применимо». Таков, например, случай «переполнения книжного рынка изданиями сочинений, перепечатка которых внезапно объявляется свободной для всех и которые пригодны для массового сбыта». Г-н Дюринг может, конечно, спокойно лечь спать, с отрадным сознанием того, что его бессмертные творения никогда не наделают такого мирового несчастья. Но при больших кризисах «пропасть между запасами товаров и их сбытом становится столь критически широкой не вследствие перепроизводства, а вследствие отставания народного потребления... вследствие искусственно созданного недопотребления... вследствие преград, полагаемых естественному росту *народной потребности* (!)».

Но, к несчастью, недостаточное потребление масс, ограничение их потребления только тем, что безусловно необходимо для поддержания жизни и для размножения, — отнюдь не новое явление. Оно существует с тех пор, как существуют эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Даже в те исторические периоды, когда положение масс было особенно благоприятно, например в Англии XV столетия, их потребление все-таки было недостаточно, они далеко не располагали для удовлетворения своих потребностей всем продуктом своего годового труда. Если, таким образом, недостаточное потребление составляет постоянное историческое явление в течение тысячелетий, между тем как разражающаяся кризисами общая остановка сбыта вследствие перепроизводства стала наблюдаться лишь в последние 50 лет, то нужна вся вульгарно-экономическая поверхностность г. Дюринга, чтобы объяснить новую коллизию не *новым* явлением перепроизводства, а длящимся тысячелетия старым фактом недостаточного потребления. Это равносильно тому, как если бы в математике стали объяснять изменение отношения двух величин, постоянной и переменной, не тем, что изменяется переменная, а тем, что постоянная осталась неизменной. Недостаточное потребление масс есть необходимое условие всякого покоящегося на эксплуатации общественного строя, следовательно, и капиталистического; но только капиталистическая форма производства доводит дело до кризисов. Таким образом, хотя и верно, что недостаточное потребление масс является одним из условий кризисов и играет в них давно признанную роль, но это нисколько не объясняет нам факта существования кризисов в настоящее время, как и причины, почему их не было раньше.

Г-н Дюринг вообще имеет удивительные представления о всемирном рынке. Мы видели, что он, как настоящий немецкий литератор, пытается происходящие в действительности частные промышленные кризисы объяснить себе примером воображаемых кризисов на лейпцигском книжном рынке, бурю на море объяснить бурей

В стакане воды. Он воображает далее, что нынешнее предпринимательское производство вынуждено «вертеться со своим сбывом главным образом *в кругу самих имущих классов*», — что не мешает ему всего 16 страницами дальше признать главными современными индустриями железоделательную и хлопчатобумажную промышленность, т. е. как раз такие две отрасли производства, продукты которых в ничтожно малом количестве потребляются имущими классами и преимущественно перед всеми другими предназначаются для массового потребления. Куда бы мы ни заглянули в его книгу, везде мы находим только пустую, полную противоречий болтовню о том и о сем. Возьмем, однако, пример из хлопчатобумажной промышленности. В сравнительно небольшом городе Ольдгеме, — одном из десятка городов с населением от 50 до 100 тысяч, группирующихся вокруг Манчестера и занимающихся хлопчатобумажным производством, — в одном этом городе за 4 года, с 1872 по 1875 г., число веретен, занятых прядением одного только 32 №, возросло с 2¹/₂ до 5 миллионов, т. е. до количества, равного общей сумме веретен, находящихся в распоряжении хлопчатобумажной промышленности всей Германии с Эльзасом включительно. Если принять во внимание, что расширение производства в остальных отраслях и центрах хлопчатобумажной индустрии Англии и Шотландии произошло приблизительно в таких же размерах, то нужна значительная доза «основательной» развязности, чтобы нынешний общий застой в сбыте хлопчатобумажной пряжи и тканей объяснять недостаточным потреблением английских народных масс, а не перепроизводством английских хлопчатобумажных фабрикантов¹.

Однако довольно. Нельзя спорить с людьми, которые настолько невежественны в политической экономии, что вообще принимают лейпцигский книжный рынок за рынок в смысле современной индустрии. Укажем поэтому только, что в своих дальнейших рассуждениях г. Дюринг не умеет сообщить нам о кризисах ничего кроме того, что дело идет здесь лишь «об обычной смене сильного напряжения и вялости», что чрезмерная спекуляция «происходит не только от непланового размножения частных предприятий», но что «к причинам возникновения избыточного предложения следует отнести также опрометчивость отдельных предпринимателей и недостаточную частную предусмотрительность». Но что же, в свою очередь, является «причиной возникновения» опрометчивости и недостаточной частной предусмотрительности? Та самая неплановость капиталистического производства, которая обнаруживается в беспорядочном размножении частных предприятий. Принимать перевод какого-либо экономического факта на язык нравственных упреков за открытие новой причины — тоже свидетельство изрядной «опрометчивости».

Покончим на этом с кризисами. После того как в предыдущем

¹ Объяснение кризисов недостаточным потреблением ведет свое начало от Сисмонди, у которого оно имеет еще некоторый смысл. У Сисмонди это объяснение заимствовал Родбертус, а г. Дюринг, в свою очередь, списал его у Родбертуса, придав лишь ему, по своему обыкновению, плоский характер.

отделе мы показали всю неизбежность их возникновения при капиталистическом способе производства и их значение, как кризисов самого этого способа производства, как принудительных орудий общественного переворота, — после этого нам нет надобности тратить слова на возражения против поверхностных взглядов г. Дюринга по рассматриваемому вопросу. Перейдем к его положительному творчеству, к его «естественной системе общества».

Эта система, построенная на «универсальном принципе справедливости» и, таким образом, избавленная от всякой необходимости считаться с несносными материальными фактами, состоит из федерации хозяйственных коммун, между которыми существует «свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и административным нормам». Сама хозяйственная коммуна является, прежде всего, «обширным схематизмом, имеющим значение для истории всего человечества», и далеко превосходит «сбивающуюся на ложные пути половинчатость», скажем, какого-нибудь Маркса. Она означает «совокупность лиц, которые в силу своего публичного права распоряжения известным пространством земли и группою производственных предприятий объединились между собой для совместной деятельности и совместного участия в доходе». Публичное право есть «право на вещь... в смысле *чисто публицистического отношения к природе* и производственным установлениям». Что сие должно обозначать, — над этим пусть поломают себе головы будущие юристы хозяйственной коммуны, мы же отказываемся от какой бы то ни было попытки в этом направлении. Мы узнаем дальше только то, что это право отнюдь не тождественно с «корпоративною собственностью рабочих обществ», которая не исключала бы взаимной конкуренции и даже эксплуатации наемного труда. При этом вскользь говорится, что «идея совместной собственности» (*Gesamteigentum*), встречающаяся также у Маркса, «по меньшей мере неясна и вызывает сомнения, ибо это представление о будущем всегда имеет такой вид, как будто оно означает лишь корпоративную собственность отдельных рабочих групп». Мы снова имеем здесь дело со столь обычным у г. Дюринга «презренным приемом» подтасовки, «для вульгарности которого (как он сам говорит) вполне подходило бы только вульгарное слово — омерзительный»; это такая же ни на чем не основанная неправда, как и другая выдумка г. Дюринга, будто совместная собственность является у Маркса «одновременно индивидуальной и общественной собственностью».

Одно, во всяком случае, ясно: публицистическое право данной хозяйственной коммуны на ее средства производства является исключительным правом собственности, по крайней мере по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также по отношению ко всему обществу и государству. Но оно не должно обуславливать собою «замкнутость от внешнего мира... ибо между различными хозяйственными коммунами существует свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и административным нормам... подобно... нынешней принадлеж-

ности к какому-нибудь политическому организму или участию в хозяйственных делах общины». Следовательно, будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, уравнение которых будет происходить путем притока населения к богатым коммунам и отлива его из бедных коммун. Таким образом, г. Дюринг, желающий устранить конкуренцию на продукты между отдельными коммунами посредством организации национальной торговли, спокойно оставляет существовать конкуренцию между производителями. Вещи поставлены вне сферы конкуренции, люди же оставлены в зависимости от нее.

Однако сказанное еще далеко не выясняет нам сущности «публицистического права». Двумя страницами далее г. Дюринг объявляет нам: торговая коммуна простирается «так же далеко, как и та политическо-общественная область, жители которой объединены все в один субъект права и, в качестве таковых, имеют право распоряжения общественными землями, жилищами и производственными установлениями». Итак, право распоряжения имеет все-таки не отдельная коммуна, а целая нация. «Публичное право», «право на вещь», «публицистическое отношение к природе» и т. п. — все это не только «по меньшей мере неясно и вызывает сомнения», но и находится в прямом противоречии с самим собою. В действительности мы имеем перед собой — по крайней мере, насколько каждая отдельная хозяйственная коммуна представляет собою также субъект права — «одновременно индивидуальную и общественную собственность»; следовательно, эту «туманную убудочную форму» опять можно встретить только у самого г. Дюринга.

Во всяком случае, хозяйственная коммуна распоряжается своими орудиями труда в целях производства. Как же идет это производство? Если судить по тому, что сообщает нам г. Дюринг, оно идет совсем по-старому, с той только разницей, что капиталиста заменяет коммуна. Сверх этого мы узнаем лишь, что только отныне каждому будет впервые предоставлен свободный выбор профессии и что устанавливается равная для всех обязанность труда.

Основой всех существовавших до сих пор способов производства было разделение труда, с одной стороны, внутри общества, с другой — внутри каждого отдельного производственного предприятия. Как относится к нему дюринговская «социалитарная организация» (Sozialität)?

Первым крупным общественным разделением труда является отделение города от деревни. Этот антагонизм, по существу вещей, «неустраним», полагает г. Дюринг. Однако «не вполне правильно представлять себе пропасть между земледелием и индустрией... непроходимой. В действительности уже теперь существует некоторая непрерывность перехода между ними, и в будущем она, судя по всему, должна стать значительно большей». Так, например, в земледелие и сельское хозяйство проникли уже две индустрии: «во-первых, винокурение, во-вторых, производство свекловичного сахара... значение же производства спирта так велико, что его скорее преуменьшают, чем преувеличивают». И «если бы вследствие каких-

нибудь открытий оказалось возможным образование такого значительного круга индустрий, чтобы явилась необходимостью локализовать производство в деревне и опираться непосредственно на производство местного сырья», то этим самым была бы ослаблена противоположность между городом и деревней и «приобретена широчайшая основа для развития цивилизации». Впрочем, «нечто подобное может возникнуть и другим путем. Кроме технической необходимости, все большее значение приобретают социальные потребности, и когда эти последние получают решающее влияние на группировку различных видов человеческой деятельности, то невозможно будет оставлять дольше в пренебрежении те выгоды, которые проистекают из систематической тесной связи между занятиями деревни и делом технической переработки ее продуктов».

Но в хозяйственной коммуне стоят на первом плане именно социальные потребности, и, следовательно, она поспешит использовать полностью упомянутые выше выгоды соединения земледелия с индустрией. Г-н Дюринг не преминет теперь, конечно, со своей обычной многоглаголивостью сообщить нам свои «более точные воззрения» на позицию хозяйственной коммуны в этом вопросе? Жестоко обманут был бы читатель, который подумал бы так. Приведенные выше скудные и беспомощные общие места, которые все время вертятся в кругу винокуренной и сахароваренной территории прусского земского права, — вот и все, что г. Дюринг в состоянии сказать нам по вопросу о противоположности между городом и деревней в настоящем и будущем.

Перейдем к разделению труда в деталях. Здесь г. Дюринг уже немного «более точен». Он говорит о «личности, которая должна отдаться *исключительно одному роду деятельности*». Если дело идет о введении какой-нибудь новой отрасли производства, то вопрос заключается просто в том, есть ли возможность некоторым образом создать определенное число *существ*, которые *посвятили бы себя производству одного предмета*, вместе с требующимся для них потреблением (1). Каждая отрасль производства в социалитарной организации «не займет много населения». В «социалитарной организации» тоже будут существовать «экономические породы» людей, «различающиеся образом жизни». Таким образом, в сфере производства все остается приблизительно по-старому. Правда, г. Дюринг признает, что в обществе господствует до сих пор «неправильное разделение труда»; но в чем заключается это неправильное начало и чем оно будет заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаем лишь следующее: «что касается вопроса о самом разделении труда, то, как мы уже сказали выше, он может считаться решенным, раз будут приниматься во внимание факты различных природных условий и личные способности». Рядом со способностями будет играть роль и личная склонность: «привлекательность подъема к таким родам деятельности, которые требуют больших способностей и подготовки, будет покоиться исключительно на склонности к соответствующему занятию и на удовольствии от занятия *именно этим и никаким другим делом*». Таким путем в социалитарной организации будет вы-

звано соревнование, «само производство приобретет известный интерес, и тупое ведение дела, которое ценит производство лишь как средство для получения барыша, перестанет налагать свой отпечаток на все общественные отношения».

Во всяком обществе со стихийно сложившимся развитием производства, — а современное общество является таковым, — не производители господствуют над средствами производства, а средства производства господствуют над производителями. В таком обществе каждый новый рычаг производства необходимо превращается в новое средство порабощения производителей средствами производства. Сказанное относится, прежде всего, к тому рычагу производства, который вплоть до возникновения крупной индустрии был наиболее могуществен, — к разделению труда. Уже первое большое разделение труда, отделение города от деревни, обрело сельское население на тысячелетия отупения, а горожан — на порабощение каждого его специальным ремеслом. Оно уничтожило основу духовного развития первого и физического — вторых. Если крестьянин присваивает себе землю, а городской ремесленник овладевает своим ремеслом, то в такой же степени земля подчиняет себе крестьянина, а ремесло — ремесленника. Вместе с разделением труда делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь стороны деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека растет одновременно с разделением труда, которое достигает своего высшего развития в мануфактуре. Мануфактура разлагает ремесло на его отдельные детальные операции, отводит каждую из них отдельному рабочему, как его пожизненную профессию, и приковывает его, таким образом, на всю жизнь к определенной детальной функции и определенному орудию труда. Мануфактура превращает рабочего в урод, искусственно культивируя в нем одну только одностороннюю сноровку и подавляя весь мир его производственных наклонностей и дарований... сам индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы» (Маркс, «Капитал», т. I, стр. 397), — в автоматическое колесо, которое во многих случаях достигает своего совершенства лишь путем буквального физического и духовного калечения рабочего. Машинизм крупной индустрии низводит затем рабочего от положения машины до роли простого придатка к ней. «Пожизненная специальность — управлять частичным орудием, превращается в пожизненную специальность — служить частичной машине. Машиной злоупотребляют для того, чтобы самого рабочего превратить с раннего детства в часть частичной машины» (Маркс, «Капитал», т. I, стр. 464). И не одни только рабочие, но и прямо или косвенно эксплуатирующие их классы тоже порабощаются, вследствие разделения труда, орудиями своей деятельности: духовно опустошенный буржуа — своим собственным капиталом и своей манией прибыли; юрист — своими окаменелыми правовыми воззрениями, которые владеют им, как самостоятельная сила, «образованные классы» вообще — разнообразными формами местной ограниченности и односторонности, своей собственной физической и

духовной близорукостью, своей изуродованностью воспитанием, рассчитанным на одну определенную специальность, своей пожизненной прикованностью к этой специальности, — хотя бы она состояла в одном ничегонеделании.

Уже утописты отдавали себе вполне ясный отчет относительно последствий разделения труда, относительно вызываемого им калечения, с одной стороны, личности рабочего, а с другой стороны — самой трудовой деятельности, которая сводится к однообразному, механическому повторению одного и того же акта в течение всей своей жизни. Устранения противоположности между городом и деревней требовали и Оуэн и Фурье, види в нем основное условие для уничтожения старой системы разделения труда вообще. У обоих население должно распределяться по стране группами в 1 600—3 000 человек; каждая группа занимает в центре своей территории громадный дворец и ведет общее домашнее хозяйство. И хотя Фурье говорит местами о городах, однако сами эти города состоят только из четырех или пяти таких дворцов, расположенных по соседству друг с другом. По плану обоих этих утопистов каждый член общества занимается и земледелием и промышленностью. У Фурье главную роль в промышленности играют ремесло и мануфактура, у Оуэна, напротив, уже крупное фабрично-заводское производство, и он считает также необходимым введение силы пара и машин в работы домашнего хозяйства. Но оба они требуют, чтобы и в земледелии и в промышленности существовало возможно большее чередование занятий для отдельного лица и чтобы, согласно с этим, юношество подготовлялось воспитанием к возможно более всесторонней технической деятельности. По мнению обоих, человек должен всесторонне развиваться путем всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь вернуть себе утраченную вследствие его разделения привлекательность — прежде всего, посредством указанного чередования занятий и отвечающей ему небольшой продолжительности каждого «сеанса» отдельной работы, употребляя выражение Фурье. Оба названные утописта далеко опередили унаследованное г. Дюрингом воззрение эксплуатирующих классов, которое считает противоположность между городом и деревней неустранимой по природе вещей, которое находится во власти узкой идеи, что известное количество «существ» должно всегда быть обречено на производство *одного* предмета, и которое хочет увековечить существование «экономических пород» людей, различающихся своим образом жизни, — людей, испытывающих удовольствие от того, что они занимаются одним, и никаким другим делом, и, следовательно, так глубоко опустившихся, что они *радуются* своему собственному порабощению, своему превращению в однобокое существо. При сопоставлении с основными мыслями, заключающимися даже в самых безумно смелых фантазиях «идиота» Фурье, при сопоставлении даже с самыми «скудными» идеями «грубого, тусклого и скудного» Оуэна — г. Дюринг, сам еще находящийся всецело во власти разделения труда, производит впечатление самодовольного карлика.

Взяв в свои руки все средства производства, чтобы общественно-

планомерно применять их, общество уничтожит господствующее до сих пор порабощение людей их собственными средствами производства. Само собою разумеется, что общество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека. Старый способ производства должен быть изменен, следовательно, до основания, в особенности же должно исчезнуть старое разделение труда. На его место должна вступить такая организация производства, при которой, с одной стороны, никто не мог бы сваливать на другого свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования, и где, с другой стороны, производительный труд, вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, сделался бы средством их освобождения, предоставляя каждой личности возможность развивать во всех направлениях и применять все свои способности, как физические, так и духовные, — следовательно, где производительный труд из тяжелого бремени превратился бы в удовольствие.

Все это в настоящее время уже отнюдь не фантазия и не благочестивое пожелание. При современном развитии производительных сил достаточно уже того увеличения производства, которое будет вызвано самим фактом обобществления производительных сил, достаточно одного устранения возникающих вследствие капиталистического способа производства помех и пертурбаций, устранения обусловливаемого им расточения продуктов и средств производства, чтобы при всеобщем участии в труде рабочее время каждого было доведено до незначительных, по нынешним понятиям, размеров.

Устранение старой системы разделения труда отнюдь не является таким требованием, которое может быть осуществлено лишь в ущерб производительности труда. Напротив, благодаря крупной промышленности оно стало условием самого производства.

«Машинное производство уничтожает необходимость мануфактурно закреплять это распределение, прикреплять одних и тех же рабочих навсегда к одним и тем же функциям. Так как движение фабрики в целом исходит не от рабочего, а от машины, то здесь может совершаться постоянная смена персонала, не вызывая перерывов процесса труда... Наконец, та быстрота, с которой человек в юношеском возрасте научается работать при машине, в свою очередь устраняет необходимость воспитывать особую категорию исключительно машинных рабочих». Но в то время как капиталистический способ применения машин вынужден сохранять и дальше старое разделение труда с его оскостенелыми особенностями, несмотря на то, что оно стало технически излишним, — само машинное производство восстает против этого анахронизма. Технический базис крупной индустрии революционен. «Посредством машин, химических процессов и других методов она постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных сочетаниях процесса труда. Таким образом, она столь же постоянно революционизирует разделение труда внутри общества и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производства в другую. Поэтому природа крупной

промышленности обуславливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего... Мы видели, как это абсолютное противоречие... неистово проявляется в непрерывных гекатомбах рабочего класса, непомерном расточении рабочих сил и опустошениях, связанных с общественной анархией. Это — отрицательная сторона. Но если перемена труда теперь пролагает себе путь только как непреодолимый естественный закон и со слепой разрушительной силой естественного закона, который повсюду наталкивается на препятствия, то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда, а потому и возможно большей многосторонности рабочих, всеобщим законом общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения. Она, как вопрос жизни и смерти, ставит задачу: чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде; частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции представляют сменяющие друг друга способы жизнедеятельности) («Капитал», т. I, стр. 534—535).

Научив нас преобразовывать для технических целей молекулярное движение, которое можно получить более или менее везде, в движение масс, крупная индустрия в значительной степени освободила промышленное производство от местных рамок. Сила воды была связана с местом, сила пара свободна. Если сила воды носит по необходимости сельский характер, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом. Только капиталистическое применение последней сосредоточивает ее преимущественно в городах и превращает фабричные села в фабричные города. Но этим самым оно подрывает условия правильной работы предприятий. Первая потребность паровой машины и главная потребность почти всех отраслей производства в крупной промышленности — это наличность сравнительно чистой воды. Между тем фабричный город превращает всякую воду в вонючую жижу. Таким образом, хотя концентрация в городах является основным условием капиталистического производства, однако каждый промышленник-капиталист в отдельности постоянно стремится перенести свое предприятие из больших городов, необходимо создаваемых этим производством, в сельскую местность. Этот процесс можно детально наблюдать в текстильных округах Ланкашира и Йоркшира; капиталистическая крупная промышленность создает там непрерывно новые большие города тем, что она непрерывно бежит из города в деревню. То же самое происходит в округах металлообрабатывающей промышленности, где те же результаты порождаются отчасти другими причинами.

Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно вновь воспроизводимое противоречие современной промышленности, возможно опять-таки лишь с уничтожением ее капиталистического

характера. Только общество, гармонически комбинирующее свои производительные силы согласно единому общему плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так, как это наиболее удобно для ее собственного развития и для сохранения и развития остальных элементов производства.

Уничтожение противоположности между городом и деревней, следовательно, не только возможно: оно стало прямой необходимостью для самого промышленного производства, как и для производства сельскохозяйственного, и, сверх того, необходимо в интересах общественной гигиены. Только путем слияния города и деревни можно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом условии хилые массы городского населения сумеют добиться такого положения, при котором их отбросы будут служить в качестве удобрения для производства растений, вместо того чтобы порождать между ними болезни.

Капиталистическая промышленность уже поставила себя в сравнительно независимое положение от ограниченных рамок местного производства необходимого ей сырья. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сырье. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южноамериканская медная руда — в Англии. Каждый каменноугольный бассейн снабжает горючим материалом промышленные районы, лежащие далеко за его собственными границами и с каждым годом все более расширяющиеся. На всем европейском побережьи паровые машины питаются английским каменным углем, местами — немецким и бельгийским. Освобожденное от пут капиталистического производства, общество может пойти в этом направлении еще гораздо дальше. Взрастив новое поколение всесторонне подготовленных производителей, которые понимают научные основы всего промышленного производства и каждый из которых изучил практически целый ряд отраслей производства от начала до конца, общество создаст новую производительную силу, которая с избытком перевесит труд по перевозке сырья и горючих материалов из самых отдаленных пунктов.

Уничтожение разрыва между городом и деревней не представляет, следовательно, никакой утопии и с той стороны, с которой условием его является возможно более равномерное распределение крупной промышленности по всей стране. Цивилизация оставила нам, конечно, в лице крупных городов наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это будет сделано, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Какая бы участь ни была суждена прусско-германской империи, Бисмарк может лечь в могилу с гордым сознанием, что его задушевное желание, гибель больших городов, наверно осуществится.

После всего сказанного можно оценить по достоинству детское представление г. Дюринга, что общество может взять в свои руки всю совокупность средств производства, не производя коренного переворота в старом способе производства и, прежде всего, не устра-

няя старого разделения труда; что задача может считаться решенной, раз только «станут приниматься во внимание естественные условия и личные способности», причем, однако, целые массы человеческих существ останутся попрежнему прикованными к производству одного какого-нибудь продукта, целые «населения» будут заняты *одной* отраслью производства, и человечество будет, как и до сих пор, делиться на известное число различным образом искалеченных «экономических пород», каковыми являются теперь «тачечники» и «архитекторы». Выходит так, что общество должно стать господином средств производства только для того, чтобы каждый отдельный из его членов остался рабом своего орудия производства, получив только право выбора этого орудия. Пусть читатель обратит также внимание на то, как г. Дюринг считает разрыв между городом и деревней «неустранимым по природе вещей» и допускает, в этом отношении, лишь ничтожный паллиатив в специфически прусских по своей связи отраслях производства — винокуренной и свеклосахарной; как он ставит размещение промышленности по всей стране в зависимость от будущих открытий и от *вынужденной* необходимости приурочивать фабрично-заводское предприятие непосредственно к добыче сырья, — сырья, которое уже теперь подвергается обработке во все растущем отдалении от места его добычи; как он, в заключение, пытается прикрыть свой тыл уверением, что социальные потребности, в конце концов, приведут все-таки к соединению земледелия с индустрией, даже *вопреки* экономическим соображениям, словно дело идет о принесении экономической жертвы!

Разумеется, для понимания того, что революционные элементы, которым предстоит устранить старое разделение труда, вместе с отделением города от деревни, и преобразовать все производство, что эти элементы содержатся уже в зачаточном состоянии в условиях производства современной крупной индустрии и встречаются препятствие для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства, — для того, чтобы понять все это, нужно иметь несколько более широкий горизонт, чем область действия прусского земского права, чем страна, где водка и свекловичный сахар являются главными продуктами индустрии и где торговые кризисы изучают на книжном рынке. Для этого надо знать настоящую крупную индустрию в ее историческом развитии и ее современном действительном положении, особенно в той стране, которая является ее родиной и единственным местом, где она достигла своего классического развития. И кто обладает этим знанием, тому не придет, конечно, в голову опешлять современный научный социализм и низводить его до *специфически прусского социализма* г. Дюринга.

IV. Распределение

Мы уже видели выше, что дюринговская политическая экономия сводится к положению: капиталистический способ *производства* вполне хорош и может остаться нетронутым, но капиталистический способ

распределения — он от лукавого и должен исчезнуть. Теперь мы убедились, что дюрингова «социалитарная организация» представляет собою не что иное, как осуществление этого положения в фантазии. Действительно, оказалось, что г. Дюринг не находит почти никаких недостатков в способе производства капиталистического общества, как таковом, что он хочет сохранить прежнее разделение труда во всех его существенных чертах и потому почти ни слова не умеет сказать о производстве в проектируемой им хозяйственной коммуне. Конечно, производство — это область, в которой дело идет об осязательных фактах, и «рациональная фантазия» может предоставить здесь полету своей свободной души лишь незначительный простор, так как опасность осрамиться слишком велика. Другое дело — распределение, которое, по мнению г. Дюринга, не находится ни в какой связи с производством и определяется не способом производства, а актом свободной воли: оно как бы самим небом предназначено для применения его «социальной алхимии».

Одинаковой обязанности каждого участвовать в производстве соответствует одинаковое право на потребление, организованное в хозяйственной коммуне и в обнимающей некоторое число хозяйственных коммун торговой коммуне. Здесь «труд выменивается на другой труд, согласно принципу одинаковой оценки... Выполненная работа и то, что дается за нее взамен, представляют здесь действительно равные количества труда». И притом это «уравнение человеческих сил» сохраняет свое значение «независимо от того, сколько отдельные личности произвели продуктов, больше или меньше, и *даже* в том случае, когда они случайно *ничего* не произвели», ибо всякую деятельность, поскольку она требует затраты времени или сил — следовательно и игру в кегли и прогулку? — надо рассматривать как работу. Но этот обмен происходит не между отдельными личностями, так как община является собственницей всех средств производства, а следовательно, и всех продуктов; он будет совершаться, с одной стороны, между каждой хозяйственной коммунной и ее отдельными членами, и с другой — между различными хозяйственными и торговыми коммунами. «В частности, отдельные хозяйственные коммуны заменяют в своих собственных пределах мелкую торговлю вполне планомерным сбытом». Точно так же будет организована оптовая торговля. «Система свободного хозяйственного общества... остается поэтому громадным учреждением для обмена, операции которого производятся на основаниях, данных благородными металлами. Пониманием безусловной необходимости этого основного свойства наша схема отличается от всех тех туманных воззрений, от которых не освободились еще даже наиболее рациональные формы господствующих ныне социалистических представлений».

В целях этого обмена хозяйственная коммуна, как первая присвоительница общественного продукта, должна назначать «для каждого рода предметов однообразную цену», отвечающую издержкам производства. «Роль, которую играет в настоящее время... для определения стоимости и цены так называемая себестоимость

производства, в социалитарном строе будут играть... оценки требующихся количеств труда. На основании этих оценок, которые, согласно принципу равноправия каждой личности и в хозяйственной также области, можно свести, в конечном счете, к принятию во внимание числа участвовавших в работе лиц, — будет определяться соотношение цен, отвечающее одновременно естественным отношениям производства и общественному праву извлечения выгоды. Производство благородных металлов останется, как и в настоящее время, определяющим элементом для установления стоимости денег... Отсюда видно, что в измененном общественном строе не только не утрачиваются, но, напротив, лишь впервые устанавливаются надлежащим образом принцип определения и мера для стоимостей, а следовательно, и для отношений, в которых продукты взаимно обмениваются». Прославленная «абсолютная стоимость», наконец, осуществлена.

Но, с другой стороны, коммуна должна будет также предоставить индивидуальным лицам возможность покупать у нее произведенные продукты и для этого будет выплачивать каждому своему члену ежедневно, еженедельно или ежемесячно определенную сумму денег в качестве эквивалента за его работу, — сумму, для всех одинаковую. «Поэтому, с точки зрения социалитарной организации безразлично, говорить ли о том, что заработная плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать исключительной формой экономических доходов». Но одинаковые заработные платы и одинаковые цены создадут «количественное, если не качественное, равенство потребления», и тем самым экономически осуществляется «универсальный принцип справедливости». Что же касается определения высоты этой заработной платы будущего, то о ней г. Дюринг говорит только, что здесь, как и во всех других случаях, «одинаковый труд обменивается на одинаковый труд». За шестичасовой труд будут поэтому выплачивать сумму денег, соответствующую в себе также шести рабочим часам.

Однако «универсальный принцип справедливости» отнюдь не следует смешивать с той грубой уравнительностью, которая приводит буржуа в такой гнев против всякого коммунизма, в особенности же против примитивного рабочего коммунизма. Этот принцип далеко не так неумолим, каким охотно желал бы казаться. «Принципиальное равенство прав в экономической области не исключает того, что к требуемому справедливостью будет прибавляемо еще добровольное выражение особой признательности и почета... Общество делает самому себе честь, когда отличает высшие роды работ умеренной прибавкой на предмет потребления». И г. Дюринг тоже делает себе честь, когда, соединяя голубиную невинность с мудростью змия, так трогательно заботится об умеренном добавочном потреблении всех Дюрингов будущего.

Этим самым в социалитарной коммууне окончательно устраняется капиталистический способ распределения. Ибо «если даже допустить, что при наличии такого положения вещей кто-нибудь действительно имел бы в своем распоряжении избыток частных

средств, то он не в состоянии будет найти для них никакого капиталистического применения. Ни отдельная личность, ни группа лиц не станут приобретать у него этот излишек для целей производства иначе, как путем обмена или покупки, но никогда они не будут вынуждены платить ему проценты или барыш». И поэтому допустимо «отвечающее принципу равенства наследование имущества». Оно неизбежно, ибо «наследование в какой-нибудь форме всегда будет необходимым спутником семейного принципа». Право наследования тоже «не сможет привести к накоплению обширных состояний, ибо образование собственности... не может уже иметь здесь больше целью создание средств производства и возможности существовать исключительно в качестве ренты».

Таким образом, хозяйственная коммуна как будто благополучно осуществлена. Посмотрим теперь, как она хозяйствует.

Мы предполагаем, что все проекты г. Дюринга вполне осуществлены и что, между прочим, хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную сумму, в которой воплощены также шесть часов труда, скажем — 12 марок. Равным образом мы предполагаем, что цены точно соответствуют стоимостям, т. е., согласно нашим предпосылкам, включают в себе только издержки на сырье, снашивание машин, потребление средств труда и выплаченную заработную плату. Хозяйственная коммуна, состоящая из ста работающих членов, производит, в таком случае, ежедневно товаров на 1200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих дней, на 360 000 марок, и такую же сумму она выплачивает своим членам, из которых каждый делает с приходящимися на его долю 12 марками в день, или 3600 марками в год, что ему угодно. В конце года, как и через сто лет, коммуна не богаче, чем в самом начале. В течение всего этого времени она не будет даже в состоянии предоставить умеренную прибавку на предмет потребления г. Дюрингу, если она не захочет затронуть для этого свой производственный фонд. Накопление было совершенно забыто в этом расчете. Хуже того: так как накопление является общественной необходимостью и сохранение денег дает удобную для него форму, то организация хозяйственной коммуны прямо поощряет своих членов к частному накоплению и тем самым к ее собственному разрушению.

Как избежать этого противоречия в природе хозяйственной коммуны? Она могла бы прибегнуть к излюбленному «обложению пошлиной», к надбавке на цену, и продавать свое годовое производство вместо 360 000 марок за 480 000. Но так как все остальные хозяйственные коммуны находятся в том же самом положении и потому должны были бы сделать то же, то каждой из них, при обмене с другой, пришлось бы платить столько же «пошлин», сколько она сама кладет в карман, и, таким образом, «дань» ложилась бы целиком на ее собственных членов.

Или же коммуна решит это дело гораздо проще, а именно — за шестичасовой труд она будет выплачивать каждому члену продукт, производство которого потребовало меньше, чем шесть часов

труда, скажем — только продукт четырех часов, т. е. вместо 12 марок будет платить ежедневно только 8 марок, оставляя при этом цены товаров на прежней высоте. В этом случае коммуна прямо и открыто сделает то, к чему она в предыдущем случае стремилась скрыто и окольным путем: она накапливает марксовскую прибавочную стоимость в 120 000 марок ежегодно чисто капиталистическим способом, т. е. оплачивая работы своих членов ниже их стоимости и считая им в то же время по полной стоимости товары, которые они имеют возможность приобретать только у нее. Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае может составить резервный фонд, если, сняв с себя личину, выступит как «облагороженная» truck system¹ на самом широком коммунистическом базисе.

Итак, одно из двух: либо хозяйственная коммуна «обменивает равные количества труда на равные», и в таком случае она не может накопить фонда для поддержания и расширения производства, а это могут сделать только частные лица, либо же она образует такой фонд, и тогда она не обменивает «равные количества труда на равные».

Так обстоит дело с содержанием обмена в хозяйственной коммуне. А как обстоит дело с его формой? Обмен осуществляется посредством металлических денег, и г. Дюринг не мало кичится «всемирно-историческим значением» этого усовершенствования. Но в сношениях между коммуной и ее членами эти деньги отнюдь не являются деньгами и функционируют совсем не в этом качестве. Они служат настоящими трудовыми сертификатами (свидетельствами), или, говоря словами Маркса, они констатируют «только индивидуальное участие производителя в общей работе и его индивидуальное право на предназначенную для потребления часть продукта», и в этой своей функции являются «столь же мало деньгами, как какой-нибудь театральный билет». Они могут поэтому быть заменены каким угодно знаком, и Вейтлинг, например, заменяет их «торговой книгой», где на одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой — полученные за них средства потребления. Одним словом, в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами деньги функционируют просто как оуэновские «рабочие деньги», единицей которых служит час труда — этот «призрак», на который с такою важностью смотрит сверху вниз г. Дюринг и который он сам, однако, принужден ввести в свое хозяйство будущего. Будет ли марка, обозначающая количество исполненных «производственных обязанностей» и приобретенных за это «прав на потребление», ключом бумаги, жетоном или золотой монетой, — это для поставленной сейчас цели совершенно безразлично. Для других целей это далеко не безразлично, как будет показано ниже.

Если, таким образом, металлические деньги уже в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами функционируют не в качестве

¹ Truck system называется в Англии хорошо известная также в Германии система, при которой фабриканты сами имеют лавки и заставляют своих рабочих приобретать нужные им товары в этих лавках.

денег, а как замаскированные трудовые марки, то еще менее они осуществляют свою денежную функцию при обмене между различными хозяйственными коммунами. Здесь, если допустить предпосылки г. Дюринга, металлические деньги совершенно излишни. Действительно, тут было бы совершенно достаточно простой бухгалтерии, которая гораздо проще осуществляет обмен продуктов известного количества труда на продукты такого же количества труда, если она ведет счет при помощи естественного мерилла труда, времени, и рабочего часа, как единицы, чем если она предварительно переводит рабочие часы на деньги. Обмен является в данном случае чисто натуральным обменом; все превышения требований могут быть легко и просто выравниваемы путем переводов на другие коммуны. Если же какая-нибудь коммуна действительно оказалась бы в дефиците по отношению к другим коммунам, то все «существующее во вселенной золото», сколько бы оно ни было «природными деньгами», не в состоянии избавить эту коммуны от необходимости покрытия этого дефицита путем увеличения собственного труда, если только она не желает впасть в долговую зависимость от других коммун. Впрочем, пусть читатель все время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто принимаем предположения г. Дюринга за нечто данное и делаем из них лишь неизбежные логические выводы.

Итак, ни в обмене между хозяйственной коммуной и ее членами, ни в обмене между отдельными коммунами золото, которое «по самой природе своей является деньгами», не может осуществить этой природной своей функции. Тем не менее г. Дюринг предписывает ему выполнять денежную функцию и в «социалитарной организации». При таком положении дела нам приходится поискать для этой денежной функции другого круга действий. И этот круг действительно существует. Хотя г. Дюринг и дает каждому право на «количественно одинаковое потребление», но он никого не может принуждать к этому. Наоборот, он гордится тем, что в созданном им мире каждый может делать со своими деньгами все, что ему угодно. Он не может, следовательно, помешать тому, чтобы некоторые из членов коммуны откладывали деньжонки в кубышку, между тем как другие не в состоянии будут свести концы с концами на выдаваемую им заработную плату. Он делает даже такой исход неизбежным, так как открыто признает в наследственном праве общую собственность семьи, откуда вытекает обязанность родителей содержать детей. Этим несомненно пробивается огромная брешь в принципе количественно одинакового потребления. Холостяк великолепно и весело живет на свой ежесуточный заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовец с восьмью несовершеннолетними детьми может лишь скудно прожить на такой заработок. С другой стороны, коммуна, принимая без рассуждений в уплату всякие деньги, тем самым допускает возможность приобретения этих денег не одним только собственным трудом. Non olet ¹. Она не знает, откуда они берутся.

¹ Деньги не пахнут. *Ред.*

Но, таким образом, даны все условия для того, чтобы металлические деньги, игравшие до сих пор только роль трудовой марки, начали действительно выполнять функцию денег. Налицо имеются и удобные случаи и мотивы, с одной стороны, для образования сокровищ, с другой — для задолженности. Нуждающийся занимает у того, который копит деньги. Полученные займы деньги, принимаемые коммуной в уплату за необходимые жизненные средства, становятся опять тем, чем они являются в современном обществе, т. е. общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим орудием обращения. Все «законы и административные нормы» в мире так же бессильны против этого, как против таблицы умножения или химического состава воды. И так как накапливающий деньги имеет возможность заставить нуждающегося платить проценты, то вместе с функционирующими в качестве денег металлическими деньгами восстанавливается также и ростовщичество.

До сих пор мы рассматривали только вопрос, каково будет действие сохранения металлических денег в пределах области, где господствует дюринговская хозяйственная коммуна. Но вне этой области, в остальной, негодной части мира, все идет пока по старому. На мировом рынке золото и серебро остаются *всемирными деньгами*, всеобщим покупным и платежным средством, абсолютным общественным воплощением богатства. И это свойство благородного металла является для отдельных членов хозяйственной коммуны новым мотивом к накоплению сокровищ, к обогащению, к ростовщичеству, мотивом свободно и независимо оперировать как по отношению к коммуне, так и за ее рубежом и с выгодой реализовать на мировом рынке накопленное частное богатство. Ростовщичество коммун превращаются в людей, торгующих орудием обращения, в банкиров, во владык орудия обращения и мировых денег, а следовательно, и во владык производства и средств производства, хотя бы эти последние еще много лет продолжали фигурировать номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны. Но, таким образом, эти превратившиеся в банкиров собиратели сокровищ и ростовщичество становятся также господами самой хозяйственной и торговой коммуны. «Социалитарная организация» г. Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от «туманных представлений» других социалистов. Она не преследует никакой другой цели, кроме возрождения класса крупных финансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна будет самоотверженно изнувать себя работой, если она вообще когда-нибудь образуется и будет держаться. Единственным для нее спасением могло бы явиться лишь то, что собиратели сокровищ предпочтут, может быть, при помощи своих всемирных денег поспешнейшим образом... сбежать из коммуны.

При господствующем в Германии широком незнании со старыми социалистическими учениями какой-нибудь невинный юноша может задать вопрос, не дали ли бы, например, оуэновские трудовые марки повода к подобному же злоупотреблению. Хотя в нашу

задачу не входит здесь распространяться подробно о значении этих трудовых марок, все же не мешает, для сравнения дюринговского «всеобъемлющего схематизма» с «грубыми, тусклыми и скудными идеями» Оуэна, заметить следующее. Во-первых, для такого злоупотребления оуэновскими трудовыми марками было бы необходимо предварительное превращение их в действительные деньги; между тем г. Дюринг предполагает действительные деньги, но хочет запретить им функционировать иначе, чем простые трудовые марки. Тогда как в первом случае происходило бы действительное злоупотребление, мы видим, что во втором случае только пробивает себе путь имманентная, независимая от человеческой воли, природа денег, что деньги добываются здесь свойственного им правильного употребления, наперекор злоупотреблению, которое г. Дюринг хочет навязать им в силу своего собственного непонимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки представляют у Оуэна лишь переходную форму к полной общности имущества, к свободному пользованию общественными ресурсами, и, пожалуй, преследуют еще побочную цель — сделать коммунизм более приемлемым для британской публики. Если бы, таким образом, какое-нибудь злоупотребление заставило оуэновское общество отменить трудовые марки, то это было бы шагом вперед к преследуемой им цели и только подняло бы коммуну на более высокую ступень развития. Наоборот, стоит дюринговской хозяйственной коммуне упразднить деньги, и она тотчас теряет свое «всемирно-историческое значение», лишается наиболее оригинальной своей прелести, перестает быть дюринговской хозяйственной коммунной и опускается до уровня тех туманных представлений, над которыми г. Дюринг подвиг ее с такими тяжелыми усилиями рациональной фантазии¹.

Откуда же возникают все эти странные заблуждения и шатания хозяйственной коммуны г. Дюринга? Просто благодаря туману, окутывающему в голове г. Дюринга понятия стоимости и денег и заставляющему его, в конце концов, стремиться к открытию стоимости труда. Но так как г. Дюринг отнюдь не имеет монополии на подобные туманные представления в Германии, а, наоборот, имеет в этом отношении много конкурентов, то мы «заставим себя на минуту заняться распутыванием того клубка», который он здесь напутал.

Единственная стоимость, которую знает политическая экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары? Продукты, произведенные в обществе более или менее обособленных частных производителей, т. е. прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты только тогда становятся товарами, когда они произво-

¹ Заметим мимоходом: г. Дюрингу совершенно неизвестна роль, которую играют трудовые марки в оуэновском коммунистическом обществе. Он знает эти марки — из книги Сарганта — лишь постольку, поскольку они фигурируют в естественно неудавшихся Labour Exchange Bazaars, этих попытках перейти с помощью непосредственного трудового обмена из существующего общества в коммунистическое.

дятся не для потребления самих производителей, а для потребления других, т. е. для общественного потребления; они вступают в общественное потребление путем обмена. Частные производители находятся, таким образом, в общественной связи между собой, образуют общество. Их продукты, хотя и являются частными продуктами каждого в отдельности, являются, следовательно, в то же время, но не намеренно и как бы против воли их, также и общественными продуктами. В чем же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах: во-первых, в том, что все они удовлетворяют какой-нибудь человеческой потребности, имеют потребительную стоимость не только для своего производителя, но и для других лиц; во-вторых, в том, что они, хотя и являются продуктами самых разнообразных видов частного труда, являются одновременно и продуктами человеческого труда вообще, общечеловеческого труда. Поскольку они обладают потребительной стоимостью и для других, постольку они могут вообще вступать в обмен; поскольку же в них заключен общечеловеческий труд, простая затрата человеческой рабочей силы, постольку они могут быть сравнимы в обмене друг с другом, признаваемы равными или неравными, сообразно заключающемуся в каждом из них количеству этого труда. В двух одинаковых частных продуктах, при одинаковых общественных отношениях, может заключаться неодинаковое количество частного труда, но всегда лишь одинаковое количество общечеловеческого труда. Неискусный кузнец может сделать только пять подков в то время, в которое искусный сделает десять. Но общество не воплощает в стоимость случайную неискусность отдельной личности; общечеловеческим трудом оно признает только труд, обладающий нормальной в данное время среднюю ловкостью. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных за то же рабочее время десяти подков второго. Частный труд заключает в себе общечеловеческий труд лишь постольку, поскольку он общественно необходим.

Таким образом, когда я говорю, что какой-нибудь товар имеет известную стоимость, то я утверждаю этим: 1) что он представляет из себя общественно-полезный продукт; 2) что он произведен частным лицом за частный счет; 3) что, хотя он и продукт частного труда, но он является одновременно, как бы без ведома и против воли производителя, продуктом общественного труда, притом определенного количества такого труда, устанавливаемого общественным путем, посредством обмена; 4) это количество я выражаю не в самом труде, не в таком-то и таком-то числе рабочих часов, а *в другом товаре*. Следовательно, если я говорю, что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что стоимость каждого из них равна пятидесяти маркам, то я говорю этим, что в часах, в сукне и в этой сумме денег заключено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую, таким образом, что представленное в них общественное рабочее время общественно измерено и найдено равным. Но измерено не прямо, не абсолютно, как измеряют рабочее время в других

случаях, т. е. рабочими часами или днями и т. д., но косвенным путем, при помощи обмена, относительно. Вот почему я не могу также выразить это констатированное количество рабочего времени в рабочих часах, число которых остается мне неизвестным, а могу это сделать также только окольным путем, относительно, — в каком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое количество общественного рабочего времени. Часы имеют ту же стоимость, что кусок сукна.

Но если товарное производство и товарный обмен заставляют покоящееся на них общество прибегать к такому окольному пути, то они заставляют его также возможно больше сокращать этот путь. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один благородный товар, в котором раз навсегда может быть выражена стоимость всех других товаров, — товар, считающийся непосредственным воплощением общественного труда и потому могущий непосредственно и безусловно вымениваться на все другие товары: мы разумеем деньги. Деньги уже заключаются в зародышевом состоянии в понятии стоимости, они являются лишь развернутою ее формою. Но когда стоимость товаров, в отличие от самих товаров, получает самостоятельное бытие в деньгах, тогда в общество, производящее и выменивающее товары, вступает новый фактор, — фактор с новыми общественными функциями и влиянием. Мы пока лишь констатируем этот факт, не вдаваясь в подробное его рассмотрение.

Политическая экономия товарного производства отнюдь не является единственной наукой, имеющей дело только с относительно известными факторами. В физике мы тоже не знаем, сколько отдельных молекул газа находится в данном объеме его, при данном также давлении и температуре. Но мы знаем, поскольку верен закон Бойля, что данный объем какого-нибудь газа содержит ровно столько же молекул, сколько и равный ему объем любого другого газа, при одинаковом давлении и температуре. Мы можем поэтому сравнивать между собою, по их молекулярному содержанию, самые разнообразные объемы разных газов, при различнейших давлениях и температурах; и если мы примем за единицу 1 литр газа при 0° Ц. и 760 миллиметрах давления, то этой единицей мы и можем измерять указанное молекулярное содержание. — В химии, равным образом, нам неизвестны абсолютные атомные веса отдельных элементов. Но мы знаем их относительно, пользуясь тем, что нам известны их взаимные отношения. И подобно тому, как товарное производство и его политическая экономия получают относительное выражение для неизвестных им количеств труда, заключающихся в отдельных товарах, путем сравнения этих товаров по их относительному трудовому содержанию, так и химия создает себе относительное выражение величины неизвестных ей атомных весов, сравнивая отдельные элементы со стороны их атомного веса и выражая атомный вес одного элемента в кратном или дробном числе другого (серы, кислорода, водорода). И подобно тому как товарное производство возводит золото в ранг абсолютного товара, всеобщего эквивалента остальных товаров, мерила всех стоимостей, так точно химия возводит водород в химический денеж-

ный товар, принимая его атомный вес равным единице и сводя атомные веса всех остальных элементов к водороду, выражая их кратным числом его атомного веса.

Однако товарное производство — отнюдь не исключительная форма общественного производства. В древних индийских общинах и в южнославянской задруге продукты не превращаются в товары. Члены общины объединены в общество непосредственно для производства, работа распределяется согласно обычаю и потребностям, продукты, поскольку они идут непосредственно на потребление, то же самое. Непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключают всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере, внутри общины), а вместе с тем и превращение их в *стоимость*.

Как только общество вступает во владение средствами производства и применяет их для производства в непосредственно общественном виде, труд каждого отдельного лица, как бы различен ни был его специфически полезный характер, становится с самого начала и непосредственно общественным трудом. Чтобы определить, в таком случае, количество общественного труда, заключающегося в продукте, нет надобности теперь прибегать к косвенному пути; ежедневный опыт непосредственно указывает, какое количество его необходимо в среднем. Общество может просто учесть, сколько часов труда воплощено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных метрах сукна известного качества. И так как заключающиеся в продуктах количества труда ему тогда непосредственно и абсолютно известны, то ему не может прийти в голову выражать их еще, сверх того, посредством относительного, шаткого и недостаточного мерила, хотя и бывшего раньше неизбежным, как крайнее средство, т. е. выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адекватной, абсолютной мере — во *времени*. Это было бы так же ненужно, как химику незачем было бы выражать атомные веса разных элементов косвенным путем, в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы он умел выражать вес атомов абсолютно, в их адекватной мере, именно — в их действительном весе, в биллионных или квадрильонных частях грамма. Следовательно, при предположенных выше условиях, общество тоже не станет приписывать продуктам какие-либо стоимости. Тот простой факт, что сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, скажем, 1 000 часов труда, оно не будет выражать окольным и бессмысленным образом, говоря, что это сукно обладает *стоимостью* в тысячу рабочих часов. Разумеется, и в этом случае общество должно будет знать, сколько труда требуется для производства каждого предмета потребления. Оно должно будет сообразовать свой производственный план со средствами производства, к которым, в частности, принадлежат также и рабочие силы. Полезные действия различных предметов потребления, взаимно взвешенные и сопоставленные с необходимыми для их изготовления количествами труда, определяют окончательно этот план. Люди

сделают тогда все очень просто, не прибегая к услугам пресловутой «стоимости»¹.

Понятие стоимости является наиболее общим и потому наиболее многообъемлющим выражением экономических условий товарного производства. В понятии стоимости содержатся в зародыше не только деньги, но и все более развитые формы товарного производства и товарного обмена. То обстоятельство, что стоимость есть выражение общественного труда, заключающегося в частных продуктах, содержит уже в себе возможность разницы между ним и заключающимся в том же продукте частным трудом. Если, таким образом, какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то время как общественный способ производства прогрессирует, то указанная разница становится для него весьма чувствительной. То же явление происходит, когда совокупность частных производителей какого-нибудь рода товаров производит его в количестве, превосходящем общественную потребность. В том обстоятельстве, что стоимость каждого товара выражается только в стоимости другого товара и только в обмене на него может быть реализована, содержится возможность того, что обмен вообще не состоится, или же, что не будет реализована настоящая его стоимость. Наконец, если на рынок поступает специфический товар — рабочая сила, то ее стоимость определяется, как и стоимость всякого другого товара, сообразно с общественно-необходимым для ее производства рабочим временем. В форме стоимости продуктов содержится уже поэтому в зародыше вся капиталистическая форма производства, противоположность между капиталистами и наемными рабочими, промышленная резервная армия, кризисы. Желать уничтожения капиталистической формы производства при помощи установления «истинной стоимости» — это то же, что стремиться к уничтожению католицизма путем избрания «истинного» папы или пытаться создать общество, где производители будут, наконец, господствовать над своим продуктом, путем последовательного проведения экономической категории, в которой находит себе наиболее полное выражение порабощение производителей их собственным продуктом.

Раз товарпроизводящее общество развило присущую товарам, как таковым, форму стоимости дальше, в форму денег, то выступают наружу и другие, еще скрытые в стоимости, зародыши. Ближайшим и наиболее существенным результатом является всеобщее распространение товарной формы. Даже предметам, которые раньше производились для прямого собственного потребления, деньги навязывают товарную форму и вовлекают их в обмен. Вместе с тем товарная форма и деньги проникают во внутрисемейственную жизнь обще-

¹ Что вышеупомянутое взвешивание полезного эффекта и издержек труда при составлении производственного плана представляет все, что остается в коммунистическом обществе от употребляемого в политической экономии понятия стоимости, это я высказал в 1844 г. (Deutsch-Französische Jahrbücher, стр. 95). Но научное обоснование этого положения, как видит читатель, стало возможным лишь благодаря «Капиталу» Маркса.

ственных союзов, которые были объединены непосредственно для производства; они рвут связи общины одну за другой и разлагают ее на толпу частных производителей. Сначала деньги, как это можно наблюдать в Индии, ставят на место общинной обработки земли индивидуальную культуру; затем они разлагают общую собственность на пахотную землю, еще находящую себе выражение в периодических переделах, и приводят к окончательному разделу ее (явление, наблюдаемое в так наз. *Gehöferschaften* — в сельских общинах — по р. Мозель и начинающееся уже в русской общине); наконец, господство денежного хозяйства побуждает к такому же разделу оставшихся еще общинных лесов и выгонов. Какие бы другие причины, коренящиеся в развитии производства, ни содействовали этому процессу, все же деньги остаются наиболее могущественным орудием их воздействия на общинный быт. И с той же естественной необходимостью деньги, вопреки всем «законам и административным нормам», должны были бы разложить дюринговскую хозяйственную коммуну, если бы она когда-нибудь осуществилась.

Мы уже видели выше (Политическая экономия, гл. VI), что говорить о стоимости труда — значит впадать во внутреннее противоречие. Так как труд, при известных общественных отношениях, производит не только продукты, но и стоимости, и эти стоимости измеряются трудом, то он столь же мало может иметь особую стоимость, сколько тяжесть, в качестве таковой, может иметь особый вес, или теплота — особую температуру. Но характерной особенностью всех социал-путаников, мудрствующих насчет «истинной стоимости», является утверждение, что в современном обществе рабочий получает неполную «стоимость» своего труда и что социализм призван устранить это зло. Для этого нужно, конечно, прежде всего установить, что такое стоимость труда; и это делают, пытаясь измерять труд не его адекватной мерой — временем, а его продуктом. Рабочий должен получать «полный продукт своего труда». Не только продукт труда, но и самый труд должен быть вымениваем непосредственно на продукт: час труда — на продукт другого часа труда. Но тут-то и возникает «сомнительная» заковыка. При таком порядке будет распределяться между рабочими *весь продукт*, и тогда важнейшая прогрессивная функция общества, накопление, отнимается у него и отдается в руки и на произвол индивидуальных лиц. Отдельные личности могут делать со своими «доходами» что хотят, но общество, в лучшем случае, остается столь же богатым или бедным, каким оно было. Таким образом, выходит, что накопленные в прошлом средства производства были централизованы в руках общества лишь для того, чтобы все накапливаемые в будущем средства производства снова рассеялись по рукам отдельных лиц. Получается грубое противоречие со своими собственными предпосылками, общество приходит к настоящему абсурду.

Текущий труд, или деятельная рабочая сила, должен вымениваться на продукт труда. В таком случае он — товар, так же, как продукт, на который он должен быть выменен. А если так, то стоимость этой рабочей силы определяется отнюдь не по продукту

ее, а по воплощенному в ней общественному труду, следовательно — согласно современному закону заработной платы.

Вот этого-то и не должно быть, — говорят нам. Текущий труд, рабочая сила, должен обмениваться на его полный продукт. Это значит, что она должна обмениваться не по своей *стоимости*, а по своей *потребительной стоимости*; закон стоимости должен применяться ко всем другим товарам, но его надо отменить по отношению к рабочей силе. Именно эта сама себя уничтожающая путаница скрывается за теорией «стоимости труда».

«Обмен труда на труд, согласно принципу равной оценки», поскольку это выражение имеет смысл, следовательно взаимная обмениваемость продуктов равных количеств общественного труда, или закон стоимости, является основным законом именно товарного производства, следовательно также и высшей формы последнего — капиталистического производства. Он пробивает себе путь в современном обществе таким способом, каким только и могут проявляться экономические законы в обществе частных производителей, т. е. как слепо действующий закон природы, заключенный в самих вещах и отношениях и не зависящий от воли и стремлений производителей. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны и требуя, чтобы она проводила его вполне сознательно, г. Дюринг делает основной закон существующего общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, как и Прудон. Подобно последнему, он хочет устранить отрицательные явления, возникшие вследствие развития товарного производства в капиталистическое, выдвинув против них тот самый основной закон капиталистического производства, действие которого как раз и породило эти отрицательные явления. Подобно Прудону, он хочет уничтожить реальные следствия закона стоимости при помощи фантастических.

Но как бы гордо ни выступал в рыцарский поход наш современный Дон-Кихот на своей благородной Россинанте, «универсальном принципе справедливости», и сопровождаемый своим храбрым Санчо Панса, Абрагамом Энсом¹, для завоевания шлема Мамбрин, «стоимости труда», — мы все-таки чрезвычайно опасаемся, что домой он не привезет ничего, кроме знаменитого старого таза для бритья.

V. Государство, семья, воспитание

В двух последних главах мы почти исчерпали экономическое содержание «новых социалитарных форм» г. Дюринга. В крайнем случае, следовало бы еще упомянуть, что «универсальная широта исторического кругозора» отнюдь не мешает ему соблюдать свои

¹ Автор направленной против Энгельса и Маркса брошюры: «Engels' Attentat auf den gesunden Menschenverstand oder der wissenschaftliche Bankerott im marxistischen Sozialismus» (1877). *Ред.*

специальные интересы, помимо известного уже нам умеренного добавочного потребления. Так как старое разделение труда продолжает существовать в социалитарной организации, то хозяйственной коммуне предстоит считаться, кроме тачечников и архитекторов, также и с профессиональными литераторами, причем возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским правом. Вопрос этот занимает г. Дюринга больше, чем какой-либо другой. Всюду, например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне, читателю мозолит глаза авторское право, которое размазывается затем особо на протяжении девяти страниц «Курса» и благополучно доставляется автором в тихую пристань «социалитарной организации» под видом таинственной «награды за труд», с умолчанием, впрочем, о том, будет ли последняя сопровождаться умеренным добавочным потреблением или нет. Особая глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и, во всяком случае, менее скучна.

Относительно государственного строя будущего «философия» дает обстоятельные предписания. В этом вопросе Руссо, хотя и «единственный значительный предшественник» г. Дюринга, заложил все же недостаточно глубокий фундамент: его более глубокий преемник основательно исправляет этот недостаток, усердно разбавляя Руссо водою и подбавляя сюда столь же жиденькую похлебку из отбросов гегелевской философии права. «Суверенитет индивидуума» образует основу дюринговского государства будущего; он не должен быть подавлен при господстве большинства, но лишь по-настоящему должен достичь своего апогея. Как это произойдет? Очень просто. «Если предположить наличность соглашений каждого с каждым во всех направлениях и если эти договоры имеют своим предметом взаимопомощь против несправедливых обид, тогда укрепляется только сила, необходимая для поддержания права, и право не выводится из простого перевеса массы над отдельным лицом или большинства над меньшинством». Вот с какой легкостью живая сила, скрытая в фокусничестве философии действительности, обходит самые неразрешимые затруднения, а если читатель скажет, что он и теперь понимает не больше прежнего, то г. Дюринг ответит ему, что нельзя так легко относиться к делу, ибо «*малейшая ошибка* в понимании роли коллективной воли повела бы к *уничтожению* суверенитета индивидуума, а только из этого суверенитета и происходят действительные права». Когда г. Дюринг издается над своей публикой, то он обращается с ней именно так, как она заслуживает. Он мог бы даже быть еще бесцеремоннее: студенты, слушающие курс философии действительности, наверное, не заметили бы этого.

Суверенитет личности заключается главным образом в том, что «отдельная личность *абсолютно* подчинена государственному *принуждению*», но это принуждение находит себе оправдание лишь постольку, поскольку оно «действительно служит естественной справедливости». Для этой цели будут существовать «законодательство и судебная власть», которые, однако, «должны остаться в руках всего коллектива», и затем — оборонительный союз, выражающийся «совместной службой в войске или исполнительном органе, предназна-

ченном для обеспечения внутренней безопасности», следовательно будут существовать и армия, и полиция, и жандармы. Хотя г. Дюринг уже не раз выказывал себя бравым пруссаком, но здесь он доказывает, что имеет полное право быть поставленным рядом с тем образцовым пруссаком, который, по словам покойного министра фон-Рохова, «носит своего жандарма в груди». Но эта жандармерия будущего будет не так опасна, как нынешние держжиморды. Что бы она ни учинила над суверенной личностью, у последней всегда будет *одно утешение*: «справедливость или несправедливость, которую она, смотря по обстоятельствам, встретит со стороны свободного общества, никогда не может быть *хуже* того, что принесло бы с собой также *естественное состояние*». И затем, заставив нас еще раз споткнуться об его неизменное авторское право, Дюринг обнадеживает нас, что в его новом мире будет существовать, «само собой разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура». «Изобретенное ныне свободное общество» становится все более разношерстным. Архитектора, тачечники, литераторы, жандармы, а тут еще и адвокаты. Это «солидное и критическое царство мысли» ужасно похоже на различные неземные царства различных религий, где верующий всегда встречается вновь в преображенном виде все то, что услаждало его земную жизнь. А г. Дюринг принадлежит ведь к государству, в котором «всякий может спастись на свой фасон». Чего же нам желать больше?

Что нам желательно — это, впрочем, здесь безразлично. Речь идет о том, что желательно г. Дюрингу. Последний же отличается от Фридриха II тем, что в его государстве будущего отнюдь не всякий может спастись «на свой фасон». В конституция этого государства будущего значится: «в свободном обществе не должно быть никакого культа, *ибо* каждый из его членов стоит выше первобытного детского представления, что за спиной природы или выше нее есть существо, на которое можно воздействовать жертвами или молитвою». «Правильно понятая социалитарная система *должна* поэтому... упразднить все аксессуары духовного колдовства и, следовательно, все существенные элементы культа». Религия запрещена.

В настоящее время каждая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории этому отражению подвергаются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции испытывают у различных народов самые разнообразные и пестрые олицетворения. При помощи сравнительной мифологии этот первоначальный процесс прослежен назад, по крайней мере по отношению к индо-европейским народам, до его появления в индийских ведах, а в дальнейшем своем развитии он детально доказан у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, поскольку хватает материала, также у кельтов, литовцев и славян. Но скоро, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку, столь же чуждые и первоначально столь же необъяснимые для

него, как и силы природы, и подобно последним господствующие над ним с той же кажущейся естественной необходимостью. Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил¹. На еще дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов многих богов переносится на одного всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, который исторически был последним продуктом греческой вульгарной философии более поздней эпохи и нашел свое готовое воплощение в иудейском, исключительно национальном боге Ягве. В этой удобной для пользования и ко всему приспособляющейся форме религия может продолжать свое существование, как непосредственная, основанная на чувстве форма отношения людей к господствующим над ними чуждым силам, общественным и естественным, — до тех пор, пока люди фактически находятся под властью этих сил. Мы уже неоднократно видели, что в современном буржуазном обществе люди находятся под господством ими же самими созданных экономических отношений, ими самими произведенных средств производства, как какой-то чуждой силы. Фактическая основа религии, как идеологического процесса отражения, продолжает, следовательно, существовать, а вместе с этой основой и ее отражение в религии. И если даже буржуазная политическая экономия и дает некоторое понимание причинной связи этого господства чуждых сил, то дело от этого ничуть не меняется. Буржуазная политическая экономия не в состоянии ни помешать общим кризисам, ни уберечь отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты. До сих пор еще в ходу поговорка: человек предполагает, а бог (т. е. господство чуждых сил капиталистического способа производства) располагает.

Простого познания, хотя бы оно шло дальше и глубже знаний буржуазной политической экономии, недостаточно, чтобы подчинить общественные силы. Для этого необходимо прежде всего общественное *действие*. И когда это действие свершится, когда общество, взяв в свои руки всю совокупность средств производства и планомерно их употребляя, освободит таким образом себя и всех своих членов от рабства, в котором их держат до сих пор ими же самими произведенные, но противостоящие им, в качестве непреодолимой внешней силы, средства производства, следовательно, когда человек будет не только полагать, но и располагать, — тогда лишь исчезнет послед-

¹ Этот позднейший двойственный характер богов был причиной возникшей впоследствии путаницы в мифологиях — причиной, которую проглядела сравнительная мифология, продолжающая односторонне видеть в богах только отражение сил природы. Так, у некоторых германских племен бог войны обозначается по древнескандинавски Тир, по древне-верхне-немецки Цю, соответствует, следовательно, греческому Зевс, по лат. Юпитер, вместо Диупитер; у других он называется Эр, Эор, соответствует, следовательно, греческому Арес, по лат. Марс.

няя чуждая сила, которая до сих пор еще отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать.

Но г. Дюринг не расположен ждать, пока религия умрет этой естественной смертью. Он поступает радикальнее. Он перещеголял самого Бисмарка: он декретирует усиленно строгие майские законы не только против католицизма, но и против всякой религии вообще; он натравливает своих жандармов будущего на религию и обеспечивает ей, таким образом, ореол мученичества и более продолжительное существование. Куда мы ни посмотрим, — везде специфически прусский социализм.

После того как г. Дюринг благополучно искоренил, таким образом, религию, «человек, опирающийся только на самого себя и природу и созревший до понимания своих коллективных сил, может смело двинуться по всем тем путям, которые открывает перед ним ход вещей и его собственное существо». Посмотрим же для разнообразия, по какому «ходу вещей» опирающийся на самого себя человек может смело двинуться под руководством г. Дюринга.

Первый момент в ходе вещей, благодаря которому человек становится самостоятельным, это — его рождение. Потом, на время своего естественного несовершеннолетия, он остается на попечении «естественной воспитательницы детей», т. е. матери. «Этот период может простираться, как в древнем римском праве, до возмужалости, т. е. приблизительно до 14 лет». Только в случае недостаточного уважения к авторитету матери со стороны более взрослых невоспитанных мальчиков для устранения этого недостатка должна будет прийти на помощь отцовская власть, в особенности же — общественные воспитательные меры. Возмужав, ребенок поступает под «естественную опеку отца», если только имеется налицо такое «беспорное действительное отцовство»; в противном случае община назначает опекуна.

Подобно тому, как г. Дюринг считает вполне возможным заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства, так точно он воображает, что можно оторвать современную буржуазную семью от всей ее экономической основы, не изменяя, вместе с тем, всей ее формы. Эта форма представляется ему настолько не подверженной изменениям, что он делает обязательным для семьи на вечные времена «древнее римское право», хотя и в немного «облагороженном» виде, и не может представить себе семьи иначе, как «наследующей», т. е. владеющей собственностью единицей. В этом вопросе утописты стоят неизмеримо выше г. Дюринга. Для них, вместе с свободным объединением людей в общество и превращением частной домашней работы в общественную индустрию, непосредственно дано также обобществление воспитания юношества, а вместе с тем действительно свободные взаимоотношения членов семьи. Далее, уже Маркс указал («Das Kapital», стр. 515 и сл.), что «крупная промышленность, благодаря решающей роли, отводимой ею женщинам, подросткам и детям обоого пола вне домашней сферы, в общественно-организованных процессах

производства, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и взаимоотношений обоих полов».

«Каждый социал-реформаторский фантазер», — говорит г. Дюринг, — «естественно имеет наготове соответствующую его новой социальной жизни педагогику». С этой точки зрения, сам г. Дюринг представляется «настоящим монстром» среди социал-реформаторских фантазеров. Школе будущего он уделяет по меньшей мере столько же внимания, как авторскому праву, а это много значит. У него имеется окончательно выработанный план школ и университетов не только для всего «обозримого будущего», но и для переходного периода. Ограничимся, однако, лишь обзором того, что предполагается давать юношеству обоего пола в совершенной социалитарной организации последней инстанции.

Всеобщая народная школа дает своим ученикам «все, что само по себе и принципиально может обладать привлекательностью для человека», следовательно, в особенности — «основы и главные выводы всех наук, касающихся миро- и жизнепонимания». Там, прежде всего, будут обучать математике, притом так, что будет «полностью пройден» круг всех принципиальных понятий и приемов, начиная с простого счета и сложения и кончая интегральным исчислением. Это не значит, однако, что в этой школе действительно будут интегрировать и дифференцировать, совсем напротив. Нет, там будут преподавать совершенно новые элементы математики, взятой в целом, — элементы, содержащие в зародыше как обыкновенную элементарную, так и высшую математику. Хотя г. Дюринг и уверяет, что «содержание учебников» этой школы будущего схематически уже вырисовывается в своих главных чертах перед его глазами, однако ему до сих пор не удалось, к сожалению, открыть эти «элементы математики, взятой в целом»; а то, чего он не в состоянии сделать, «следует, в самом деле, ожидать только от свободных и возросших сил нового общественного строя». Но если виноградные гроздья математики будущего еще слишком зелены, зато астрономия, механика и физика будущего не представляют трудностей и составят «суть всего школьного обучения», тогда как «ботаника и зоология, которые, несмотря на все свои теории, все еще носят преимущественно описательный характер... будут служить больше для того, чтобы слегка занимать учеников». Так говорится в «Курсе философии», стр. 417. Г-н Дюринг и до сего дня знает только преимущественно описательную ботанику и зоологию. Вся органическая морфология, охватывающая собою сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, незнакома ему даже по названию. В то время как за его спиной возникают в области биологии почти десятками совершенно новые науки, его детское чувство все еще черпает «высоко современные образовательные элементы естественно-научного способа мышления» из «Естественной истории для детей» Раффа и жалуется по своему указу эту конституцию органического мира также для всего «обозримого будущего». О существовании химии он, по обыкновению, и здесь совершенно забывает.

Что касается эстетической стороны воспитания, то г. Дюрингу

придется все создавать вновь. Вся прежняя поэзия для этого не годится. Там, где запрещена всякая религия, само собой разумеется, не может быть терпим в школе обычный у прежних поэтов «мифологический и прочий религиозный аппарат». Равным образом негоден «поэтический мистицизм, к которому, например, был сильно склонен Гете». Таким образом, г. Дюрингу придется самому дать нам те поэтические шедевры, которые отвечают «более высоким запросам примиренной с разумом фантазии», и нарисовать настоящий идеал, «означающий завершение мира». Пусть не медлит только. Завоевать мир хозяйственная коммуна может лишь в том случае, если она торжественно грядет штурмовым шагом примиренного с разумом шестистопного александрийского стиха.

Филологией подрастающего гражданина будущего не будут особенно доносить. «Мертвые языки совершенно отпадают... а изучение живых иностранных языков будет делом второстепенным». Только там, где сношения между народами выражаются в передвижениях самих народных масс, иностранные языки должны быть сделаны доступными каждому в легкой форме, смотря по нужде. Для достижения «действительно образовательного результата при изучении языков» должна служить своего рода всеобщая грамматика, в особенности же — «материя и форма родного языка». — Национальная узость современного человека все еще слишком космополитична для г. Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые при современном строе дают хотя некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения, — упразднить одновременно и знание древних языков, открывающее, по крайней мере, для людей различных национальностей, получивших классическое образование, общий им, более широкий горизонт, и знание языков новых, при помощи которых люди различных наций могут объясняться друг с другом, знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом. Зато грамматика родного языка должна основательно вызубриваться. Но «материя и форма родного языка» только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки. Таким образом, мы очутились опять в запретной области. Но раз г. Дюринг вычеркивает из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, то для обучения языкам у него остается только старомодная, вычурная в стиле старой классической филологии, техническая грамматика, со всей ее казуистикой и произвольностью, обусловленными отсутствием исторического фундамента. Ненависть к старой филологии доводит его до того, что самый плохой продукт ее он возводит в «центр действительно образовательного изучения языков». Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда не слышавшим об историческом языкознании, так колоссально и плодотворно развившемся в последние 60 лет, и поэтуто отыскивающим «высоко современные образовательные элементы» языкознания не у Бопша, Гримма и Дитца, а у блаженной памяти Гейзе и Беккера.

Но и после всей этой выучки молодой гражданин будущего далеко еще «не поставлен на ноги». Для этого нужно заложить более глубокий фундамент, при помощи «усвоения последних философских основ». «Но такое углубление... всего менее представит гигантскую задачу», — с тех пор, как г. Дюринг проложил в этой области свободный путь. В самом деле, «если то небольшое строгое знание, которым может похвалиться всеобщая схематика бытия, очистить от ложных схоластических завитушек, и если решиться признавать везде значение только за удостоверенной» (г. Дюрингом) «действительностью», то элементарная философия станет вполне доступной и для юношества будущего. «Стоит вспомнить в высшей степени простые приемы, при помощи которых мы придали понятиям бесконечности и их критике неизвестное до тех пор значение», и тогда «нет решительно никакого основания, почему бы элементы универсального воззрения на пространство и время, получившие столь простой вид, благодаря современному их углублению и уточнению, — почему бы эти элементы не могли перейти, наконец, в разряд подготовительных знаний... Глубочайшие основные идеи» (г. Дюринга) «не должны играть второстепенной роли в универсальной образовательной систематике нового общества». Самому себе равное состояние материи и сосчитанная бесчисленность призваны, напротив, «не только поставить человека на ноги, но и заставить его уразуметь собственными силами, что так называемый абсолют находится у него под ногами».

Итак, как видит читатель, народная школа будущего представляет, в сущности, не что иное, как немного «облагороженную» прусскую гимназию, где греческий язык и латынь заменены несколько большим количеством чистой и прикладной математики, в особенности же элементами философии действительности, а преподавание немецкого языка низведено опять до блаженной памяти Беккера, другими словами — приблизительно до уровня 4-го класса. Действительно, «нет решительно никакого основания», почему бы «познания» г. Дюринга, оказавшиеся после нашего рассмотрения в высшей степени школьными во всех затронутых им областях, или, лучше сказать, почему бы то, что вообще осталось от них после предварительной основательной «чистки», не могло перейти, в конце концов, полностью в «разряд элементарных знаний», тем более что оно никогда и не покидало этого разряда. Конечно, г. Дюринг слышал одним ухом, что в социалистическом обществе труд и воспитание будут соединены и, таким путем, подрастающим поколениям будет обеспечена разносторонняя техническая подготовка, как и практический фундамент для научного образования; он и использует этот пункт на свой обычный лад для социалитарной коммуны. Но так как прежнее разделение труда в существенных чертах благополучно сохраняется, как мы видели, в дюринговом производстве будущего, то у этого технического школьного обучения отнимается всякое позднейшее практическое приложение, отнимается всякое значение для самого производства; оно и преследует у г. Дюринга исключительно школьную цель: замену гимнастики, о которой наш

радикальный революционер слышать не хочет. Вот почему г. Дюринг и может дать нам по этой части лишь несколько банальных фраз, вроде следующей: «юноши, как и старики, должны работать в серьезном смысле этого слова». Эта легкомысленная и бессодержательная болтовня производит поистине жалкое впечатление, когда сравниваешь ее с тем местом «Капитала» (стр. 508—515), где Маркс развивает положение, что «из фабричной системы, как это можно в подробности проследить у Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания будущего, при котором для всех детей, свыше известного возраста, с учением и гимнастикой будет соединен производительный труд, не только как способ увеличения общественного производства, но и как единственный способ создания всесторонне развитых людей».

Не будем касаться вопроса об университете будущего, где философия действительности составит сущность всего знания и где рядом с медицинским факультетом будет процветать попрежнему и юридический; оставим в стороне также «специальные заведения», о которых мы узнаем лишь, что они предназначаются только для двух-трех предметов. Предположим, что юный гражданин будущего по окончании всех школьных курсов настолько «поставлен на ноги», что он в состоянии заняться приисканием себе жены. Какой путь открывает ему здесь г. Дюринг?

«Ввиду важности размножения для укрепления, браковки и смешения и даже для творческого развития новых качеств, надо последних корней человеческого или бесчеловечного искать в значительной мере в половом общении и подборе и, сверх того, еще в заботе об обеспечении или предупреждении определенного результата рождений. Суд над дикостью и тупостью, господствующими в этой области, приходится практически предоставить позднейшей эпохе. Однако даже при существующем гнете предрассудков можно растолковать людям, что удавшийся или неудавшийся природе или человеческой предусмотрительности качественный характер рождений гораздо важнее их численности. Уроды истреблялись, правда, во все времена и при всяком правовом строе, но лестница, ведущая от нормального до уродливого и граничащего с потерей человеческого образа, имеет много ступеней. Если принимаются меры против появления человека, который оказался бы только плохим созданием, то это представляет, очевидно, только выгоду». Точно так же в другом месте говорится: «философское размышление без труда поймет право неродившегося еще мира на возможно лучшую композицию... Момент зачатия и, во всяком случае, момент рождения дают повод для применения в этом отношении предохранительных мер и, в крайнем случае, также для устранения негодного». И далее: «греческое искусство идеализировать человека в мраморе не в силах будет сохранить свое прежнее историческое значение, когда люди возмущаются за менее художественную, но гораздо более важную для жизненной судьбы миллионов задачу — усовершенствовать создание человека из плоти и крови. Этот род искусства не каменный лишь, и его эстетика не состоит из созерцания мертвых форм» и т. д.

Наш гражданин будущего падает с облаков. Что при вступлении

в брак дело идет не о каменном только искусстве и не о созерцании мертвых форм, это он знал, конечно, и без г. Дюринга; но последний ведь обещал ему, что он может свободно шествовать по всем путям, открываемым перед ним ходом вещей и его собственным существом, чтобы найти сочувствующее женское сердце вместе с принадлежащим к нему телом. «Нет», — гремит ему в ответ «более глубокая и строгая мораль». Прежде всего надлежит сбросить с себя дикость и тупость, царящие в области полового общения и подбора, и считаться с правом вновь рождающегося мира на возможно лучшую композицию. В этот торжественный момент наш молодой гражданин берет на себя обязанность усовершенствовать образование человека из плоти и крови, стать, так сказать, Фидием в этом отношении. Как приступить к делу? — Приведенные таинственные заявления г. Дюринга не дают ему ни малейшего руководящего указания в этом направлении, хотя последний сам говорит, что это — «искусство». Быть может, г. Дюринг уже имеет «схематически перед глазами» руководство к этому искусству, вроде тех, образцы которых в изобилии циркулируют в настоящее время в немецкой книжной торговле в запечатанных конвертах? — В самом деле, мы находимся уже здесь не в царстве «социалитарности», а скорее в царстве «Волшебной флейты», с той лишь разницей, что франкмасонский поп Зарастро едва ли может назваться даже «жрецом второго класса», в сравнении с нашим, более глубоким и строгим моралистом. Опыты, которые тот предельвал над любовными парочками своих адептов, представляют просто детскую забаву в сравнении с тем страшным испытанием, к которому г. Дюринг вынуждает своих обоих суверенных индивидов, прежде чем позволить им вступить в состояние «нравственного и свободного брака». Так, может случиться, что хотя наш «поставленный на ноги» Таминю будущего и стоит обеими ногами на так называемом абсолюте, но одна из его ног отступает на одну-две ступеньки от нормы, так что злые языки называют его колченогим. Не исключена также возможность, что его возлюбленная Памина будущего не вполне ровно стоит на упомянутом абсолюте вследствие легкого отклонения в сторону правого плеча, каковое перемещение людская зависть называет маленьким горбиком. Что делать тогда? Воспретит ли им наш более глубокий и строгий Зарастро практиковать искусство усовершенствования человека из плоти и крови, применит ли он к ним свои «предохранительные меры» при «зачатии» или свое «устранение негодного» при «родах»? Можно прозакладывать девять против одного, что дело примет другой оборот: влюбленная парочка оставит на месте нашего Зарастро-Дюринга и отправится к чиновнику, заведующему регистрацией браков.

Постойте, — восклицает г. Дюринг. — Вы меня не поняли. Дайте мне высказаться. При наличности «более высоких, истинно-человеческих побудительных мотивов для благотворных половых связей... человечески облагороженная форма полового возбуждения, высшая ступень которого проявляется в виде *страстной любви*, представляет в своей двухсторонности наилучшую гарантию удовлетворительного и по своим плодам супружества...; как вполне

естественный результат производного характера, из гармонических отношений получается и плод с гармоническими чертами. Отсюда опять-таки следует, что всякое принуждение должно действовать вредным образом» и т. д. Таким образом, все разрешается к наилучшему в наилучшей из «социалитарных коммун». Колченогий и горбатенькая страстно любят друг друга, а потому в своей двухсторонности представляют наилучшую гарантию достижения гармонического «результата производного характера»; все идет, как в романе: они любят друг друга и женятся. Вся «более глубокая и строгая мораль» оказывается, по обыкновению, гармонической чепухой.

Каких благородных вообще взглядов держится г. Дюринг относительно женского вопроса, явствует из следующего его обвинения против современного общества: «в обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеку, проституция признается естественным дополнением принудительного брака, созданным в пользу мужчин, и то обстоятельство, что ничего подобного для *женщин не может быть*, представляет весьма понятный, но в то же время чрезвычайно многозначительный факт». Ни за что на свете не желал бы я получить благодарность, которая выпадет на долю г. Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве г. Дюрингу совершенно неизвестен не очень-то исключительный теперь вид дохода — так наз. бабьи стипендии? Он ведь сам был когда-то референдарием и живет в Берлине, где еще в мои времена, т. е. 36 лет тому назад, не говоря уже о лейтенантах, Referendarius довольно часто рифмовался с Schürzenstipendiarius (бабий стипендиат).

Да позволено мне будет примирительно-весело расстаться с нашей темой, которая часто должна была казаться достаточно сухой и скучной. Поскольку нам приходилось разбирать отдельные спорные пункты, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами; согласно с этими фактами приходилось довольно часто высказываться резко и даже жестоко. Теперь, когда мы оставили уже за собою философию, политическую экономию и социалитарную коммуну и когда перед нами обрисовалась вся физиономия писателя, о котором нам раньше приходилось судить только по отдельным частностям, — теперь могут выступить на первый план соображения гуманности; теперь мы можем позволить себе объяснить многие непонятные иначе научные заблуждения и сомнение автора его личными качествами и резюмировать свое общее суждение о г. Дюринге словами: «*неизменяемость вследствие мании величия*».

1. ИЗ СТАРОГО ПРЕДИСЛОВИЯ К «АНТИ-ДЮРИНГУ» О ДИАЛЕКТИКЕ [1878 г.]

...Если Негели в своей речи на мюнхенском съезде естествоиспытателей заявил, что человеческое познание никогда не будет обладать характером всеведения, то ему, очевидно, остались неизвестными подвиги Дюринга. Подвиги эти заставили меня последовать за ним в целый ряд областей, где в лучшем случае я могу выступать лишь в качестве дилетанта. Это относится в особенности к различным областям естествознания, где до сих пор считалось более чем нескромным, если какой-нибудь «профан» пытался высказать свое мнение. Однако меня несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробнее разобранное в другом месте замечание Вирхова, что каждый естествоиспытатель вне своей собственной специальности является тоже только полузнайкой, *ulgo* профаном. Подобно тому, как такой специалист может и обязан время от времени заглядывать в соседние области, и подобно тому, как специалисты в них прощают ему в этом случае неловкость в выражениях и маленькие неточности, так и я взял на себя смелость привести естественные процессы и законы природы в виде доказательства моего общего теоретического мировоззрения, рассчитывая на такое же снисхождение. Всякому, кто занимается теоретическими вопросами, результаты современного естествознания навязываются с той же принудительностью, с какой современные естествоиспытатели — желают ли они того или нет — вынуждены приходиться к общетеоретическим выводам. И здесь наблюдается известная компенсация. Если теоретики являются полузайками в области естествознания, то такими же полузайками являются современные естествоиспытатели в области теории, в области того, что называлось до сих пор философией.

Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи стала неустранимой. Точно так же стало неизбежным привести между собой в правильную связь отдельные области познания. Но, занявшись этим, естествознание попадает

в теоретическую область, а здесь методы эмпиризма оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление является приращенным свойством только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для этого не существует до сих пор никакого иного средства кроме изучения истории философии.

Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей эпохи, это — исторический продукт, в различные эпохи принимающий весьма различные формы, а вместе с тем и весьма различное содержание. Следовательно, наука о мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления. И это имеет значение и для практического применения мышления к эмпирическим областям, ибо, во-первых, теория законов мышления не есть вовсе какая-то раз навсегда установленная «вечная истина», как это связывает со словом «логика» филистерская мысль. Сама формальная логика являлась, начиная с Аристотеля и до наших дней, ареной ожесточенных споров. Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом лишь двумя мыслителями — Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления, ибо она одна представляет аналог и, значит, метод объяснения происходящих в природе процессов развития, для объяснения всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой.

Во-вторых, знакомство с историческим развитием человеческого мышления, с господствовавшим в разные времена пониманием всеобщей связи внешнего мира необходимо для теоретического естествознания и потому, что оно дает масштаб для оценки выдвигаемых этим естествознанием теорий. Здесь часто ярко выступает недостаток знакомства с историей философии. Положения, установленные в философии уже сотни лет назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, у естествоиспытателей, занимающихся теоретическими вопросами, часто выступают в виде самонаивнейших истин, становясь на время даже предметами моды. Когда механическая теория теплоты привела в подтверждение учения о сохранении энергии новые доказательства и выдвинула его на первый план, то это было для нее несомненно огромным успехом; но могло ли бы это положение казаться чем-то столь абсолютно новым, если бы господа физики вспомнили, что оно было уже установлено Декартом? С тех пор, как физика и химия стали опять оперировать почти исключительно молекулами и атомами, древнегреческая атомистическая философия должна была неизбежно выступить снова на первый план. Но как поверхностно трактуется она даже лучшими из естествоиспытателей! Так например, Кекуле рассказывает («Ziele u. Leistungen der Chemie»), будто атомистическая теория имеет своим родоначальником Демокрита, а не Левкиппа, и утверждает, будто Дальтон первый признал существование качественно различных элементарных атомов и первый приписал им различные специфические для различных элементов веса; между тем у Диогена Лаэртского (X, 1,

§§ 43—44 и 61) можно прочесть, что уже Эпикур приписывал атомам не только различную величину, но и различный *вес*, т. е. по-своему уже знал атомный вес и атомный объем.

Революция 1848 г. оставила в Германии почти все на месте, за исключением философии, где произошел полный переворот. Нация, охваченная духом практицизма, который, с одной стороны, дал толчок крупной промышленности и спекуляции, а с другой — вызвал мощный подъем естествознания в Германии, — эта нация, отдавшись под руководство странствующих проповедников и карикатурных материалистов Фохта, Бюхнера и т. д., решительно отвернулась от классической немецкой философии, затерявшейся в песках берлинского старогегельянства. Берлинское старогегельянство вполне заслужило такое к себе отношение. Но нация, желающая стоять на высоте науки, не может обойтись без теоретического мышления. Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться естествознанию, т. е. тогда, когда только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из затруднений; благодаря этому естествоиспытатели снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. Среди публики стали с тех пор иметь успех, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фохтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различнейшие сорта эклектизма, имевшие общим лишь то, что они состояли из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Остатки классической философии сохранились только в виде неокантианства, последним словом которого была вечно незнаваемая вещь в себе, т. е. та часть кантовского учения которая меньше всего заслуживала сохранения. Конечным результатом была господствующая теперь путаница и бессвязность теоретического мышления.

Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоретической книги по естествознанию, чтобы не убедиться, что сами естествоиспытатели понимают, как они страдают от этой путаницы и бессвязности, из которой им не дает абсолютно никакого выхода модная, с позволения сказать, философия. И здесь нет действительно иного выхода, нет никакой возможности добиться ясности без возврата в той или иной форме от метафизического мышления к диалектическому.

Этот возврат может совершиться различным образом. Он может прорваться стихийно просто благодаря силе самих естественнонаучных открытий, не уместающихся больше в старом метафизическом прокрустовом ложе. Но это тяжелый и мучительный процесс, при котором приходится преодолевать колоссальную массу излишних трений. Процесс этот по большей части уже происходит, в особенности в биологии. Но он может быть значительно сокращен, если теоретики-естествоиспытатели захотят познаться основательнее с диалектической философией в ее исторически данных

формах. Среди этих форм особенно плодотворными для современного естествознания могут стать две.

Первая — это греческая философия. Здесь диалектическое мышление выступает еще в первобытной простоте, не нарушаемой теми милыми препятствиями, которые сочинила себе сама метафизика XVII и XVIII вв. — Бэкон и Локк в Англии, Лейбниц в Германии, и которыми она заградила себе путь от понимания отдельного к пониманию целого, к проникновению во всеобщую связь сущего. Так как греки еще не дошли до расчленения, до анализа природы, то она у них рассматривается еще как целое, в общем и целом. Всеобщая связь явлений в мире не доказывается в подробностях: для греков она является результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, благодаря которому она должна была впоследствии уступить место другим видам мировоззрения. Но в этом же заключается ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими соперниками. Если метафизика права по отношению к грекам в частностях, то греки правы по отношению к метафизике в целом. Это одна из причин, в силу которых мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ. Другой же причиной является то, что в многообразных формах греческой философии имеются в зародыше, в возникновении, почти все позднейшие типы мировоззрения. Поэтому и теоретическое естествознание, если оно хочет познакомиться с историей возникновения и развития своих современных общих теорий, должно возвратиться к грекам. Понимание этого все более и более распространяется. Все реже становятся те естествоиспытатели, которые, сами оперируя остатками (*Abfällen*) греческой философии, например атомистикой, как вечными истинами, смотрят по-бэконовски свысока на греков на том основании, что у последних не было эмпирического естествознания. Было бы только желательно, чтобы это понимание углубилось и привело к действительному ознакомлению с греческой философией.

Второй формой диалектики, особенно близкой немецким естествоиспытателям, является классическая немецкая философия от Канта до Гегеля. Здесь лед как будто уж тронулся, ибо даже помимо упомянутого уже неокантианства становится снова модой возвращаться к Канту. С тех пор как открыли, что Кант является творцом двух гениальных гипотез, без которых не может обойтись современное теоретическое естествознание, — именно приписывавшейся прежде Лапласу теории возникновения солнечной системы и теории замедления вращения земли благодаря приливам, — с тех пор Кант снова оказался в подобающем ему почете у естествоиспытателей. Но изучать диалектику у Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой, с тех пор как в произведениях Гегеля имеется обширная энциклопедия диалектики, хотя и развитая из совершенно ложной исходной точки.

После того как, с одной стороны, реакция против «натурфилософии» — в значительной степени оправдывавшаяся этим ложным исходным пунктом и жалким обмелением берлинского гегельянства — исчерпала себя, выродившись под конец в простую брань, после того как, с другой стороны, естествознание в своих теоретических поисках не нашло никакого удовлетворения у ходячей эклектической метафизики, — может быть станет возможным заговорить перед естествоиспытателями еще раз о Гегеле, не вызывая этим у Дюринга пляски святого Витта, в которой он так неподражаемо забавен.

Прежде всего следует установить, что дело здесь идет вовсе не о защите гегелевского исходного пункта, что дух, мысль, идея есть первичное, а действительный мир только отражение идеи. От этого отказался уже Фейербах. Мы все согласны с тем, что в любой научной области — безразлично, в естествознании или в истории — надо исходить из данных фактов, т. е. что в естествознании надо исходить из различных объективных форм движения материи и что, следовательно, в теоретическом естествознании нельзя конструировать связей и вносить их в факты, а надо извлекать их из последних и, найдя, доказать их, поскольку это возможно, опытным путем.

Точно так же речь не может идти о том, чтобы сохранить догматическое содержание гегелевской системы, как она проповедывалась берлинскими гегельянами старшей и младшей линии. Вместе с идеалистическим исходным пунктом падает и построенная на нем система, следовательно в частности и гегелевская натурфилософия. Но надо помнить, что борьба естествоиспытателей с Гегелем, поскольку они вообще правильно понимали его, направлялась только против обоих этих пунктов: против идеалистического исходного пункта и против произвольного, противоречащего фактам, построения системы.

За вычетом всего этого остается еще гегелевская диалектика. Заслугой Маркса остается то, что он впервые извлек снова на свет в противовес «брюзжащему, притязательному и посредственному эпигонству, задающему теперь тон в Германии», забытый диалектический метод, указал на связь его с гегелевской диалектикой, а также и на отличие его от последней, и в то же время показал в «Капитале» применение этого метода к фактам определенной эмпирической науки, политической экономии. И сделал он это с таким успехом, что даже в Германии новейшая экономическая школа поднимается над вульгарным фритредерством лишь благодаря тому, что она под предлогом критики Маркса занимается списыванием у него (довольно часто извращая его).

У Гегеля в диалектике наблюдается то же самое извращение всех реальных отношений, как и во всех прочих частях его системы. Но, как замечает Маркс, «мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» (Маркс, «Капитал», стр. 20, Партиздат, 1937 г.).

Но и в самом естествознании мы достаточно часто встречаемся с теориями, в которых реальные отношения поставлены на голову, в которых отражение принимается за объективную реальность и которые нуждаются поэтому в подобном перевертывании. Такие теории довольно часто господствуют долгое время. Подобный случай представляет нам учение о теплоте, которая почти в течение двух столетий рассматривалась как особая таинственная материя, а не как форма движения обыкновенной материи; только механическая теория теплоты произвела здесь необходимое перевертывание. Тем не менее физика, в которой царил теория теплорода, открыла ряд весьма важных законов теплоты. В частности Фурье и Сади Карно¹ проложили здесь путь для правильной теории, которой оставалось только перевернуть открытые ее предшественницей законы и перевести их на свой собственный язык. Точно так же в химии теория флогистона своей вековой экспериментальной работой добыла тот именно материал, с помощью которого Лавуазье сумел открыть в полученном Пристли кислороде реальный антипод фантастического флогистона, что дало ему возможность отвергнуть всю эту флогистическую теорию. Но это не означало вовсе, что были отвергнуты опытные результаты флогистики. Наоборот, они сохранились, была только перевернута их формулировка, переведена с языка флогистона на язык современной химии, таким образом они сохранили и дальше свое значение.

Гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода к механической теории теплоты, как теория флогистона к теории Лавуазье. [455—469.]

2. ПРИМЕЧАНИЯ К «АНТИ-ДЮРИНГУ» [1878 г.]

а) О прообразах математического «бесконечного» в действительном мире

К стр. 17—18². Согласие между мышлением и бытием. — Бесконечное в математике.

Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому оба они не могут противоречить друг другу в своих конечных результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления. Материализм XVIII в., вследствие своего по существу метафизического характера, исследовал эту предпосылку только с точки зрения ее содержания. Он ограничился доказательством того, что содержание всякого мышления и знания должно происхо-

¹ Функция Карно C , буквально перевернутая: $\frac{1}{C}$ = абсолютной температуре. Если не перевернуть таким образом, с ней нечего делать.

² Эти указания относятся к страницам первого издания «Анти-Дюринга».

доть из чувственного опыта, и восстановил старое положение: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. Только современная идеалистическая — но вместе с тем и диалектическая — философия, в особенности Гегель, исследовала эту предпосылку также с точки зрения *формы*. Несмотря на бесчисленные произвольные и фантастические построения этой философии, несмотря на идеалистическую, на голову поставленную форму ее конечного результата — единства мышления и бытия, — нельзя отрицать того, что она доказала на множестве примеров, взятых из самых разнообразных отраслей знания, аналогию между процессами мышления и процессами в области природы и истории и, обратно, доказала господство одинаковых законов для всех этих процессов. С другой стороны, современное естествознание до того расширило тезис об опытного происхождения всего содержания мышления, что от его старой метафизической ограниченности и формулировки ничего не осталось. Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств, расширяет субъект опыта, делая им не индивида, а род; нет вовсе необходимости, чтобы отдельный индивид имел известный опыт; его частный опыт может быть до известной степени заменен результатами опыта ряда его предков. Если, например, среди нас математические аксиомы кажутся каждому восьмилетнему ребенку чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся в опытном доказательстве, то это является лишь результатом накопленной наследственности. Бушмену же или австралийскому негру их трудно толковать путем доказательства.

В предлагаемом сочинении диалектика рассматривается как наука о наиболее общих законах *всякого* движения. Это означает, что законы ее должны иметь силу для движения как в области физической природы и человеческой истории, так и для движения мышления. Подобный закон можно установить в двух из этих трех областей и даже во всех трех, причем рутинер-метафизик даже не заметит, что дело здесь идет об одном и том же законе. Возьмем пример. Из всех теоретических успехов знания вряд ли какой оценивается так высоко, считаясь величайшим торжеством человеческого духа, как открытие исчисления бесконечно малых во второй половине XVII в. Здесь, кажется, скорее чем где бы то ни было мы имеем перед собой чистое и исключительное деяние человеческого духа. Тайна, окружающая еще и в наше время применяемые в исчислении бесконечно малых величин дифференциалы и бесконечные разного порядка, является лучшим доказательством того, что и поныне еще воображают, будто здесь имеют дело с чистыми, свободными творениями и плодами воображения человеческого ума, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Между тем справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих *мнимых* величин прообразы в природе.

Наша геометрия исходит из пространственных отношений, а наша арифметика и алгебра — из числовых величин, соответствующих нашим земным отношениям, т. е. соответствующих телесным величинам, которые механика называет массами, — массами, как они встречаются на земле и приводятся в движение людьми. По сравне-

нию с этими массами масса земли кажется бесконечно великой и рассматривается земной механикой как бесконечно большая величина. Радиус земли $= \infty$. Таков принцип механики при рассмотрении закона падения. Но не только земля, а и вся солнечная система и все встречающиеся в ней расстояния оказываются, с своей стороны, бесконечно малыми, как только мы начинаем интересоваться наблюдаемой в телескоп звездной системой, расстояния в которой приходится определять уже световыми годами. Таким образом, мы имеем здесь перед собой бесконечные величины не только первого, но и второго порядка, и можем предоставить фантазии наших читателей — если им это нравится — построить себе дальнейшие бесконечные величины высших порядков в бесконечном пространстве.

Но, согласно господствующим теперь в физике и химии взглядам, земные массы, тела, служащие объектами механики, состоят из молекул, из мельчайших частиц, которых нельзя делить дальше, не уничтожая физического и химического тождества рассматриваемого тела. Согласно вычислениям В. Томсона, диаметр наименьшей из этих молекул не может быть меньше одной пятидесятиллионной доли миллиметра. Допустим также, что наибольшая молекула имеет диаметр в одну двадцатипятиллионную долю миллиметра. В таком случае это все еще ничтожно малая величина по сравнению с теми наименьшими массами, с которыми оперируют механика, физика и даже химия. Между тем она обладает всеми присущими соответственной массе свойствами; она может представлять в физическом и химическом отношении эту массу и действительно представляет ее во всех химических уравнениях. Короче говоря, она обладает по отношению к соответствующей массе теми же самыми свойствами, какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной, с той лишь разницей, что то, что в случае дифференциала в математической абстракции кажется нам таинственным и непонятным, здесь становится само собой разумеющимся и, так сказать, очевидным.

Природа оперирует этими дифференциалами, молекулами, точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами. Так например, дифференциал от x^3 будет $3x^2dx$, причем мы пренебрегаем $3xdx^2$ и dx^3 . Если мы сделаем соответственное геометрическое построение, то мы получим куб, длина стороны которого x , причем длина эта увеличивается на бесконечно малую величину dx . Допустим, что этот куб состоит из какого-нибудь возгонного вещества, скажем, из серы; допустим, что три прилегающие к одной вершине поверхности защищены, а другие три — свободны. Поместим этот серный куб в атмосферу из серного газа и понизим температуру последней надлежащим образом; в таком случае серный газ начнет осаждаться на трех свободных гранях нашего куба. Мы не пойдем вразрез с опытными данными физики и химии, если, желая представить себе этот процесс в его чистом виде, мы допустим, что на каждой из этих трех граней осаждается прежде всего слой толщиной в одну молекулу. Длина стороны куба увеличилась на диаметр одной молекулы, на dx .

Объем же куба x^3 увеличился на разницу между x^3 и $x^3 + 3x^2 dx + 3x dx^2 + dx^3$, причем мы, подобно математике и с тем же правом, можем пренебречь dx^3 , т. е. одной молекулой, и $3x dx^2$, тремя рядами линейно расположенных друг около друга молекул длиной в dx . Результат одинаков: приращение массы куба равно $3x^2 dx$.

Строго говоря, у серного куба dx^3 и $3x dx^2$ не бывает, ибо две или три молекулы не могут находиться в том же пространстве, и прирост его массы точно равен поэтому $3x^2 dx + 3x dx^2 + dx^3$. Это находит себе объяснение в том, что в математике dx есть линейная величина, но таких линий, не имеющих толщины и ширины, в природе самостоятельно, как известно, не существует, а следовательно, математические абстракции только в чистой математике имеют безусловную значимость. А так как и она пренебрегает $3x dx^2 + dx^3$, то это не имеет значения.

То же самое можно сказать и об испарении. Если в стакане воды происходит испарение верхнего слоя молекул, то высота слоя воды уменьшается на dx , и продолжающееся улечучивание одного слоя молекул за другим фактически есть продолжающееся дифференцирование. А если, под влиянием давления и охлаждения, пар в каком-нибудь сосуде сгущается, превращаясь в воду, и один слой молекул отлагается на другом (причем мы отвлекаемся от усложняющих процесс побочных обстоятельств), пока сосуд не заполняется, то перед нами здесь буквально происходит интегрирование, отличающееся от математического интегрирования лишь тем, что одно совершается сознательно, человеческой головой, а другое — бессознательно, природой. Но процессы, совершенно аналогичные процессам исчисления бесконечно малых, происходят не только при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Когда — благодаря толчку — движение масс уничтожается как таковое и переходит в теплоту, в движение молекулярное, то разве не происходит в этом случае дифференцирования движения масс? А когда молекулярное движение пара в цилиндре паровой машины, суммируясь, поднимает поршень на определенную высоту, переходит в движение масс, — разве это не интегрирование? Химия разлагает молекулы на атомы, имеющие меньшую массу и протяженность, но представляющие величины того же порядка, что и первые, так что молекулы и атомы находятся в определенных, конечных отношениях друг к другу. Следовательно, все химические уравнения, выражающие молекулярный состав тел, представляющие собой по форме дифференциальные уравнения. Но в действительности они уже интегрированы благодаря фигурирующим в них атомным весам. Химия оперирует дифференциалами, числовое взаимоотношение которых известно.

Но атомы не считаются чем-то простым, не считаются вообще мельчайшими известными нам частицами материи. Не говоря уже о химиках, которые все больше и больше склоняются к мнению, что атомы обладают сложным составом, большинство физиков утверждает, что мировой эфир, опосредствующий световые и тепловые излучения, состоит тоже из дискретных частиц, столь малых однако,

что они относятся к химическим атомам и физическим молекулам так, как эти последние к механическим массам, т. е. относятся, как d^2x к dx . Здесь, таким образом, общераспространенное представление о строении материи тоже оперирует дифференциалами второго порядка, и ничто не мешает человеку, которому бы это понравилось, вообразить себе, что в природе имеются еще аналогии d^3x , d^4x и т. д.

Но какого бы взгляда ни придерживаться относительно строения материи, факт тот, что она расчленена, представляя собою ряд больших, хорошо отграниченных групп относительной массовидности, так что члены каждой подобной группы находятся со стороны массы в определенных, конечных отношениях друг к другу, а к членам ближайших групп относятся, как к бесконечно большим или бесконечно малым величинам в смысле математики. Видимая глазом система звезд, солнечная система, земные массы, молекулы и атомы, наконец, частицы эфира образуют каждая подобную группу. Дело не меняется от того, что мы находим промежуточные звенья между отдельными группами; так, между массой солнечной системы и земными массами мы встречаем астероиды, из которых некоторые не больше, скажем, княжества Рейсс младшей линии, метеоры и т. д.; так, между земными массами и молекулами мы встречаем в органическом мире клетку. Эти средние звенья показывают только, что в природе нет никаких скачков *именно потому*, что она сплошь состоит из скачков.

Поскольку математика оперирует реальными величинами, она применяет спокойно эти взгляды. Для земной механики масса земли является бесконечно великой; в астрономии земные массы и соответствующие им метеоры рассматриваются как бесконечно малые; точно так же расстояния и массы планет солнечной системы являются в глазах астрономии ничтожно малыми величинами, лишь только она оставляет пределы солнечной системы и начинает изучать строение нашей звездной системы. Но лишь только математика укроется в свою неприступную твердую абстракцию, так называемую чистую математику, все эти аналогии забываются; бесконечность становится чем-то совершенно таинственным, и тот способ, каким ею пользуются в анализе, начинает казаться чем-то совершенно непонятным, противоречащим всякому опыту и рассудку. Глупости и нелепости, которыми математики не столько объясняли, сколько извиняли этот свой метод, приводящий странным образом всегда к правильным результатам, превосходят худшие, реальные и мнимые фантазии хотя бы гегелевской натурфилософии, о нелепостях которой математики не могут наговориться досыта. Они сами делают теперь — но в несравненно большем масштабе — то, в чем они упрекают Гегеля, именно доводят абстракции до крайности. Они забывают, что вся так называемая чистая математика занимается абстракциями, что *все* ее величины, строго говоря, мнимые величины и что все абстракции, доведенные до крайности, превращаются в бессмыслицу или в свою противоположность. Математическая бесконечность заимствована из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому она может быть объяснена только из действительности, а не из самой себя, не из математической абстракции. Но если

мы станем исследовать действительность с этой стороны, то мы найдем, как мы видели, те реальные отношения, из которых заимствованы эти математические понятия о бесконечности, и даже естественные аналогии математической трактовки этих отношений. А этим и объясняется все дело. (Плохое изложение у Геккеля вопроса о тождестве мышления и бытия.) Но и о *противоречии между непрерывной и прерывной материей* смотри у Гегеля.

в) 0 «механическом» понимании природы

Примечание 2 к стр. 46. Различные формы движения и рассматривающие их науки.

С тех пор как появилась эта статья¹, Кекуле («Die wissenschaft. Ziele u. Leistungen der Chemie») дал совершенно аналогичное определение механики, физики и химии: «Если положить в основу это представление о сущности материи, то химию можно будет определить как *науку об атомах*, а физику как *науку о молекулах*; в таком случае является мысль выделить ту часть современной физики, которая занимается *массами*, в особую дисциплину, оставив для нее название механики». Таким образом, механика оказывается основой физики и химии, поскольку та и другая, при известной оценке и количественном учете своих молекул или атомов, должны рассматривать их как массы. Эта концепция отличается, как мы видим, от той, которая дана в тексте и в предыдущем примечании, только своей несколько меньшей определенностью. Но если один английский журнал («Nature») придал вышеприведенной мысли Кекуле такой вид, что механика — это статика и динамика масс, физика — статика и динамика молекул, химия — статика и динамика атомов, то, по моему мнению, такое безусловное сведение даже химических процессов к чисто механическому сужает неподобающим образом поле химии. И, однако, оно стало столь модным; что, например, у Геккеля слова «механический» и «монистический» постоянно употребляются как равнозначные и что, по его мнению, «современная физиология... дает в своей области место только физическим, химическим или в *широком смысле слова* механическим силам» (Perigenesis).

Называя физику механикой молекул, химию — физикой атомов и, далее, биологию — химией белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, прерывность между обеими областями. Итти же дальше этого, называть химию своего рода механикой, по моему, нерационально. Механика — в более широком или узком смысле слова — знает только количества, она оперирует скоростями и массами и в лучшем случае объемом. Там, где на пути у нее стоит качество, — как пример в гидростатике и аэростатике, — она не может прийти к удовлетворительным результатам, не вдаваясь в рассмотрение молекулярных состояний и молекулярного движения; она сама только простая вспомогательная наука, предпосылка физики. Но

¹ «Vorwärts» 9 февраля 1877 г.

в физике, а еще более в химии не только происходит постоянное качественное изменение в результате количественного изменения, не только наблюдается переход количества в качество, но приходится также рассматривать множество изменений качества, относительно которых совершенно не доказано, что они вызваны количественными изменениями. Можно охотно согласиться с тем, что современная наука движется в этом направлении, но это вовсе не доказывает, что это направление единственно правильное, что, идя этим путем, мы *исчерпаем* до конца физику и химию. Всякое движение включает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших частей материи; познать эти механические движения является *первой* задачей науки, однако лишь *первой*. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движений вообще. Движение вовсе не есть простое перемещение, простое изменение места, в надмеханических областях оно является также и изменением качества¹. Открытие, что теплота представляет собой молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собою известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия находится на пороге того, чтобы из отношения атомных объемов к атомным весам объяснить целый ряд химических и физических свойств элементов. Но ни один химик не решится утверждать, будто все свойства какого-нибудь элемента выражаются исчерпывающим образом его положением на кривой Лотара Мейера, что этим одним определяются, например, специфические свойства углерода, делающие его главным носителем органической жизни, или же необходимость фосфора в мозгу. Между тем «механическая» концепция сводится именно к этому; она объясняет всякие изменения из изменений места, все качественные различия из количественных и не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие. Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из *тождественных* мельчайших частиц и что все количественные различия химических элементов материи вызываются количественными различиями в числе и пространственной группировке этих мельчайших частиц при их объединении в атомы. Но до этого нам еще далеко.

Только незнакомство современных естествоиспытателей с иной философией, кроме той ординарнейшей вульгарной философии, которая процветает ныне в немецких университетах, позволяет им оперировать, таким образом, выражениями, вроде «механический», причем они не отдают себе отчета и даже не догадываются, какие из этого вытекают необходимые выводы. У теории абсолютной качественной тождественности материи свои приверженцы: эмпирически ее так же нельзя опровергнуть, как и нельзя доказать. Но если спросить

¹ Зачеркнуто: Мышление есть тоже движение.

людей, желающих объяснить все «механически», сознают ли они неизбежность этого вывода и признают ли тождественность материи, то какие при этом получаются ответы!

Самое комичное—это то, что приравнение «материалистического» и «механического» имеет своим родоначальником Гегеля, который хотел унижить материализм эпитетом «механический». Но дело в том, что критикуемый Гегелем материализм — французский материализм XVIII в. — был действительно исключительно *механическим*, и по той простой причине, что физика, химия и биология были тогда еще в зачаточном состоянии, далеко не являясь основой общего мировоззрения. Точно так же у Гегеля заимствует Геккель перевод *causae efficientes* через «механически действующие причины» и *causae finales* — через «целестремительно действующие причины»; но Гегель понимает под словом «механический» — слепо, бессознательно действующий, а не механически действующий в смысле Геккеля. При этом для самого Гегеля все это противоположение является чем-то устарелым, отжившим настолько, что он *не упоминает* о нем ни в одном из обоих своих изложений проблемы причинности в «Логике», упоминая о нем только в «Истории философии», где оно освещено в исторической перспективе (следовательно, полное непонимание его Геккелем благодаря поверхностному отношению!), и совершенно случайно при разборе вопроса о телеологии («Логика», II, 3), как о той форме, в которой *старая метафизика* рассматривала противоположность между механизмом и телеологией. Вообще же он рассматривает ее как давно уже преодоленную точку зрения. Таким образом, Геккель в своем восторженном устремлении найти подтверждение своей «механической» концепции просто неверно списал у Гегеля, добившись этим того замечательного результата, что если естественный отбор создает у того или другого животного или растения какое-нибудь определенное изменение, то это происходит благодаря *causa efficiens*; если же это самое изменение вызывается *искусственным* отбором, то это происходит благодаря *causa finalis*, и, значит, искусный животновод и растениевод оказываются в роли *causa finalis*! Ясно, что диалектик калибра Гегеля не мог путаться в ограниченной противоположности между *causa efficiens* и *causa finalis*. С современной же точки зрения нетрудно положить конец всей путанице и болтовне по поводу этой противоположности, указав на то, что, как мы *знаем* из опыта и теории, материя и форма ее бытия, движение, несотворимы и, следовательно, являются своими конечными причинами. Если мы возьмем какую-нибудь отдельную причину, изолированную по времени и месту во взаимодействии мирового движения или изолируемую нашей мыслью, то мы не прибавим к ней никакого нового определения, а внесем только усложняющий и запутывающий момент, назвав ее *действующей* причиной. Причина, которая не действует, не есть вовсе причина.

Н. В. Материя как таковая—это чистое создание мысли и абстракция. Подводя вещи, рассматриваемые нами как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. Поэтому материя как таковая в отличие от

определенных существующих материй не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступают так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое. Теория Дарвина требует подобного прототипа млекопитающих, *Pro mammale* Геккеля, но Геккель должен в то же время признать, что если оно содержало в себе в *зародыше* всех будущих и современных млекопитающих, то в действительности оно стояло ниже всех современных млекопитающих и было совершенно грубым, а поэтому и было более преходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель («Энциклопедия», 1, 199), это воззрение, эта «односторонняя математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII в. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей.

с) О неспособности Гегели познать бесконечное

Гегели, стр. 12 — 13 [*C. v. Nägeli*, *Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis*, September 1877].

Гегели сперва заявляет, что мы не в состоянии познать реальных качественных различий, а вслед за этим сейчас же говорит, что подобные «абсолютные различия» не встречаются в природе! (Стр. 12.)

Во-первых, каждая качественная бесконечность представляет многочисленные количественные градации, например оттенки цветов, твердость и мягкость, долговечность и т. д., и они, хотя качественно и различны, доступны измерению и познанию.

Во-вторых, не существует просто качеств, существуют только вещи, *обладающие* качествами, и притом бесконечно многими качествами. У двух различных вещей всегда имеются известные общие качества (по крайней мере свойство телесности); другие качества отличаются между собой по степени; наконец, иные качества могут совершенно отсутствовать у одной из вещей. Если мы станем сопоставлять изолированно такие две до крайности различные вещи, например какой-нибудь метеорит и какого-нибудь человека, то при этом мы добьемся немногого, в лучшем случае того, что обоим присущи тяжесть и другие телесные свойства. Но между обеими этими вещами бесконечный ряд других естественных вещей и естественных процессов, позволяющих нам заполнить ряд от метеорита до человека и указать каждой ее место в связи природы и таким образом *познать* ее. С этим соглашается и сам Гегели.

В-третьих, наши различные чувства могли бы доставлять нам абсолютно различные в качественном отношении впечатления.

В этом случае свойства, которые мы узнали бы при посредстве зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, были бы абсолютно различны. Но и здесь различия исчезают по мере успехов исследования. Давно уже признано, что обоняние и вкус являются родственными, связанными между собой чувствами, воспринимающими связанные между собой, если даже не тождественные, свойства; зрение и слух воспринимают колебания волн. Осязание и зрение так дополняют друг друга, что мы часто можем предсказать на основании вида какой-нибудь вещи ее тактильные свойства. Наконец, всегда одно и то же «я» воспринимает и перерабатывает в себе все эти различные чувственные впечатления, собирая их в некое единство; точно так же эти различные впечатления доставляются одной и той же вещью, «являясь» общими свойствами ее и давая, таким образом, возможность познать ее. Следовательно, задача объяснить эти различные, доступные лишь различным органам чувств, свойства, установить между ними внутреннюю связь является задачей науки, которая до сих пор не имела оснований жаловаться на то, что мы не имеем вместо пяти специальных чувств одного общего чувства или что мы неспособны видеть либо слышать запахов и вкусов.

Куда мы ни посмотрим, мы нигде не встречаем в природе подобных «качественно или абсолютно различных областей», о которых нам говорят, что они непонятны. Вся путаница происходит от спутывания качества и количества. Негели, стоя на господствующей механической точке зрения, считает объясненными все качественные различия лишь тогда, когда они могут быть сведены к количественным различиям (об этом речь у нас будет в другом месте); для него качество и количество являются абсолютно различными категориями. Метафизика.

«Мы можем познавать *только конечное* и т. д.». Это совершенно верно лишь постольку, поскольку в сферу нашего познания попадают лишь конечные предметы. Но это положение нуждается в дополнении: «По существу мы можем познавать *только бесконечное*». Действительно всякое реальное, исчерпывающее познание заключается лишь в том, что мы в мыслях извлекаем единичное из его единичности и переводим его в особенность, а из этой последней во всеобщность, — заключается в том, что мы находим бесконечное в конечном, вечное в преходящем. Но форма всеобщности есть форма в себе замкнутости, а следовательно бесконечности; она есть соединение многих конечных вещей в бесконечное. Мы знаем, что хлор и водород под действием света соединяются при известных условиях температуры и давления в хлористоводородный газ, давая взрыв; раз мы это знаем, то мы знаем также, что это *происходит* при вышеуказанных условиях *повсюду и всегда*, и для нас совершенно безразлично, произойдет ли это один раз или повторится миллионы раз и на скольких планетах. Формой всеобщности в природе является *закон*, и никто не говорит так много о *вечности законов природы*, как естествоиспытатели. Поэтому если Негели говорит, что мы делаем конечное непонятным, если не ограничиваемся исследованием только этого конечного, а примешиваем к нему вечное, то он отрицает либо познаваемость законов природы,

либо их вечность. Всякое истинное познание природы есть познание вечного, бесконечного, и поэтому оно по существу абсолютно.

Но у этого абсолютного познания есть свой серьезный камень преткновения. Подобно бесконечности познаваемого вещества, которое составляется из одних лишь конечностей, так и бесконечность абсолютного познающего мышления складывается из бесконечного количества конечных человеческих голов, которые при этой бесконечной работе познания совершают практические и теоретические промахи, исходят из неудачных, односторонних, неверных посылок, идут неверными, кривыми, ненадежными путями и часто даже не распознают истины, хотя и упираются в нее лбом (Пристли). Поэтому познание бесконечного окружено двоякого рода трудностями и представляет по своей природе бесконечный асимптотический процесс. И этого для нас вполне достаточно, чтобы мы имели право сказать: бесконечность столь же познаваема, сколь и непознаваема, а это все, что нам нужно.

Комичным образом Негели заявляет то же самое: мы способны познавать только конечное, но зато мы можем познать *все конечное*, попадающее в сферу нашего чувственного восприятия. Конечное, попадающее в сферу и т. д., дает в сумме бесконечное, ибо Негели *составляет себе свое представление о бесконечном именно на основании этой суммы*. Без этого конечного и т. д. он не имел бы никакого представления о бесконечном.

[О дурной бесконечности как таковой поговорим в другом месте.]

[Перед этим исследованием бесконечности указать на следующее:]

1. «Небольшая область» с точки зрения пространства и времени.
2. «Вероятно недостаточное развитие органов чувств».
3. Что мы способны познавать только конечное, преходящее, изменяющееся и в различных степенях относительное [и т. д. до:] «мы не знаем, что такое время, пространство, сила и материя; движение и покой, причина и следствие».

Это старая история. Сперва сочиняют абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познавать их чувственно, желают видеть время и обонять пространство. Эмпирик до того втягивается в привычный ему эмпирический опыт, что воображает себя все еще в области чувств, опыта, даже тогда, когда он имеет дело с абстракциями. Мы знаем, что такое час, метр, но не знаем, что такое время и пространство! Точно время есть нечто иное, чем сумма часов, а пространство нечто иное, чем сумма кубических метров! Разумеется, обе формы существования материи без этой материи представляются ничто, только пустое представление, абстракцию, существующую только в нашей голове. Но мы неспособны познать, что такое материя и движение! Разумеется, неспособны, ибо материю как таковую и движение как таковое никто еще не видел и не испытывал каким-нибудь иным образом; люди имеют дело только с различными реально существующими материями и формами движения. Вещество, материя — не что иное, как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения; слова, вроде «материя» и «движение»,

это — просто *сокращения*, в которых мы резюмируем, согласно их общим свойствам, различные чувственно воспринимаемые вещи. Поэтому материю и движение *можно* познать лишь путем изучения отдельных форм вещества и движения; поскольку мы познаем последнее, постольку мы познаем материю и движение *как таковые*. Поэтому когда Гегели говорит, что мы не знаем, что такое время, пространство, движение, причина и следствие, то он этим лишь утверждает, что мы (*pro tanto*) при помощи своей головы сочиняем себе сперва абстракции, отвлекая их из реального мира, а затем — не в состоянии познать этих сочиненных нами абстракций, ибо они умственные, а не чувственные вещи, между тем как всякое познание есть *чувственное измерение*. Это — точь в точь как встречающаяся у Гегеля трудность, что мы в состоянии есть вишни, сливы, но не в состоянии есть *плода*, потому что никто еще не ел плода как такового.

Утверждение Гегели, что в природе существует, вероятно, масса форм движения, которых мы неспособны воспринять своими чувствами, представляет собой довольно «убогое оправдание»; оно равносильно — *по крайней мере для нашего познания* — отказу от закона о несотворимости движения. Ведь эти невоспринимаемые формы движения могут превратиться в *доступное нашему восприятию движение*, тогда, например, было бы легко объяснить контактное электричество!

3. ИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЭНГЕЛЬСА К «АНТИ-ДЮРИНГУ»¹

[Мышление.]

«Единственным содержанием мышления являются мир и законы мышления».

* Общие результаты исследования мира обнаруживаются в конце этого исследования; итак, они являются не *принципами*, не исходными пунктами, а *результатами*, итогами. Получать эти результаты путем конструкции, производимой в уме, исходить из них, как из основы, а затем в уме реконструировать мир — значит придерживаться *идеологии*, той идеологии, которою до сих пор были заражены и все разновидности материализма, так как для них, конечно, было до некоторой степени ясно отношение мышления к бытию в *природе*, но неясно было это отношение в истории, зависимость мышления во всяком данном случае от исторических материальных условий. Так как Дюринг исходит из «принципов», а не из фактов, то он является идеологом, и он может скрывать, что он идеолог, лишь выражая

¹ Здесь приведены лишь избранные, основные фрагменты из подготовительных работ Энгельса к «Анти-Дюрингу». *Ред.*

* Абзацы, отмеченные звездочкой, перечеркнуты в рукописи вертикальной линией; это означает, что Энгельс использовал эти заметки в своей работе. Текст, заключенный в квадратные скобки, принадлежит редакции. *Ред.*

свои положения в столь общей и бессодержательной форме, что эти положения представляются *аксиоматическими, плоскими*, причём в таком случае из этих положений нельзя сделать никаких выводов, но можно лишь вложить в них произвольное значение. Например, хотя бы принцип *единственного бытия*. Единство мира и нелепость потустороннего бытия есть результат всего исследования мира, но здесь имеется в виду доказать его *a priori*, исходя из *аксиом мышления*. Поэтому получается нелепость. Но без этого переворачивания *невозможна точная философия*.

Систематика с точки зрения Гегеля невозможна. Ясно, что мир образует единую систему, т. е. связанное целое, но познание этой системы предполагает познание всей истории природы, чего люди *никогда* не достигают. Итак, тот, кто строит системы, должен заполнять бесчисленное множество пробелов *собственными измышлениями*, т. е. *иррационально фантазировать*, выводить все логически из идеи (*ideologisieren*).

Рациональная фантазия — alias комбинация!

* * *

Вычисляющий рассудок — *арифмометр!* — Забавное смешение математических действий, допускающих материальное доказательство, проверку, так как они основаны на непосредственном материальном созерцании, хотя и абстрактном, с такими чисто логическими действиями, которые допускают лишь доказательство путем умозаключения и которым, следовательно, не свойственна положительная достоверность, присущая математическим действиям, — а сколь многие из них оказываются ошибочными! Машина для *интегрирования*, ср. Andrews, speech, «Nature», Sept. 7, 76¹.

Схема-шаблон.

* * *

Противоположность, — если вещи присуща противоположность, то в ней, а также и в ее выражении в мысли, обнаруживается *противоречие* с самой собой. Например, в том, что вещь остается тою же самою и в то же время непрерывно изменяется, что она имеет в себе противоположность между «устойчивостью» и «изменением», заключается *противоречие*.

[*Мышление и опыт*.]

Все идеи заимствованы из опыта отражения действительности — верные или искаженные.

Два рода опыта — внешний, материальный, и внутренний — законы мышления и формы мышления. И формы мышления отчасти унаследованы благодаря развитию (самоочевидность, например,

¹ Энгельс имеет в виду речь Томаса Эндрюса на 46-м ежегодном собрании British Association for the Advancement of Science в Бельфасте.

математических аксиом для европейцев, но, конечно, не для бушмэнов и австралийских негров).

Если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности, точно так же как вычисление в аналитической геометрии должно соответствовать геометрическому построению, хотя то и другое являются совершенно различными методами. Но, к сожалению, этого почти никогда не бывает или это достигается лишь в совершенно простых действиях.

Внешний мир в свою очередь есть или природа, или общество.

Уже верное отражение *природы* чрезвычайно трудно; оно оказывается продуктом продолжительной истории опыта. Силы природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым, таинственным, подавляющим. На известной ступени, через которую проходят все культурные народы, он уподобляет их себе путем олицетворения. Именно это стремление к олицетворению создало повсюду богов и *consensus gentium* [всеобщее мнение], на которое ссылается доказательство бытия божия, доказывает именно лишь всеобщность этого стремления к олицетворению как необходимой переходной ступени, а следовательно, и религии. Лишь действительное познание сил природы постепенно вытесняет богов или бога отовсюду (Секки и его солнечная система). В настоящее время этот процесс настолько подвинулся вперед, что теоретически его можно считать законченным.

В сфере общественных явлений отражение еще более трудно. Общество определяется экономическими отношениями, производством и обменом, а кроме того историческими предпосылками.

[*Реальность и абстракция.*]

* С помощью положения о всеединственности всеобъемлющего бытия, под которым папа и шейх-уль-ислам могут подписаться, несколько не отказываясь от своей непогрешимости и от религии, Дюринг так же не может доказать исключительную *материальность* всего бытия, как он не может построить треугольник или шар на основании какой бы то ни было математической аксиомы или вывести из нее теорему Пифагора. Для того и другого нужны реальные предпосылки, и лишь путем исследования этих реальных предпосылок можно достигнуть этих результатов. Уверенность в том, что кроме материального мира не существует еще особого духовного мира, есть результат продолжительного и трудного исследования реального мира, включая сюда и исследование продуктов и процессов человеческого мозга. Результаты геометрии представляют собой не что иное, как естественные свойства различных линий, поверхностей и тел или же их комбинаций, которые большей частью встречались уже в природе задолго до того, как существовали люди (радиолярии, насекомые, кристаллы и т. д.).

[*Материя и движение.*]

* *Движение есть форма бытия материи*, следовательно нечто большее, чем ее свойство. Не существовало и не может существовать материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение сравнительно небольших масс на отдельных мировых телах, молекулярные колебания в виде теплоты, электрическое напряжение, магнитная поляризация, химическое разложение и соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, — каждый отдельный атом вещества находится в любой данный момент в той или иной из этих форм движения. Всякое равновесие или является лишь относительным покоем, или само оно, как при движении планет, представляет собой движение в равновесии. Абсолютный покой мыслим лишь там, где нет материи. Итак, нельзя отделять от материи ни движения как такового, ни какой-либо из его форм, например механической силы; нельзя противопоставлять материи движение как нечто особое, чуждое ей, не приходя к нелепым выводам.

[*Приспособление растений.*]

Дюрингiana. Дарвинизм, стр. 115 («Курс философии»).

* *Приспособление растений* представляет собой комбинацию физических сил или химических факторов, т. е. вовсе не приспособление. Если «растение во время своего роста выбирает путь, который дает ему максимум света», то оно делает это различным путем и различными способами, которые оказываются различными в зависимости от вида и свойств растений. Но физические силы и химические факторы проявляются в каждом растении по-разному и способствуют тому, что растение, которое ведь есть нечто иное, чем эти «химические и физические и т. д.», получает необходимый для него свет тем путем, который выработался благодаря продолжительному предшествовавшему развитию. Этот свет действует, как раздражение на клетки растения, и именно он вызывает в них, как реакцию, эти силы и факторы. Так как этот процесс совершается в органическом клеточном образовании и принимает форму раздражения и реакции на него, которая и здесь, как — при посредстве нервов — в человеческом мозгу, оказывается налицо, то и в том и в другом случае применимо одно и то же выражение, а именно: приспособление. Если же приспособление непременно должно происходить при посредстве сознания, то где же начинаются сознание и приспособление и где они кончаются? У монеры, у насекомоядного растения, у гриба, у коралла в первом «нерве»? Дюринг доставил бы естествоиспытателям старого закала огромное удовольствие, если бы он указал границу. Раздражение протоплазмы и протоплазма. Реакция оказывается налицо всюду, где есть живая протоплазма. А так как благодаря действию медленно изменяющихся раздражений протоплазма так же изменяется, чтобы не погибнуть,

то ко всем органическим телам должно быть применимо одно и то же выражение, а именно: приспособление ¹.

* * *

* Геккель рассматривает по отношению к развитию видов приспособление как фактор отрицательный, вызывающий изменения, а наследственность как фактор положительный, сохраняющий виды. Дюринг, наоборот, утверждает (стр. 122), что наследственность вызывает и отрицательные результаты, производит *изменения*. (При этом пустословие о преформировании.) Как и по отношению ко всяким противоположностям этого рода, чрезвычайно легко перевернуть их и показать, что, наоборот, приспособление, именно благодаря изменению *формы*, сохраняет существенное, *самый орган*, между тем как наследственность уже благодаря происходящему всякий раз совокуплению двух других индивидуумов всегда вызывает изменения, накопление которых не исключает изменения вида. Ведь при нем наследуются и результаты приспособления! Но при этом мы не подвигаемся ни на шаг вперед. Мы должны считаться с фактами и исследовать их, а при этом, конечно, оказывается, что Геккель совершенно прав, считая наследственность по существу консервативною, положительною, а приспособление — вызывающею революцию, отрицательною стороною процесса. Приручение, разведение животных и растений и произвольное приспособление являются в данном случае более существенными аргументами, чем «тонкие толкования» Дюринга.

[Жизнь.]

* Дюринг, стр. 141.

Жизнь. За последние двадцать лет физиологи-химики и химики-физиологи х раз утверждали, что обмен веществ есть важнейшее явление жизни, и не раз определяли таким образом жизнь. Но это определение не точно и не полно. Мы наблюдаем обмен веществ и при *отсутствии* жизни, например при простых химических процессах, которые при достаточном притоке сырых материалов всегда снова порождают свои собственные условия, причем носителем процесса является определенное тело (примеры см. Роско 102²; изготовление серной кислоты), при эндосмосе и экзосмосе (через мертвые органические и даже неорганические перепонки?), в искусственных клетках Траубе и в окружающей их среде. Итак, обмен веществ, которым хотят объяснить жизнь, сам требует более точного определения. Поэтому, несмотря на всякие глубокие обоснования, уточненные

¹ Заметка на полях: И у животных важнее всего произвольное приспособление.

² Roscoe Schorlemmer, Ausführliches Lehrbuch der Chemie, B. I, Braunschweig 1877.

истолкования и тонкие исследования, мы все же не доходим до понимания сути дела и продолжаем спрашивать, что такое жизнь.

* Дефиниции не имеют значения для науки, потому что они всегда оказываются неудовлетворительными. Единственно реальной дефиницией оказывается развитие самой сути дела, а оно уже не есть дефиниция. Для того, чтобы выяснить, что такое жизнь, мы должны исследовать все формы жизни и представить их в их взаимной связи. Но для *практического применения* краткое указание наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных признаков в так называемой дефиниции часто бывает полезно и даже необходимо, и оно не может вредить, если только от нее не требуют, чтобы она давала больше, чем она может выражать. Итак, попытаемся дать прямое определение жизни, которое старались дать столь многие (см. Никольсон).

* Жизнь есть форма бытия белковых тел, и эта форма бытия заключается по существу в постоянном обновлении их химических составных частей благодаря питанию и выделению.

* Повсюду, где имеется жизнь, мы находим, что она связана с белковым телом, и повсюду, где имеется белковое тело, не находящееся в процессе разложения, мы встречаем явления жизни. Конечно, необходимо и наличие других химических элементов и соединений наряду с белком для того, чтобы вызвать характерные для этих явлений жизни процессы дифференцирования; но для жизни самой по себе, в ее простейшей форме, они не необходимы, поскольку они не входят в состав пищи и не превращаются в белки. (Конечно, название «белковые тела» употреблено здесь в смысле современной химии, охватывающей этим названием все тела, в которых существенен белок.) Но в чем же заключаются эти жизненные явления, одинаково встречающиеся повсюду? В том, что белковое тело извлекает из окружающей его среды другие вещества, ассимилирует их, между тем как другие, более старые части тела разлагаются и выделяются. Иные неживые тела также изменяются, разлагаются или соединяются, но при этом они перестают быть тем, чем они раньше были. То, что у них является причиной их гибели, является у белка основным условием существования. Лишь только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, оно само перестает существовать, разлагается, т. е. *умирает*. Жизнь, форма существования белкового тела, заключается, следовательно, прежде всего в том, что оно в каждое мгновение является и самим собою и в то же время другим. Правда, и всякое другое тело, в котором совершается процесс, в большей или меньшей степени обладает вышеуказанным свойством, но другие процессы являются процессами низшего рода, и тела *подвергаются* им, а жизнь есть самопроизвольно совершающийся процесс, присутствующий, врожденный своему носителю — белку. А отсюда следует, что, если когда-нибудь химии удастся искусственно создать белок, этот белок должен будет обнаруживать явления жизни, как бы слабы они ни были. Другой вопрос, удастся ли химии одновременно с этим открыть и подходящую пищу для этого искусственного белка.

* Из органического обмена веществ, как из существенной функции белка, и из свойственной ему пластичности выводятся затем все прочие, простейшие функции жизни: раздражимость, заключающаяся уже во взаимодействии между белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживающаяся при пожирании пищи; способность расти, заключающаяся в себе на низшей ступени (монера) размножение путем деления; внутреннее движение, без которого невозможны ни пожирание пищи, ни ассимиляция. Но лишь путем наблюдения можно выяснить, каким образом совершается процесс развития от простого пластического белка к клетке и, следовательно, к организации и такое исследование не приурочено к простому практическому определению жизни. (Дюринг признает на стр. 141 еще целый промежуточный мир, так как без системы каналов, по которым совершается циркуляция веществ, и без «зародышевой схемы» нет подлинной жизни. Это место превосходно.)

[*Естественный отбор.*]

Дюринг должен был бы радоваться тому, что существует естественный отбор, так как он все же представляет наилучший пример для иллюстрации его учения о бессознательных целях и средствах. Если Дарвин исследует естественный отбор, ту форму, в которой совершается медленное изменение, то Дюринг требует, чтобы Дарвин указал и *причину* изменения, относительно которой господину Дюрингу также ничего неизвестно. Как бы ни развивалась наука, господин Дюринг всегда скажет, что еще чего-то недостает, и таким образом у него окажется достаточное основание для недовольства.

[*О Дарвине.*]

Сколь великим представляется чрезвычайно скромный Дарвин, который не только сопоставляет, группирует и подвергает обработке множество фактов из всей биологии, но и с удовольствием упоминает о каждом из своих предшественников, как бы незначителен он ни был, даже и тогда, когда это умаляет его собственную славу, по сравнению с хвастливым Дюрингом, который сам ничего не сделал, но пренебрежительно относится к тому, что сделали другие, и который... стр. 74, 77.

* *Отрицание отрицания.* Несколько примеров для того, чтобы обнаружить всю возмутительность этого ужасного преступления.

Во-первых, возьмем ячменное зерно. Миллионы таких зерен употребляются в пищу или потребляются в виде пива. Но если ячменное зерно находит нормальные условия, при которых оно может завершить свой нормальный круговорот жизни, если оно попадает на благоприятную почву, то с ним происходит изменение:

оно дает росток; зерно как таковое исчезает, отрицается; на место его появляется возникшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Он заключается в том, что само оно производит вновь ячменные семена, и как только последние созреют, растение отмирает, *отрицается* в свою очередь. Как результат этого отрицания отрицания мы имеем снова первоначальное ячменное зерно, но сам-десять, сам-двадцать или сам-тридцать. Хлебные злаки изменяются крайне медленно, а поэтому качество зерен остается почти неизменным в историческую эпоху. Если же мы возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение, например далию, и будем воздействовать на семя, как делает искусный садовник, то как результат этого «отрицания отрицания» мы получим не только большее количество семян, но и усовершенствованное семя, могущее производить более красивые цветы, и это усовершенствование подвигается вперед при каждом повторении этого процесса. Подобно тому как с ячменным зерном, этот процесс совершается у многих животных, особенно у насекомых, которые только один раз совокупляются и, отложив яйца, умирают. Здесь нас не касается, что существуют такие растения и животные, которые не умирают, как только завершился процесс продолжения рода, и исследование вопроса о том, почему это происходит таким образом, завело бы нас слишком далеко. Достаточно показать, что отрицание отрицания действительно происходит в растительном и в животном царстве. Далее: возьмем любую алгебраическую величину, a . Если мы отрицаем ее, то мы получаем $-a$. Если же мы подвергаем отрицанию это отрицание, помножив $-a$ на $-a$, то получим $+a^2$, т. е. первоначальную положительную величину, но на более высокой ступени развития, а именно во второй степени. И в этом случае не имеет значения, что тот же результат должен быть достигнут прямо, если мы умножим $+a$ на $+a$ и также получим $+a^2$; ведь отрицание так прочно пребывает в $+a^2$, что квадратный корень из $+a^2$ равняется не только $+a$, но столь же необходимо и $-a$, и это получает весьма осязательное практическое значение в квадратных уравнениях ¹. Далее. Все индогерманские народы начинают с *общественной* собственности. Почти у всех народов общинная собственность отменяется, *отрицается*, вытесняется другими формами: частною собственностью, феодальною собственностью и т. д. Отрицание этого отрицания, восстановление общественной собственности на более высокой ступени развития составляет задачу социальной революции. Или: античная философия сперва представляла собой первоначально стихийный материализм. Из него возникли идеализм, спиритуализм, отрицание материализма, сперва в виде противоположности между душою и телом, затем в учении о бессмертии, которое (нашло свое выражение) в монотеизме. Благодаря христианству этот спиритуализм стал общераспространенным. Отрицание этого отрицания—

¹ Или в высшей математике дифференцируют, т. е. отрицают объект, по отношению к которому производится вычисление, затем отрицают это отрицание, т. е. интегрируют, и тогда находят разрешение вопроса, которое нельзя найти или трудно найти иным способом.

воспроизведение старого на более высокой ступени (развития), современный материализм, который находит свое теоретическое завершение по отношению к прошлому в научном социализме. Итак, прежде чем изгнать отрицание отрицания из диалектики и мышления, Дюринг будет вынужден изгнать его из природы и из истории и изобрести такую математику, в которой $-a \times -a \neq +a^2$ и $\sqrt{+a^2}$ не есть $-a$.

...Само собою разумеется, что эти естественные и исторические процессы отражаются в мыслящем мозгу и воспроизводятся в нем, как это обнаруживается в вышеприведенных примерах $-a \times -a$ и т. д., и именно высшие диалектические задачи разрешаются лишь благодаря применению этого метода.

Конечно, существует и плохое, бесплодное отрицание. Но истинное, естественное, историческое и диалектическое отрицание есть (формально) движущее начало всякого развития — разделение на противоположности, их борьба и разрешение, причем (в истории отчасти, в мышлении вполне) на основе проделанного опыта вновь достигается первоначальный исходный пункт, но на более высокой ступени. — Этим бесплодным отрицанием является отрицание чисто субъективное, индивидуальное, представляющее собой не стадию развития сути дела, а извне вносимое *мнение*. А так как при нем ничего не может получиться, отрицающий таким образом должен быть недоволен миром, ворчливо хулить все существующее и все совершавшееся, все историческое развитие. Хотя древние греки кое-что сделали, но они не знали ни спектрального анализа, ни химии, ни дифференциального исчисления, ни паровых машин, ни шоссе-ных дорог, ни электрического телеграфа, ни железных дорог. К чему же останавливаться на продуктах таких отсталых людей? Все дурно — постольку этого рода отрицатели являются пессимистами — до нашего величия, которое оказывается совершенным, так что, следовательно, наш пессимизм переходит в наш оптимизм. Итак, сами мы произвели отрицание отрицания.

Даже точка зрения Руссо на историю — первоначальное равенство — порча благодаря неравенству — установление равенства на более высокой ступени — есть отрицание отрицания¹.

Дюринг постоянно проповедует идеализм — *идеалистическую* точку зрения. Если мы делаем из существующих отношений выводы относительно будущего, если мы постигаем и исследуем *положительную* сторону *отрицательных* элементов, проявляющихся в ходе истории, а это делает по-своему, как в высшей степени ограниченный прогрессист, даже идеалист — Ласкер, то Дюринг называет это идеализмом, и поэтому он считает себя в праве рисовать картину будущего, в которой намечается даже школьный план и которая оказывается фантастической, так как она основана на невежестве. Он упускает из виду, что при этом сам он производит *отрицание* отрицания.

¹ Это замечание находится на полях без указания места, к которому оно относится.

«Ничто» чего-либо положительного, — говорит Гегель, — есть определенное ничто»¹. «Дифференциалы могут быть рассматриваемы как *настоящие нули* и быть принимаемы за настоящие нули, между которыми, однако, существует определенное отношение, вытекающее из постановки рассматриваемого именно в данном случае вопроса. Математически это не оказывается нелепостью», — говорит Боссю².

Отношение $\frac{0}{0}$ может иметь весьма определенное значение, если оно получается благодаря одновременному исчезновению числителя и знаменателя. Также $0 : 0 = A : B$, где $\frac{0}{0} = \frac{A}{B}$, а следовательно изменяется с изменением значения A и B (стр. 95, примеры), и не заключается ли «противоречие» в том, что между нулями существуют отношения, т. е. они могут иметь не только значение вообще, но даже различные значения, которые можно выразить в числах? $1 : 2 = 1 : 2$; $1 - 1 : 2 - 2 = 1 : 2$; $0 : 0 = 1 : 2$.

* Сам Дюринг говорит, что вышеупомянутые суммирования бесконечно малых величин — на обычном языке интегральное исчисление — представляют собой наивысшие и т. д. операции в математике. Как производится этот род исчислений? У нас имеются две, три или более переменные величины, т. е. такие величины, при изменении которых между ними обнаруживается определенное отношение. Например, даны две (величины), x и y , и требуется разрешить определенную неразрешимую с помощью элементарной математики задачу, в которой функционируют x и y . Я дифференцирую x и y , т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что они исчезают по сравнению со сколь угодно малой действительной величиной, так что от x и y не остается ничего, кроме *их взаимного отношения*, лишенного всякой материальной основы, следовательно $\frac{dx}{dy} = \frac{0}{0}$, но это $\frac{0}{0}$ выражает собой отношение $\frac{x}{y}$. То, что это отношение двух исчезнувших величин, фиксированный момент их исчезновения, представляет собой противоречие, не может смущать нас. Итак, что же я сделал, как не то, что я подверг *отрицанию* x и y , но не в том смысле, что мне до них больше нет дела, а соответственно обстоятельствам дела. Вместо x и y я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание. Затем я произвожу обычные действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую дифференциальную формулу, вместо dx и dy подставляю действительные величины x и y и тем самым не просто возвращаюсь к исходному пункту, но разрешаю задачу, которая не под силу элементарной геометрии и алгебре.

* История земной коры представляет собой ряд подвергнутых

¹ Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. I, S. 74, Berlin 1841.

² Charles Bossut, Cours complet de mathématique, Paris 1795—1801.

отрицанию отрицаний, разрушений старых и отложений новых слоев, которые в свою очередь большею частью разрушаются и уносятся морскими волнами, реками и движением ледников, уступая место новым отложениям.

* Но результат этого процесса положителен: образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов, находящихся в состоянии механического раздробления, благоприятствующем обильной и весьма разнообразной растительности.

[Отрицание в диалектике.]

В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь или представление несуществующими. Для каждой вещи, каждого отношения, каждого представления имеется, как выясняется из вышеприведенных примеров, особый, ему свойственный способ отрицания. В диалектике, как и во всякой другой науке, нужно по отношению к каждому объекту считаться с его особенностями. Если я говорю: роза есть роза, а затем отрицаю это положение, говоря: роза не есть роза, а затем отрицаю это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза, то я, конечно, ничего нового не узнал. Повидимому, Дюринг разумеет под отрицанием и отрицанием отрицания именно эту ребяческую и скучную процедуру и подсовывает ее нам. Уже Спиноза говорил: *Omnis determinatio est negatio* (всякое определение есть отрицание), следовательно, Дюринг должен был бы узнать это получше. Если Гегель этот совершающийся бессознательно в природе и сознательно в нашем мышлении процесс, в его наиболее общей форме называет отрицанием отрицания, то Дюринг может негодовать по поводу этого выражения, но все же суть дела не изменяется от этого, и ему придется примириться с этим.

Дюринг—Политическая экономия.—Двое мужчин.

Пока речь идет о морали, Дюринг может считать их равными, но это перестает быть возможным, как только речь заходит об экономике. Если, например, этими двумя мужчинами оказываются янки, *broken into all trades* (на все способный), и берлинский студент, у которого нет ничего, кроме аттестата об окончании курса, и философии действительности, и рук, по принципу никогда не упражнявшихся в фехтовании, которое сделало бы их сильными, то разве можно говорить о равенстве? Янки производит все, студент лишь изредка помогает, распределение же производится соответственно сделанному каждым, и вскоре янки будет в состоянии капиталистически эксплуатировать возрастающее (благодаря рождению детей или благодаря прибытию новых колонистов) население колонии. Итак, двое мужчин легко могут послужить исходным пунктом развития всего современного строя, капиталистического производства, причем ни одному из них не приходится прибегать к шпаге.

‡ Точно такой же результат получается уже и при рассмотрении морали и права. После того как Дюринг устранил всякое действительное неравенство и все причины неравенства, он может приравнять друг к другу своих двух мужчин как *людей* и их воли как лишь человеческие. Но в действительности люди как таковые и их воли неравны. Более умный и более энергичный из них навязывает свою волю более глупому и более вялому сперва убеждением, затем по привычке, под видом добровольного соглашения. Соблюдается ли форма добровольного соглашения или нет, рабство остается рабством. В очень многих случаях оно даже было прямо добровольным, например вступление в крепостное состояние в средние века. Когда в Пруссии была отменена крепостная зависимость крестьян, крестьяне посылали к королю петиции с просьбой не делать их несчастными: ведь кто же позаботится о них в случае нужды, болезни и старости, если будет порвана их связь с милостивым господином? Итак рабство может возникнуть и в том случае, если мы примем за исходный пункт существование двух мужчин, и оно может стать наследственным, так как мы должны их представлять себе как двух глав семейств, потому что иначе невозможно размножение.

* *Метод Дюринга* состоит в том, чтобы разлагать каждую область познания на ее простейшие элементы и применять к этим элементам столь же простые аксиомы, «придерживаясь простой основной схемы, аксиоматически разрешать все вопросы». Но простейшей формой общества являются два человека: итак, основная схема дана. Спрашивается только: кто такие эти два человека? В действительности этими двумя личностями являются мужчина и женщина, образующие семью, простейшую первую форму обобществления. Но это не годится для Дюринга: так он предполагает двух *мужчин*, потому что они должны быть совершенно равны между собой, а при половом различии, существующем в семье, никоим образом не получилось бы равенства. Итак, общество заранее обречено на гибель, так как двое мужчин никогда не произведут на свет ребенка. Или же мы их должны представлять себе как двух глав семейств, и это все же представляется наиболее рациональным; но в таком случае вся схема осложняется вопросом о пропитании и перестает быть *простой*.

Дюрингиана.

* *Равенство—справедливость.* — Представление о том, что равенство есть выражение справедливости, принцип совершенного политического и социального строя, возникло вполне исторически. В первобытных обществах равенства не существовало, или оно существовало лишь с значительными ограничениями для полноправного члена отдельной общины и не исключало существования рабства. То же самое приходится сказать и об античной демократии. Равенство всех людей — греков, римлян и варваров, свободных и рабов, уроженцев государства и иностранцев, граждан и клиентов и т. д. —

представлялось античным умам не только безумным, но и преступным, и с этой точки зрения было последовательно, что первоначальное выражение равенства всех людей в христианстве вызывало преследования. В христианстве впервые было выражено *отрицательное равенство всех людей пред богом как грешников* и в более строгом смысле равенство тех и других, искупленных благодатью и кровью Христа детей божиих. Как то, так и другое понимание вытекало из роли христианства как религии рабов, изгнанников, отверженных, гонимых, угнетенных. После победы христианства этот момент отступил на задний план, наиболее важной стала прежде всего противоположность между верующими и язычниками, правоверными и еретиками. Благодаря росту городов и вызванному им усилению более или менее развитых элементов как буржуазии, так и пролетариата опять должно было выдвигаться требование равенства как условия буржуазного существования, а в связи с этим требованием и пролетарии начали связывать с политическим равенством социальное. Впервые — конечно, в религиозной форме — это требование было ясно выражено во время крестьянской войны. Буржуазная сторона требования равенства была впервые резко, но еще в виде общечеловеческого требования, формулирована Руссо. Как и при всех требованиях буржуазии, и в данном случае пролетариат, как тень, неизбежно следует за буржуазией и делает свои выводы (Бабеф). Следует точнее выяснить эту связь между буржуазным равенством и пролетарскими выводами.

* Итак, для выработки принципа равенство = справедливости понадобилась почти вся предшествующая история, и формулировать этот принцип удалось лишь тогда, когда уже существовали буржуазия и пролетариат. Но принцип равенства заключается в том, что не должно существовать никаких *привилегий*, следовательно он оказывается по существу *отрицательным*, в нем содержится утверждение, что вся предшествующая история плоха. Так как этот принцип лишен положительного содержания и так как он огульно отвергает все прошлое, он одинаково пригоден для того, чтобы быть провозглашенным Великой революцией, 89—96 гг., и для позднейших изготовителей поверхностных систем. Но выдавать равенство = справедливости за высший принцип и за последнюю истину нелепо. Равенство существует лишь в противоположности к неравенству, справедливость — лишь в противоположности к несправедливости; следовательно, в этих понятиях еще содержится противоположность по отношению ко всей предшествующей истории, следовательно — само старое общество ¹.

Уже в силу этого выше упомянутые понятия не могут выражать вечной справедливости, истины. Через несколько поколений общественного развития при коммунистическом режиме и при увеличении количества вспомогательных средств люди должны будут дойти до того, что это настаивание на равенстве и праве будет казаться столь

¹ *Заметка на полях*: Представление о равенстве (вытекает) из равенства всеобщего человеческого труда в производстве товаров. «Kapital», 2. Aufl., Hamburg 1872, p. 36.

же смешным, как теперь настаивание на дворянских и тому подобных наследственных привилегиях. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому переходному праву исчезнет из практики; тому, кто будет настаивать на педантическом предоставлении ему причитающейся равной и справедливой доли продуктов, в насмешку выдадут двойную порцию. Даже Дюринг согласится с тем, что это можно «предвидеть», и не отойдут ли тогда равенство и справедливость в область исторических воспоминаний? Из того, что теперь подобные фразы весьма пригодны для агитации, еще вовсе не вытекает, что в них выражается вечная истина.

(Выяснить *содержание* равенства. Ограничение прав и т. д.)

Впрочем, еще и в настоящее время и для сравнительно далекого будущего абстрактная теория равенства оказывается нелепостью. Ни один соц[иалист] пролетарий или теоретик не захочет допустить абстрактное равенство между собой и бушменом или уроженцем Огненной Земли, или хотя бы даже *крестьянином*, или полуфеодалным поденщиком; а как только это будет преодолено хотя бы в Европе, будет преодолена и абстрактная точка зрения равенства. При установлении рационального равенства само это равенство потеряет в будущем всякое значение. Если теперь требуют равенства, то при этом предвосхищается само собой наступающее *при нынешних исторических отношениях* умственное и нравственное *выравнивание*. Но *вечная* мораль должна была быть возможной во всякое время и *повсеместно*. Даже Дюринг не решается утверждать этого о равенстве; он, наоборот, допускает для переходного времени репрессию, признавая, следовательно, что равенство оказывается не вечной истиной, а историческим продуктом и отличительным признаком определенных исторических состояний.

* Буржуазное равенство (уничтожение классовых *привилегий*) весьма отличается от пролетарского равенства (уничтожения самих классов). Требование равенства, идущее дальше этого, т. е. абстрактно истолковываемое, становится нелепым. В конце концов и господин Дюринг вынужден вновь ввести через заднюю дверь насилие, вооруженное и административное, судебное и полицейское.

* Таким образом *представление о равенстве само оказывается историческим продуктом*, для выработки которого необходима вся предшествующая история и которое, следовательно, не существовало как вечная истина. Если же в настоящее время оно представляется большинству людей в принципе чем-то само собою разумным, то это объясняется не действием аксиоматической истинности, а *распространением идей XVIII в.* Итак, если в настоящее время двое *пресловутых мужчин* становятся на точку зрения равенства, то это вытекает из того, что приходится представлять себе их как образованных людей XIX в. и что это для них «естественно». А как ведут и вели себя действительные люди, всегда зависит от тех исторических условий, при которых они живут,

* * *

Взгляд, согласно которому *идеями и представлениями людей созданы условия их жизни*, а не наоборот, опровергается всей историей, в которой до сих пор всегда достигалось нечто иное, чем то, чего желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположное. Этот взгляд может соответствовать действительности лишь в более или менее отдаленном будущем, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (*sit venia verbo*), вызванного изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли. Это применимо и к представлениям о *праве*, а следовательно, и к политике (*as far as that goes*, рассматривать эту политику с точки зрения «философии», — «насилие» остается для политической экономии).

О «насилии».

То, что насилие играет и революционную роль, и притом во все имеющие решающее значение «критические» эпохи, признано лишь по отношению к переходу к социалистическому строю, и притом только в качестве вынужденной обороны от реакционных внешних врагов. Но изображенный Марксом переворот, совершившийся в XVI в. в Англии, имел и свою революционную сторону: он был основным условием превращения феодального землевладения в буржуазное и развития буржуазии. Французская революция 1789 г. также в значительной степени — прибегала к насилию, 4 августа лишь санкционировало насильственные действия крестьян и было дополнено конфискацией дворянских и церковных имуществ. Насильственное завоевание, произведенное германцами, основание на завоеванных землях государств, в которых господствовала деревня, а не город (как в древнем мире), сопровождалось — именно поэтому — превращением рабства в менее тягостное крепостное право и в другие формы зависимости крестьян (в древнем мире латифундии сопровождалась обращением пахотной земли в пастбища для скота).

[Насилие, общинная собственность, экономика и политика.]

Когда индогерманцы переселились в Европу, они, прибегая к *насилию*, вытеснили первоначальных жителей и обрабатывали землю при общинном землевладении. Существование последнего еще можно исторически установить у кельтов, германцев и славян, а у славян, германцев и даже у кельтов (*rundale*) оно еще существует даже в форме прямой (Россия) или косвенной (Ирландия) зависимости крестьян. Насилие прекратилось после того, как были вытеснены лопари и баски. Внутри общины господствовало равенство или возникали добровольно признаваемые привилегии. Там, где из общинной собственности возникла частная собственность отдельных кре-

отъян на землю, этот раздел между членами общины происходил до XVI в. совершенно спонтанейно (самопроизвольно); в большинстве случаев он совершался постепенно и остатки общинного владения были весьма обычным явлением. О *насилии* не было речи, оно применялось лишь против остатков [общинного строя] (Англия XVIII и XIX вв., Германия главным образом XIX в.). Ирландия представляет собой исключительный случай. Эта общинная собственность мирно существовала в Индии и в России при различнейших насильственных завоеваниях и деспотиях и служила для них основой. Россия является доказательством того, как производственные отношения определяют политические отношения насилия. До конца XVII в. русский крестьянин не подвергался сильному угнетению, пользовался свободой передвижения, был почти независим. Первый Романов прикрепил крестьян к земле. Со времени Петра началась внешняя торговля России, которая могла вывозить лишь земледельческие продукты. *Этим* было вызвано угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста *вывоза*, ради которого оно происходило, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила законодательства. Но это законодательство позволяло помещикам все более и более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался.

* * *

* Если насилие является причиной социальных и политических состояний, то что же является причиной насилия? Присвоение *продуктов* чужого труда и чужой рабочей силы. Насилие могло изменить потребление продуктов, но не самый способ производства, оно не могло превратить барщину в наемный труд, если не оказывалось налицо условий для этого и если форма крепостного труда не стала оковами для производства.

* * *

До сих пор насилие—отныне социалистический строй. Чистое благое пожелание, требование «справедливости». Однако Т. Мор выдвинул это требование уже за 350 лет до настоящего времени, но оно все еще не выполнено. Почему же оно должно было бы быть осуществлено теперь? Дюринг не дает ответа. В действительности крупная промышленность выдвигает это требование не как требование справедливости, а как необходимость для производства — и это все изменяет.

* * *

* И чем же поддерживается насилие, армия? *Деньгами*. И так, опять-таки оказывается, что оно зависит от производства. Ср. афинский флот и политику 380—340 гг. Насилие по отношению к союзникам не удалось вследствие недостаточности материальных средств для того, чтобы энергично вести продолжительные войны. Английские субсидии, доставляемые новою, крупною промышленностью, победили Наполеона.

[Вторая часть рукописи подготовительных работ к «Анти-Дюрингу» представляет собой выдержки из «Курса национальной и социальной экономики» Дюринга. Мы воспроизводим здесь лишь некоторые замечания, сделанные Энгельсом на полях, указывая кратко к каким рассуждениям Дюринга они относятся.

По поводу утверждения Дюринга (стр. 1), что политика как выявление человеческой воли подлечит действию естественных законов, Энгельс замечает:]

Итак, ни слова об *историческом* развитии. Лишь вечный закон природы. Все сводится к психологии, которая, к сожалению, оказывается еще гораздо более «отсталой», чем политика.

[В непосредственной связи с рассуждениями Дюринга (стр. 4—5) о насильственной собственности как о чисто политической форме отношений Энгельс пишет:]

Все еще выражается уверенность, что в политической экономии имеют силу лишь вечные естественные законы, что все изменения и искажения вызваны лишь скверной политикой.

[И Энгельс делает по поводу этого следующее замечание:]

Итак, во всей теории насилия верным оказывается лишь то, что до сих пор все общественные формы нуждались для своего сохранения в насилии и даже отчасти были установлены путем насилия. Это насилие в его организованной форме называется *государством*. Итак, здесь выражена та банальная мысль, что, с тех пор как человек вышел из самого дикого состояния, повсюду существовали государства, но человечество знало это и до Дюринга. Но государство и насилие представляют собой именно то, что есть *общего* во всех до сих пор существовавших общественных формах, и если я, например, объясняю восточные деспотии, античные республики, македонские монархии, Римскую империю, феодализм средних веков тем, что все они были основаны на *насилии*, то я еще ничего не объяснил. Итак, различные социальные и политические формы должны быть объясняемы не насилием, которое ведь всегда остается одним и тем же, а тем, к чему *насилие применяется*, что является объектом грабежа, — продуктами и производительными силами каждой эпохи и вытекающим из них самих их распределением. И тогда оказалось бы, что восточный деспотизм был основан на общинном землевладении, античные республики — на городах, занимавшихся земледелием. Римская империя — на латифундиях, феодализм — на господстве деревни над городом, и для всего имелись материальные основы и т. д.

* * *

[К рассуждениям Дюринга о том, как «выяснить «естественные законы хозяйства», относятся следующие замечания:]

Итак, естественные законы хозяйства можно открыть, лишь *отрешившись от всего до сих пор существовавшего хозяйства*; до сих пор они никогда не проявлялись в неискаженном виде! *Неизменная* природа человека — от обезьяны до Гете!

Дюринг имеет в виду объяснить этой теорией «насилия», почему до сих пор большинство состояло из подвергавшихся насилию,

а меньшинство из прибежавших к насилию. Это уже само по себе доказывает, что отношение насилия основано на экономических условиях, которые нельзя устранить так просто политическими мерами.

У Дюринга рента, прибыль, процент, заработная плата не объясняются, но он утверждает, что они установлены *насилием*. Но откуда же берется насилие? Non est, насилие порождает владение (Besitz) и владение = экономической мощи. Итак, насилие = мощи.

* * *

* Маркс доказал в «Капитале» (Накопление), что на известной ступени развития законы товарного производства неизбежно вызывают возникновение капиталистического производства со всеми его мошенничествами и что *для этого нет надобности в насилии*.

* * *

* Если Дюринг считает политическое действие последнюю решающую силу истории и выдает это за нечто новое, то он лишь повторяет то, что говорили все прежние историки, с точки зрения которых социальные формы также объясняются исключительно политическими формами, а не производством.

* * *

* C'est trop bon! Вся фритредерская школа, начиная от Смита, все экономические учения до Маркса в экономических законах, поскольку они понимают их, усматривают «естественные законы» и утверждают, что действие их искажается государством, «действием государственных и общественных учреждений»!

Впрочем, вся эта теория является лишь попыткой обосновать социализм на учении Кэри: экономия сама по себе гармонична, государство портит все своим вмешательством.

Дополнением к насилию является вечная справедливость: она появляется на стр. 282.

* * *

[Энгельс критикует рассуждения Дюринга о точке зрения Смита, Рикардо и Кэри и об их отношении к его собственному мнению о производстве и распределении и замечает:]

Итак, сперва выводят из действительной истории путем отвлечения различные правовые отношения и отрывают их от исторической основы, на которой они возникли и на которой они только и имеют смысл, и переносят их на две личности — Робинзона и Пятницу, где они, конечно, являются совершенно произвольными. А сведя таким образом эти отношения к чистому насилию, их затем опять переносят в действительную историю и доказывают таким образом, что и здесь все основано на сплошном насилии. Дюринг не обращает внимания на то, что насилие должно применяться к материальному субстрату и что нужно именно выяснить, почему это произошло.

Итак, нельзя ограничиться исследованием распределения текущего производства. Земельная рента предполагает землевладение, прибыль, капитал, заработную плату, рабочих, лишенных собственности, обладателей одной лишь рабочей силы. Итак, следует выяснить, чем это вызвано. Поскольку это его касалось, Маркс сделал это в первом томе относительно капитала и рабочей силы, лишенной собственности; исследование происхождения современного землевладения относится к исследованию земельной ренты, следовательно к его второму тому. У Дюринга исследование и историческое обоснование ограничиваются одним словом *насилие!* Здесь уже прямая mala fides.

* * *

* Итак, насилие создает экономические, политические и т. д. условия жизни эпохи, народа и т. д. Но кто производит насилие? Организованным насилием является прежде всего *армия*. И ничто не зависит до такой степени от экономических условий, как именно состав, организация, вооружение армии. Основа — вооружение, а последнее опять-таки непосредственно зависит от ступени [развития] производства. Камень, бронза, железное оружие, панцырь, конница, порох и, наконец, огромный переворот, произведенный в военном деле крупною промышленностью благодаря нарезным ружьям, заряжающимся с казенной части, и артиллерии — продуктам, изготовлять которые могла лишь крупная промышленность с ее машинами, равномерно работающими и производящими почти абсолютно тождественные продукты. От вооружения в свою очередь зависят состав и организация, стратегия и тактика. Последняя зависит и от состояния путей сообщения — расположение войск и успехи, достигнутые в битве при Иене, невозможны при нынешних шоссе-ных дорогах — и, наконец, железная дорога. Итак, именно насилие всего более зависит от наличных условий производства, и это понял даже капитан Иенс (K[ölnische] Z[ei]tung, Macchiavelli)¹.

При этом следует обратить особое внимание на современное ведение войны, от ружья со штыком до ружья, заряжающегося с казенной части, при котором действует не человек с саблей, а оружие: линия, колонна при плохих войсках, но прикрытая стрелками (Iena contra Wellington), и, наконец, всеобщее распадение на стрелковые цепи и замена медленного шага беглым шагом.

* * *

¹ В №№ 108, 110, 112 и 115 от 16, 20, 22 и 25 апреля 1876 г. газеты «Kölnische Zeitung» напечатано сообщение о лекции, прочитанной Иенсом 26 февраля 1876 г. в «Научном обществе» в Берлине на тему: «Маккиавели и идея всеобщей воинской повинности», в которой лектор выяснял, между прочим, «до какой степени хозяйственные условия жизни служат основанием для формирования войск» (№ 110).

[Следующие страницы представляют собой выдержки, относящиеся к мнениям Дюринга о социализме. В частности они относятся к отношениям полов, к будущему государственному строю, распределению, школе, отмене культа, переходному периоду, семье, разделению труда, обмену и к денежной системе в «хозяйственной коммуне» Дюринга.]

Относительно «хозяйственной коммуны» Дюринга и господствующей в ней системы разделения труда, распределения, обмена и денежной системы Энгельс делает следующее замечание:]

* Следовательно и вознаграждение отдельного рабочего обществом.

Следовательно и накопление сокровищ, ростовщичество, кредит и все последствия, в том числе денежные кризисы и безденежье. Деньги вызывают разложение хозяйственной коммуны столь же неизбежно, как они вызывают в настоящее время и разложение русской общины и семейной общины, раз при их посредстве совершаются меновые сделки отдельных членов.

* * *

[Резюмируя взгляды Дюринга на роль потребления в хозяйственном процессе, Энгельс делает по поводу их следующие критические замечания:]

Но и *потребление* или скорее «понятие» о нем «может иметь очень большое значение, если его сразу выдвинут на передний план и придадут ему главное значение в системе, вместо того чтобы отодвигать его на задний план» (стр. 13). (Итак, благодаря этому упраздняется все сказанное прежде.) Следует ряд общих мест, которые можно найти у всех прежних социалистов и с которыми освоилось даже обыденное] филистерское сознание, относительно того, что на более высокой ступени развития общества возникнут и более сложные потребности и что в обществе, в котором существуют классовые противоположности, потребление богатыми предметов роскоши принимает при обострении противоположностей карикатурный характер и становится вредным для них самих (стр. 13—15). Одним словом, вновь подтверждается то, что было сказано на стр. 8 об учении Сэя о потреблении, а именно, что этому учению пришлось ограничиться несколькими мало содержательными замечаниями относительно роскоши и непроизводительных расходов и невольно повсюду играть роль совершенно излишнего добавления или дополнения, не стоящего в связи с предыдущим. «Но нет, в заключение оказывается, что действительный труд в какой-либо форме является, следовательно, социальным естественным законом здоровых форм (итак, все прежние формы нездоровы)... Этот естественный закон равновесия между трудом и потреблением... является критерием жизненности различных общественных элементов; он обрекает одни элементы на увядание и выдвигает другие, чтобы влить свежую кровь в жилы народных организмов и способствовать тому, чтобы народы достигали более высоких форм цивилизации».

* * *

[По поводу вышеприведенных рассуждений Дюринга об отношении между трудом и потреблением Энгельс замечает:]

Или труд рассматривается здесь как экономический, материально производительный труд, и в таком случае эта фраза бессмысленна и не применима ко всей предшествующей истории. Или труд рассматривается в более общей форме, причем под ним разумеются всякого рода нужная или пригодная в какой-либо период деятельность, управление, судопроизводство, военные упражнения, и в таком случае эта фраза опять-таки оказывается совершенно бессодержательным общим местом и неуместна в политической экономии. Но желать импонировать этим старым хламом социалистам, называя его «естественным законом», есть нечто a trifle impudent (несколько бесстыдное).

* * *

[Дюринг изображает на стр. 16—17 связь между грабежом и богатством в их отношении к распределению, и Энгельс замечает по поводу этого:]

Здесь обнаруживается весь метод. Всякое экономическое отношение сперва рассматривается с точки зрения *производства*, причем совершенно не принимаются во внимание исторические определения. Поэтому нельзя сказать ничего кроме самых общих фраз, и если Дюринг желает пойти далее этого, то ему приходится принять в расчет определенные исторические отношения данной эпохи, т. е. выйти из сферы абстрактного производства, и он не может избежать смешения понятий. Затем то же самое экономическое отношение рассматривается с точки зрения *распределения*, т. е. совершившийся до сих пор исторический процесс сводится к фразе *насилие*, и затем выражается негодование по поводу печальных последствий насилия. Мы увидим при рассмотрении естественных законов, к чему это приводит.

* * *

[Дюринг утверждает на стр. 18, что для ведения хозяйства в больших размерах необходимо «рабство» или «крепостная зависимость». По поводу этого Энгельс замечает:]

Итак, всемирная история начинается с крупного землевладения. Обработка больших участков земли тождественна с обработкой земли крупными землевладельцами! Почва Италии, обращенная благодаря латифундиям в пастбища, оставалась до тех пор невозделанной! Северные американские штаты обязаны своим огромным ростом не свободным крестьянам, а рабам, крепостным и т. д.!

Опять плохой каламбур: «ведение хозяйства на больших участках земли» должно означать обработку этих участков, но тотчас же истолковывается как ведение хозяйства в больших размерах = крупная земельная собственность! И в этом смысле какое изумительно новое открытие: если кто-либо владеет таким количеством земли, что он и его семья не в состоянии обработать ее, то он не может обработать всей принадлежащей ему земли без применения чужого труда! Ведь

ведение хозяйства при посредстве крепостных крестьян означает обработку вовсе не более или менее крупных, а именно *мелких участков* земли, и эта обработка всюду предшествовала крепостной зависимости (Россия, флам[анд]ские, голландские и фризские колонии в славянской марке, см. Langenthal ¹): первоначально свободные крестьяне *образаются* в крепостных, а в иных местах даже *формально* добровольно становятся крепостными.

* * *

[На стр. 20 Дюринг утверждает, что стоимость зависит от величины усилия при преодолении естественного сопротивления при удовлетворении потребностей. По поводу этого Энгельс замечает:]

Преодоление сопротивления — категория, заимствованная из математической механики. Эта категория становится нелепой в политической экономии. В таком случае выражения: я пряжу, тку, белю, набиваю хлопчатую бумажную ткань — означают: я преодолеваю сопротивление хлопчатой бумаги процессу прядения, сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани процессу беления и набивания. Я изготовляю паровую машину — означает: я преодолеваю сопротивление, оказываемое железом превращению в паровую машину. Я выражаю суть дела в иносказательных и высокопарных фразах, благодаря которым не получается ничего кроме неточности. Но благодаря этому я могу ввести *распределительную* стоимость, при которой также будто бы приходится преодолевать сопротивление. В этом-то и дело!

* * *

[На стр. 27 Дюринг говорит, что *распределительная стоимость* существует лишь там, где право располагать неизготовленными вещами обменивается на *производственные стоимости*. Энгельс говорит:]

Что означает неизготовленная вещь? Землю, обрабатываемую с применением современных приемов? Или это выражение должно означать вещи, не изготовленные самим собственником? Но ей противопоставляется «действительная производственная стоимость». Следующая фраза показывает, что мы имеем опять-таки дело с плохим каламбуром. Предметы природы, которые не изготовляются, смешиваются с «составными частями стоимости, присваиваемыми безвозмездно».

* * *

[Дюринг утверждает (стр. 60 и сл.), что все человеческие учреждения обусловлены, но не «практически неизменны». Нелепо допускать произвольность и беспорядочность в человеческих отношениях. По поводу этого Энгельс замечает:]

Итак, это — естественный закон и остается естественным законом. Ни слова о том, что до сих пор во всем неплановом и бес-

¹ Chr. Eb. Langenthal, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, Iena 1854—1856.

связном производстве законы экономии противостоят людям как объективные законы, по отношению к которым они бессильны, следовательно в форме *естественных законов*.

* * *

[На стр. 63 Дюринг формулирует свой основной закон всей политической экономии. Этот закон гласит:]

«Производительность средств, служащих для хозяйства, а именно сил природы и силы человека, увеличивается благодаря изобретениям и открытиям, причем это совершается таким образом, что можно оставить совершенно в стороне распределение, которое как таковое все же может подвергаться значительным изменениям или вызвать их, но не определяет характера главного результата».

[По поводу этого Энгельс замечает:]

Эта заключительная фраза: «причем» и т. д., не прибавляет к закону ничего нового, потому что если закон верен, то распределение не может вносить в него никаких изменений. Итак, нет надобности говорить, что этот закон верен для всякой формы распределения, потому что ведь иначе он не был бы естественным законом. Но эта фраза добавлена лишь потому, что Дюринг все-таки постыдился формулировать ничем неприкрытый закон во всей его наготе. К тому же эта фраза бессмысленна. Ведь если распределение все-таки *может* вызывать значительные изменения, то его нельзя «оставить совершенно в стороне». Итак, мы вычеркиваем эту заключительную фразу и получаем тогда закон *pur et simple* — основной закон всей политической экономии.

* * *

[На стр. 70 Дюринг утверждает, что экономический прогресс зависит не от суммы средств производства, а лишь от технических знаний. По поводу этого Энгельс пишет:]

Лежащие в Ниле паровые плути хедива и бесполезно стоящие в сараях молотилки русских дворян доказывают это. И для пара существуют исторические предпосылки, которые, правда, сравнительно легко создать, но которые все же должны быть созданы. Но Дюринг очень гордится тем, что таким образом он до такой степени перестолковал вышеупомянутое положение, имеющее совершенно иной смысл, что эта «идея совпадает с нашим основным законом». [440—441.]

[По поводу дюринговой формулировки разделения труда: «обособление специальностей и разложение деятельности повышает производительность труда» (стр. 73), Энгельс замечает:]

Эта формулировка ошибочна, так как она верна лишь для буржуазного производства, и разделение специальностей уже и там ока-

ывається стеснительным для производства вследствие уродований и окостенения индивидуумов, но в будущем оно совершенно исчезнет. Уже здесь мы видим, что это разделение специальностей на *нынешний лад* представляется Дюрингу чем-то неизменным, следовательно [неустрашимым] и для *социалистического* строя. [441—442.]

4. ИЗ ПИСЕМ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА О ДЮРИНГЕ И «АНТИ-ДЮРИНГЕ»

Из письма К. Маркса — Ф. Энгельсу

41 января 1868 г.

В Музее, где я ничего не делал, а занимался только перелистыванием каталогов, я увидел, между прочим, что *Дюринг* также и великий философ. Он написал «*Естественную диалектику*» против гегелевской «неестественной». Вот в чем суть дела. Господа в Германии (за исключением реакционных богословов) полагают, что диалектика Г[егеля] — «мертвая собака». На совести Фейербаха лежит большой грех в этом отношении.

(*Маркс и Энгельс*, Письма. Под редакцией В. В. Адоратского, 1931 г., стр. 229).

Из письма Маркса — Людвигу Кугельману

Лондон, 6 марта 1868 г.

...Странно смущенный тон г-на Дюринга в его критике мне теперь понятен¹. Это пренесносный, нахальный субъект, корчащийся из себя революционера в политической экономии. Он совершил два подвига. Во-первых, опубликовал «*Критические основы национальной экономики*» (около 500 стр.), — в теории исходит из Кэри, а затем новую «естественную диалектику», направленную против гегелевской. Моя книга поставила над ним крест в обоих отношениях. Из ненависти к Рошеру и другим он стал писать о ней. Ложь в его писании отчасти умышленная, отчасти результат недомыслия. Он знает очень хорошо, что мой метод исследования не тот, что у Гегеля, так как я материалист, а Гегель — идеалист. Гегелевская диалектика является основной формой всякой диалектики, но лишь после очищения ее от ее мистической формы, а это-то как раз и отличает от нее *мой* метод. Что касается Рикардо, то оскорбило г. Дюринга как раз то, что в моем анализе *нет* тех слабых пунктов, на наличие которых в сочинении Рикардо указали Кэри и сотня других писателей до Кэри. Дюринг старается поэтому путем передержек взвалить на меня ошибки, собственные Рикардо. Но это ничего не значит. Я должен быть

¹ Речь идет о рецензии Дюринга на первый том «Капитала» Маркса.

благодарен этому человеку и за то, что он первый из специалистов вообще заговорил о моей книге.

(Маркс, Письма к Л. Г. Кугельману. Под редакцией и с предисловием Ленина. 1907 г., стр. 35—36.)

Из письма Ф. Энгельса — К. Марксу

Рамсгэйт, 24 мая 1876 г.

Дорогой Мавр!

Только что получил два прилагаемых письма. Над нашей партией в Германии тяготеет проклятие оплачиваемых агитаторов и полужнаек. Если так будет продолжаться, лассальянцы скоро станут самыми светлыми головами, ибо они меньше всего воспринимают глупости, а сочинения Лассалья являются наименее вредным агитационным средством. Хотел бы знать, чего собственно хочет от нас этот Мост, и как нам поступить, чтобы удовлетворить его. Очевидно, эти люди представляют себе дело так, что Дюринг своими подлыми личными нападениями на тебя сделал себя неуязвимым с нашей стороны, ибо если мы высмеем его теоретическую нелепость, то это будет выглядеть, как месть за его личные выпады. Чем грубее Д[юринг], тем смиреннее и добродушнее должны быть мы; и еще очень мило требование к нам со стороны этого господина Моста, чтобы мы не только ограничились тем, что в благожелательном тоне и в частном порядке указали Д[юрингу] на его ошибки (как будто речь идет только об одних ошибках), с тем чтобы он исправил их в следующем издании, — но еще кроме того и облобызали его самое почтенное место. Человек этот — имею в виду Моста — умудрился проконспектировать весь «Капитал» и, однако, ничего из него не усвоить. Это ясно видно из его письма, и это характеризует его самого. Все подобные нелепости были бы невозможны, если бы вместо Вильгельма во главе стоял человек, обладающий хоть некоторым теоретическим пониманием, человек, который не печатал бы с радостью всевозможной ерунды — чем нелепее, тем лучше — и не рекомендовал бы ее рабочим всем авторитетом «Volksstaat'a». В конце концов эта история меня рассердила до бешенства, и спрашивается, не пора ли серьезно подумать о нашем отношении к этим господам.

Для глупого Вильгельма все это — лишь желанный повод требовать скорее рукопись. Что за вождь партии!

(Маркс и Энгельс, Сочинения, том XXIV, стр. 450.)

Из письма К. Маркса — Ф. Энгельсу

25 мая 1876 г.

Дорогой Фред!

Одновременно с этим письмом сдаю на почту полученную рукопись Моста в его собственной упаковке. Прилагаемую пачкотню Вильгельма я вскрыл, потому что думал, что она имеет отношение к Мосту...

Мнение мое таково, что «нашу позицию по отношению к этим господам» нужно выявить только в виде решительной критики Дюринга. Он, очевидно, интриговал среди преданных ему литературных неучей-карьеристов, чтобы помешать такой критике; они, с своей стороны, рассчитывали на хорошо им известную слабыхарактерность Либкнехта. Либкнехт обязан был, между прочим, — и это должно быть ему сказано, — объяснить этим молодцам, что он неоднократно требовал такой критики и что в течение ряда лет (ибо история начинается со времени моего первого возвращения из Карлсбада) мы отклоняли это как работу второстепенного значения. Как ему известно и как доказывают его письма к нам, он понял серьезность этого дела только тогда, когда путем повторной присылки писем разных неучей обратил наше внимание на опасность распространения таких плоских идей внутри партии.

Что касается специально господина Моста, то он, разумеется, должен считать Дюринга замечательным мыслителем, потому что этот последний не только в лекциях перед берлинскими рабочими, но позднее также черным по белому в печати сделал открытие, что лишь Мост сделал нечто разумное из «Капитала». Дюринг систематически льстит этим неучам, чем они не могут похвастаться с нашей стороны. Гнев Моста и компании по поводу того способа, каким ты *принудил к молчанию* швабского прудониста, характерен. Этот предостерегающий пример вызывает у них опасения, и они хотя раз навсегда при помощи сплетен, благонамеренного добродушия и возмущенной братской любви сделать невозможной подобную критику. Впрочем, корень зла в том, что у Либкнехта нехватает материала, в чем, между прочим, обнаруживается его редакторский талант. Однако его мелочность доходит до того, что, несмотря на недостаток материала, он все же избегает упомянуть хотя бы одним словом об «Истории французской Коммуны» Беккера или, по крайней мере, дать несколько выдержек из нее.

(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 451—452.)

Из письма Энгельса — Марксу

Рамсгэйт, 28 мая 1876 г.

Тебе хорошо говорить. Ты можешь лежать в теплой постели, заниматься русскими поземельными отношениями в частности и земельной рентой вообще, и никто тебе не мешает, — я же должен сидеть на жесткой скамейке, тянуть холодное вино, внезапно прерывать все и приниматься отделять скучного Дюринга. Тем не менее ничего не поделаешь, если уж пришлось пуститься в полемику, конца которой совсем не видно. Да я иначе и не успокоюсь, к тому же хвалебный отзыв друга Моста о «Курсе философии» Дюринга показал мне вполне ясно, откуда и как надо вести нападение. Эту книгу нужно непременно принять во внимание, потому что она лучше обнаруживает во многих существенных пунктах слабые стороны и основы рассуждений, развитых в «Политической экономии». Я ее немедленно же

выпишу. Собственно настоящей философии — формальная логика, диалектика, метафизика — в книге вовсе нет; она желает изобразить общую теорию науки, в которой природа, история, общество, государство, право и т. д. подвергаются рассмотрению в их якобы внутренней связи. Опять-таки там есть целый отдел, где описывается будущее или так называемое «свободное» общество, несколько объясняются некоторые его экономические стороны и, между прочим, устанавливается даже план преподавания в начальных и средних школах будущего. Здесь можно, таким образом, получить пошлости в еще более глупой форме, чем из экономической работы, и, таким образом, одновременно разоблачить этого господина и с этой стороны. Книга имеет и еще одно преимущество для [критики] исторической теории Дюринга, — до него все, написанное по этому предмету [по его мнению], чепуха, — именно из нее можно цитировать его собственные нелепости. Во всяком случае я теперь смогу его отделать, у меня уже готов план. Я начинаю совершенно деловым образом и на первый взгляд серьезно. По мере того как накапливаются доказательства бессмыслицы, с одной стороны, пошлости — с другой, обращение становится резче и, наконец, в заключение начинает барабанить градом. Таким образом, Мосту и К^о нельзя будет говорить о «нелюбезности», и Дюринг будет разъяснен. Пусть эти господа увидят, что имеются разнообразные способы, при помощи которых можно расправляться с этой публикой.

Я надеюсь, что Вильгельм (Либкнехт) напечатает статью Моста в «Новом свете», для которого эта статья, повидимому, написана. Мост, как всегда, не умеет списывать и в отделе по естественным наукам приписывает Дюрингу самую потешную бессмыслицу, например отделение колец (по кантовской теории) от неподвижных звезд!

* * *

В вопросе о Дюринге сильно помогли мне и облегчили дело мой конспект древней истории и мои естественноисторические занятия. Особенно в естественной истории я замечаю, что почва стала мне гораздо более знакома, и я могу по ней двигаться, хотя и с большой осторожностью, но все же с некоторой свободой и уверенностью. И в этой работе я начинаю уже видеть конец. Предмет начинает принимать в моей голове форму. Этому не мало помогло мое бездельничанье здесь на берегу моря, где я мог перебираться в своей голове все подробно. При изучении этой огромной области совершенно необходимо время от времени прерывать планомерную зубрежку и продумывать вызубренное.

(Маркс и Энгельс, Письма. Под редакцией В. В. Адоратского, Партиздат, 1934 г., стр. 296—297 и 298.)

Из письма Ф. Энгельса — К. Марксу

Рамсгэйт, 41 Camden Sq., 25 июля 1876 г.

...Развлекаюсь здесь философией Дюринга — такой дрянной чепухи никто еще никогда не писал. Ничего, кроме высокопарных

пошлости, пересыпанных чистойшей ерундой, но все это довольно ловко препарировано для прекрасно известной автору публики, которая с помощью нищенской похлебки и без большого труда хочет быстро научиться говорить обо всем. Человек этот как будто бы нарочно создан для социализма и философии эпохи миллиардов.

Твой Ф. Э.

(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 457—458.)

Из письма Ф. Энгельса — К. Марксу

Рамсгэйт, 25 августа 1876 г.

...Для человека, все более и более глупеющего от курортной атмосферы, самое подходящее чтение — естественная философия действительности господина Дюринга. Мне никогда еще не попадалось ничего столь естественного. Все здесь основывается на естественных вещах, поскольку естественным признается все, что представляется естественным господину Д[юрингу], почему он всегда и исходит из «аксиоматических положений», ибо то, что естественно, не требует никаких доказательств. Эта вещь по плоскости своей превосходит все бывшее до сих пор. Но как она ни плоха, все же та часть, которая говорит о природе, является самой лучшей. Тут все-таки есть еще жалкие остатки диалектических оборотов. Поскольку же он переходит к общественным и историческим отношениям, опять начинает господствовать старая метафизика в форме *морали*, и тут он оказывается на настоящей слепой кляче, которая безнадежно тащит его по кругу. Горизонт его не идет дальше области общего земского права, а прусское чиновничье хозяйничанье представляет для него «государство». Через неделю от сегодняшнего дня мы возвращаемся в Лондон, и тогда я сразу примусь за этого молодца. Какие он проповедует вечные истины, ты можешь видеть из того, что его три пугала таковы: табак, кошки и евреи, и им достается по заслугам...

(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 461—462.)

Из письма К. Маркса — Ф. Энгельсу

5 марта 1877 г.

Дорогой Фред!

При сем «Дюрингиана». Я не мог читать этого субъекта без того, чтобы тут же не бить его по голове.

Теперь, после того, как я в него основательно вчитался, для чего требуются терпение и плетка под рукой (а часть, которую я еще не прочел — начиная с Рикардо, должна содержать в себе много великодушных перлов), я в дальнейшем способен заниматься им спокойно. Если вчитаться в него настолько, что делается ясной его манера, он начинает даже развлекать. Впрочем, в качестве подсобного «занятия» при моем раздраженном катарральном состоянии он оказал мне большую услугу.

Твой Маевр.

(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 467—468.)

Дорогой Фред!

Так как я мог бы это потом забыть, то я посылаю вслед за последним письмом еще и это добавление.

1) Самым важным пунктом концепции Юма в вопросе о влиянии увеличения количества денег на стимулирование промышленности, пунктом, который яснее всего показывает также (если бы в этом вообще еще можно было сомневаться), что это увеличение он себе представляет лишь как результат обесценения благородных металлов, — пунктом, к которому, как уже видно из присланной мной выдержки, Юм неоднократно возвращается, — является то его положение, что цена труда повышается лишь в конечном счете, после повышения цен всех других товаров. Об этом у *мистера Дюринга* ни слова; да и вообще этого прославленного им Юма он излагает так же неряшливо и так же поверхностно, как и всех других авторов. Кроме того, если он даже и заметил это, — что более чем сомнительно, — то было не очень удобно прославлять такую теорию перед лицом рабочих, следовательно лучшим выходом было замять весь вопрос.

2) Мою собственную точку зрения на физиократов, именно мой взгляд на них как на первых методических (не только случайных, как Петти и др.) защитников интересов капитала и капиталистического способа производства, — я, естественно, не хотел прямо высказать. Эта точка зрения, высказанная прямо и определено, могла бы быть подхвачена и вульгаризирована разными пачкунами, прежде чем я успел бы подробно развить ее. Вот почему я не касался этого в посланном очерке.

Но не мешало бы, может быть, в ответе Дюрингу указать на следующие два места из «Капитала». Я их цитирую по французскому изданию, так как здесь это не в такой степени мимоходные замечания, как в немецком оригинале.

Относительно «Экономической таблицы»:

«Ежегодное воспроизводство представляет собой весьма легко улавливаемый процесс, если это воспроизводство рассматривать лишь как фонд ежегодного производства. Однако все элементы этого фонда должны проходить через рынок. На рынке же движения капиталов и доходов скрещиваются, перемешиваются и теряются в общем движении перемещения — обращения общественного богатства, — которое путает наблюдателя и предлагает анализу очень сложные проблемы. Великой заслугой физиократов является то, что они впервые попытались в Экономической таблице изобразить нам ежегодное воспроизводство таким, каким оно выходит из процесса обращения. Их изображение во многих отношениях более близко к истине, чем изображение их преемников».

Относительно определения понятия производительного труда:

«Точно так же и классическая политическая экономия держалась то инстинктивно, то сознательно того мнения, что производительный труд характеризуется способностью давать *прибавочную стоимость*. Определения понятия производительного труда меняются по мере

того, как подвигается вперед анализ понятия прибавочной стоимости. Физиократы, например, объявляют, что один лишь сельскохозяйственный труд производителен. Почему? Потому, что он один дает прибавочную стоимость, которая для них существует лишь в форме земельной ренты».

(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 469—470.)

5. ПРЕДИСЛОВИЯ ЭНГЕЛЬСА К НЕМЕЦКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЯМ КНИГИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИЗМА ОТ УТОПИИ К НАУКЕ»

Предисловие к первому немецкому изданию

Предлагаемая брошюра возникла из трех глав моей работы «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом», Лейпциг, 1878 г. Я собрал их вместе по просьбе моего друга Поля Лафарга для перевода на французский язык и дополнил их несколькими разъяснениями. Просмотренный мной французский перевод напечатан был сначала в «Ревю Сосиалист» [«Социалистическое Обозрение»] и вышел затем отдельным изданием под названием «Социализм утопический и социализм научный», Париж, 1880 г. Сделанное по французскому переводу, польское издание моей брошюры только что вышло в Женеве под названием «Социализм утопический и научный», типография Аврора, Женева, 1882 г.

Неожиданный успех сделанного Лафаргом перевода в странах, где говорят по французски, и в особенности в самой Франции, поставил передо мной вопрос, не будет ли также целесообразно отдельное немецкое издание этих трех глав. А тут еще редакция цюрихского «Социал-Демократа»¹ сообщила мне, что в рядах германской социал-демократической партии замечается большой спрос на новые пропагандистские брошюры, и запросила меня, не соглашусь ли я на то, чтобы издать для этой цели указанные три главы. Я, конечно, дал ей свое согласие и предоставил в ее распоряжение мою работу.

Но ведь первоначально она была написана вовсе не для непосредственной пропаганды в массах. Могла ли для этого пригодиться работа, по существу чисто научная? Какие изменения необходимы по форме и содержанию?

Что касается формы, то только обилие иностранных слов могло вызвать сомнение. Но уже Лассаль в своих речах и пропагандистских брошюрах не очень стеснялся употреблять иностранные слова, и, насколько мне известно, на это особенно не жаловались. А с того времени наши рабочие гораздо усерднее и более регулярно читают

¹ «Социал-Демократ» — центральный орган германской социал-демократии, издававшийся с 1879 по 1888 г. в Швейцарии, в Цюрихе, а последние два года (1889—1890) — в Лондоне. Во время действия исключительного закона против социалистов в Германии (1878—1890) социал-демократические издания были запрещены. *Ред.*

газеты и благодаря этому больше освоились с иностранными словами. Я ограничился тем, что устранил все не безусловно необходимые иностранные слова. Но, оставляя необходимые, я отказался от присоединения к ним так называемых пояснительных переводов. Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу. Устные разъяснения помогают в таком случае гораздо больше.

Что же касается содержания, то я смею утверждать, что оно представляет для немецких рабочих мало трудностей. Вообще труден только третий раздел, причем он представляет гораздо меньше трудностей для рабочих, общие условия жизни которых он охватывает, чем для «образованных» буржуа. Делая многочисленные разъяснения и дополнения, я в действительности имел в виду не столько рабочих, сколько «образованных» читателей, людей, вроде депутата господина фон-Эйнера, господина тайного советника Генриха фон-Зибеля и других Трейчке, испытывающих назойливый зуд все снова и снова демонстрировать свое невероятное невежество и вытекающее из него поразительное непонимание социализма. Если дон-Кихоту угодно сражаться с ветряными мельницами, то это вполне соответствует его званию и назначению, но Санчо-Пансе мы не можем позволить ничего подобного.

Такие читатели, вероятно, также будут удивлены, наткнувшись в кратком очерке развития социализма на учение Канта—Лапласа о происхождении мира, на современное естествознание и Дарвина, на классическую немецкую философию и Гегеля. Но дело в том, что научный социализм в сущности представляет собой немецкий продукт и мог возникнуть только у народа, классическая философия которого живо сохранила традицию сознательной диалектики, в Германии¹. Материалистическое понимание истории и его специальное применение к современной классовой борьбе между пролетариатом и буржуазией стало возможно только при помощи диалектики. И если школьные учителя немецкой буржуазии потопили память о великих немецких философах и созданную ими диалектику в болоте безотрадного эклектизма, — до такой степени, что мы должны призывать

¹ «В Германии», это — описка. Следует сказать: среди немцев. Ибо поскольку, с одной стороны, для возникновения научного социализма необходима была немецкая диалектика, постольку же, с другой стороны, были необходимы развитые экономические и политические условия Англии и Франции. Отстальные, — в начале сороковых годов в еще большей степени, чем теперь, — экономические и политические условия Германии могли в лучшем случае вызвать к жизни только карикатуры на социализм (ср. «Коммунистический манифест», III, 1: «Немецкий или истинный социализм»). Только когда создавшаяся в Англии и Франции экономическая и политическая ситуация была подвергнута немецко-диалектической критике, можно было достигнуть действительных результатов. С этой точки зрения, следовательно, научный социализм представляет не исключительно немецкий, а не в меньшей степени и международный продукт». (Примечание Энгельса, сделанное им после напечатания книги в первом издании. Примечание было напечатано на последней странице.)

современное естествознание в свидетели того, что диалектика существует в действительности, — то мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что ведем свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля.

Лондон, 21 сентября 1882 г.¹

Введение к английскому изданию

Предлагаемая брошюра была сначала частью более обширного целого. Около 1875 г. д-р Е. Дюринг, *приват-доцент* Берлинского университета, внезапно и довольно крикливо заявил, что он уверовал в социализм, и преподнес немецкой публике не только подробную социалистическую теорию, но и подробно разработанный практический план преобразования общества. Само собою разумеется, он из всех сил обрушился на своих предшественников; больше всего досталось Марксу, на которого он изливал свой гнев полной чашей.

Это случилось как раз в то время, когда только что произошло слияние двух частей социалистической партии в Германии — эйзенахцев и лассальянцев — и партия таким образом не только чрезвычайно усилилась, но также — что еще важнее — получила возможность все свои силы двинуть против общего врага. Социалистическая партия в Германии быстро становилась силой. Но для того, чтобы сделать ее силой, прежде всего необходимо было не подвергать опасности вновь завоеванное единство. Между тем д-р Дюринг открыто начал создавать вокруг себя секту, ядро будущей самостоятельной партии. Поэтому волей-неволей мы были вынуждены поднять брошенную нам перчатку и вступить в бой.

Это, однако, было делом хотя и не слишком трудным, но явно канительным. Хорошо известно, что нам, немцам, свойственна страшная тяжеловесная «*Gründlichkeit*» [основательность], — радикальная глубина или глубокая радикальность, называйте как хотите. Когда кто-нибудь из нас приступает к изложению того, что, по его мнению, является новой теорией, он считает необходимым прежде всего разработать это в виде всеобъемлющей системы. Он должен доказать, что принципы логики и основные законы мироздания искони существовали только для того, чтобы в конце концов привести именно к этой новой и все завершающей теории. И в этом отношении д-р Дюринг был вполне на высоте своей национальности. Ни много, ни мало, как полная «Система философии» — рациональной, моральной, естественнонаучной и исторической; полная «Система политической экономии и социализма» и, наконец, «Критическая история политической экономии», — три толстых тома в восьмую долю листа, тяжелых как по весу, так и по содержанию, три армейских корпуса

¹ В предисловии к 4-му изданию (1891) брошюры «Развитие социализма от утопии к науке» Энгельс говорит: «Настоящее издание подверглось различным незначительным изменениям. Более серьезные дополнения сделаны лишь в двух местах: в первой главе — о Сен-Симоне, которому я отвел слишком мало места по сравнению с Фурье и Оуэном, и в конце третьей главы — о приобретшей в последнее время важное значение новой форме производства — о трестах». *Ред.*

доказательств, мобилизованных против предшествующих философов и против экономистов вообще и Маркса в частности, — поистине попытка совершить полнейший «переворот в науке»; вот с чем пришлось мне иметь дело. Я был принужден трактовать всевозможные, самые разнообразные предметы: от концепций времени и пространства до биметаллизма; от вечности материи и движения до изменчивой природы моральных идей; от дарвиновского естественного отбора до воспитания молодежи в будущем обществе. Во всяком случае, всеобъемлющий диапазон моего противника давал мне случай в полемике с ним изложить взгляды Маркса и мои на все эти разнообразные предметы, и притом в гораздо более связном виде, чем это приходилось делать когда-либо прежде. Это как раз и было главной причиной того, что я взялся за такую при иных условиях неблагоприятную задачу.

Ответ мой сперва появился в виде ряда статей в лейпцигском «Vorwärts», центральном органе социалистической партии, а затем — в виде книги «Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом», второе издание которой вышло в Цюрихе в 1886 г.

По просьбе моего друга Поля Лафарга, — ныне депутата от Лилля во французской палате, — из трех глав этой книги я составил брошюру, которую он перевел и издал в 1880 г. под названием «Социализм утопический и социализм научный». Этот французский текст лег в основу польского и испанского изданий. В 1883 г. наши немецкие друзья издали брошюру на том языке, на котором она первоначально была написана. Затем с этого немецкого текста были сделаны переводы итальянский, русский, датский, голландский и румынский. Таким образом, включая и настоящее английское издание, брошюра эта распространена на десяти языках. Полагаю, что ни одно социалистическое произведение, не исключая даже нашего «Коммунистического манифеста», впервые изданного в 1848 г., и «Капитала» Маркса, не было столько раз переведено. В Германии брошюра выдержала четыре издания, общим тиражом около 20 000 экземпляров.

Употребляемые в дальнейшем экономические термины, поскольку они новы, совпадают с терминологией английского издания «Капитала» Маркса. Под «товарным производством» мы понимаем ту ступень экономического развития, при которой предметы производятся не только для удовлетворения потребностей производителей, но и с целью обмена, т. е. производятся *в качестве товаров*, а не потребительных стоимостей. Эта ступень существует с тех пор, как началось производство для обмена, и вплоть до нашего времени; вершины своего развития она достигает лишь при капиталистическом производстве, т. е. в тех условиях, когда капиталист, собственник средств производства, нанимает за деньги рабочих, — людей, лишенных каких бы то ни было средств производства, кроме своей собственной рабочей силы, — и кладет себе в карман излишек продажной цены продуктов над его издержками. Историю промышленного производства, начиная со средних веков, мы делим на три периода: 1) господство ремесла, эпоха мелких мастеров-ремесленников с их небольшо-

численными подмастерьями и учениками, когда каждый работник производит предмет целиком; 2) мануфактура, при которой более крупное число рабочих, собранных в одном обширном заведении, производит весь предмет в порядке разделения труда, т. е. каждый рабочий продельывает какую-нибудь одну частичную операцию, так что продукт готов лишь после того, как он последовательно прошел через руки их всех; 3) современная промышленность, при которой продукт производится машинами, приводимыми в движение какой-либо силой, а роль рабочего ограничивается наблюдением за действиями механического фактора и их регулированием¹.

* Я прекрасно знаю, что содержание этой брошюры встретит возражения значительной части британской читающей публики. Но если бы мы, жители континента, хоть сколько-нибудь считались с предрассудками британской «респектабельности», т. е. британского филлистерства, то дело обстояло бы еще хуже, чем сейчас. Предлагаемая брошюра написана в защиту того, что мы называем «историческим материализмом», а слово материализм для слуха подавляющего большинства британских читателей звучит резким диссонансом. «Агностицизм» — еще куда ни шло, но материализм — совершенно недопустимая вещь.

И все же первоначальной родиной всего современного материализма, начиная с XVII столетия, является именно Англия.

«Материализм — родной сын Великобритании. Уже ее схоластик Дунс Скот спрашивал себя: не может ли материя мыслить?

«Чтобы совершить это чудо, он взывал к всемогуществу божию, т. е. заставил само богословие проповедывать материализм. К тому же он был номиналистом. Номинализм является у английских материалистов главным элементом, да и вообще он представляет собою первое выражение материализма.

«Настоящий родоначальник английского материализма — Бэкон. Естественное для него представляло истинную науку, а опытная физика — самую важную отрасль естествознания. На Анаксагора с его гомеомериями и на Демокрита с его атомами он часто ссылается как на авторитеты. Согласно его учению, чувства не обманчивы и служат источником всякого знания. Всякая наука есть опытная наука и заключается в том, чтобы применять рациональные методы к чувственно данному. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, опыт являются главными условиями рационального метода. Среди прирожденных материи свойств первое и важнейшее, это — движение, не только в смысле механического и математического движения, но еще больше как стремление, как жизненный дух, напряжение, — словом, употребляя выражение Якова Беме, qual [мўка] материи. Первоначальные формы последней, это — живые, прирожденные

¹ Следующая далее часть введения к английскому переводу брошюры «Развитие социализма от утопии к науке» была опубликована Энгельсом в журнале «Нейе Цейт» в 1892—93 гг. под заглавием: «Об историческом материализме».

Перевод в дальнейшем дан с этого немецкого текста.

ей, вызывающие своеобразные индивидуальные различия, силы бытия¹.

«Материализм у Бэкона, его первого творца, таит в себе, еще в наивной форме, зародыши всестороннего развития. Материя, окруженная поэтически-чувственным ореолом, приветливо улыбается цельному человеку. Само же учение, изложенное в форме афоризмов, еще кишит, напротив, богословскими непоследовательностями.

«В своем дальнейшем развитии материализм становится односторонним. Гоббс является систематиком бэконовского материализма. Чувственность теряет свой аромат и превращается в абстрактную чувственность геометра. Физическое движение приносится в жертву механическому или математическому, геометрия объявляется главной наукой. Материализм становится враждебным человеку. Чтобы преодолеть враждебный человеку бесплотный дух в его собственной сфере, материализму приходится самому умертвить свою плоть и стать аскетом. Он выступает как рассудочное существо, но зато он с беспощадной последовательностью развивает все выводы рассудка.

«Если наши чувства являются источником всех наших знаний, — рассуждает Гоббс, исходя от Бэкона, — то созерцание, мысль, представления и пр. — все это не что иное, как призраки телесного мира, освобожденного в большей или меньшей степени от своей чувственной формы. Наука может только подобрать названия для этих призраков. Одно и то же название может быть придано нескольким призракам. Возможно даже существование названий самих названий. Но было бы противоречием, с одной стороны, относить происхождение всех идей к чувственному миру, а с другой — утверждать, что слово означает больше чем простое слово, что кроме отражающихся в нашем представлении отдельных существ возможны еще какие-то всеобщие существа. Бесплотная субстанция — это, наоборот, такое же противоречие, как бестелесное тело. Тело, бытие, субстанция — все это одна и та же реальная идея. *Нельзя отделить мышление от материи, которая мыслит*². Материя является субъектом всех изменений. Слово «бесконечный» бессмысленно, если оно не означает способности нашего духа без конца производить сложение. Так как только материя доступна восприятию, познаваема, то ничего не известно о существовании бога. Только мое собственное существование достоверно. Всякая человеческая страсть есть механическое движение, которое имеет начало и конец. Объекты стремлений — то,

¹ Последняя фраза Маркса в английском тексте выпущена. Вместо нее Энгельс дает следующее разъяснение, которого нет в немецком тексте: «Qual», это — философская игра словами. «Qual» буквально означает мучение, боль, которая толкает на какое-нибудь действие. В то же самое время мистик Беме вносит в это немецкое слово и нечто от латинского слова *qualitas* (качество). Его «qual», это — в противоположность боли, причиняемой извне, — активное начало, возникающее из самопроизвольного развития вещи, отношения или личности, ему подверженной, а также в свою очередь способствующее этому развитию». *Ред.*

² Подчеркнуто Энгельсом в английском тексте. *Ред.*

что мы называем благом. Человек подчиняется тем же законам, что и природа. Власть и свобода тождественны.

«Гоббс систематизировал Бэкона, но не развил подробнее его основной принцип — происхождение знаний и идей из мира чувств. Локк дал такое обоснование в своем труде «Опыт о происхождении человеческого рассудка».

«Подобно тому, как Гоббс уничтожил теистические предрассудки бэконовского материализма, так Коллинс, Додуэлл, Коуард, Гартли, Пристли и т. д. разбили теологические рамки локковского сенсуализма. Деизм — не более чем удобный и легкий способ отделаться от религии, — по крайней мере для материалиста»¹.

Так писал Карл Маркс о британском происхождении современного материализма. И если в настоящее время англичане не чувствуют себя особенно польщенными этим признанием заслуг их предков, то об этом можно только пожалеть. И все же не подлежит сомнению, что Бэкон, Гоббс и Локк были отцами блестящей школы тех французских материалистов, которые, несмотря на все победы, одержанные германцами и англичанами на суше и на море над французами, делают XVIII век преимущественно французским веком; и это — задолго до той венчающей конец этого века французской революции, результаты которой мы — как в Англии, так и в Германии — все еще стремимся акклиматизировать у себя.

Нет никакой возможности это отрицать. Когда образованный иностранец переезжал около середины XIX столетия на жительство в Англию, то более всего его поражали, — иначе он и не мог воспринять это, — религиозное ханжество и тупость английского «респектабельного» среднего класса. Мы были тогда все материалистами или, по меньшей мере, очень радикальными вольнодумцами, и для нас был непонятен тот факт, что почти все образованные люди в Англии верили во всевозможные невероятные чудеса и что даже геологи, как Бекленд и Мантелл, извращали данные своей науки, дабы они не слишком резко расходились с мифами моисеевой легенды о сотворении мира. Нам казалось непостижимым, что для того, чтобы найти людей, осмеливающихся в религиозных вопросах опираться на собственный разум, надо было идти к необразованной массе, к «неумытой толпе», как тогда выражались, — к рабочим, особенно к социалистам, последователям Роберта Оуэна.

Но с того времени Англия «цивилизовалась». Выставка 1851 г. прозвучала похоронным звоном для английской островной замкнутости. Англия постепенно интернационализировалась в пище и питье, в обычаях, в представлениях, она достигла в этом таких успехов, что мне все больше хочется выразить пожелание, чтобы некоторые английские обычаи нашли себе на континенте такое же всеобщее применение, какое нашли в Англии некоторые обычаи континента. Несомненно одно: распространение прованского масла (до 1851 г. известного только аристократии) сопровождалось роковым распро-

¹ См. *Маркс и Энгельс*, «Святое семейство», Франкфурт-на-Майне, 1845 г., стр. 201—204 [Соч., т. III, стр. 157—158]. *Ред.*

странением континентального скептицизма в религиозных вопросах; дошло до того, что агностицизм, хотя он еще и не считается столь благородным, как английская государственная церковь, стоит все же в отношении респектабельности почти на одной ступени с сектой баптистов и во всяком случае рангом выше «Армии спасения». И я не могу освободиться от мысли, что для многих, кто всем сердцем тужит по поводу этого прогресса неверия и проклинает его, будет утешительно узнать, что эти новоспеченные идеи — не чужеземного происхождения, не носят на себе марки *Made in Germany*, изготовлено в Германии, как множество других предметов повседневного обихода; что они, напротив, старо-английского происхождения и что их британские родоначальники двести лет тому назад заходили гораздо дальше, чем их нынешние потомки.

Действительно, что такое агностицизм, как не «стыдливый»¹ материализм? Взгляд агностика на природу насковозь материалистичен. Весь мир природы управляется законами и абсолютно исключает всякое воздействие извне. Но, — благоразумно добавляет агностик, — мы не в состоянии доказать существование или несуществование какого-либо высшего существа вне известного нам мира. Эта оговорка имела ценность в те времена, когда Лаплас на вопрос Наполеона, почему в «*Mécanique Céleste*» [«Небесной механике»] этого великого астронома ни разу не упомянуто имя творца мира, дал гордый ответ: «*Je n'avais pas besoin de cette hypothèse*» [«У меня не было надобности в этой гипотезе»]. В настоящее же время наше представление о вселенной в ее развитии совершенно не оставляет места ни для творца, ни для вседержителя. Признание какого-то высшего существа, выделенного из всего существующего мира, само по себе есть противоречие и, как мне кажется, незаслуженное оскорбление чувств религиозных людей.

Наш агностик соглашается также, что все наше знание покоится на сообщениях, получаемых нами через посредство наших чувств. Но, добавляет он, откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные изображения воспринимаемых через их посредство вещей? И далее он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или об их свойствах, то он в действительности имеет в виду не самые эти вещи и их свойства, о которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства. Слов нет, это такая точка зрения, которую трудно, повидимому, опровергнуть одной только аргументацией. Но прежде чем люди стали аргументировать, они действовали. «Вначале было дело». И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его. *The proof of the pudding is in the eating* [Проверка пуддинга состоит в том, что его съедают].

В тот момент, когда, сообразно воспринимаемым нами свойствам какой-либо вещи, мы употребляем ее для себя, — в этот самый момент мы подвергаем безошибочному испытанию истинность или лож-

¹ В английском тексте добавлено: «употребляя выразительный ланкаширский термин...». *Ред.*

ность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь по необходимости будет ложно, и всякая попытка такого использования неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что *в этих границах*¹ наши восприятия о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Если же, наоборот, мы находим, что сделали ошибку, тогда мы большей частью в скором времени умеем найти причину ошибки; мы находим, что восприятие, легшее в основу нашего испытания, либо само было неполно и поверхностно, либо было связано с результатами других восприятий таким образом, который не оправдывается положением дела; это мы называем дефективным умозаключением². До тех же пор, пока мы как следует развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах, поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, — до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия [Uebereinstimmung] наших восприятий с предметной [gegenständlich] природой воспринимаемых вещей. Нет ни одного случая, насколько нам известно до сих пор, когда бы мы были вынуждены заключить, что наши научно-проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие представления о внешнем мире, которые по своей природе отклоняются от действительности, или что между внешним миром и нашими чувственными восприятиями его существует природная несогласованность.

Но тут появляется неокантианский агностик и говорит: да, возможно, что мы в состоянии правильно воспринять свойства вещи, но самой вещи мы никаким, ни чувственным, ни мыслительным процессом постичь не можем. Эта «вещь в себе» находится по ту сторону нашего познания. На это уже Гегель очень давно дал ответ: если вы знаете все свойства вещи, то вы знаете и самую вещь; тогда остается только голый факт, что названная вещь существует вне нас, и, как только ваши чувства удостоверили и этот факт, вы постигли эту вещь всю без остатка, — постигли знаменитую кантовскую непознаваемую «вещь в себе». В настоящее время мы можем к этому только прибавить, что в эпоху Канта наше познание материальных вещей было еще настолько отрывочным, что за каждой из них можно было еще допускать существование особой таинственной вещи в себе. Но с того времени эти непостижимые вещи одна за другой, вследствие гигантского процесса науки, уже постигнуты, проанализированы и даже более того — *воспроизведены*. А что мы сами можем *сделать*, то уж мы, конечно, не можем назвать непознаваемым. Для химии первой половины XIX столетия органические вещества были такими таин-

¹ Подчеркнуто Энгельсом в английском тексте. *Ред.*

² Слова «это мы называем дефективным умозаключением» в немецком тексте опущены. *Ред.*

ственными вещами. Теперь нам удастся составлять их одно за другим из их химических элементов и без помощи органических процессов. Новейшая химия утверждает: коль скоро химический состав какого-либо тела известен, оно может быть составлено из своих элементов. Нам еще, правда, очень далеко до точного знания состава высших органических веществ, так называемых белковых тел; однако нет никакого основания сомневаться, что мы, пусть хотя бы спустя столетия, достигнем этого знания и будем с его помощью добывать искусственный белок. Если мы этого достигнем, то вместе с тем мы воспроизведем органическую жизнь, ибо жизнь от самых низших до самых высших ее форм есть не что иное, как нормальная форма существования белковых тел.

Но наш агностик, сделав свои формальные оговорки, говорит и действует совсем как закоренелый материалист, каковым он в сущности и является. Он, может быть, скажет: насколько *нам* известно, материю и движение, или, как теперь говорят, энергию нельзя ни создать, ни уничтожить, но у нас нет никакого доказательства того, что и то и другое не было в какой-то неведомый нам момент сотворено. Но как только вы попытаетесь в каком-нибудь данном случае использовать это признание против него, — он моментально заставит вас замолчать. Если он *in abstracto* [отвлеченно] допускает возможность спиритуализма, то *in concreto* [в конкретном случае] он об этой возможности и знать не желает. Он вам скажет: поскольку мы знаем и можем знать, не существует никакого творца или вседержителя вселенной; поскольку это от нас зависит, материю и энергию также нельзя ни создать, ни уничтожить; для нас мышление — только форма энергии, функция мозга; все, что мы знаем, сводится к тому, что материальный мир управляется неизменными законами и т. д. и т. п. Таким образом, поскольку он человек *науки*, поскольку он что-либо *знает*, постольку он материалист; но вне своей науки, в тех областях, которые ему чужды, он переводит свое незнание на греческий язык, называя его агностицизмом.

Во всяком случае несомненно одно: даже если бы я был агностиком, я не мог бы изложенный в этой книжке взгляд на историю назвать «историческим агностицизмом». Религиозные люди высмеяли бы меня, а агностики с негодованием спросили бы: неужели я хочу издеваться над ними? И я надеюсь, что и британская «респектабельность», которая по-немецки называется филистерством¹, не будет чересчур возмущена, если я применю на английском, как и на многих других языках, выражение «исторический материализм», обозначая этим термином тот взгляд на ход всемирной истории, который находит конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда распаде общества на различные классы и в борьбе этих классов между собою.

¹ Слова «которая по-немецки называется филистерством» в английском тексте отсутствуют. *Ред.*

Может быть, ко мне отнесутся еще более снисходительно, если я докажу, что исторический материализм может оказаться полезным даже для респектабельности британского филистера¹. Я указал на тот факт, что лет сорок или пятьдесят назад каждого образованного иностранца, поселявшегося в Англии, неприятно поражало то, что ему должно было казаться религиозным ханжеством или помешательством английского «респектабельного» среднего класса. Я сейчас покажу, что респектабельный английский средний класс того времени был совсем не так глуп, как это казалось интеллигентному иностранцу. Религиозные стремления этого класса имеют свое объяснение.

Когда Европа вышла из средневековья, городская буржуазия, находящаяся в процессе подъема, была в ней революционным элементом. Признанное положение, которое она завоевала себе внутри средневекового феодального строя, стало уже слишком тесным для ее стремления к расширению. Свободное развитие буржуазии стало уже несовместимо с феодальным строем, феодальная система должна была пасть.

Но великим интернациональным центром феодальной системы была римско-католическая церковь. Несмотря на все внутренние войны, она объединяла всю феодальную Западную Европу в одно огромное политическое целое, которое находилось в противоречии одинаково как с греко-православным, так и с магометанским миром. Она окружила феодальный строй священным ореолом божественной благодати. Свою собственную иерархию она установила по феодальному образцу, и, в конце концов, она была самым крупным феодальным владельцем, потому что ей принадлежало не менее третьей части всего католического землевладения. Прежде чем вступить в борьбу со светским феодализмом в каждой стране в отдельности, необходимо было разрушить эту его центральную священную организацию.

Одновременно с расцветом буржуазии шаг за шагом шел вслед гигантский рост науки. Возобновился интерес к астрономии, механике, физике, анатомии, физиологии. Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и формы проявления сил природы. До того же времени наука была смиренной служанкой церкви, и ей не было позволено выходить за пределы, установленные верой: короче—она была чем угодно, только не наукой. Теперь наука восстала против церкви; буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом восстании.

Я каснулся, таким образом, двух пунктов, в которых растущая буржуазия должна была прийти в столкновение с существующей церковью. Но этого будет достаточно, чтобы доказать, во-первых, что в борьбе против претензий католической церкви наибольшее участие принимал именно этот класс — буржуазия; во-вторых, что всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение, направляться в первую очередь против церкви. Но если боевой клич исходил от университетов и деловых людей

¹ В английском тексте: «для британской респектабельности». *Ред.*

городов, то он неизбежно находил сильный отклик в массах сельского населения, у крестьян, которые повсюду вели ожесточенную борьбу со своими духовными и светскими феодалами-помещиками, и притом борьбу за самое существование.

Великая борьба европейской буржуазии против феодализма дошла до высшего напряжения в трех крупных решительных битвах.

Первой было то, что мы называем реформацией в Германии. Призыв Лютера к бунту против церкви вызвал два политических восстания: сначала — низшего дворянства под предводительством Франца фон-Зиккингена в 1523 г., а затем — Великую крестьянскую войну 1525 г. Оба они были подавлены главным образом вследствие нерешительности наиболее заинтересованной партии, городской буржуазии, — нерешительности, на причинах которой мы здесь не можем останавливаться. С этого момента борьба выродилась в грязную между отдельными князьями и центральной имперской властью и имела своим последствием то, что Германия на 200 лет была вычеркнута из списка политически активных наций Европы. Лютеранская реформация установила в ней, во всяком случае, новую религию, — именно такую, какая как раз нужна была абсолютной монархии. Не успели крестьяне на северо-востоке Германии принять лютеранство, как они были из свободных людей низведены до состояния крепостных.

Но там, где Лютера постигла неудача, победил Кальвин. Его догма отвечала требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии. Его учение о предопределении было религиозным выражением того факта, что в мире торговли и конкуренции удача или банкротство зависят не от деятельности или искусства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих. «Определяет не воля или действия какого-либо отдельного человека, а милосердие» могущественных, но неведомых экономических сил. И это было особенно верно в эпоху экономического переворота, когда все старые торговые пути и торговые центры вытеснялись новыми, когда были открыты Америка и Индия, когда даже издревле почитаемый экономический символ веры — ценность золота и серебра — пошатнулся и потерпел крушение. Притом церковный строй Кальвина был насквозь демократичным и республиканским; а где уже и царство божие республиканизировано, могли ли там земные царства оставаться верноподданными королей, епископов и феодалов-помещиков? Если лютеранство в Германии было удобным орудием в руках германских мелких князей, то кальвинизм создал республику в Голландии и сильные республиканские партии в Англии и особенно в Шотландии.

В кальвинизме нашло себе готовую боевую теорию второе крупное восстание буржуазии. Это восстание произошло в Англии. Городекая буржуазия дала ему первый толчок, а среднее крестьянство сельских округов, йоменри (yeomanry), привело его к победе. Оригинальное явление: во всех трех великих буржуазных революциях боевой армией являются крестьяне; и именно крестьяне оказываются тем классом, который после завоевания победы неизбежно разоряется вследствие экономических последствий этой победы. Сто лет спустя после

Кромвеля английское йоменри почти совершенно исчезло. А между тем исключительно благодаря вмешательству этого йоменри и плебейского элемента городов борьба была доведена до последнего решительного конца, и Карл I угодил на эшафот. Для того чтобы буржуазия могла заполучить хотя бы только те плоды победы, которые тогда уже вполне созрели для сбора, необходимо было довести революцию значительно дальше этой цели; совершенно то же самое было в 1793 г. во Франции, в 1848 г. в Германии. Повидимому, таков на самом деле один из законов развития буржуазного общества.

За этим избытком революционной деятельности последовала неизбежная реакция, которая в свою очередь тоже зашла дальше цели. После ряда колебаний установился, наконец, новый центр тяжести, который и послужил исходным пунктом для дальнейшего развития. Замечательный период английской истории, который филистеры окрестили «великим бунтом», и следующие за ним битвы завершаются сравнительно незначительным событием 1689 г., которое либеральные историки называют «славной революцией».

Новый исходный пункт был компромиссом между поднимающейся буржуазией и бывшими феодальными землевладельцами. Последние, считавшиеся тогда, как и теперь, аристократией, уже давно были на пути к тому, чтобы стать тем, чем Луи-Филипп во Франции стал лишь спустя долгое время: первыми буржуа нации. К счастью для Англии, старые феодальные бароны перебили друг друга в войнах Алой и Белой роз. Их наследники, большую часть также отпрыски этих старых фамилий, вели, однако, свой род от столь отдаленных боковых линий, что они составили совершенно новую корпорацию. Их навыки и стремления были гораздо более буржуазными, чем феодальными. Они прекрасно знали цену деньгам и немедленно принялись вздувать земельную ренту, прогнав с земли сотни мелких арендаторов и заменив их овцами. Генрих VIII массами создавал новых лендлордов из буржуазии, раздавая и продавая за бесценок церковные имения; к тому же результату приводили беспрерывно продолжавшиеся до конца XVII столетия конфискации крупных имений, которые затем раздавались выскочкам или полувыскочкам. Поэтому английская «аристократия» со времени Генриха VIII не только не противодействовала развитию промышленности, но, наоборот, старалась извлекать из нее пользу. И точно так же всегда находилась такая часть крупных землевладельцев, которая из экономических или политических побуждений соглашалась на сотрудничество с вождями финансовой и промышленной буржуазии. Таким образом легко мог осуществиться компромисс 1689 г. Политические «победные трофеи» — должности, синекуры, высокие оклады — доставались на долю знатных родов земельного дворянства с условием: в достаточной мере соблюдать экономические интересы финансовой, промышленной и торговой буржуазии. Эти экономические интересы уже тогда были достаточно сильны; в конечном счете они определяли собою общую национальную политику. Конечно, существовали разногласия по тому или другому вопросу, но аристократическая олигархия слишком хорошо понимала, что ее собственное

экономическое благополучие неразрывной цепью связано с процветанием промышленной и торговой буржуазии.

С этого времени буржуазия стала скромной, но признанной частью господствующих классов Англии. Вместе с ними она была заинтересована в подавлении огромных трудящихся масс народа. Купец или фабрикант по отношению к своим приказчикам, своим рабочим, своей челяди сам занимал положение кормильца-хозяина, или, как еще недавно выражались в Англии, «естественного начальника». Ему нужно было выжимать из них возможно большее количество труда возможно лучшего качества; с этой целью он должен был воспитывать их в надлежащей покорности. Он сам был религиозен; его религия доставила ему знамя, под которым он победил короля и лордов. Скоро он открыл в этой религии также средство для того, чтобы обрабатывать своих естественных подданных и делать их послушными приказам хозяев, которых поставил над ними неисповедимый промысел божий. Короче говоря, английский буржуа с этого времени стал соучастником в подавлении «нижних сословий», — огромной производящей народной массы, — и одним из применявшихся при этом средств было влияние религии.

Но сюда присоединилось еще другое обстоятельство, усилившее религиозные наклонности буржуазии: расцвет материализма в Англии. Это новое безбожное учение не только приводило в ужас благочестивого буржуа, — оно в довершение всего объявило себя философией, которая как раз подходит для ученых и образованных людей. в противовес религии, которая достаточно хороша для необразованной, огромной народной массы, включая сюда и буржуазию. Вместе с Гоббсом оно выступило на защиту королевского всемогущества и призывало абсолютную монархию к укрощению этого *puer robustus sed malitiosus* [здоровенного, но озорного малого], т. е. народа. Также и у последователей Гоббса — Болингброка, Шефтсбери и пр. — новая, деистическая форма материализма оставалась аристократическим учением для избранных, и поэтому материализм был ненавистен буржуазии не только за его религиозную ересь, но и за его антибуржуазное политическое направление. Вот почему, в противоположность материализму и деизму аристократии, именно протестантские секты, которые доставляли и знамя и бойцов для борьбы против Стюартов, выдвинули также главные боевые силы прогрессивной буржуазии и еще сейчас составляют основной хребет «великой либеральной партии».

Тем временем материализм перекочевал из Англии во Францию, где он застал вторую материалистическую философскую школу, вышедшую из картезианской философии, с которой он и слился. И во Франции он вначале оставался исключительно аристократическим учением. Но его революционный характер вскоре выступил наружу. Французские материалисты не ограничились своей критикой только областью религии: они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени. Чтобы доказать всеобщую приложимость своей теории, они избрали кратчайший путь: они смело приложили ее ко всем объектам знания в том гигант-

ском труде, от которого они получили свое имя, в «Энциклопедии». Таким-то образом, в той или иной форме, — как открытый материализм или как деизм, материализм стал мировоззрением всей образованной молодежи во Франции. И влияние его было так велико, что во время великой революции это учение, рожденное на свет английскими роялистами, доставило французским республиканцам и террористам теоретическое знамя и дало текст для «Декларации прав человека».

Великая французская революция была третьим восстанием буржуазии, но первым, которое совершенно сбросило с себя религиозные одежды и в котором борьба происходила на открыто политической почве. Она была также первым восстанием, в котором борьба была доведена до конца, до полного уничтожения одной из борющихся сторон, именно аристократии, и до полной победы другой, именно буржуазии. В Англии преемственная связь между дореволюционными и пореволюционными учреждениями и компромисс между крупными землевладельцами и капиталистами нашли свое выражение в преемственности судебных прецедентов, равно как в почтительном сохранении феодальных правовых форм. Во Франции, напротив, революция окончательно порвала с традициями прошлого, уничтожила последние следы феодализма и в «Гражданском кодексе» мастерски приспособила к новейшим капиталистическим отношениям старое римское право, — это почти совершенное выражение юридических отношений, вытекающих из той ступени экономического развития, которую Маркс называет «товарным производством»; приспособила до такой степени мастерски, что этот революционный французский кодекс законов еще и сейчас во всех других странах, — не исключая и Англии, — служит образцом при реформах права собственности. При этом, однако, не следует забывать одного: английское право продолжает выражать экономические отношения капиталистического общества на варварски-феодальном наречии, которое столько же соответствует выражаемому им предмету, сколько английская орфография английскому произношению: *vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople* [вы пишете Лондон, а читаете Константинополь], — сказал один француз. Но зато это же самое английское право является единственным, которое в течение веков сохранило и пересадило в Америку и в колонии лучшую часть той личной свободы, местного самоуправления и обеспеченности от всякого постороннего вмешательства, кроме судебного, — словом, тех древнегерманских свобод, которые на континенте под властью абсолютных монархий совершенно исчезли и до сих пор нигде еще вновь не завоеваны в полном объеме.

Вернемся, однако, к нашему британскому буржуа. Французская революция дала ему великолепную возможность разрушить с помощью континентальных монархий французскую морскую торговлю, захватить французские колонии и уничтожить последние притязания французов на морское соперничество. Таково было одно из оснований, толкнувших его на борьбу с нею. Вторым было то, что методы этой революции пришлось ему уж очень не по вкусу, — не только ее «проклятый» террор, но даже самая ее попытка довести до крайних

пределов господство буржуазии. Да и что бы делал на свете британский буржуа без своей аристократии, которая и манерам его обучала (манерам, достойным учителя), и моды для него изобретала, и доставляла ему офицеров для армии, этой охранительницы порядка внутри страны, и для флота, завоевывающего новые колониальные владения и новые рынки. Впрочем, среди буржуазии было все же прогрессивное меньшинство, — люди, интересы которых не особенно выигрывали от компромисса. Это меньшинство, состоящее главным образом из менее зажиточной буржуазии, относилось с симпатией к революции, но в парламенте оно было бессильно.

Таким образом, чем больше символом веры французской революции становился материализм, тем крепче богобоязненный английский буржуа держался своей религии. Разве эпоха террора в Париже не показала, что получается, когда у народа отнимают религию? Чем больше материализм распространялся из Франции на соседние страны и получал подкрепление от родственных теоретических течений, особенно от германской философии; чем больше материализм и вообще свободомыслие действительно становились на континенте необходимым признаком образованного человека, — тем упорнее держалась английская буржуазия за свои разнообразные религиозные верования. Как бы сильно они ни отличались друг от друга, но решительно все они были религиозными христианскими верованиями.

В то время как во Франции революция обеспечила политическое торжество буржуазии, в Англии Уатт, Аркрайт, Картрайт и другие дали первый толчок к промышленной революции, которая совершенно переместила центр тяжести экономических сил. Богатство буржуазии теперь стало расти бесконечно быстрее, чем богатство земельной аристократии. Внутри самой буржуазии финансовая аристократия, банкиры и т. п. все более стали отступать на задний план в сравнении с фабрикантами. Компромисс 1689 г. даже после изменений, постепенно произведенных в пользу буржуазии, уже более не соответствовал соотношению сил участников этого соглашения. Характер участников также изменился: буржуазия 1830 г. очень сильно отличалась от буржуазии предыдущего столетия. Оставшаяся еще в руках аристократии политическая власть, которую она использовала против притязаний новой промышленной буржуазии, стала несовместимой с новыми экономическими интересами. Приходилось возобновить борьбу против аристократии; борьба могла кончиться только победой новой экономической силы. Под влиянием французской революции 1830 г. впервые была проведена, несмотря на все сопротивление, парламентская реформа. Это создало для буржуазии признанное могущественное положение в парламенте. Затем пришла отмена хлебных законов, которая раз навсегда установила перевес буржуазии, особенно ее наиболее деятельной части, фабрикантов, над земельной аристократией. Это была величайшая победа буржуазии, но в то же время и последняя, которую она одержала исключительно в своих собственных интересах. Все ее позднейшие триумфы ей приходилось делить с новой социальной силой, вначале действовавшей в союзе с нею, но затем выступившей в роли ее соперницы.

Промышленная революция создала класс крупных капиталистов-фабрикантов, но вместе с тем также гораздо более многочисленный класс фабричных рабочих. Этот класс непрерывно увеличивался численно, по мере того, как промышленная революция захватывала одну отрасль производства за другой. Вместе с его численностью росла также и его сила. Эта сила обнаружила себя уже в 1824 г., когда она принудила парламент, несмотря на его упорное сопротивление, отменить законы против свободы коалиций. Во время агитации за парламентскую реформу рабочие составляли радикальное крыло партии реформ. Когда актом 1832 г. они были лишены права голоса, они изложили свои требования в Народной хартии (People's charter) и, в противоположность сильной буржуазной Лиге против хлебных законов, организовались в независимую партию чартистов. Это была *первая рабочая партия*¹ нашего времени.

Затем в феврале и марте 1848 г. вспыхнули континентальные революции, в которых рабочие сыграли такую важную роль и где они, по крайней мере в Париже, выступили с требованиями, решительно недопустимыми с точки зрения капиталистического общества. А за этим последовала всеобщая реакция. Сначала поражение чартистов 10 апреля 1848 г., потом подавление Парижского восстания рабочих в июне того же года, далее неудачи 1849 г. в Италии, Венгрии, Южной Германии и, наконец, победа Луи Бонапарта над Парижем 2 декабря 1851 г. Таким образом удалось хотя на некоторое время отогнать пугало рабочих требований, но чего это стоило! Если британский буржуа еще раньше был убежден в необходимости держать простой народ в религиозной узде, то насколько же сильнее должен был он чувствовать эту необходимость после всего пережитого! И, не обращая ни малейшего внимания на насмешки своих континентальных собратьев, он продолжал тратить из года в год тысячи и десятки тысяч для пропаганды евангелия низшим сословиям. Не довольствуясь собственным религиозным аппаратом, он обратился к брату Джонатану², величайшему тогда организатору религиозных спекуляций, и импортировал из Америки ревайвализм [«религиозное возрождение»] Муди, Сэнки и т. п.³; наконец, он согласился даже на то, чтобы получать опасную помощь «Армии спасения», которая возрождает приемы пропаганды древнего христианства, обращается к бедным, как к избранникам божьим, борется с капитализмом на свой религиозный лад и таким образом развивает некоторые стороны древне-христианской классовой борьбы, которые в один прекрасный день могут стать весьма роковыми для богатых людей, трагичащих теперь на это дело наличные денюжки.

¹ Подчеркнуто Энгельсом только в немецком тексте. *Ред.*

² «Брат Джонатан» олицетворяет Соединенные штаты Северной Америки (так же как «Джон Буль» олицетворяет Англию). Это прозвище впоследствии сменилось кличкой «дядя Сэм». *Ред.*

³ *Ревайвализм* (возрождение религии) — движение, ставящее задачу восстановить падающее влияние религии, распространить и укрепить ее влияние на массы. В XIX веке в числе организаторов подобных движений были упоминаемые Энгельсом американские проповедники, авторы религиозных гимнов Муди (1837—1899) и Сэнки (1840—1908). *Ред.*

Повидимому, можно принять за закон исторического развития, что ни в одной европейской стране буржуазии не удается — по крайней мере на продолжительное время — завладеть политической властью таким же исключительным образом, как владела ею феодальная аристократия в течение средних веков. Даже во Франции, где феодализм был вырван с корнем, буржуазия в целом только на короткие сроки вполне завладевала правительственной властью. При Луи-Филиппе, с 1830 по 1848 г., господствовала только незначительная часть буржуазии; гораздо большая часть была вследствие высокого ценза лишена избирательных прав. Во время Второй республики, 1848—1851 гг., господствовала буржуазия в целом, но всего только три года; ее неспособность проложила дорогу Второй империи. Только теперь, при Третьей республике, буржуазия, как целое, двадцать лет продержалась у кормила правления, но уже сейчас она обнаруживает отрадные признаки упадка. Продолжительное господство буржуазии было до сих пор возможно только в таких странах, как Америка, где феодализма не было и где общество с самого начала создавалось на буржуазном фундаменте. И даже во Франции и Америке уже громко стучатся в двери наследники буржуазии — рабочие.

В Англии буржуазия никогда не обладала нераздельной властью. Даже ее победа в 1832 г. оставила аристократии почти исключительное обладание всеми высокими правительственными должностями. Покорность, с которой богатая буржуазия мирилась с этим, оставалась мне непонятной до тех пор, пока в один прекрасный день крупный либеральный фабрикант, В. А. Форстер, не произнес речи, обращенной к бредфордской молодежи, умоляя ее, ради собственного блага, изучать все-таки французский язык. При этом он рассказал, каким глупцом он показался сам себе, когда, сделавшись министром, сразу попал в общество, где французский язык был по меньшей мере так же необходим, как английский. И действительно, тогдашние английские буржуа были в среднем совершенно необразованными выскочками, которые волей-неволей должны были предоставить аристократии все те высшие правительственные посты, где требовались иные качества, чем островная ограниченность и островное чванство, одобренные деловой изворотливостью¹. Еще и теперь бесконечные газетные споры на тему о «middle class education» [буржуазном воспитании] обнаруживают, что английская буржуазия все еще считает себя не подготовленной для лучшего воспитания, а ницет

¹ Да и в деловых отношениях национально-шовинистическое чванство — очень плохой советник. До самого последнего времени обыкновенный английский фабрикант считал унижительным для англичанина говорить на другом языке, кроме своего собственного, и до некоторой степени гордился тем, что «беднягино-иностранцы селятся в Англии и избавляют его от труда сбывать свои продукты за границей. Он совершенно не замечал того, что эти иностранцы, большею частью немцы, благодаря этому захватили в свои руки значительную часть английской внешней торговли — ввоз не менее, чем вывоз — и что непосредственная внешняя торговля англичан постепенно стала ограничиваться колониями, Китаем, Соединенными Штатами и Южной Америкой. Еще менее замечал он, что эти немцы торговали с другими немцами за границей, и все они с течением

для себя чего-нибудь поскромнее. Поэтому вполне естественно, что и после отмены хлебных законов те люди, которые сумели добиться победы, эти Кобдены, Брайты, Форстеры и пр., были отстранены от всякого участия в правительстве страны, и только через двадцать лет новый акт о реформах открыл им, наконец, двери министерства. Даже до сих пор английская буржуазия так глубоко проникнута сознанием своего более низкого общественного положения, что она на свои собственные и на народные деньги содержит парадную касту бездельников, которая должна во всех торжественных случаях достойно представлять нацию, и буржуазия считает для себя высшей честью, когда какой-нибудь буржуа признается достойным присоединения к этой замкнутой корпорации, сфабрикованной в конце концов самой же буржуазией.

Таким образом, промышленная и торговая буржуазия не успела еще окончательно устранить земельную аристократию от политической власти, как выступил на арену истории новый конкурент, рабочий класс. Реакция, наступившая после чартистского движения и континентальных революций, и присоединившийся сюда небывалый расцвет английской промышленности с 1848 по 1866 г. (этот расцвет обыкновенно объясняют одной только свободой торговли, но он гораздо больше обязан своим возникновением колоссальному развитию железных дорог, океанских пароходов и вообще средств сообщения) снова привели рабочих к зависимости от либеральной партии, в которой они, как и до чартистского движения, еще составляли радикальное крыло. Постепенно, однако, притязания со стороны рабочих на избирательные права стали непреодолимыми. Пока виги, руководившие либералами, все еще трусили, Дизраэли показал свое превосходство; он использовал благоприятный для ториев момент, ввел в городских избирательных округах закон об избирательном праве для каждого, кто жил в отдельном доме, и с этим связал изменение избирательных округов. Вслед за этим вскоре последовало установление тайного голосования (the ballot); далее, в 1884 г. избирательное право домохозяев было распространено на все округа, в том числе и в графствах, и произведено было новое распределение избирательных округов, которое до некоторой степени все-таки уравнивало их между собою. Благодаря всему этому влияние рабочего класса на выборах настолько возросло, что сейчас рабочие составляют большинство избирателей в 150—200 избирательных округах. Но нет лучшей школы преклонения перед традицией, чем парламентская система. Если буржуазия с благоговением и почтительным стра-

времени образовали целую сеть торговых колоний по всему свету. Когда же сорок лет тому назад Германия начала серьезно производить на вывоз, эти торговые колонии сослужили ей прекрасную службу для превращения ее в столь короткий срок из страны, вывозящей хлеб, в перворазрядную промышленную страну. Тогда, наконец, лет десять тому назад, английского фабриканта охватило беспокойство, и он запросил своих послов и консулов, как это случилось, что его покупатели разбегаются. Единогласный ответ был таков: 1) вы не изучаете языка вашего покупателя, а требуете, чтобы он говорил на вашем языке, и 2) вы даже не стараетесь удовлетворить потребности, привычки и вкусы вашего покупателя, а требуете, чтобы он принял ваши, английские.

хом взирала на группу, которую лорд Джон Маннерс в шутку называл «нашим старым дворянством», то и рабочая масса с уважением и почтением смотрела тогда на так называемый в то время «лучший класс», на буржуазию. И действительно, пятнадцать лет назад британский рабочий был образцовым рабочим, и его почтительнейшее отношение к положению его нанимателя, его самоограничение и смирение в тех случаях, когда он требовал прав для себя, были целительный бальзам на раны, которые наносили нашим германским катедер-социалистам неисправимо-коммунистические и революционные стремления их соотечественников — германских рабочих.

Однако английские буржуа были хорошими дельцами и были дальновиднее германских профессоров. Только под давлением обстоятельства они делили свою власть с рабочими. Во время чартистского движения они познали, на что способен народ, этот *puer robustus sed malitiosus* [здоровенный, но озорной малый]. С того времени буржуазии волей-неволей пришлось принять значительную часть требований Народной хартии, и они стали законом страны. Больше чем когда-либо важно было теперь держать народ в узде моральными средствами. Первым же и важнейшим средством, которым воздействуют на массы, оставалась все та же религия. Отсюда — поповское засилье в школьных управлениях, отсюда — возрастающее самообложение буржуазии для всевозможных способов благочестивой демагогии, начиная от обрядности и кончая «Армией спасения».

И теперь наступило торжество британского респектабельного филистерства ¹ над свободомыслием и религиозным индифферентизмом континентального буржуа. Французские и германские рабочие стали бунтовщиками. Они повально были заражены социализмом и при этом, по весьма понятным соображениям, вовсе не так уже были озабочены соблюдением законности при выборе средств для завоевания власти. Этот *puer robustus* [здоровенный малый] действительно становился там с каждым днем все более *malitiosus* [озорным]. Что же оставалось делать французскому и германскому буржуа в виде крайнего средства, как не отбросить втихомолку свое свободомыслие наподобие дерзкого мальчишки, который, чувствуя, что его все более и более одолевает морская болезнь, бросает зажженную сигару, которой он щеголял на борту корабля. Один за другим богохульники стали принимать внешне благочестивый облик, с почтением говорить о церкви, ее учении, обрядах и стали их соблюдать сами, поскольку нельзя было их обойти. Французские буржуа отказались от мяса по пятницам, а германские буржуа до одурения сидели на своих церковных местах, слушая бесконечные протестантские проповеди. Со своим материализмом буржуа попали в беду. «Религия должна быть сохранена для народа» — таково последнее и единственное средство спасения общества от полной гибели. К несчастью для самих себя, они открыли это только тогда, когда они сделали, с своей стороны, все возможное, чтобы навсегда разрушить религию. И тогда наступил момент, когда британский буржуа, в свою очередь, мог

¹ В английском тексте: «британской респектабельности». *Ред.*

над ними посмеяться и крикнуть им: глупцы, это я мог бы сказать вам еще двести лет назад!

Однако же я опасуюсь, что ни религиозное тупоумие британского буржуа, ни наступившее *post festum* [задним числом] обращение континентального буржуа не смогут вогнать в берега поднимающийся все выше пролетарский поток. Традиция — это великий тормоз, это сила инерции в истории. Но она только пассивна и потому должна пасть. Религия тоже долго не может служить оплотом для капиталистического общества. Если наши юридические, философские и религиозные представления являются более близкими или более отдаленными ответвлениями господствующих в данном обществе экономических отношений, то эти представления не могут удержаться продолжительное время после того, как экономические отношения в корне изменились. Либо мы должны поверить в сверхестественное откровение, либо согласиться, что никакие религиозные проповеди не в состоянии поддержать гибнущее общество.

И действительно, в Англии рабочие также пришли снова в движение. Несомненно, они скованы различными традициями. Прежде всего буржуазными традициями: так, например, очень распространённым предрассудком, будто возможны только две партии, консервативная и либеральная, и будто рабочий класс должен добиваться своего освобождения при помощи могущественной либеральной партии. Затем традициями рабочих, унаследованными со времени первых неуверенных попыток самостоятельных выступлений рабочего класса: такой традицией во многих старых трэд-юнионах является исключение всех тех рабочих, которые не прошли регулярного ученичества; это означает только то, что каждый такой профессиональный союз готовит себе собственных штрейкбрехеров. Но, несмотря на все это, английский рабочий класс движется вперед, как вынужден был с прискорбием сообщить об этом своим катедер-социалистическим собратьям сам господин профессор Brentano. Рабочий класс движется — как всё в Англии — медленным, размеренным шагом, то колеблясь, то делая ощупью довольно бесплодные попытки. Он движется местами с чрезмерным недоверием к *слову* социализм, впитывая постепенно в себя его *сущность*. Он движется, и движение захватывает один слой рабочих за другим. В настоящее время он пробудил от мертвого сна необученных рабочих лондонского Ист-Энда, и мы видели, какой великолепный толчок дали, со своей стороны, рабочему классу эти новые силы. И если ход этого движения не соответствует нетерпеливым ожиданиям тех или иных критиков, то пусть и те и иные не забывают, что именно рабочий класс сохраняет в себе лучшие стороны английского национального характера и что в Англии каждый шаг вперед, если уж он завоеван, никогда после не пропадет. Если сыновья старых чартистов, по изложенным выше причинам, были не совсем таковы, как можно было бы ожидать, то, по всей видимости, внуки будут достойны своих дедов.

Однако победа европейского рабочего класса зависит не от одной только Англии. Она может быть обеспечена только взаимодействием, по крайней мере, Англии, Франции и Германии. В обеих последних

странах рабочее движение значительно опередило английское. В Германии можно даже уже измерить время до момента его торжества. Успехи, достигнутые там рабочим движением за последние двадцать пять лет, не имеют себе равных. Оно идет вперед со все возрастающей быстротой. Если немецкая буржуазия обнаружила свое жалкое убожество и отсутствие политических способностей, дисциплины, твердости, энергии, то немецкий рабочий класс показал, что всеми этими качествами он обладает в более чем достаточной мере. Примерно четыреста лет назад Германия была исходным пунктом первого крупного восстания европейской буржуазии; если судить по теперешнему положению вещей, разве не возможно, что Германия станет также ареной первой великой победы европейского пролетариата?

20 апреля 1892 г.

6. ЛАФАРГ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ ЭНГЕЛЬСА: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИЗМА ОТ УТОПИИ К НАУКЕ»

Страницы, входящие в состав настоящей книги, ранее опубликованные в трех статьях в «Revue Socialiste», извлечены и переведены из последней работы Ф. Энгельса: «*Переворот в науке*». Они пересмотрены автором, который в третьей части внес различные дополнения, чтобы сделать более понятным для французского читателя диалектическое движение экономических сил капиталистического производства.

Фридрих Энгельс, один из самых выдающихся представителей современного социализма, выдвинулся с 1844 г. своими «*Заметками к критике политической экономии*», которые появились сначала во «*Французско-Немецких Ежегодниках*», издававшихся в Париже Марксом и Руге. В «*Заметках*» были уже сформулированы некоторые общие принципы научного социализма. В Манчестере, где проживал тогда Энгельс, он написал по-немецки свою книгу «*Положение рабочего класса в Англии*», 1845, — важный труд, на серьезное значение которого указал Маркс в «*Капитале*». Во время первого своего пребывания в Англии, как позднее в Брюсселе, он сотрудничал в «*Northern Star*», официальном органе чартистского движения, и в «*New Moral World*» Роберта Оуэна.

Во время своего пребывания в Брюсселе Энгельс и Маркс основали коммунистический клуб немецких рабочих, имевший прямую связь с фламандскими и валлонскими рабочими клубами. Оба они вместе с Борнштедтом создали «*Немецкую Брюссельскую Газету*». По приглашению находившегося в Лондоне немецкого комитета Союза справедливых, они вступили в это общество, учрежденное первоначально Карлом Шаппером, который был вынужден бежать из Франции вследствие его участия в заговоре Барбеса—Бланки в 1839 году. С тех пор Союз был превращен в международный Союз коммунистов, который отказался от обычной формы тайных

обществ. Тем не менее, при данных обстоятельствах Союз должен был оставаться тайной для правительств. В 1847 г. на международном конгрессе, созванном Союзом в Лондоне, Марксу и Энгельсу было поручено составить *«Манифест коммунистической партии»*, опубликованный незадолго до февральской революции и почти тотчас же переведенный на все европейские языки. Коммунистический манифест — один из самых ценных документов современного социализма; он и теперь еще остается одним из самых сильных и ясных изложений развития буржуазного общества и образования пролетариата, который должен положить конец капиталистическому обществу; там, как и в *«Ниццете философии»* Маркса, опубликованной годом раньше, впервые ясно формулирована теория борьбы классов.

В 1847 г. Маркс и Энгельс работали над созданием *Демократической ассоциации в Брюсселе*, публичного и международного общества, где встречались представители буржуазных радикалов и социалистических рабочих. После февральской революции Энгельс становится одним из редакторов *«Neue Rheinische Zeitung»* (Новой Рейнской Газеты), основанной Марксом в Кельне и запрещенной в июне 1849 г. прусским правительством. Приняв участие в восстании в Эльберфельде, Энгельс совершил затем баденский и пфальцский поход против пруссаков (июнь — июль 1849 г.) в качестве адъютанта Виллиха, бывшего тогда командиром батальона добровольцев.

В 1850 г., в Лондоне, он сотрудничал в *«Обзрении Новой Рейнской Газеты»*, издававшемся Марксом и печатавшемся в Гамбурге. Там Энгельс опубликовал *«Крестьянскую войну в Германии»*, которая 19 лет спустя вышла в Лейпциге отдельной брошюрой и выдержала три издания.

После возрождения социалистического движения в Германии Энгельс сотрудничал в *«Volksstaat»* и в *«Vorwärts»* и писал для них наиболее важные статьи; некоторые были позднее переизданы в виде брошюр: *«Социальное движение в России»*; *«Прусская водка в германском рейхстаге»*; *«К эллицизму вопросу»*; *«Бакунисты за работой»* и т. д.

В 1870 г., покинув Манчестер и переехав в Лондон, Энгельс вступил в Генеральный совет Интернационала; ему была поручена связь с Испанией, Португалией и Италией.

Серия последних статей, которые он посылал в *«Vorwärts»* под ироническим заглавием *«Переворот в науке, совершенный г. Дюрингом»*, представляет собою остроумную и научную критику якобы новых теорий г. Дюринга в науках вообще и в социализме в частности. Эти статьи были объединены в книгу и имели большой успех среди социалистов Германии. В настоящей брошюре мы даем наиболее существенные извлечения из теоретической части этой книги; эти извлечения образуют, так сказать, *введение в научный социализм*.

Напечатано во французском издании «Socialisme utopique et socialisme scientifique», Paris, 1880.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абстракция* — 284, 287; *а.* математическая — 277, 278.
- Агностицизм — 321, 323.
- Аксиомы, математические *а.* — 33, 296.
- Акционерная компания — 227.
- Анализ, *а.* и синтез — 35.
- Анархия*, *а.* общественного производства — 222, 223, 224; уничтожение *а.* при социализме — 232; анархисты и государство — 230.
- Антагонизм*, *а.* сил у Дюринга — 101; *а.* классов — 222, 233.
- Антиномии (у Канта) — 41.
- Античная республика — 301.
- Античная философия — 114, 292.
- Артиллерия — см. «военное дело».
- Астрономия — 47, 51, 278.
- Атомы — 270, 277, 279; атомная теория — 272.
- Белок — 61, 290, 291.
- Бесконечность* — 274—279, 282—285; «дурная» *б.* — 39—44; *б.* числового ряда — 39; *б.* по Дюрингу — 39; *б.* в пространстве — 41; *б.* есть противоречие — 43.
- Биология — 10.
- Богатство — 152, 153.
- Борьба за существование* — 57, 62, 223.
- Буржуазия* — 16, 22, 86, 134, 218 и сл.; 324 — 328 и сл.
- Бытие*, внешний мир — 19, 29; формы *б.* — 30; основные формы *б.* — 32, 33; единственность *б.* — 35; единство *б.* — 35, 36; мыслимое и действительное *б.* — 35; *б.* определенное — 36, 37; *б.* по Дюрингу, лишенное всяких различий, всякого измерения — 37; *б.* в логике Гегеля — 37, 43, 44; *б.* и время — 44.
- Вечная истина — 16.
- Вечность — 41, 42.
- «Вещь о себе» — 52, 322.
- Взаимодействие* — 18, 19.
- Вид в биологии — 56, 57, 62; изменчивость *в.* — 58, 59.
- Возникновение — 19, см. «бытие».
- Военное дело, война* и развитие производительных сил. Армия и военный флот как сила, зависящая от экономических факторов — 136, 140, 142, 300, 303; зависимость военных действий от состояния производства и средств сообщения — 141, 142; влияние технических усовершенствований на способ ведения войны — 137, 138, 139, 140; производство оружия, вооружение, состав, организация, *тактика* и *стратегия* — зависимость от состояния производства и средств сообщения — 136, 137, 303; порох и огнестрельное оружие, зависимость от промышленности — 137, 303; артиллерия — 137, 303; огнестрельное оружие — влияние на политические отношения господствующих и угнетенных классов — 137; изменение в организации армий в связи с изменением общественного строя — 138, 140; вооружение как отрасль промышленности — 142; производство военных судов и развитие крупной промышленности — 141, 142; гениальные полководцы, роль их в переломах в военном деле — 137; война как источник получения рабов — 148, 149; революционная система вооружения всего народа и принудительный набор — 138, 140.
- Войны*, греко-персидские — 132; завоевание христианами мавританской Испании и подчинение завоевателей-варваров более высокой экономике и культуре завоеванной страны — 150, 151; Великая крестьянская война 1525 г. — 16, 88, 325; Тридцатилетняя война — 82, 151; торговые войны XVII и XVIII вв. — 223; американская война за независимость — 138; бой французской кавалерии с мамелюками — 106; разрушение Англией французской морской торговли, захват французских колоний и уничтожение французских притязаний на морское господство — 328; войны для свержения Наполеона — 215, 300; поражение Пруссии в 1806 и 1807 гг. —

- 82; завоевательные войны Франции — 209; прусская армия при Иене — 177, 303; Ватерлоо — 242; Крымская война — 141; франко-прусская война — 139.
- Воспитание* — 258; *в.* при капитализме — 240, 241, 242; *в.* при социализме — 265, 266; *в.* у Дюринга — 262—265.
- Время*, понимание *в.* у Дюринга — 40; бесконечность *в.* — 43; понятие *в.* и действительное *в.* — 43; время и изменение *в.* и бытие — 43, 44; *в.* рабочее — 154, 158, 159, 242. «В себе» и «для себя» у Гегеля — 49. Всеобщность, форма *в.* — 283.
- Геометрия — 275.
- Генеалогическое древо Геккеля — 60.
- Город и деревня — 234, 243, 244, 245, 299; рост *г.* — 297.
- Государство — 9, 15, 121, 227, 228, 258, 301; отмирание *г.* — 230 и сл.; «свободное народное государство» — 230.
- Гражданин римский — 127.
- Дарвинизм — 56 и сл., 60.
- Движение* — 18, 20, 21, 291; формы *д.* — 49, 288; *д.* и материя — 49; активное и пассивное *д.* — 50; *д.* находит свою меру в своей противоположности — 52; механическое *д.* — 52; *д.* как форма бытия материи — 49; молекулярное *д.* как повторение одних и тех же процессов, метафизическая концепция *д.* — 46, 48; *д.* в мировом пространстве, механическое *д.* небольших масс, молекулярное *д.* в виде теплоты или электрического тока или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь — как формы *д.* — 49, 50; *д.* есть противоречие — 100; высшие формы *д.* — 100.
- Дворянство — 16, 127, 134, 171, 326.
- Деизм — 61, 327, 328.
- Демократия античная — 296.
- Деньги* металлических — 121, 225, 304; *д.* — средство обмена — 121; *д.* бумажные — 156; превращение *д.* в капитал — 166, 167, 168; *д.* всеобщий тов. эквивалент — 167; *д.* мерило стоимости — 188; юмовская теория *д.* — 194; сертификаты труда — 249; *д.* и стоимость — 254, 256; *д.* в хозяйственной коммуне Дюринга — 247 и сл.
- Деспотизм, восточный *д.* — 133, 149, 301.
- Диалектика* — 8, 9, 18, 21, 75, 98, 102, 112, 115, 118, 273, 274, 293; определение *д.* — 275; логика и *д.* — 22; гегелевская *д.* — 109, 273 и сл., 308; диалектическое понятие природы — 11, 12; диалектическое мышление — 20, 22; диалектические законы движения — 10, 11, 12.
- Диалектика и естествознание — 11, 12.
- Динамическое — 51, 52, 54.
- Дифференциал — 112, 113, 114.
- Добро и зло — 77.
- Древние языки, изучение их — 264, 265.
- Единство и материальность мира — 35, 37.
- Естествознание*, теоретическое *е.* — 7, 9, 10, 11, 12; *е.* и материализм — 22, 279; *е.* и диалектика, см. «Диалектика и естествознание»; *е.* и история — 18, 19.
- Жизнь* — 50, 51, 55, 289, 290; возникновение *жс.* — 61; определение *жс.* — 64—69.
- Завоевание — см. «война».
- Закон — 21, 283; *з.* природы — 301; *з.* Бойля — 76; *з.* перехода количества в качество — 104, 106; *з.* политической экономии — 120, 121, 123, 124, 125; *з.* исторические и естественные — 123, 124; «вечные» *з.* — 283; *з.* против социалистов — 7; *з.* превращения энергии — 12; *з.* сохранения энергии — 12; *з.* движения — 12; *з.* диалектического мышления — 12, 22.
- Заработная плата — 158, 165, 183, 301, 302.
- Землевладение, крупное *з.* — 121, 146, 303, 305; общинное *з.* — 148, 299, 301; мелкое *з.* — 121; *з.* католической церкви — 324.
- Золото и серебро, американское — 86, 186.
- Идеализм* — 21, 22, 23; *и.* в истории — 23, 30, 33, 79, 80, 122. «Идеи» у Гегеля — 21.
- Изменение — 43, 44; время и *и.* — 43, 44.
- Индукция — 318.
- Истина абсолютная и относительная — 20—22; вечная *и.* — 72, 297, 298; критерий *и.* — 321, 322.
- Исторический взгляд на природу — 20, 21.
- История* — 18, 19, 22, 130; первобытная *и.* человечества — 9; *и.* природы — 20; *и.* человечества — 20, 21;

- идеалистическое воззрение на *и.* — 23; *и.* культуры — 23; диалектический взгляд на *и.* — 22, 23; метафизическое понимание *и.* — 22, 23; логические принципы и *и.* — 29; материалистическое понимание *и.* — 218, 315; роль идей в *и.* — 299. Исчезновение — 49, см. «Бытие».
- Исчисление, дифференциальное — 99, 111, 113, 277; *и.* интегральное — 413.
- Капитал* — 25, 146, 150, 160, 169, 170 и сл., 175, 303; постоянный *к.* — 103; переменный *к.* — 103; концентрация *к.* — 122; прибыль на *к.* — 122, 158, 159, 160, 185; превращение денег в *к.* — 166, 167, 168; первоначальное накопление *к.* — 109, 110.
- Капитализм* — 159, 224, 227, 228, 235, 261; производство при *к.* — 103, 104, 123, 168, 175, 219, 222, 226, 233, 240; распределение при *к.* — 121, 123; потребление при *к.* — 231, 235.
- Картезианство — 327.
- Категории — 75.
- Качество — 37, 282 и сл.; закон перехода количества в *к.* — 37, 104, 106 и сл.
- Классы* — 234; физиократы о *к.* — 201, 202, 203; образование *к.* — 147, 148, 230; уничтожение *к.* — 229, 231; *к.* и способы ведения войны — 137, 138, 139, 140.
- Классовая борьба — 16, 21, 22, 218, 220, 229, 231, 235, 236; старое идеалистическое воззрение на историю не знало *к.* б. — 23.
- Классификация наук — 42.
- Клетка* — 10, 12, 65, 66; искусственные *к.* Траубе — 67, 289; клеточное ядро — 64.
- Количество — 37, 38, 106, 281, 282.
- Коммунизм* — 17, 18, 215, 216; коммунистическое мировоззрение — 8, 9. См. также «социализм».
- Конечное — 43, 283.
- Конкуренция — 175, 176, 222, 232; свободная *к.* — 23.
- Конституция, французская к.* — 15; американская *к.* — 88.
- Кооперация — 110.
- Крепостная зависимость — 306.
- Крестьянская война — 88, 325.
- Кривое и прямое — 100.
- Кризис промышленный — 225, 229, 235, 236 и сл.; *к.* денежный — 304.
- Левеллеры — 16.
- Лионское восстание* — 22.
- Личность при капитализме* — 121, 240, 242, 243; *л.* при социализме — 231, 232, 242 и сл.; *л.* у Дюринга — 239, 258, 266.
- Логика и диалектика* — 75; формальная *л.* — 111; *л.* Гегеля — 38.
- Лютеранство — 325.
- Мануфактура — 86, 105, 240, 318.
- Марка — 144, 223, 306.
- Математика* — 9, 10, 278; чистая *м.* — 32; *м.* возникла из потребностей человека — 33; высшая *м.* — 100, 101, 111, 113; *м.* низшая — 101, 111, 113.
- Материализм — 323, 327 — 329; французский механический *м.* XVIII в., несовместимый с диалектикой — 22, 23, 274, 275; первобытный естественный *м.* — 115; французский *м.* — 18; английский *м.* — 318.
- Материалистическое понимание природы и истории — 9, 218.
- Материя* — 281, 282, 288, 294; *м.* прошла через бесконечный ряд других форм — 48, 49; количество всей *м.* — 54; *м.* и мысль — 114; строение *м.* — 278.
- Машина* — 154, 159, 219, 224, 233, 240; паровая *м.* — 95, 120, 243, 244; прядильная *м.* — 220.
- Мера, *м.* движения есть покой — 52; *м.* у Гегеля — 55.
- Меркантилизм — 189, 192.
- Метафизика* — 17—20 и сл., 100, 101, 281; *метафизическое* мышление — 19, 20, 271, 272; *м.* понимание истории — 23.
- Метод* — 13; априорный *м.* — 79; *м.* диалектический — 102, 273; *м.* Дюринга — 296, 305.
- Механика* — 10, 51; *м.* масс — 45; отношение статического к динамическому в обыкновенной *м.* — 51; механические процессы — 52; *м.* небесных тел — 55; *м.* молекул — 55.
- Милитаризм, м.* и прусская система ландвера — 139, 140; *м.* и армия как главная цель государства — 140; *м.* и буржуазная демократия 1848 г. — 140; диалектика в развитии *м.* — 140, 142.
- Молекула — 53, 54, 63, 105, 276.
- Монополия — 227; *м.* голландцев в ост.-индской торговле — 156.
- Монотеизм — 114, 261.
- Мораль* — 69, 79, 93, 119, 122, 126; «вечные» законы *м.* по Дюрингу — 78; классовые основы *м.* — 73, 80; *м.* христианско-феодалная — 77; иезуитско-наго-

лическая — 77; ортодоксально-протестантская — 77; буржуазная мораль — 77; пролетарская м. — 77. Мысль (см. также «понятие») — 21, 30; м. и материя — 114. Мышление, м. и природа — 30, 287; м. и бытие — 29, 30, 285; суверенность человеческого м. — 70, 71, 72; противоречивость развития м. — 74, 101; бесконечность м. — 100; законы м. — 287.

Надстройка — 23.
Народонаселение, теория Мальтуса — 56, 57.
Насилие — 84, 145 и сл., 299 — 302, 305; н. и экономическое развитие — 149, 150, 151, 178, 300, 303.
Наследственность — 57—60.
Натурфилософия — 6, 10, 13, 34, 39, 54, 118, 278.
Науки, исторические, вечные истины в исторических н. — 73, 74; н. точные, вечные истины в точных н. — 72.
Необходимость и свобода — 94, 232.
Неокантианский агностицизм — 322.
Неравенство — 81, 83, 88, 115, 122.
Номинализм — 306.

Обмен, о. и производство — 120, 122, 123, 218, 226.
Обмен веществ — 67, 289.
Общественная собственность — см. «собственность».
Общественный производственный и резервный фонд — 159.
Общество — 15, 80; о. и государственный строй — 86; о. средневековое — 232; о. товаропроизводителей — 253 и сл.; о. феодальное — 219; о. частных производителей — 162; капиталистическое о. — 121 и сл.
Община, первобытная — 85, 121, 122, 144, 147; о. русская — 304; общинный быт — 148, 149; разложение первобытной о. — 150, 256, 257.
Организм — 60.
Органический мир — 55 и сл.
Орошение, роль искусственного о. в истории восточных стран — 147.
Отбор естественный — 57, 58, 62, 291; о. искусственный — 56.
Открытие, великие о. морских путей в конце XV в. — 86, 223; о. пороха — 137.
Отношения, о. реальных тел — 33, 34.
Отрицание отрицания — 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 291, 292; о. и определённость — 117; о. диалектическое и метафизическое — 117,

293 — 295.
Отрицательное — 18, 19, 20, 38.
Ощущение — 66.

Палеонтология — 62.
Педагогика — 265, 266.
Переходы н. и связи в природе — 46.
Плановость и социалистическое производство — 227, 229—232, 255.
Плата заработная — 158.
Познание — 12; относительность н. — 71, 79.
Политика — 129, 130, 134—136, 142, 150—151, 301.
Политическая экономия — 6, 13; н. э. как наука — 123, 187; предмет и метод н. э. — 120; исторический характер н. э. — 120, 121; законы н. э. — 122—125; добуржуазная н. э. — 123, 124; современная н. э. — 189.
Политические учреждения как надстройки — 23.
Положительное — 19, 20, 38.
Помещик — 144, 145, 146; феодальный барон — 171, 326; нормандский барон, аристократия английская — 127, 326; валашский боярин — 127.
Понятие — 12, 19, 20, 38; учение о н. у Гегеля — 55.
Потребление — 304; недопотребление — 235.
Право — 69, 93, 119, 121, 124, 126, 302; французское уголовное н. — 90, 91, 93; прусское земское н. — 90, 91, 92, 93, 119, 186; обычное английское н. — 91; римское н. — 93; правовые учреждения как надстройка — 23.
Прибавочная стоимость — 167, 168, 169 и сл., 173, 174, 175.
Прибыль — 173, 174, 302; н. торговая — 174, 175; н. предпринимательская — 177.
Принудительный набор — см. «военное дело».
Принцип, критерий правильности логических н. — 30.
Присвоение, форма н. — 221; капиталистическая форма н. — 233.
Приспособление — 58, 59, 60.
Причина — 20; н. конечная — 281.
Продукт, прибавочный н. — 176.
Производительность труда — 149.
Производительные силы — 129, 147, 149, 150, 219 и сл.; 226, 229—234, 242.
Производственные отношения и политическая надстройка — 300.
Производство, н. и распределение — 120; процесс н. — 126; н. и

- обращение — 125, 126; механизм капиталистического *п.* — 168, 169; *п.* товарное — 232, 253 и сл.; средства *п.* и производитель — 232, 240, 244; способы *п.* — 102, 122, 187; способы *п.* и общественный строй — 122; *п.* капиталистическое — 103, 104, 123 и сл.; законы *п.* — 123, 175, 210 и сл., 219, 222 и сл., 226; *п.* — мелкое в Англии — 109, 110; средства *п.* — 107—112; *п.* и общинная собственность на землю — 114, 115; *п.* и обмен — 120, 121, 126; *п.* и цеховое ремесло — 121, 240; *п.* и распределение — 122, 123, 125, 126; феодальный способ *п.* — 169, 219.
- Пролетариат* — 17, 22, 129, 210, 222, 229.
- Промышленность, ремесленная — 86, 87, 317; крупная — 149, 318; промышленный переворот — 213, 214, 233, 329, 330.
- Пространство*, *п.* и время — 39, 284; три измерения *п.* — 42.
- Противоположности* классов — 128, 210, 212, 218, 222, 223, 229, 233; *п.* полярные — 12, 19, 20, 75; полюсы *п.* — 20, 75.
- Противоречие* — 20, 294; *п.* между результатами науки и метафизическим способом мышления — 20; понимание *п.* у Дюринга — 38; *п.* во времени — 42; *п.* в бесконечности — 44; диалектическое *п.* — 100, 116; *п.* в математике — 100, 101; *п.* между общественным характером производства и капиталистическим присвоением — 221, 222, 223, 224 и сл.; *п.* классов — 233.
- Процент — 173, 184, 196, 302.
- Рабовладельцы — 121, 127.
- Рабочий класс* — 88, 129, 171, 295, 330.
- Рабство* — 125, 148; *р.* как форма производства — 148; без античного *р.* не было бы и современного социализма — 148; *р.* как простейшая форма разделения труда — 148.
- Равенство* — 16, 85—89, 115, 293, 298; равенство у Дюринга — 80, 83, 126, 127; развитие идеи *р.* — 85—88.
- Равновесие — 45, 50, 52, 288.
- Развитие, теория *р.* — 62.
- Разделение труда* — 307, 308; *р. т.* и классы — 129, 228, 229, 231; *р. т.* и отделение города от деревни — 232, 238, 240.
- Раса — 58.
- Распределение* — 121, 123, 305, 307; способы *р.* и классы — 123, 165.
- Революция* — 12, 108; социалистическая *р.* — 159, 234; великая французская *р.* — 86, 138, 140, 211, 212 и сл., 328 и сл.; *р.* капиталистическая — 233; *р.* пролетарская — 234; *р.* 1830 г. — 329; *р.* 1848 г. — 330.
- Резервная армия — 224, 226, 233.
- Религия — 15, 260, 262.
- Рента, теория земельной ренты — 184; земельная *р.* — 157, 173, 175, 177, 181; «владельческая» *р.* — 180; *р.* и арендная плата — 183.
- Реформация — 325.
- Рынок — 156; мировой рынок — 169.
- Связь взаимная — 20; *с.* внутренняя — 24, 22; действительная *с.* — 22, 23.
- Семья* — 146, 258, 262 и сл.
- Сила* механическая — 10, 45, 50, 52, 54; антагонизм *с.* — 98.
- Синтез, *с.* и анализ — 35.
- Система и метод у Гегеля — 11, 21.
- Скачки — 37, 38.
- Следствие — 20.
- Случайность — 17; кажущаяся *с.* исторических событий — 10, 21.
- Собственность* — 16; мелкая *с.* — 209; общая *с.* на землю — 107, 114, 121; общинная *с.* — 74, 107, 113, 114; частная *с.* — 108, 114, 292—295, 299; разложение *с.* — 110; земельная *с.* — 144; «собственность есть кража» — 153; общественная *с.* на средства производства — 231.
- Солнечная система и земля — 11, 21.
- Социал-демократическая партия Германии — 5, 309, 314, 316, 317.
- Социализм* — 140, 165, 218, 219, 229; *с.* научный — 232, 234, 315; *с.* утопический — 10, 11, 17, 210, 211 и сл., 214, 241; *с.* немецкий — 6; *с.* французский — 23; *с.* английский — 23; *с.* неизбежное следствие борьбы двух исторически возникших классов — 23; производство при *с.* — 229, 234; распределение при *с.* — 165, 257; семья при *с.* — 262; воспитание при *с.* — 265, 266; личность при *с.* — 231, 232, 242.
- «Социалитарное» общество Дюринга, уравнительный социализм — 92, 164, 234, 238, 239, 245 и сл., 258 и сл., 267, 311.
- Спиритуалисты — 36.
- Становление, *с.* в логике Гегеля — 37, 38.
- Статическое — 51, 54.
- Стоимость*, *с.* золота — 156, 157; товарная *с.* — 157, 163, 256; *с.* выражение общественного труда — 256; *с.* и труд —

158, 160, 162, 165; с. в вульгарной экономии — 158; с. и количество труда — 160; с. абсолютная Дюринга — 162, 163; с. товаров и зарплата — 164; закон с. 175; с. благородных металлов — 195, 196; с. и деньги — 256, 257, 258; рабочая сила прибрела с. — 148, 160; теория с. — 151 и сл., 158; с. и цена — 173; с. и величина стоимости — 154, 160; с. «распределительная» Дюринга — 155; с. и обмен товаров — 252—256; относительная прибавочная с. — 105; закон с. — 87.

Стратегия — см. «военное дело».

Субстанция — 310.

Схематизм — 29, 30, 31.

Тактика — см. «военное дело».

Теократ этрусский — 127.

Теология — 55, 56.

Теория эволюции — 11—12.

Теплота — 12, 55; механическая теория т. — 46, 47, 51, 52 и сл.; связанная т. — 52, 53; открытие превращения механического движения в т. — 94, 95.

Товар — 162, 163, 165, 168, 174, 220; определение т. — 252, 253; т. рабочая сила — 168, 256; общественный характер т. — 253; непосредственное воплощение общественного труда — 253, 255; превращение продукта в т. — 253; рабочая сила как т. — 24.

Товарность, абсолютное т. и изменимость — 45.

Торговля — см. «обмен».

Тред-юнионы — 216.

Труд, человеческий т. вообще — 87, 150, 253; естественное разделение т. внутри земледельческой семьи — 148; т. рабов — 153; т. производительный — 154; т. общественный — 224, 255; т. наемный — 221, 233; т. не имеет стоимости — 257; т. общественно-необходимый — 87, 158, 164, 253; обобществление т. — 110; т. как мерило всех стоимостей — 159; т. простой — 161, 162; т. сложный — 162; т. овеществленный — 164; т. прибавочный — 171, 172, 179; разделение т. — 105, 138, 242, 243; т. и потребление — 305.

Туманность, первоначальная т. — 48.

Узловая линия меры у Гегеля — 38,

55, 104.

Утописты-социалисты — см. «социализм».

Феодализм — 17, 134, 135, 137, 301, 321, 145.

Физика — 279 и сл.; ф. молекул — 55, 254.

Физика атомов — 55.

Физиократы — 124, 198 и сл., 313.

Физиология — 20.

Филология классическая — 264, 265.

Философия — 13, 22; античная ф. — 114; «снятие» ф. — 115; немецкая идеалистическая ф. — 9, 10, 21; ф. как надстройка — 23; ф. и науки по Е. Дюрингу — 29; ф. «действительности» Е. Дюринга — 25 и сл.; ф. и естествознание — 280.

Философы, французские ф. XVIII в. — 15, 16, 209, 210.

Флогистон — 274.

Форма, ф. движения — 12, 288 и сл. (см. «движение»); ф. промежуточные между растениями и животными — 66.

Фритредерская школа — 273.

Химия — 55, 290; химизм, химизм белков — 55; х. физиологическая — 67; обмен веществ в х. — 67; х. белка — 68; х. современная — 105 и сл., 254.

Хозяйство, натуральное х. — 121.

Христианство — 86, 297.

Целевообразность — 59, 60.

Целое, количественное ц. — 33.

Цель, «внутренняя цель» у Гегеля — 55.

Цехи — 87, 151, 219.

Чартисты — 22, 334.

Частная собственность, см. «собственность».

Частное и общее — 18; часть и целое — 33.

Число — 32.

Эволюция — 10, 12.

Электизм — 17, 18, 315.

Экономика, надстройка и э. — 23. Экономика политическая — 120—124 и сл.; э. вульгарная — 158, 159; э. классическая — 172, 186—206.

Экспроприация экспроприаторов — 110.

Электричество — 12.

Эмбриология — 62.

Эмпирики — 10, 11.

Энергия, потенциальная э. — 12; молекулярная э. — 53.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Анаксегор* (500—428 гг. до н. э.)—15, 318.
Анфантен, Бартеlemi Проспер (1796—1864)—27.
Аристотель (384—322 гг. до н. э.) — 48, 74, 187, 188, 270.
Аркрайт, Ричард (1732—1792) — 329.
Бабеф, Франсуа Ноэль (1760—1797)—16, 27.
Барбес, Арман (1809—1870) — 335.
Беккер, Бернгард (1826—1882) — 310.
Беккер, Карл Фердинанд (1775—1849)—264.
Беккер, Рудольф Захарий (1752—1822) — 265.
Бекланд, Уильям (1784—1856) — 320.
Беме, Яков (1575—1624) — 308.
Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд (1815—1898)—92, 227, 244, 262.
Блан, Луи (1814—1882)—27, 259.
Бланки, Луи Огюст (1805—1881)—335.
Богусский, Иосиф Юрий (род. 1853)—76.
Бодо, аббат (1730—1792)—200.
Бойль, Роберт (1626—1691)—76, 254.
Болингброк, Генри Сент-Джон (1678—1751) — 327.
Бонапарт, Луи (1808—1873) — 330.
Бопл, Франц (1791—1867) — 264.
Борнштедт, Адальберт (1808—1851)—335.
Босю, Шарль (1730—1814) — 294.
Брайт, Джон (1811—1889) — 332.
Бреитано, Луйо (1844—1931) — 334.
Буазильбер, Пьер (1646—1714)—186, 191, 192, 194.
Вэкон, Френсис (1561—1626)—19, 272, 318, 319, 320.
Бюхнер, Людвиг (1824—1899) — 271.
Вагнер, Герман (1815—1889)—197.
Вагнер, Рихард (1813—1883)—24, 25, 96, 119.
Валполь, Роберт, граф Оксфорд (1676—1745)—197.
Вандерлинт, Яков (умер в 1740 г.)—194, 197.
Вейтлинг, Вильгельм (1808—1871)—47, 165, 249.
Виллих, Август (1810—1878) — 336.
Вирхов, Рудольф (1821—1902)—7, 12, 269.
Гален (131—200)—73.
Гарвей, Вильям (1578—1657)—193.
Гартли, Давид (1704—1757) — 320.
Гартман, Эдуард (1842—1905) — 271.
Гаусс, Карл Фридрих (1777—1855)—42.
Гегель, Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831)—10, 11, 15, 18, 21—23, 26, 30—34, 36—44, 49, 55, 61, 66, 84, 94, 99, 102—104, 106—108, 115, 146, 118, 119, 154, 207, 243, 270, 272, 273, 275, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 294, 295, 308, 315, 316, 322.
Гейзе, Иоганн Христиан Август (1764—1829)—264.
Геккель, Эрст (1834—1919)—10, 59, 60, 115, 279, 281, 282, 289.
Гексли, Томас Генри (1825—1895)—65.
Гельмгольц, Герман (1821—1894)—40.
Генрих VIII (1491—1547) — 326.
Генрих LXXXII (1854—1867)—князь Рейсс-Грейц-Шлейц-Лобенштейн — 145.
Гераклит (540—480 гг. до н. э.)—18.
Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832)—79, 119, 264, 301.
Гиббон, Эдуард (1737—1793)—498.
Гиффен, Роберт (1837—1910)—232.
Гоббс, Томас (1588—1679)—319, 320, 327.
Грибоваль, Жан Батист (1715—1789)—438.
Гримм, Яков Людвиг Карл (1785—1863)—264.
Дальтон, Джон (1766—1844) — 270.
Дарвин, Чарльз (1809—1882)—20, 26, 56—62, 66, 104, 118, 282, 291.
Декарт, Рене (1596—1650)—18, 45, 50, 101, 270.
Демокрит (ок. 460—370 гг. до н. э.)—270, 318.
Дидро, Дени (1713—1784)—18.
Дизраэли (Биконсфильд). Бенджамин (1804—1884)—332.
Диоген Лаэртский (прибл. I половина III века) — 270.
Дитц, Фридрих (1794—1876)—264.
Додуэлл, Генри (1641—1711) — 320.
Дунс, Скотт Иоганн (прибл. 1270—1308 гг.) — 318.
Дюринг, Евгений (1833—1921)—5—10, 13, 24—49, 51, 52, 54—67, 69, 71,

- 75—85, 89—113, 115, 116, 118, 119, 124—128, 130—133, 135, 136, 140—145, 149, 151—159, 161—166, 169—200, 205—207, 211, 216—218, 234—239, 241, 244—252, 258—260, 262, 263, 265—268, 269, 273, 285, 287—289, 291, 293—296, 298, 300—303, 305, 307—314, 316, 317, 336.
- Екатерина II* (1729—1796) — 300.
- Жерар, Шарль Фридрих* (1816—1856)—105.
- Зибель, Генрих* (1817—1895) — 315.
- Зиккинген, Франц* (1481—1523) — 325.
- Иенс, Макс* (1837—1900)—141, 303.
- Кальвин, Жан* (1509—1564) — 325.
- Кампаузен, Рудольф* (1803—1890)—90.
- Кант, Иммануил* (1724—1804)—11, 21, 26, 41, 42, 48, 54, 198, 213, 272, 315, 316, 322.
- Кантильон, Ричард* (1680—1734)—197.
- Карл I* (1600—1649) — 326.
- Карлейль, Томас* (1795—1881)—209.
- Карно, Николай Леонард Сади* (1796—1832) — 274.
- Картрайт, Эдмунд* (1743—1823)—329.
- Кауфман, К. П.* (1818—1882)—84.
- Кекуле, Фридрих Август* (1829—1896)—270, 279.
- Кенз, Франсуа* (1694—1774)—13, 198—205, 216.
- Кеплер, Иоганн* (1571—1630)—10.
- Киргофф, Густав* (1824—1887)—11.
- Коббетт, Вильям* (1762—1835)—198.
- Кобден, Ричард* (1804—1865) — 332.
- Коллинз, Антоний* (1676—1729) — 320.
- Коперник, Николай* (1473—1543)—47.
- Козард, Вильям* (1657—1725) — 320.
- Кромвель, Оливер* (1599—1658) — 326.
- Крупп, Фридрих Альфред* (1854—1902)—142.
- Ксенофонт* (прибл. 430—354 гг. до н. э.)—188.
- Кэри, Генри* (1793—1879)—158, 183, 207, 302, 308.
- Лавуазье, Антуан Лоран* (1743—1794)—191, 274.
- Ламарк, Жан Батист* (1744—1829)—27, 56, 62.
- Лангеталь, Христиан Эдуард* (1806—1878) — 306.
- Лаплас, Пьер Симон* (1749—1827)—21, 272, 315, 321.
- Ласкер, Эдуард* (1829—1884) — 293.
- Лассаль, Фердинанд* (1825—1864)—27, 90, 105, 309, 314.
- Лафарг, Поль* (1842—1911)—9, 314, 317.
- Левкипп из Абдеры* (ок. 492 г. до н. э.) — 270.
- Лейбниц, Готфрид Вильгельм* (1646—1716)—26, 112, 272.
- Либлих, Юстус* (1803—1873)—10.
- Либкнехт, Вильгельм* (1826—1900) — 309, 310, 311.
- Линней, Карл* (1707—1778)—22.
- Лист, Фридрих* (1789—1846)—189, 267.
- Ло (Локк), Джон* (1671—1729)—191, 192, 194.
- Локк, Джон* (1632—1704)—13, 19, 191—196, 272, 320.
- Лоран, Огюст* (1807—1853)—105.
- Луи-Филипп* (1773—1850) — 326.
- Лютер, Мартин* (1483—1546) — 325.
- Мабли, Габриель* (1709—1785)—16.
- Майер, Роберт* (1814—1878)—51.
- Маккиавели, Николо* (1469—1527)—303.
- Маклеод, Генри* (1821—1902)—207.
- Мальпиги Марчелло* (1628—1694)—73.
- Мальтус, Томас Роберт* (1766—1834)—56, 57.
- Маннерс, Джон* (1818—1906) — 333.
- Мантейфель, Отто Теодор* (1805—1882)—33.
- Мантелль, Гидиён* (1790—1852) — 320.
- Маркс, Карл* (1818—1883)—8—11, 13, 24, 27, 38, 87, 89, 101—111, 116, 123, 127, 133, 151, 158, 160—164, 166—176, 179—181, 186, 194, 195, 208, 219, 224, 225, 237, 240, 249, 256, 262, 266, 273, 299, 302, 303, 309, 312, 316, 317, 320, 328, 335, 336.
- Масси, Джозеф* (умер в 1784 г.)—194, 196.
- Маурер, Георг Людвиг* (1790—1872)—144.
- Мейер, Лотар* (1830—1895) — 280.
- Менделеев, Дмитрий Иванович* (1834—1907)—76.
- Меттерних* (1773—1859)—227.
- Мирабо, Оноре-Габриэль* (1749—1791)—206.
- Мишле, Карл Людвиг* (1801—1893)—30.
- Мольер, Жан Батист* (1622—1673)—182.
- Монтескье, Шарль* (1689—1755)—195.
- Мор, Томас* (1478—1535) — 300.
- Морган, Льюис Генри* (1818—1881)—9.
- Морелли* (XVIII в.)—16.
- Мост, Иоганн Иосиф* (1846—1906)—309, 310, 311.
- Муди Д. Л.* (1837—1899) — 330.
- Мэн, Томас* (1571—1641)—189.
- Мюнцер, Томас* (1490—1525)—16, 128.
- Наполеон I* (1769—1821)—74, 90, 106, 107, 138, 211, 215, 227, 300, 321.

- Негели, Карл Вильгельм* (1817—1891)—269, 282—285.
- Никольсон, Генри* (1844—1899)—290.
- Норт, Додлей* (1641—1692)—13, 191—194.
- Ньютон, Исаак* (1642—1727)—10, 21, 22, 27.
- Окен, Лоренц* (1779—1851)—10.
- Оуэн, Роберт* (1771—1858)—17, 27, 122, 164, 210, 214—217, 241, 252, 266, 316, 320.
- Петр I* (1672—1725)—300.
- Нетти, Вильям* (1623—1687)—13, 186, 189—197, 313.
- Пифагор* (582—493 г. до н. э.)—282, 287.
- Платон* (427—347 г. до н. э.)—182, 188.
- Плиний Старший, Гай Плиний Секунд* (23—79)—145.
- Пристли, Джозеф* (1733—1804)—274, 284, 320.
- Прудон, Пьер Жозеф* (1809—1865)—258, 259.
- Рафф, Георг Христиан* (1748—1788)—263.
- Реньо, Анри Виктор* (1810—1878)—76.
- Рикардо, Давид* (1772—1823)—58, 81, 158, 161, 173, 186, 207, 308, 309, 312.
- Родбертус, Карл* (1805—1875)—180, 236.
- Роско, Генри Энфильд* (1833—1915)—289.
- Розов, Густав Адольф* (1792—1847)—260.
- Розов, Фридрих Эбергард* (1734—1805)—151, 152.
- Рошер, Вильгельм Георг Фридрих* (1817—1894)—188, 308.
- Руге, Арнольд* (1802—1880)—335.
- Руссо, Жан-Жак* (1712—1778)—16, 18, 81, 85, 115, 116, 119, 125, 209, 259, 293, 297.
- Саргант, Уильям Лукас* (1809—1889)—216, 217, 252.
- Секки, Анджело* (1818—1878)—287.
- Сен-Симон Анри-Клод-де-Рузюа* (1760—1825)—17, 21, 27, 122, 164, 210, 211, 212, 216, 316.
- Серра, Антонио* (XVII в.)—189.
- Сисмонди, Симонд-де* (1773—1842)—186, 236.
- Смит, Адам* (1723—1790)—60, 81, 124, 158, 181, 182, 184, 185, 188, 190, 197, 198, 206, 302.
- Спиноза, Бенедикт* (1632—1677)—18, 91, 117, 295.
- Струве, Густав* (1805—1870)—98.
- Стюарт, Джемс* (1712—1780)—206.
- Стюарты* (1603—1714)—206, 327.
- Сэй, Джемс* (1712—1780)—304.
- Сэй, Жан Батист* (1767—1832)—125.
- Сэнки, И. Д.* (1840—1908)—330.
- Томсон, Вильям* (1824—1907)—276.
- Траубе, Мориц* (1826—1894)—67, 289.
- Тревиранус, Готфрид Рейнгольд* (1776—1837)—10.
- Трэйчке, Генрих* (1834—1896)—315.
- Тьюго, Анн Роберт Жак* (1727—1781)—206.
- Уатт, Джемс* (1736—1819)—329.
- Фейербах, Людвиг* (1804—1872)—273, 308.
- Феррье, Франсуа* (1777—1861)—207.
- Фидий* (род. ок. 500 г.—умер ок. 430 г. до н. э.)—267.
- Фихте, Иоганн Готлиб* (1762—1814)—26, 119.
- Фост, Карл* (1817—1895)—10, 271.
- Форстер, Вильям Эдуард* (1818—1886)—331, 332.
- Фридрих II* (1712—1786)—137, 260.
- Фридрих-Вильгельм III* (1770—1840)—228.
- Фридрих-Вильгельм IV* (1795—1861)—151.
- Фурье, Шарль* (1772—1837)—17, 27, 122, 164, 209, 212, 213, 216, 224, 226, 241, 274, 316.
- Чайльд, Джосиа* (1630—1699)—196.
- Шаллер, Карл* (1813—1870)—335.
- Швингер, Эрнст* (1850—1924)—9.
- Шеллинг, Фридрих Вильгельм* (1755—1854)—26, 39, 119.
- Шефтсбери, Антонио Ашли Купер* (1671—1713)—327.
- Шлоссер, Фридрих Христовор* (1776—1861)—198.
- Шопенгауэр, Артур* (1788—1860)—271.
- Эвклид* (315—255 г. до н. э.)—152.
- Эндрюс, Томас* (1813—1885)—286.
- Эйнерн, Эрнст* (1838—1906)—315.
- Энс, Абрагам*—258.
- Эпикур* (341—271 г. до н. э.)—271.
- Юм, Давид* (1711—1776)—13, 103, 194—196, 198, 206, 313.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Предисловие ИМЭЛ	3
✓ Предисловия Энгельса к трем изданиям	5

Введение.

I. Общие замечания	15
II. Что обещает г. Дюринг ✓	24

Отдел первый. Философия.

III. Подразделение. Априоризм	29
IV. Мировая схематика	34
✓ V. Философия природы. <u>Время и пространство</u> ✓	39
VI. Философия природы. Космогония, физика, химия	47
VII. Философия природы. Органический мир	55
VIII. Философия природы. Органический мир (окончание)	63
✓ IX. Мораль и право. <u>Вечные истины</u>	69
X. Мораль и право. Равенство	79
✓ XI. Мораль и право. Свобода и необходимость	89
✓ XII. Диалектика. <u>Количество и качество</u> ✓	98
✓ XIII. Диалектика. <u>Отрицание отрицания</u> ✓	107
XIV. Заключение	118

Отдел второй. Политическая экономия.

I. Предмет и метод	120
II. Теория насилия	129
✓ III. Теория насилия (продолжение)	136
IV. Теория насилия (окончание)	143
V. Теория стоимости :	151
VI. Простой и сложный труд	161
VII. Капитал и прибавочная стоимость	166
VIII. Капитал и прибавочная стоимость (окончание)	173
IX. Естественные законы хозяйства. Земельная рента	181
X. Из «Критической истории»	186

Отдел третий. Социализм.

I. Исторический очерк	209
II. Очерк теории	218
III. Производство	234
IV. Распределение	245
V. Государство, семья, воспитание	258

Приложения:

1. Из старого предисловия к «Анти-Дюрингу» о диалектике	269
2. Примечания к «Анти-Дюрингу»	274
3. Из подготовительных работ Энгельса к «Анти-Дюрингу».	285
4. Из писем Маркса и Энгельса о Дюринге и «Анти-Дюринге»	308
5. Предисловия Энгельса к немецкому и английскому изданиям книги «Развитие социализма от утопии к науке».	314
6. Лафарг. Предисловие к французскому изданию книги Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке»	335
<i>Предметный указатель</i>	337
<i>Именной указатель</i>	343

Технический редактор *А. Потапова*.

Отв. корректор *Б. Хенол*.

Сдано в производство 27/XII 1937 г. Подписано к печати 27/VIII 1938 г. Политиздат № 1008. Заказ № 1870. Тираж 150 тыс. экз. (1—125 тыс.) Уполн. Главлита № Б-48988. Формат бумаги 60×92 см. Печ. листов 21³/₄ (120 064 печ. зн, в 1 бум. листе). Бумага Камской ф-ки.

ЦЕНА 2 р. 75 к. Переплет 1 р. 25 к.

3-я фабрика книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига». Москва, Красно-пролетарская, 18.

ПОПРАВКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
272	6 сверху	Лейбниц	Вольф
272	49 снизу	атомистикой,	атомистики,
285	8 сверху	мы (pro tanto) при помощи	мы при помощи
343	2 столб. 10 снизу	Дизраэли (Биконсфильд).	Дизраэли (Биконсфильд),
344	1 столб. 21 снизу	Коллинз,	Коллинс,
344	2 столб. 5 сверху	112	111
345	2 столб. 15 сверху	Трэйчке,	Трейчке,

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг.